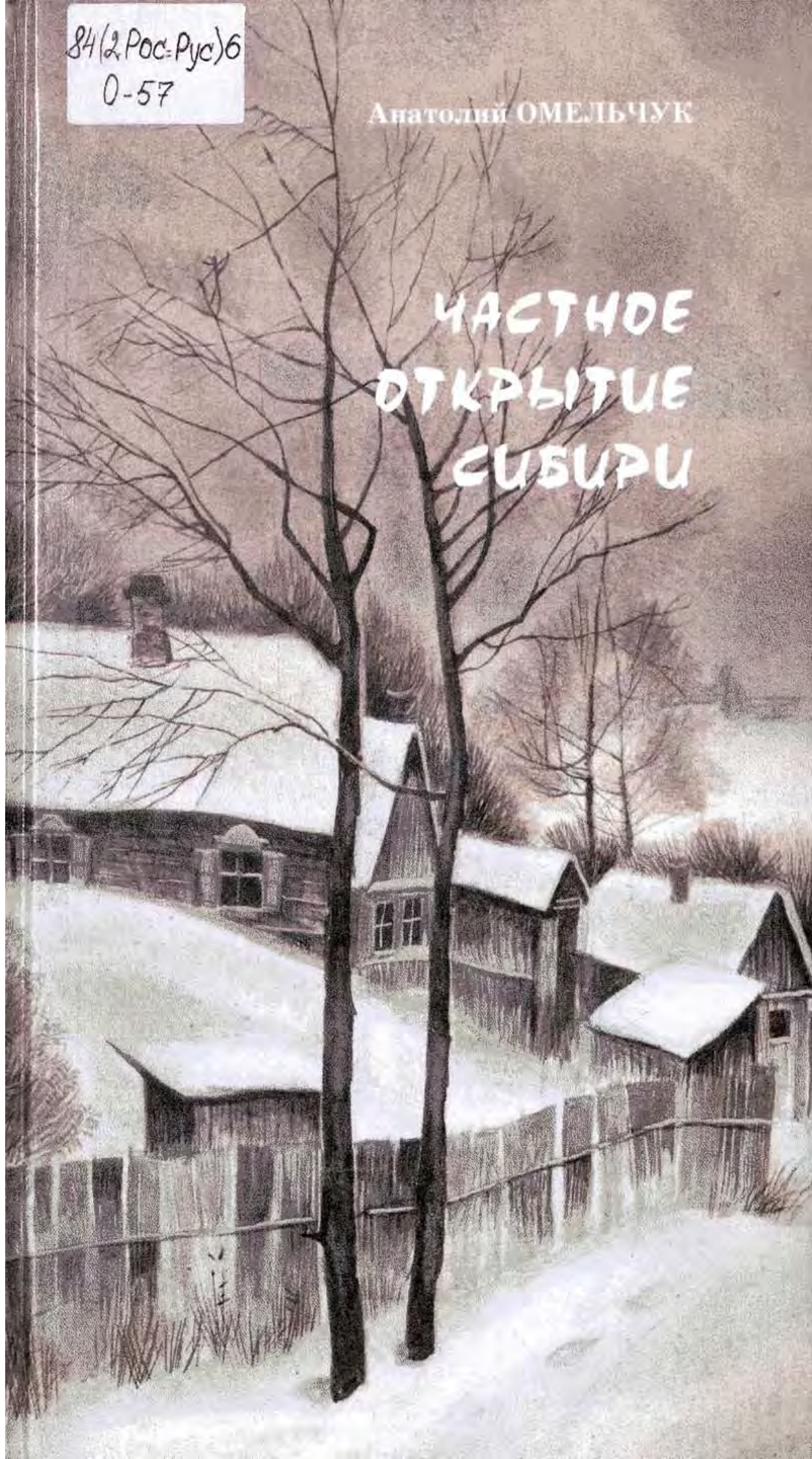


84(2.Рос-Рус)6

0-57

Анатолий ОМЕЛЬЧУК

ЧАСТНОЕ
ОТКРЫТИЕ
СИБИРИ





70-летию образования
Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого
автономных округов
посвящается

ГУ "Национальная
электронная
библиотека ЯНАО"



Представляя вам новую книгу известного сибирского журналиста и краеведа Анатолия Омельчука, отмечу, что она выходит в свет на грани веков и тысячелетий отечественной истории. Свою лепту в нее вносит опорный край России — Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ямалу, крайнему северу Сибири, Анатолий Омельчук отдал более 20 лет своей профессиональной и творческой биографии. Но, уехав из Салехарда в Тюмень, он не расстался с Ямалом, люди которого очаровали Анатолия Константиновича как журналиста и писателя.

В своих книгах — они хорошо знакомы многим из вас — автор воскрешает забытые и малоизвестные страницы истории изучения и освоения Ямала, знакомство путешественников, ученых с народами, испокон веков обитающих на его огромных пространствах. Казалось бы, далекая история оживает и дышит на страницах книг Анатолия Омельчука, становясь ближе нам — людям

анншлорддо олтга-07
отожайионнМ-итнеX
отодр-09Н-алммR и
конуфас жинимолетав
копидиийтгои



XX века. Его сегодняшний день — основной мотив публициста А.К. Омельчука.

Герои творчества писателя и журналиста не только ученые и путешественники прошлого. Его герои — рыбаки и оленеводы, геологи и строители, нефтяники и газодобытчики, все те, кто своим трудом в суровом Заполярье укрепляет мощь российского государства, превращая Ямал в «звезду двадцать первого века». Сегодня Ямал — уникальный, быстро развивающийся и успешно решающий государственные задачи край. Он позволяет оценить итоги уходящего тысячелетия, увидеть перспективы будущего. И прошлое, и настоящее создавали и создают, осваивая и обживая высокие широты России, мужественные, добрые люди — главное богатство нашей северной страны России сегодня и всегда.

Незабываемых вам встреч с Ямалом, с его людьми на страницах книги, которую вы держите...

Ю.В. Неелов,

губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа



Дорогие друзья!

Подвиг освоения... Конечно, он начался не в нынешнем веке, а тысячелетия назад. Можно только поражаться безмерному мужеству тех, кто постепенно, но целеустремленно осваивал не очень гостеприимные северные пространства и делал их средой человека, человеческим домом.

Северный счет — год за два. И это не случайно: у нас на Севере все дается бóльшим трудом, бóльшей энергией. Север испытывает и экзаменует. И семидесятилетний путь автономной Югры в новейшей истории не даром приравнивают дороге в несколько столетий. Действительно, за эти десятилетия сделано столь поразительно много, что не укладывается в привычные нам понятия времени.

За эти годы мы прошли испытания коллективизацией, войной, разрухой, безудержной эксплуатацией природных богатств, но всегда проявляли выдержку, терпение и разумность, чтобы некогда, глухой, забытый, брошенный край

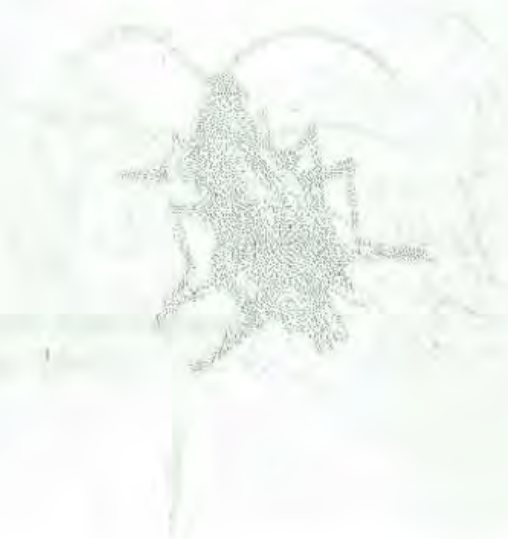
стал главной и надежной опорой России — особенно в ее трудные времена.

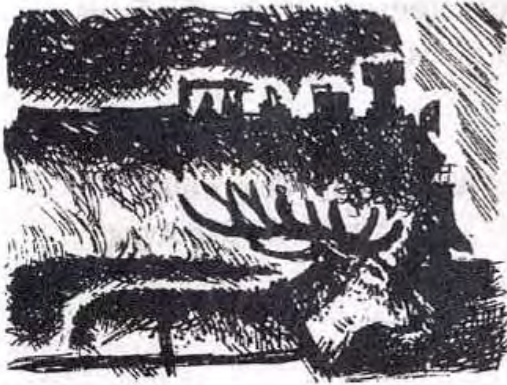
Северяне по привычке называют отдаленный от них центр страны «Большой землей». По существу же сегодня именно Север — «Большая земля» России. Да, и потому, что именно здесь сосредоточены главные природные ресурсы нашей Федерации, но, может быть, в первую очередь потому, что все же — главное богатство и главный шанс нашей державы — испытанный Севером, испытанный Сибирью — человек.

Вы ощутите здесь, что северяне остались верны законам природы и заветам предков, не утратили стержня естественной нравственности, здесь продолжается эстафета мужества, ибо России нужна не только богатая и свободная, но и сильная Сибирь.

Я разделяю пафос автора предлагаемой книги: Сибирь достойна своей завидной участи, и ее ждет великая будущность во благо и процветания России.

Александр Филипенко,
губернатор Югры





84 (2 Рос-Рус) 6

0-57

БРК 83.3
0 21

Анатолий ОМЕЛЬЧУК

ЧАСТНОЕ ОТКРЫТИЕ СИБИРИ

Каждый сам открывает свою родину

ОКр-35 - аб ✓

Читальный зал

**Издательство Ю. Мандрики
Тюмень, 1999**

ББК 83.3

О 57

О 57 **ОМЕЛЬЧУК Анатолий Константинович**

Частное открытие Сибири: Каждый сам открывает свою родину. — Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 1999. — 392 с. + 16 с. илл.

Книга классика тюменского краеведения Анатолия Омельчука, автора множества книг, расскажет о людях, которых волновала судьба Сибири. Многие имена, факты знакомы нам, но, открыв книгу, читатель сможет убедиться, что белых пятен в истории этого сурового края не так уж и мало.

Адресована массовому читателю.

- © Омельчук А.К., 1999.
- © Кухтерин А.С. (иллюстрации, обложка), 1999.
- © Комитеты по печати и СМИ администраций ХМАО и ЯНАО (издание), 1999.
- © Издательство Ю. Мандрики (оформление), 1999.

ISBN 5-93020-032-7



Великая земля

*Предупреждение
сомневающегося
автора*

В последнее время я как-то обостренно вчитываюсь в то, что написали и пишут о Сибири. Все, что раньше воспринималось автоматически, без анализа, воспринималось как должное, ныне дает повод задуматься и осмыслить.

Как полагается в солидных трудах, следовало бы начать с классиков марксизма-ленинизма.

В ранней юности мне частенько приходилось слышать песню местного композитора «К северу от Томска — широкие просторы». А ведь это фактический парафраз Ленина, его сибирско-знаменитое: «Взгляните на карту РСФСР. К северу от Томска идут необъятные пространства, на которых уместились бы десятки громадных культурных государств. И на всех этих пространствах царит патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость».

Слова эти написаны в 1921 году. Как помнится, вождю революции не доводилось бывать севернее Томска. На основании чего написаны эти обидные слова? А ничего... Пролетарский вождь не давал себе труда что-то узнать, осмыслить, проанализировать. Одним росчерком пера он разделил карту РСФСР, провел границу дикости и цивилизации. Все, что южнее Вологды и Томска, — это, надо понимать, цивилизация, севернее — полудикость и дикость.

Такая размашистость и масштабность Ильича нас долгое время умиляли, нам нравилось заниматься нравственным самоедством, и мы, как послушные попки, повторяли: да чего там, исключительно дикость, полудикость и больше ничего.

В полосу ленинской дикости попадала чуть ли не вся Сибирь. Разве это соответствовало действительности? Мы знаем, что к началу века Сибирь стремительно развивалась, начинала процветать, становилась новым шансом России. Да, российские столицы делали все, чтобы не выпустить Сибирь из патриархальщины, но ее здесь было не больше, а, пожалуй, меньше, чем в коренной России, ибо осваивал вольные земли Сибири рискованный, свободолюбивый человек, а не крепостной безнадежный раб.

Может, Ленин имел в виду дикость нецивилизованных туземцев — аборигенов Сибири? Но он же не был знаком с их бытом, обычаями и нравами, и уже это снижает пафос его запальчивых постулатов, а, во-вторых, душок шовинизма не делает чести вождю Октябрьского переворота. В «патриархальщине» ненцев, эвенков, селькупов, манси, ханты и других сибирских аборигенов коренятся такие вековые нравственные устои, такое тесное слияние с природой, что это, наверняка, еще пригодится человечеству, страдающему от излишней урбанизации.

Нельзя, наверное, непонятное для себя торопиться называть «дикостью», надо разобраться и увидеть разумное и целесообразное в поведении целых народов.

Убейте меня, в этом ленинском высказывании я не нахожу обыкновенно человеческого уважения вождя к Сибири и ее жителям.

Это меня обижает. Коренное население Сибири это попросту должно оскорблять.

Еще одна цитата, которую разыскал наш земляк, ученый Леонид Киселев: «Сибирь — холодный и пустынный край, где живут полудикие существа смешанных рас».

Очень ли она рознится от того, что говорил Ленин? Вряд ли.

Как бы кощунственно это ни звучало — цитата из немецкого (фашистского периода) учебника истории.

Впрочем, подобным, мягко говоря, несколько презрительным отношением к Сибири страдал не только революционный демократ Владимир Ульянов.

«Литературная газета» как-то опубликовала забытую статью прекрасного русского писателя, Нобелевского лауреата Ивана Бунина «Инония и Китеж» (впервые она опубликована в 1925 году). Иван Алексеевич посвятил эти строки другому прекрасному русскому поэту Алексею Толстому — Константиновичу. У того есть баллада о Змее Тугарине, а там строки:

И с честной поссорились вы стариной,

И предкам великим на сором,

Не слушаясь голоса крови родной,

Вы скажете: станем к варягам спиной,

Лицом повернемся к обдорам.

По мысли Алексея Толстого, повернуться лицом к обдорам — это осрамить великих предков. Как мы помним, Обдора — это Нижняя Обь, столицей которой был Обдорск, нынешний Салехард, обдоры — коренные сибиряки. В поэтической метафоре Алексея Толстого Обдора и Русь противопоставлены, несочетаемы. Поэта можно упрекнуть за неудачную метафору, за неудачно обобщенный образ, который имеет и конкретно историческое обозначение. Но — и это самое обидное — Иван Алексеевич Бунин образность Алексея Толстого не только принимает, но и развивает. Он пишет об «обдорской кабале»: «Через долгое борение, с которой пришлось пройти Руси». Он задается вопросом: обязательно ли русский человек есть «обдор», азиат, дикарь или нет?

И ответ подразумевает: русский человек не должен быть дикарем, азиатом, «обдором».

И у Бунина толстовская «Обдора», «обдор» — нечто темное, дикое, противопоставленное светлому началу Руси.

Может ли не обижать российского сибиряка-северянина такая образная система?

Я вовсе не хочу упрекать ни Ивана Бунина, ни Алексея Толстого, просто хочу констатировать, что на протяжении веков в русское сознание вкоренялось понятие, что Сибирь, все связанное с Сибирью — это темное, «обдорское» начало, и этого, на мой взгляд, тлетворного влияния не избежали даже такие светлые таланты, как Бунин и Алексей Толстой.

Читаю замечательного русского историка Василия Осиповича Ключевского — его пятитомный курс русской истории. Можете проверить, приобщение Сибири к России он умудряется уместить в один полуабзац: «Русская колония, еще в XVI веке перевалившая за Урал, в продолжение XVII уходит далеко в глубь Сибири и достигает китайской границы, расширяя московскую территорию уже к половине XVII века, по крайней мере, тысяч на 70 квадратных миль, если только можно прилагать какую-то геометрическую меру к тамошним приобретениям. Эти успехи колонизации на Востоке привели Московское государство в столкновение с Китаем».

Ученое высокомерие к «геометрическим приобретениям» редко встретишь, а последняя фраза по-московски выразительна: одни, мол, хлопоты с этой Сибирью, не будь этих квадратных миль — и никаких китайских конфликтов.

Я заинтересовался, как вообще Василий Ключевский отразил в плетение первоначальной Сибири в русскую историю, и на пространстве целого тома отыскал лишь несколько случайных фраз, которые чаще всего касаются ссылки опальных русских вельмож в Сибирь.

По Ключевскому выходит, что на протяжении полутора веков после присоединения Сибирь никакой маломальской роли в российской истории не играла.

Знаменитому профессору русской истории ее сибирская часть явно не интересна. Я бы, правда, обратил внимание — ради объективности — на один малоизвестный факт, приводимый Ключевским.

При царе Федоре Алексеевиче «составлен был план раздела государства на крупные исторические области, вошедшие в его состав и бывшие некогда самостоятельными государствами. В эти области из наличных представителей московской знати назначались вечные, не сменяемые пожизненные наместники. Так явились бы полномочные местные правители, «боярин» и наместник, князь царства Казанского или царства Сибирского и т.д. Царь Федор дал уже согласие на этот план аристократической децентрализации управления, но патриарх Иоаким, на благословение которого препровожден был проект, разрушил его, указав на опасности, какими он угрожает государству».

К сожалению, Ключевский не указывает автора-проектанта — первого сибирского сепаратиста, так что эту славу принимает на себя слабый братец Петра Великого.

Попутно можно кратко упомянуть, как разделался Петр Великий с другим влиятельным «сепаратистом». Князь Матвей Петрович Гагарин был повешен и висел перед окнами юстиц-коллегии ровно 31 день. Император вешал и других лихоимцев (Гагарину вменялось в вину обильное мздоимство и казнокрадство), но никого так долго в назидание другим не держал на виселице. Это была не просто казнь после жесточайших пыток, а императорская месть. По легенде, первый и самый блистательный сибирский губернатор князь Матвей Гагарин якобы в кругу особо приближенных сравнивал кремль тобольский с московским и намекал, что, имея такой кремль, можно бросить вызов самой первопрестольной. При пытках Матвей Петрович никоим образом не

выдал своих сокровенных замыслов, наоборот, всячески открещивался от них. Были ли у Петра I конкретные доказательства, судить трудно, но новосибирский историк Михаил Шиловский считает, что сибирский властитель целый месяц болтался на виселице именно потому, что император уличил своего властолюбивого наместника в самовольных мыслях о предназначении и роли Сибири. Как бы там ни было, в губернаторе-висельнике мы должны чтить мученика, пострадавшего в том числе за сокровенные мысли о самостоятельности Сибири.

Два царственных брата и два противоположных подхода к зауральской колонии: один готов избавиться от нее, другой держится цепко, властно.

С тех петровских еще времен укрепилась столичная традиция: все, что касается сибирского вольнолюбия и вольномыслия, старательно упрятывалось. Как ни странно, особенно эту петровскую традицию укрепили большевики. Недавно умер новосибирский писатель и литературовед Николай Николаевич Яновский. Это был замечательный человек, подвижник, друг всех репрессированных и забываемых сибирских литераторов. Восторженные почитатели называют его «сибирским Сахаровым». Всю жизнь Николай Николаевич занимался сибирскими областниками и всю жизнь страдал за них. Я заходил к почтенному старцу незадолго до его смерти, и Николай Николаевич долго (у него уже было трудно с речью) рассказывал, как тяжело было публиковать тома созданного им «Литературного наследства Сибири»: и Потанина, и Ядринцева, не говоря уже про расстрелянного большевиками Александра Новоселова. Москва блюла запреты строго и «не пушала». Каждый томик «Литературного наследства» давался с боем и не без тяжелых цензурных потерь. Сибиряков сознательно лишали их истории, истории их духовного развития, лишали их литературы. Трудно из многолетнего забвения восставить Антону Сорокину, Александру Андрианову, Григорию Гребенщикову, другим крупным талантам.

Всякое нетрадиционное осмысление роли Сибири замалчивалось, и, естественно, проповедование «единственно верного», сугобо официального взгляда вело к застою мысли, стагнации. Интеллектуальная беспомощность — это всегда хороший шанс для того, кто хотел тратить природные богатства беспрепятственно.

Сегодня старые мысли выходят из-за решеток спецхранов. Приведу только несколько замечаний выдающегося русского философа Григория Федотова. Недавно «Новый мир» опубликовал его эссе «Будет ли существовать Россия». Вот над чем задумывался крупный мыслитель, высланный за пределы Родины: «Русь становилась сплошной Московией, однообразной территорией централизованной власти: естественная предпосылка для деспотизма. Мирозрение русского человека упростилось до крайности, даже по сравнению со средневековым москвич примитивен».

«Великороссия» хирела, отдавая свою кровь окраинам, которые воображают теперь, что она их эксплуатировала... И тут мы с ужасом узнаем, что сибиряки, чистокровные великороссы-сибиряки, тоже имеют зуб против России, тоже мечтают о Сибирской Республике — легкой добыче Японии».

Писано это в 1926 году, и как бы мы ни относились к мыслям этого христианского философа, мысль его куда раскованнее, непредвзятее и свободнее, чем мы могли позволить себе.

В русле русской интеллигентной традиции мыслил (благоприятным обстоятельством послужило то, что он имел доступ к запер-

тым для большинства советских граждан источникам) Александр Солженицын. Может, только из далекого Вермонта русский интеллигент мог позволить себе размышлять «посильно» непредвзято.

Мы должны быть благодарны вермонтскому затворнику уже за то, что он наконец-то весомо сказал о провинции: «Станет или не станет когда-нибудь наша страна цветущей, решительно зависит не от Москвы, Петрограда, Киева, Минска, а от провинции. Ключ к жизнеспособности страны и к живости ее культуры в том, чтобы освободить провинцию от давления столицы». Солженицын называет Сибирь, «которую мы с первых же пятилеток ослепленно, безумно калечим», достойно — Великая Сибирь.

Редко в столичной газете прочтешь строки, которые позволяет свободная мысль писателя-изгнанника: «Москва уже 60 лет кормится за счет голодной страны, с начала 30-х годов она молчаливо пошла на подкуп от властей разделить преимущество и оттого стала как бы льготным островом с другими материальными и культурными условиями, нежели остальная коренная Россия. От того переменилась и психология московской, имеющей голос, публики — она десятилетиями не выражала истинных болей страны».

Прозорливость этой мысли Александра Солженицына нам еще предстоит оценивать.

Но чаще в каждодневном обстреле информационного диктата мы встречаем другое.

Печально знаменитая «Литературная Россия» опубликовала обзор Александра Анисимова, кандидата экономических наук, работающего в Центральном академическом экономико-математическом институте, «Кто же выигрывает». Один пассаж представляет особый интерес, как яркое проявление столичного снобизма и великодержавного высокомерия:

«Характерной чертой всех существующих проектов суверенизации российских территорий является тенденция отсечения Европейской России от центров производства сырья и в первую очередь нефти...

Борьба за сибирскую нефть еще только началась. Став «суверенными», производители дефицитного сырья в Сибири будут стремиться, очевидно, гнать его в основном в США, Японию, Китай и Западную Европу. Это, конечно, приведет к самым тяжелым последствиям».

Всегда считалось, что интересами Сибири можно поступиться ради иных, высшего порядка. Сибирь можно и не спрашивать, по роли центра ей не записано защищать свой, сибирский интерес.

Справедливости ради нужно сказать, что и из Москвы раздаются одинокие трезвые голоса, которые считают, что каждому нужно воздать не по желанию, а по заслугам. Подтверждение этому статья известного публициста Василия Селюнина «Все у нас получится»:

«Прошлым летом по приглашению нефтяников я побывал в Нижневартовске — отговаривал их от забастовки. Конфликт там был крутой. Четверть века страна живет сибирской нефтью, на долю же добытчиков, на долю коренного населения досталась испохабленная природа, отвратительное жилье, пустые магазины.

Мы бы рассудили не так. Господь знал, что делал, когда клал нефть именно в тюменскую землю. Но, с другой стороны, местные олениводы и пахари своими силами не освоили бы этот дар, так что давайте торговаться. Возможно, поладили бы на таком раскладе: 30 процентов дохода как в валюте, так и в рублях — ваши, остальное принадлежит России в целом. За счет своей доли строите дома,

школы, больницы, развивайте культуру, сохраняйте в добром здравии среду обитания. Вы — часть Российской Федерации, и, обустроив свой край, вы возрождаете и общую нашу республику».

Легенды о «дикий-полудикой Сибири» вовсе не безобидны.

Беда ли, вина ли Ленина, что он именно такой хотел видеть Сибирь, но, как всегда, лозунг вождя не только был взят на вооружение, но и доселе довлеет на уровне подсознания российского гражданина. А коли дикая, полудикая, что предполагает традиционный образ мышления? Значит, здесь можно беспощадно губить безвозмездную природу, строить самые ядовитые производства, использовать самые варварские технологии «дикие-полудикие», сюда можно спихивать ядерные заводы и собирать со всех весей дерьмо радиоактивных отходов. И, понятно, что только здесь место всяческому отрепью рода человеческого, значит, вольные пространства тайги и тундры можно по-прежнему окутывать колючей проволокой. Полагаю, что ленинский афоризм о сибирской дикости-полудикости весьма импонировал известным сталинским наркомам Генриху Ягоде, Николаю Ежову, Лаврентию Берию.

...Давно уже, в годы моей молодости, в славные партбюрократические времена местный партийный босс в Салехарде «зарезал» мою намечавшуюся турпоездку в тогдашнюю ФРГ.

С аргументами у босса было туговато, и он произнес приблизительно следующее:

— Молокосос, ты еще родной страны не видел, а тебя уже тянет на Запад. На Россию посмотри, а буржуазные немцы не убегут.

Что говорить, я крупно обиделся на босса и на могущественную партию, хотя, понятно, к тому времени действительно знал — видел очень небольшой фрагмент Советского Союза.

Но, как ни странно, после этого партийного внушения каждый протяжной северный отпуск посвящал поездкам по стране: сначала объездил весь Европейский Советский Союз, а потом меня увлекла родная Сибирь. Я проехал величайшие и прекрасные реки мира: Обь, Енисей, Лену и даже прихватил судоходную часть реки Камчатки, увидел чеховский остров Сахалин, не раз проехал алтайскими долинами и пересек бесподобные Саяны, омыл ноги в хрустальных водах Байкала и испил из родников, рождающих родную Обь.

И хотя потом, в перестроечные времена, мне удалось посмотреть мир на четырех континентах и в хваленой Германии удалось не раз побывать, я уже знал — нет прекрасней страны, чем Сибирь.

Наверное, мудрым был салехардский партбосс, и если я вспоминаю его, то попутно и благодарю: случайный чекистский аргумент в общем-то заставил повернуться к прекрасной родине.

Хотя потом старый босс признался, почему «зарезал» ФРГ: в моей холостяцкой хибарке на стене висела «ню» из чехословацкого журнала «Фото», и это озаботило партийное целомудрие, как нездоровое влечение к порнографии и непокорной Чехословакии.

Каждый открывает свою родину по-своему и для себя.

Открывает в пространстве. Открывает во времени и истории.

Я заканчивал Томский университет, писал диплом по критикам гениального Андрея Платонова. Читать эту критическую мерзость было сложновато, подташнивало, и время от времени я отвлекался и читал старые журналы. И как-то в журнале Министерства народного просвещения за 1852 год наткнулся на некролог. Очень большой — сегодня таких не пишут. Академик Андреас Шегрен писал о своем умершем ученике Матиасе Александре Кастрене. Старый патрон оплаки-

вал молодого человека. Это был настоящий, пронзительный, мужской плач, ибо ученик Александр Кастрен сделал очень много, но далеко не все, что мог, если бы прожил больше, чем свои краткие 35 лет.

В то же время ученый старикан Шегрен умудрился в своем пронзительном посмертном вопле рассказать — учено-основательно и старчески серьезно — о том, что умудрился все-таки сделать Кастрен, да так, что невозможно было не влюбиться в этого молодого подвижника лингвистики и этнографии.

Безнадежно больной, чахоточный Кастрен, понимая, что соревнуется со смертью, смог за пятилетнее смертельно опасное путешествие по Сибири собрать материалы, чтобы спасти от исторического забвения вымирающие финно-угорские и самодийские племена.

Впрочем, сегодня разговор не об этом. Прочтя шегреновский некролог, неосознанно для себя я сделал вывод, что историю своей малой великой родины надо знать. Она — родина, если ты знаешь ее и в пространстве, но и во времени истории, а так — безымянное место рождения.

Именно после того ошарашивающего чтения в научном зале блистательной университетской библиотеки Томска я стал изучать историю Сибири относительно системно, все более убеждаясь, насколько она интересна, завлекательна, не изучена и по существу неизвестна.

И еще... На излете застоя я, размышляя над судьбами Сибири, задался по тем временам крамольным вопросом: чья колония Сибирь? Ясно, что Сибирь все социалистические годы оставалась колонией. Но я видел субъект, но никак не мог найти объекта — метрополию. Союз? Москва? Россия?

Каждое предположение казалось кощунственным.

Было ясно, что Сибирь, надрываясь, на кого-то ищачила и горбатилась, но на кого? Объекта в пробковом шлеме, со стеклом в руках, загребающего сибирские миллионы, я не обнаруживал. Если он существовал, то хорошо скрывался. Может, это был развитой социализм? Административно-командная система?

Одним словом, у меня родился замысел написать книгу под шокирующим — непременно! — названием — «Сибирь в дерьме». Впрочем, у меня имелся и запасной вариант, более цивилизованный — «Бедствие от богатства».

Мне хотелось системно поразмышлять о судьбе моей много-страдальной родины.

Вопрос оставался: почему Сибирь, которой в начале века (как XX, так и XIX) предрекали будущность Соединенных Штатов Америки, на исходе второго человеческого, христианского тысячелетия по своему уровню благополучия может сравниться в лучшем случае с Соединенными Штатами Нигерии? Как же так получилось, что невероятно природно богатая страна Сибирь влачит по существу полунищенское существование? Что тому причиной? В чем глобальная ошибка? Ведь нищая Сибирь это не просто стыд одной России, это стыд всего человечества. И только ответив на эти вопросы, можно ответить на главный: есть ли у Сибири реальные шансы на то, что этот могучий российский край перестанет прозябать на своих неистовых богатствах, начнет процветать сам, помогать России, помогать всем объединенным нациям.

Но в своих путешествиях и поездках я уразумел одну, существенную для меня мысль: ничего не могу я проанализировать системно, то есть равнодушно.

Наверное, повинно в этом время. В дерьме очутилась не одна Сибирь, в пучину бессмысленности и дерьма погружалась великая Россия, свежий ветер перестройки сменился смерчем хаоса, бессмысленного разрушения, откровенного человеческого смятения. Страна зашаталась, затряслась от землетрясения, созданного усилиями нашего неразумия, неумения, отказавшей нам мудрости.

Наверное, есть летописцы смятенных эпох. Наверное, я не из них — нужно время, чтобы осмыслить, что произошло с великой сибирской Россией.

Но будет ли у меня иной шанс рассказать о том, что я видел в Сибири в эти времена?

Так сменился мой замысел.

Все, что я делал до этого, я открывал для себя Сибирь. Это открытие не может быть системным; как бы я ни старался, оно все равно будет субъективным. Впрочем, я даже обрадовался: всякое открытие Сибири — это партикулярное, частное открытие. Оно продиктовано и временем, и задачами, и просто человеческими, авторскими интересами. В эпоху застоя дерзко было задумывать эпические полотна, но в эпоху перемен, во времена кровоточащей совести, честно говоря, мудрее обойтись только своими замечаниями и небольшими открытиями. Тем более эти времена научили нас, что, слишком обобщая, мы впадаем в великий грех непонимания частных, которые только и делают нашу грешную жизнь истинно человеческой.

Поэтому мне бы и хотелось предложить читателю свое, частное открытие Сибири. Наверное, оно очень неполно и, понятно, весьма пристрастно. Но открывая нашу любимую и многострадальную родину поодиночке, мы откроем ее и сообща. И для себя, и — еще не поздно — для мира.

Понятно, что мой круг, естественно, ограничен, я не хотел замыкаться, но в большинстве своем события, в которых я разбирался, ограничены ближней к России Сибирью, той, что называют Западной. Хотя для полноты картины мы выберемся и на просторы до Тихого океана.

Проживая свое недолгое земное бытие, мы сами выбираем приоритеты и ориентиры нашей жизни. Познание Родины — удивительнейшая вещь: ты приобщаешься к векам и просторам, историческим пространством возбуждена и озарена твоя душа, и ты постоянно подпитываешься их энергетикой и преодолеваешь одиночество, присущее любому творческому человеку.

Я открывал свою родину, Сибирь, для себя. Наверное, любой другой и откроет по-другому, и, возможно, это будет иная Сибирь. Но наша жизнь — наше частное дело, и открытия, которые мы в ней неизбежно совершаем, — наши частные открытия.

Сибирь — великая земля и к северу, и к югу от Томска, это божественный дар природы, наверняка, всему человечеству. Здесь люди хотели и хотят жить не по навязанным схемам и темпам, а по законам природы.

Нам, здесь живущим, нужно помнить и делать единственное: беречь свою родную, милую, великую землю, российскую Сибирь, любить и понимать ее. И нам непозволительно делать эту великую землю игрушкой в политических раздорах. Она самоценна. Будем верить хорошему пророчеству одного умного гражданина планеты Фритьофа Нансена, что Сибирь — страна будущего, и нам следует хранить ее настоящую.



Сибирь — колыбель человечества

— Ответь, для чего африканской обезьяне, которая слезла с дерева, взяла в руки палку, собираясь стать человеком разумным, с какой стати ей сбрасывать свой волосяной покров?

У моего собеседника, который задает этот вопрос, колючие усы и колючий, исподлобья взгляд. Он смотрит пристально и ждет ответа — четкого, без виляний.

Что я могу ответить? Действительно, зачем это надо было обезьяне?

— В процессе эволюции... — мямлю я.

— Э, нет, так не пойдет, — протестует собеседник. — И для эволюции требуется нужда, стимул. Была волосатая, враз взяла и облысела... В природе так не бывает. Не было в тропиках у тамошней обезьяны никакого стимула сбрасывать волосяной покров. А зачем в жаркой Африке обезьяне, которая собирается стать хомо сапиэнс, разжигать костер?

Действительно, зачем? Наворачивала бы аппетитно сырые кокосы.

— Стимул, стимул какой? — нетерпеливо поторапливает мой собеседник. — Климат благоприятный, тропический, райский...

— Похолодало? — догадываюсь я.

— Нет, похолодания на тот период палеоклиматологами не отмечены.

Бывает: в нашу жизнь неожиданно, внезапно врывается незнакомый человек, взбудораживает, заставляет многое переосмыслить. И встретишься-то с ним всего один раз, и новые встречи вроде не предвидятся, но этот будоражащий человек-«взрыв» надолго оставляет след не просто в жизни — в душе.

Часто, со школы, приняв что-то на веру, мы уже не возвращаемся к пройденному и не задаемся вполне естественными вопросами, которые задает мой солидный, но столь молодо-беспокойный собеседник. Ответить на подобный вопрос, возможно, не у каждого получится, но задать-то его, тем более самому себе, всегда можно. Ведь не столь уж он не существен — человеческого истока касаясь.

ется. За нас вроде кто-то должен решить, а мы снова на веру примем очередную версию.

— Так вот, — не дождавшись ответа, четко констатирует собеседник. — Если задаться этими вопросами, то неизбежно придешь к ответу, что родина хомо сапиэнс вовсе не жаркие тропики.

— А где же человеческая прародина? — ревниво вырывается у меня.

— Сибирь!

Он смотрит торжествующе и одновременно недоверчиво, предполагая, что хотя я ошарашен, но вряд ли соглашусь с его рискованным утверждением.

Но мой собеседник не какой-то безответственный прожектор, безумный автор преждевременно-безумных идей. К его аргументам не грех и прислушаться. Юрий Алексеевич Мочанов — доктор исторических наук, старший научный сотрудник в научно-исследовательском институте языка, литературы и истории Якутского филиала Академии наук. А главный его аргумент — Диринг-Юрях.

— Человека сделал труд. Но, сказав это, разве мы сказали все? — формулирует Мочанов свою точку зрения. — Что заставило одеться в звериную шкуру, разжечь костер? Единственно подразумеваемый ответ — условия, в которых он жил. Резкая смена этих условий, холод. Так что Сибирь — окраина мира, берег великого океана, идеальное место для прародины человечества. Здесь было тепло, потом стало холодно и двуногим приматам пришлось разжечь костры, чтобы согреться, добыть звериную шкуру, дабы одеться в нее.

Сибирский ученый не оспаривает ни Дарвина, ни Энгельса, он только не отыскал у них ответов на свои вопросы. Да, возможно, завзятые основоположники и не ставили перед собой таких задач. Впрочем, гипотезы о «внетропической» прародине человека появились в России еще в конце прошлого века: выдающийся отечественный географ и энгельсовский оппонент Д. Анучин полагал, что для перехода одного вида в другой нужен существенный стимул, и естественным стимулом считал резкое изменение климата.

Но то было чисто умозрительное построение, без всяческих палеоантропологических или достоверных археологических данных. Напомню, в середине нашего уходящего века тропическую версию существенно поддержало открытие англичанина Луиса Лики в ущелье Олдовай в Восточной Африке. В Олдовае обнаружены кости человеческого предка, или научно точнее — древнейшего человеческого примата, «возраст» которого свыше двух миллионов лет.

Это первые человеческие кости, древнее их на планете еще не отыскали.

Что же нашел, обнаружил, открыл Юрий Мочанов, чтобы столь решительно опровергать знаменитого английского коллегу? Логика подсказывает: требуются кости подревнее.

Нет, Мочанов отыскал пока только булыжник, как он, человек, любящий шутку, считает, орудие первого на планете прямоходящего пролетария. Но не простые булыжники, а чопперы — камни, обработанные человеком.

Мой ученый собеседник берет булыжник со сколотой поверхностью, демонстрирует мне, как работал древнейший пролетарий, потому что камень через многие тысячелетия сохранил и пронес следы осмысленной, целенаправленной деятельности незапамятной древности мастера. Оказывается, этот неприметный кирпичного цвета кварцит с желтоватым налетом на сколе — заготовка рубила-чоппера.

Мочанов с видом заговорщика берет (мы в его тесноватом кабинете-лаборатории) каменную пластину размером поменьше, прикладывает ее к заготовке и ликующе смотрит на меня — части совпали.

— Неудача, — поясняет он. — Древнего мастера постигла неудача. Камень скололся неудачно, он его бросил, оставил, принялся, видимо, обрабатывать другой.

Как понимаю, то, что демонстрирует Мочанов, — обычные археологические хитрости, ничего сверхординарного в этом нет. Логика действий древнего пролетария прослеживается четко. Но ведь этим камням, по расчетам Мочанова, не меньше 2 миллионов 200 тысяч лет. Не меньше. А может, все 3 с половиной миллиона.

— Археологическая бомба! — ахаю я.

— Прежде, чем она разорвалась для науки, она должна была разорваться во мне, — пристально вглядываясь (смогу ли понять?), объясняет Мочанов. — С этим взрывом надо было справиться. Неужели вы полагаете, что специалисту просто провозглашать перед коллегами новации, которые воспримут если не как еретическую жажду сенсаций, то как профессиональное сумасбродство.

Он этот взрыв... в мирных целях науки... рискнул обнародовать. Скажу сразу, чтобы доказать стопроцентно надежно, что найдены первые каменные орудия древнейшего человека, уточню, сакцентрирую — древнейшего сибиряка, потребуются долгие годы поиска новых аргументов, убедительнейших доказательств, неопровержимых типологических сравнений. Ведь такая вольная размашистость в датировках — от двух до трех с половиной миллионов лет, эдак миллион туда, миллион сюда — вряд ли научно допустим. В основном доказательства Мочанова, кроме чисто археолого-типологических сравнений, базируются на данных геологов и геофизиков, которых он привлек к исследованиям на Диринг-Юряхе. Для более точных методов — радиий-углеродного и калий-аргонового — пока материалов не найдено, хотя число находок на стоянке перевалило за три тысячи. Как понимаю, у мочановских оппонентов позиции сильны, сильны и сами оппоненты, потому что открытие на Диринг-Юряхе не могло не скомпрометировать тысячи томов всяческих правоверных монографий, которые исправно толкли и толковали зады классической науки, но всесторонне и полно не отвечали на вопросы, на которые науке пора бы уже ответить. Диринг-Юрях потенциально может подорвать многие устоявшиеся ученые репутации.

Может, потому так пристально и вглядывается в меня немолодой ученый, потому что важен для него каждый единоверец, всякий поверивший в эпохальность его открытия.

Меня лично не нужно убеждать долго — ясно же, что земляки-сибиряки всегда и во всем были первыми, а первое освоение Сибири вполне могло совпасть вообще с освоением планеты. Правда, встает неизбежный вопрос, следует ли нам, современникам, в конце XX века гордо обзывать себя поколением первопроходцев, если уже три с половиной миллиона лет назад на берегу великой сибирской реки Лены, на холме у ручья Диринг-Юрях горел костер истинного первопроходца человечества? Я вовсе не балагурю: греет душу мысль, что ты наследуешь трехмиллионную историю. Хотя с эдаким-то временным запасом следовало бы вести себя по отношению к планете-прародительнице куда разумнее.

Впрочем, Юрию Алексеевичу поверил не только я, есть у него отечественные соратники, рвутся на берега Лены коллеги из многих

стран, специалисты из Канады и США уже прорвались, и на археологических картах мира Диринг-Юрях помечен особо.

— Когда я уже немного подустал от археологии, — вспоминает Мочанов, — тут-то и свалился на меня этот божественный дар. Да, такое не может подарить даже президиум Академии наук, — в присутствующей ему иронической манере мимоходом замечает он. — Диринг-Юрях могли подарить только боги.

Да, Диринг-Юрях открывает не какую-то частность, подробность человеческой истории. Предметом анализа становится не какая-то золотая безделушка, скажем, пиктораль из гробницы принопамятного фараона: Диринг-Юрях приоткрывает дверь в человеческую эпоху почти безлюдной еще планеты.

— Я все думаю, может, эта награда за заурядность моей научной судьбы, — признается Мочанов.

Да как не сомневаться! Это уже не только его вопрос — или-или: состоялось или нет его открытие. Или-или — состоялась или не состоялась прибавка в человеческой истории.

Относительно своей «заурядности», может быть, он и прав, недавно вполне еще обычный, рядовой зауряд-доктор исторических наук Мочанов. Были у него статьи в сборниках, была монография «Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии». Было многолетнее руководство Приленской археологической экспедицией, которая исследовала огромные территории дальней Сибири, побережий Ледовитого и Тихого океанов. Были и находки, и открытия, но те, что не выламываются за рядовые рамки. Мочанов считался специалистом по древнейшим этапам заселения человеком северной Сибири. Но правомерно полагал, что насчитывает этот этап не более 30—40 тысяч лет.

Он и на Диринг-Юрях попал именно как узкий специалист по временному этапу. Геологи, пробивая здесь шурф, наткнулись на маленький, скорее всего, детский череп.

С этого и началось.

Возраст черепа установили в 35—40 тысяч лет. Вроде тоже интересная находка, как-никак она объяснила, что именно 40 тысячелетий назад берега Лены были обитаемы. Находка хорошо вписывалась в сложившиеся научные представления.

Можно ставить четкую точку. Но что-то заставило Мочанова копать глубже. Археологический бес интуиции шамански заманивал его вглубь, и в тот же сезон Мочанов наткнулся на эти чопперы, от которых повеяло куда более глубокой планетарной стариной, повеяло миллионолетьями. Площадь раскопок уже превысила 12 тысяч квадратных, тщательно под метелочку просеянных, исследованных метров, в сезон раскопок на работах набирается до ста человек, в основном студентов. Поиск ведется уже на третьей, самой верхней террасе.

— Трактор мне нужен, — выразительно проводит ладонью по горлу Мочанов. — Катастрофически не хватает бульдозера.

Диринг-Юрях — место безлюдное, труднодоступное, выклянчить бульдозер трудно, еще сложнее пригнать его сюда. А вскрышные работы требуются серьезные.

— Академическое производство, — бросает Мочанов гневно, — средневековье.

Как его не понять, ведь он вынужден разрываться между наукой — теорией с непредсказуемыми последствиями и наукой-про-

изводством, где все решает дефицитный бульдозер. Очень уж не сопрягается безнадежно-бульдозерная современность с проблемами вечности Диринг-Юряха. Прежде чем убеждать маститых академиков, ему надо убедить бестолкового соседа-председателя мало-мощного колхозника.

А он вполне созрел для дискуссий куда более масштабных.

Диринг-Юрях выводит на пересмотр сложившихся взглядов не только археологов, но и генетиков, антропологов, палеогеографов, биологов, философов. Знаменитый патриарх отечественных генетиков академик Н. Н. Дубинин, который уделил Мочанову несколько часов для ночной беседы, признал, что стимулы природных испытаний точнее вписываются в генетические теории эволюции человека. На языке генетиков это звучит так: не скачок, а развитие обычного запаса прочности и последовательность рядовых мутаций создали человеческий организм. Напрашивается естественный резон: на Диринг-Юряхе должна бы работать не просто археологическая, а комплексная, как бы поточнее ее обозначить, археолого-биологическо-генетико-философская экспедиция. Но пока со стороны Академии наук особых встречных движений нет, как будто речь идет о вполне заурядном открытии.

Древнейшему примату вряд ли пристало быть тропическим сибаритом, это явно труженик сурового климатического пояса, только неистовый трудяга мог пробить себе тропу в дремучих дебрях человеческой эволюции.

Долгое время считалось, что древний человек появился в Сибири сто тысяч лет назад. Потом в предгорьях Алтая академиком А. П. Окладниковым была обнаружена стоянка на берегу речки Улалинка.

Обжитая человеком сибирская история прибавилась сразу на 600 тысяч лет. Ну, а Диринг-Юрях вообще обосновывает сибирские приоритеты в планетарном масштабе, в заселении планеты, в эволюции живой жизни и разума.

Гляжу на Мочанова. Даже за недолгое время знакомства трудно понять, что человек он ершистый, не всегда сдержанный, в формулировках не стесняется, вообще на слово резкий. Своих оппонентов почти ласково обзывает «фанерными мозгами».

Ему, пожалуй, уже не стать другим.

— Годки-то считанные, — произносит он, и в глазах тоска, — считанные годки-то остались.

Боится, не успеет. Работы-то еще большой воз, а ведь он пока и монографию оформить не успел, только пуд полевых отчетов написал. Каждый том этих отчетов — весомый кирпичик в основании здания знаний о человечестве. Если он даже в чем-то ошибся, его ошибка плодотворна.

В юности мы все мечтаем о великом, думаем, что предназначены для великого. И если шанс свершения судьба вдруг предоставит, всегда ли мы готовы?

Я гляжу на Мочанова, понимаю, что он за эти годки пережил в себе не только «взрыв» археологической бомбы, он пережил взрыв ответственности... перед наукой, перед человечеством. И отступить ему некуда, хотя ноша, наверное, непосильно тяжела.

А вообще — счастливый человек, хотя вряд ли позавидуешь его глобальным проблемам. Но только ничтожный человек отказывается от дара богов. Он себе этого позволить не смог.

Определяю (или отрекусь?) сразу: оценить открытие Мочанова трудно хотя бы по той простой причине, что ученый еще не оформил результаты исследований, не обобщил в цельной работе. С полевыми отчетами не каждый специалист имеет возможность ознакомиться, поэтому коллеги, зная об открытии понаслышке, торопятся судить предвзято.

Я заинтересовался мнением известного московского археолога из академического института археологии, специалиста по Сибири, доктора наук Михаила Косарева.

— Я не знаю всех деталей, но знаю Мочанова, — признался Михаил Федорович. — Он не может блефовать, он все делает серьезно. Привыкнуть к тому, что он утверждает сегодня, понятно, непросто, но комплексно изучить дириг-юряхский феномен необходимо. Та страсть, с которой Юрий Алексеевич защищает свое детище, многого стоит.

...Как было не побывать на историческом Дириг-Юряхе!

Археологи — ведь на дворе уже октябрь — экспедицию свернули, сезон закончили. На Дириг-Юряхе уже никого, но я подготовил капитана «Сибирского-2» Николая Осипова, и он рискнул тормознуться на незапланированную стоянку. Мне понравилось, как он оговорился, объясняя по громкой связи сбор команде:

— Вас ожидает первая стоянка человечества.

Грубоватый капитанский юмор, очаровательная оговорка.

А может, и вправду: первая? стоянка? человечества?

Мочанов в Якутске начертил мне четкую схему раскопов, но мы, выйдя на берег, взяли слишком вправо, сбились, заплутали в хвойном лесу, где земля была желта от лиственничной хвои. Пошел плотный снег, попутно он сбивал хвою с деревьев, и выглядел таежный ковер особо уютным — бело-желтым.

Пока мы блуждали, резко сменилась погода, похолодало, вечерело, резкий ветер понес снегопад. Мне это показалось не случайным. Разве может на встрече с вечностью погодный фон быть обыденным? Да, только так: нужен древний холод, рвущий ветер, резкий снег в лицо, чтобы помнить, как трудно приходилось человеку, впервые разведшему костер. Освежающий глоток вечности: жил суетно — прикоснулся к вечности человечества.

Только здесь мне стала понятна убежденная мочановская фраза: да только чтобы издали взглянуть на это место, человек заплатит любые доллары, драхмы и йены.

Дорогого стоит факт прикосновения к вечности, простая мысль-воспоминание: я там был...

Сами археологические раскопы на вершине холма выглядели вполне обычно, напоминали окопы, затейливую фортификацию научного поиска, но заглянуть в красно-коричневый разверстый зев суглинка научной ямы — словно заглянуть в вечность.

Раскопы припорошивало снегом, к вечеру их уже окончательно занесет. Припозднись, появишься мы здесь завтра, кроме снега, в этой суровой колыбели человечества, ничего бы не увидели.

Мои спутники — молодые ленские морячки, кажется, были разочарованы. Что они тут хотели увидеть — пирамиды Тутанхамона? Но миллионолетья оставляют нам только камни, следы на камнях, не человека — только неявные следы присутствия его.

С вершины открывается захватывающе-неоглядный простор реки, угадываемые в снежном тумане прячущиеся ленские берега. Эстетику свободного пространства человек, кажется, ценил всегда.

У подножия приречного холма течет крохотный ручей, давший название открытию, — Диринг-Юрях. Он уже подзамерз. Но как все горные ручьи, замерз как-то витиевато, манерно, изысканно, холод схватил движущуюся воду. Фигурно, прямо на бегу, на лету, серебро-льдистая лента рассекает еще не заснеженный холодно-то-зеленый брусничник.

Обычный ручей. Запомнить бы его имя — Диринг-Юрях. «Глубокий». Из вечности вытекает.

Недавно американский журнал «Сайенс» опубликовал статью археолога М. Уотерса. Вот ее резюме:

«Американские ученые обнаружили подтверждение открытия советского археолога Юрия Мочанова о существовании в Сибири удивительно развитого племени пещерных людей 300 тысяч лет назад.

Более 300 тысяч лет назад эти люди обладали удивительно развитыми навыками охоты и рыбной ловли, изготавливали одежду из шкур и жили в пещерах, причем не где-нибудь в Африке, а в... Сибири, в 400 километрах от Полярного круга. Впервые о существовании этого племени заявил советский археолог Юрий Мочанов, начавший раскопки еще в 1982 году. Ученым из Техасского университета удалось определить возраст обнаруженных при раскопках группы изделий из камня.

Используя современные технологии «улавливания электронов» в мельчайших частицах кварцевого песка, глава американской экспедиции Майкл Уотерс и его коллеги подтвердили древность находок Мочанова. Ранее среди ученых было распространено мнение, что навыки выживания при столь низких температурах, какие бывают в этой части планеты, были недоступны древнему человеку и выработаны лишь около 100 тысяч лет назад. «Теперь, очевидно, придется пересмотреть свой взгляд на древних «хomo сапиэнс», — убежден Уотерс. — Эти племена были гораздо более развитыми, чем предполагалось ранее».

Как отмечается, 300 тысяч лет назад климат в Восточной Сибири незначительно отличался от нынешнего, по крайней мере, почва зимой промерзала в глубину на метр. Для существования в таких условиях древние люди должны были, несомненно, поддерживать огонь, изготавливать из шкур и мехов животных одежду и обладать весьма совершенными орудиями охоты на мамонтов, которые, как предполагается, жили в то время в долине реки Лены.

Понятно, американцы — народ осторожный, страхуются: 300 тысяч лет — это не 2 миллиона 200. Но и 300 тысяч — это срок!

Придет время — полностью согласится с мочановскими вехами человечества.



Хранители вечности

Мимолетных встреч на ученых (в том числе и международных) конгрессах и конференциях бывает немало. Но и нечасто они запоминаются надолго. Однако сухопарого (так говорят у нас в Сибири, в Америке, наверное, сказали бы поджарого) палеоантрополога Криса Тернера я запомнил надолго. Он за время нашего дежурного, ординарного интервью произнес две выдающиеся фразы и поведал об одной всемирной находке.

Первая фраза звучала так:

— Чтобы планета сохранилась, человечество должно перейти из городского состояния в деревенское, мир должен стать природной всемирной деревней. Современные коммуникационные системы помогут это сделать.

Запомним, но акцентироваться не будем.

Вторая фраза была такой:

— Сибирь («Сайберия» — так это звучало в подлиннике) — последний резерват человеческой планеты.

Честолюбие меня заедает, и, пожалуй, я должен признаться, что являюсь соавтором этой блестящей формулы.

Произошло это так.

Крис говорил на английском, которого я, естественно, не знаю. Тернер мучился, подбирая подходящие слова для ответа на мой вопрос:

— Ведь у человечества на планете, кроме Сибири, больше не осталось природного ресурса?

Переводчик мучился синхронно: что-то у них с «ресурсом» не выходило. Я уточнил:

— Резерв...

Крис понял без перевода:

— Да-да. Резервация.

Переводчик уточнил: естественная резервация... Резерват.

Если где-то эта формула: «Сайберия — последний резерват планеты» — будет употребляться, мне понятно, хотелось, чтобы

она звучала так: Тернера — Омельчука. Может быть, даже так: Омельчука — Тернера.

Это ж так важно подсказать ученому с мировым именем четкую формулировку. Именно от Криса Тернера, а конференция проходила в Новосибирском академгородке под патронатом академика археологии Анатолия Деревянко, я услышал: именно Крис поведал, придав своему сообщению соответственно трансконтинентальное значение, о сенсационной находке на берегу алтайской речки Сибирячихи. Оказывается, в университете штата Аризона, где работает Тернер, современными методами исследовали археологические находки — костные останки тех, кто первым начинал освоение сибирского пространства, Крис Тернер считает, что первая человеческая стоянка в пещере на берегу Сибирячихи появилась, как минимум, 25 тысяч лет назад. Как минимум — 25 тысячелетий. Есть оптимисты, которые полагают, что эти места были обитаемы разумными существами более сорока тысячелетий.

Не знаю, как на вас, на меня такие сообщения действуют обжигающе, зажигающе, исподволь в каком-то затаенном сусеке души начинается осязаемое грызение: ты будешь последним сукиным сыном, если не побываешь на этом самом месте. Быть современником такого события и не посмотреть, где оно случилось. Зуд разрастается, душа воспаляется, и в конце концов становится совершенно ясно: жизнь прожита напрасно, если на этом существенном месте не побывать. Конечно, лучше бы ринуться сразу, но, наверное, придется дожидаться отпуска...

В моих руках хороший путеводитель — сборник «Археология и палеоэкология Горного Алтая», выпущенный специально к международной археологической конференции. Пещере Окладникова, именно так она отныне именуется, в сборнике посвящен основательный и солидный раздел. Но всегда лучше получить путевые наставления от знающего человека, тем более, чтобы попасть на Сибирячиху, нельзя миновать Новосибирск, а заехать в Академгородок — пара пустяков. Академика Деревянко на месте нет, приходится довольствоваться «только» членом-корреспондентом Академии. На солидного членкора Владимир Иванович Молодин не тянет: то ли еще не приобрел академической импозантности, то ли никогда не стремился к ней. Он русобород, моложав и, как все выдающиеся сибирские ученые, несколько небрежен в манерах. Да, он тоже занимается алтае-сибирскими древностями и был в той памятной экспедиции 1984 года вместе с академиком Деревянко. Археологи не сами вышли на эту пещеру, в институт пришло письмо от жителей села Сибирячиха, и их просьбу решено было проверить, ведь на берегах протекающего здесь Ануя обнаружен целый комплекс выдающихся археологических памятников. Местные жители повели гостей в пещеру на околицу села, но при ближайшем исследовании она оказалась пустой. Неудача? Можно запаковывать рюкзаки? Но кто-то из местных патриотов, явно раздосадованный «продуктивностью» родных пещер, подсказал, что неподалеку, у зверофермы, есть еще одна пещерка, в которую археологи не лазили. Чтобы не мучить себя сомнениями, решили проверить и второй заказ. Молодину пещера показалась невыразительной, он для себя обозначил ее романтическим словечком «грот» и на удачу не рассчитывал. Но удача посветила сразу. Первый нуклеус-скребло, и довольно быстро, нашел сам Деревянко. Он — великий скромница и никогда не рекламирует себя. У

него прирожденный нюх. Сразу решили поставить шурф, он принес еще несколько открытий, и пошло...

— Кто же нашел косточки? — допытываюсь я.

Молодин, видимо, прекрасный знаток научной иерархии и дипломатии, отвечает обтекаемо:

— Приоритет руководителя всегда обязателен. Кто из отряда нашел то-то или другое — это только вопрос внутреннего распорядка. Цели и задачи ставит руководитель программы, все остальные — исполнители. Повторяю, Деревянко — великий скромница.

Памятник в сибирячихинской пещере, по мнению Молодина, несомненно выдающийся. Антропологические находки в этом районе еще вероятны и возможны. Сибирь здесь всех своих сюрпризов еще не выказала, так что с берегов Ануя и Сибирячихи можно ожидать новых сенсаций.

Что я найду на Сибирячихе? Ничего. Работы там давно свернуты. Но пещера, естественно, на месте.

Этого достаточно.

Сибирячиха — это еще не Горный Алтай, лишь его северные предгорья. Чтобы добраться туда, надо стартовать из райцентра Солонешное. Из Барнаула самолеты не летают: совсем недавно на местном аэродромчике рухнул обветшавший заборчик, самолет столкнулся с недисциплинированной, нашедшей новый выпас свиньей. Кто пострадал, мне выяснить не удалось, очевидно одно — пилоты на Солонешенский аэродром с его откровенным «свинством» летать отказались. Едем автобусом: сначала кончается асфальт, потом маломальская бетонка, потом на полупорной трясушке иссякает последнее терпение. Хотя весь Алтай — бывшая царская усадьба, труднодоступно-глуховатых мест здесь еще немало. В Солонешном мне нужно разыскать Алексея Мартыненко, здешнего зава райотделом культуры. В райцентре нет бензина, кое-как отстрадали уборочную страду, а сейчас полные кранты. Идем к председателю райисполкома, чтобы раздобыть необходимые тридцать литров. Хорошо было первобытным сибирякам — никаких проблем с горючим и транспортом. Предрика расщедривается, а уж Мартыненко постарается под эти 30 литров успеть решить все свои проблемы в районе. От Солонешного к Сибирячихе мы едем на каком-то грузовичке-карапузе, кургузом автомобильчике-автоклубе — это, видимо, последнее слово отечественного культуртрегерства. Но в горах автокарапуз оказался на редкость уместным и удобным: его фургон со всех четырех сторон прозрачен, со стороны, наверное, напоминает аквариум, понятно, что болтающимися рыбками в нем были мы, значит, на все четыре стороны все видно. Солонешенские холмы — предисловие гор, точнее даже так — предвосхищение гор. Бесподобная позднеоктябрьская осень оставалась позади в долине: голые, безлистые, печально-сквозящие леса. На некоторых вершинах повыше тучи уже зацепились и оставили после себя снежный след. Обок у дальних хребтов постоянно оставалась чреватая (от корня «чрево») туча — она тоже явно беременна снегом. Но к концу дня развиднеется, и на обратном пути нас озарит сияние голубого небесного торжества, и к этому сиянию добавлялась столь же праздничная ослепительная белизна дальних вершин. Алтай, конечно, хорош в любую погоду, но в незабываемом великолепии, понятно, только в нимбе небесно-голубого. В Сибирячихе я заметил приметный монумент и на мгновение поразился: неужели здешние жители успели отметить этот нео-

рдинарный факт, что здесь рядышком отыскались останки самого наипервейшего сибиряка? Но мое радостное удивление было чрезвычайно кратковременным: при ближайшем рассмотрении достаточно уродливый обелиск оказался дежурным монументом «Вы отстояли — мы сохраним». Да, будь здесь памятник нашим древним пращурам — это был бы раритет на весь мир. Не додумались...

Искомая гора с пещерой находится за околицей поселка, и за поворотом — само село Сибирячиха. У подножия пара каких-то полубичевских домиков да полуразрушенные сооружения фермы за жердяными загородками.

Мартыненко со своими симпатичными библиотекарями поехал дальше, в дальний поселок, а я остался на развилке дорог.

— Вот тебе куда, — указал Алексей на выделяющуюся горку.

И вот что предстало пред моими глазами: гора, на которую мне предстояло забраться, представляла из себя огромный дот, она была огрузла, осажена, вживлена в землю, но в то же время выделялась от остального массива невысокого здешнего хребта. Что она мне сразу напомнила? Лоб. Человеческий лоб, хотя, может, не очень походила на него. Но ощущалось в этой горе мыслительное усилие, это была какая-то каменная думающая шишка, умственный надолб. Я еще поразился, почему археологи долго проходили мимо нее: она же просто бросается в глаза, притягивает к себе, приманивает, напрашивается, завлекает. Я ничего более выразительного среди окружающих гор не встречал. Чего еще нужно этим капризным археологам! Резкий, угольный, мрачно-привлекательный выем в середине горы как бы предсказывал присутствие человека, но не того, что эгоистично безобразит природу, а того, кто умел вписываться в нее, вписываться незаметно и естественно. Так, издали, с берега не крупной Сибирячихи, смотрелся первый форпост сибирского человечества. Забраться к навесу пещеры не особенно трудно. Верхняя граница навеса идеально (для камня) ровна, и этот ровный разлом должен был притянуть к себе взгляд любого разумного гуманоида. Гора звала к себе под кров и защиту. Накрапывал дождь, но сюда, под этот навес, конечно, не попадал, даже сырости не ощущалось, наоборот, какой-то островок пряной, пыльной сухости. Первый хозяин был не только практичен, но наверняка эстетическое чувство явно не было ему чуждо. Трудно выбрать место красивее: передо мной простиралась обычная и прекрасная панорама — веером расходились пять невысоких вершин в оголенных березовых лесах, перемешанных с темными пятнами кустарников на давних горельниках. Зеленое озимое поле овальной формы наряжало эту картинку, прихотливо ее разнообразила Сибирячиха в кружеве своих многочисленных здесь узких русел и стариц. По ту сторону дороги мирно паслись коровки, ржали кони, гоготали дальние гуси. Окрай долины матерно разговаривал с непослушными бычками усталый пастух, явственно скрипнула дверь в ближнем домике. Все это слышится как будто рядом, до оттенков, даже хриплая пропитость простуженного пастуха. Пещера, как нечаянно выяснилось, настоящая ловушка звуков, и для первых ее обитателей это наверняка немаловажно. Конечно, эти явственные звуки могут напугать, но они же и должны насторожить, предупредить о приближении всего подозрительного. Я вдруг рядом услышал многозначительное покашливание, круто обернулся — рядом никого не было, и до меня не сразу дошло, что на крыльцо нижнего домика вышла женщина, это она и кашлянула. Но до нее, как мини-

мум, было добрых полкилометра. Настоящий локатор долины эта пещера.

Сверху гора как бы полита расплавленной магмой, и этот расплавленный камень прикрыл мощный карниз-козырек. Творец-архитектор здесь нечаянно позабавлялся, сооружая это выразительнейшее прибежище для беззащитного древнего человека. Потолок навеса плотно продымлен, в слой каменной сажи уже попала почва, и прямо в вековой копоти прорастают какие-то неприхотливые растеньица. Одно, нежное и хрупкое, я осторожно снял и положил в археологический сборник меж страниц, там, где мне поставил свой автограф Крис Тернер. Копоть ли это давних первобытных костров? Трудно судить. Наверняка, сибирячихинские ребята давно облюбовали эту мыслительную шишку и жгут здесь костры и в дождь, и в ведро. Но, понятно, мне хотелось верить, что у потолочной копоти древнее происхождение.

Кстати, три костных фрагмента, обнаруженные здесь археологами, — это моляры — молочные зубы. Тернер определил, что принадлежали они явно не взрослому человеку, а подростку. То есть первый сибиряк, который подал о себе весть из многотысячелетнего далёка, — скорее всего мальчишка. И в связи с этим мое внимание привлекло вот что. Речку Сибирячиху местные жители издавна называют более нежно — Сибирячонок. По крайней мере, библиотечкариши, с которыми я ехал в автоклубе-аквариуме, иначе ее и не называли. Не огружая этакая Сибирячиха, а вот эдакий верткий, прыткий Сибирячонок. Вот мне и хочется назвать того первожителя этой пещеры тоже так, даже не сибирячок, а сибирячонок. Понимаю, что это не всегда научно, но кто мне запретит, я же не научные термины ввожу в обиход ученых мира. Да и не случайной мне кажется находка именно по реке Сибирячихе. Имя у нее весьма уместное для Сибири, поэтому по всем законам логики именно здесь и должно было состояться открытие. Ануй еще может показать себя, но первое открытие должно было состояться именно на Сибирячихе, если мы верим в логику и целесообразность мира.

Нет, конечно, можно знать, что где-то состоялось важное археологическое открытие, чтить это место, но жизнь покажется явно обкраденной, если не помотришь на все своими глазами. Ну я, допустим, услышал хриплый мат совхозного пастуха, но мой-то дальний предшественник — за 42 тысячи лет — в этой пещере мог отчетливо услышать шаги и шорохи приближающихся зверей или врагов...

Схема пещеры у меня была с собой, ходы здесь короткие, неглубокие, наверняка не могли вместить многих людей, возможно, здесь постоянно находились только те, кто сторожил людный род. В гротах и ходах я, естественно, уже ничего не обнаружил, взял только на память пару исторически замшелых камешков. Но чувство, что я побывал на этом знаменитом месте, сильнее всяких находок. На всю жизнь в памяти останется и посещение Диринг-Юреха, и посещение сибирячихинской пещеры. С Сибирячихи я явно возвращался большим сибиряком, чем до путешествия сюда.

...Я лазал не просто по алтайским взгоркам, а по местам, освященным тысячелетним присутствием человека, и, естественно, это не могло обойтись просто так. И вот когда я спускался с вершины «мыслительного лба палеолита», что-то заставило меня резко и внезапно обернуться. Кто-то пристально наблюдал за мной, да не просто наблюдал, а сверлил меня взглядом. Напротив была вершинка

и тоже с отметинами неглубоких пещер. Неужели кто-то притаился в первобытной пещере? Сразу, как только я спугнул двух голубей и они резко сорвались с места, заставив ощутимо екнуть сердчишко, я понял, что у этих непростых мест должен быть хранитель, лорд-хранитель обычной человеческой вечности. Я стал кидать камни в пещеру, но оттуда никто не показывался, не вылетал, хотя поначалу я какой-то тревожный писк слышал. Я все время напряженно ждал, как же себя он проявит, этот таинственный хранитель. Он долго не появлялся, но потом все же обнаружил себя, проявил и наглядно, и достаточно нагло. Сверлил меня взглядом с уступа на соседней вершине... крупный баран с витыми, закрученными вниз рогами. Потом я узнал, что здешних горно-диких баранов именуют бунами. Но своему наглецу я сразу присвоил кличку — лорд Архар. Лорд Архар пристально и несколько презрительно наблюдал за моими невразумительными действиями и прыжками. Ясно — это вечность следила за непосвященным пришельцем красноватыми глазами навывкате. С этим нельзя было смириться. Я почувствовал себя древним приматом, современником тех пацанов, чьи моляры — молочные зубы — отыскал академик Деревянко. Я схватил остроконечный камень (Молодин явно бы назвал его нуклеусом) и ринулся вниз в лошину, чтобы подняться на вершину наглого Архара. Подъем оказался не слишком тяжел, но все же достаточно крут, время от времени я поднимал глаза вверх, чтобы встретиться с наглым взглядом круторогого сторожа. Я смело лез вперед, но чуточку откровенно подтрушивал: я назвал его бараном, но ведь он мог оказаться каким-нибудь агрессивным козерогом, изюбром, архаром. Как поведет себя зверюга? Может, он поджидает, чтобы со своего выгодного плацдарма наверху поддеть меня извилистым рогом, и тогда никакой нуклеус не поможет. Но что-то неудержимо влекло меня вперед, за мной была моя родная пещера, и я должен был защитить, что ли... Одним словом, что-то я был должен... На самом подходе к скале камни перекрыли вид на горделивого хранителя. Уж не делает ли мой противник обходные маневры? Но нет, кончик рога мелькнул наверху. Потом он снова исчез, мелькнул. Я выскочил у скалы, но моего оппонента на камне-подставке не оказалось. Может, его совсем не было, просто разыгралось исторически историческое воображение? Нет, не привиделось. И пожалуй, лорд-хранитель священных пещер обомлел больше, чем я. На осклизлом после дождя холодном камне чуть парила кучка... я бы так вежливо сказал, овечьего помета. Сам архар лежал по другую сторону новой лошинки, хмурил на меня свой красивый глаз. Увидев меня, он поднялся, еще раз пристально взглянул и лениво пошатал вверх по горе. Кажется, я был ему просто неинтересен. Но я уже чувствовал себя победителем, это пространство оставалось за мной, и я имел полное право рассматривать пещерный навес как защищенную собственность, мог делать это спокойно, по естественному праву сильнейшего. Когда я спустился и пересекал отделяющую долинку, оглянувшись назад, увидел на бараньем камне птицу. Наверное, это был дикий голубь, может, простая совсем сорока, но мне хотелось верить, что место хранителя занял настоящий орел.

...Жизнь человека на земле, говаривал мой любимый сибирский публицист Николай Ядринцев, движется только любовью к роду человеческому, женщине и родным местам.

Сибирский транзит Христа

Как-то давно в старых «Известиях» промелькнула заметка токийского корреспондента. Я заметку вырезал и стал дожидаться: может быть, появятся какие-то отклики, возражения, опровержения, новые версии, подтверждение гипотезы. Но уже прошли годы, и заметка на заметно желтеющей бумаге канула в благополучную газетную Лету. А ведь вроде должна была состояться мировая сенсация. Но даже попытки опровержения не существовало.

Сегодня я хочу вернуться к этой напрасной, состарившейся заметке. Почему? Наверное, гордыня заедает. Или...

Очень давно, еще в пору сплошного тотального атеизма, от верующего знакомого старика услышал запомнившуюся фразу: Сибирь — страна богоспасаемая. Не понял, но запомнил: богоспасаемая. Почему старик так говорил?

Но все-таки приятно жить в стране богоспасаемой. А так как дело касается не кого-нибудь, а Иисуса Христа, вернемся к несостоявшейся сенсации в давних «Известиях».

«Христос не был распят, он почил в Аомори...».

«Впервые я услышал о том, что Иисус жил в Японии, года полтора назад во время какой-то застольной беседы, участников которой сегодня толком не помню, — писал известинский собкор Сергей Агафонов. — Прошло изрядно времени, и вот опять зашел разговор о японском житии Христа, на этот раз в устах коллеги из агентства «Рейтер», которая указала, в частности, на ряд конкретных географических ориентиров, выводящих на «цель». В итоге после не слишком изнурительных поисков всплыл нужный адрес — префектура Аомори на севере острова Хонсю, деревня Сингомуре. Именно здесь, по преданию, покоятся останки легендарного Иисуса, именно здесь жили его потомки».

Журналист уточняет: «В сегодняшней Сингомуре 4250 человек, среди которых нет ни одного христианина, но обычаями и лингвистическими нюансами деревня действительно резко отличается от соседних сел. Из глубины веков до наших дней дошла до здешних обитателей традиция вышивать пеленки новорожденным черным. Даже своих пап и мам дети Сингомурсы называют не привычными японскими словами, а загадочными «апа» и «ая», что никак не переводится на японский, но зато созвучно родному языку Христа».

80-летний Томэкичи Симототидана — единственный оставшийся в живых свидетель и непосредственный участник «христовых поисков» 1935 года. Он рассказал мне, что «бум Иисуса» начался после уникальной находки в префектуре Ибараки, когда в архивах синтоистского храма Кесоходай-дзингу были обнаружены древние свитки, содержавшие в себе упоминание о Христе.

Что в них значилось? Как вспоминает Симототидана-сан, видевший свитки в оригинале, древний летописец утверждал, что Иисус Христос дважды приезжал в Японию: сначала он жил в горах префектуры Яманаси, где постигал философию синтоизма, потратив на это около 10 лет и вернувшись затем в Палестину, а потом, после того, как начались гонения на христианство, вернулся на Японские острова вновь, поселился в Сингомуре, дожил до глубокой старости и скончался в возрасте 106 лет, оставив вдовой свою жену Юмики и трех дочерей. Согласно свиткам, у Иисуса был родной брат Ишкири, который и принял мученическую смерть на

кресте в то время, как сам Христос, вынужденный скрываться, совершил беспрецедентный переход через Сибирь, добрался до Аляски и оттуда на корабле приплыл в Японию, в порт Хатинохе, откуда до Сингомуря рукой подать».

Конечно, трудно представить, как почти две тысячи лет разыскивающий истины странник пробирался через дикую — тогда действительно дикую! — Сибирь. Ведь мы так мало знаем о Сибири на рубеже старой и новой эр. Не сохранилось ни одного свидетельства ученых путешественников о Сибири той эпохи.

Христос был первым?

Почему через Сибирь — неведомую, неизвестную? Ведь, напрашивается версия, морем, Средиземноморьем из Палестины куда легче и проще, хоть до Хатинохе, хоть до Аляски.

Но что заставило журналиста вывести слова: «Беспрецедентный переход через Сибирь» и сделать Христа, хотя и временным, но сибиряком.

А если представить этот сибирский транзит Христа?

Впрочем, каждый может пофантазировать сам.

Сергей Агафонов свой невероятный рассказ заканчивает так: «Хотя Иисус во время «японского жития» не оставил ни письменных, ни устных свидетельств о чудодейственных явлениях, его память в Сингомуре свято чтут, и каждый год в мае деревня отмечает праздник, посвященный легендарному «земляку». «Относиться ко всему этому можно, конечно, по-разному, — говорит на прощание Симототидана-сан, но люди ведь верят, да и древние рукописи, согласитесь, не лгут. Нет, Христос не был распят, он почил в Аомори...».

Статья напечатана под рубрикой «Гипотезы». Но японо-агафоновская гипотеза, как понимаю, развития не получила и продолжения не нашла.

Но давайте запомним, что по одной, не получившей распространения версии Иисус Христос, главный человек человечества, через Сибирь, именно через Сибирь, страну богоспасаемую, пробирался из своих Палестин в Японию.

Запомним.

На всякий случай.

Мало ли что...

Жизнь — штука сложная, и почему бы нам не считать себя земляками великого Христа?

В этой версии путешествия Христа меня ни что так не волнует, как вопрос: почему через Сибирь?

Что такое Сибирь две тысячи лет назад?

Непроходимое пространство.

Наверняка были более проходимые, освоенные, доступные пути.

Чем заслужила Сибирь эту богоизбранность?

Ответ я попытался найти у автора отечественной сенсации. Кто ж еще?

Сергей Агафонов ныне работает в «Новых Известиях». Современный офис крупной газеты — кабинет заместителя главного.

Отклик на мировую сенсацию, оказывается, было немного. Отреагировала Московская патриархия и Японская автокефальная православная церковь. Суть претензий: есть каноническая биография Христа, не нужно досужих версий, дабы не смущать умы верующих.

Реакция понятна.

Писали еще аляскинские сектанты: ведь по «японской» версии Иисус Христос прошел не только Сибирь, но и Аляску и уже оттуда попал на Японский архипелаг.

Сектанты просили адрес в Аомори.

Дальше — молчание...

— Есть какие-то доказательства, аргументы, что шел Христос именно через Сибирь?

— Конечно, нет, — разводит руками Агафонов. — Но не один из моих собеседников даже не ставил под сомнение — Сибирь, только сибирский путь. Это не подвергается сомнению. Принимается априори, другие варианты не рассматриваются.

— Чем можно объяснить стойкость этой сибирской версии?

— Не знаю. Но ведь многие японские антропологи, с которыми я встречался, исповедуют сибирский вариант формирования японской нации. На архипелаге сошлись выходцы из Сибири — сибирская ветвь, сибирская составляющая, плюс позднее присоединился полинезийский элемент, заселив Японский архипелаг, смешавшись, они и создали уникальную японскую нацию.

Как сегодня, по прошествии лет, журналист рассматривает свою давнюю сенсационную версию?

Скорее, скептически. Ни в чем не уверен. Времени на детальное исследование, понятно, в журналистской текучке нет.

Безусловно одно: сингомурская аномалия должна быть расшифрована. Обязательно ли это был Иисус? Но кто-то все равно был.



Сибирь — стержень космического миропорядка

Что означает слово «Сибирь»? Условимся сразу, что никогда-никогда! — окончательное значение этого слова установлено не будет — так происходит всегда, когда словесные корни уходят в глубокую, глубочайшую древность. Это вовсе не означает, что всякая попытка истолкования расшифровки бесполезна и бессмысленна. Сам поиск приносит много важного, познавательно-интересного, а иногда — мы помним по опыту — процесс важнее результата.

Кратко о двух персонах.

Григорий Николаевич Потанин — выдающийся российский демократ, путешественник, неистовый исследователь Азии, безусловный патриот Сибири, один из отцов-основателей в середине прошлого века т.н. сибирского областничества и пострадавший за сибирский патриотизм в царских тюрьмах. В конце жизни сибирский патриарх не принял советскую власть, потому советским официозом запрещался, забывался, забывался.

Василий Маркович Флоринский до советских лет не дожил, но партийным официозом тоже умалчивался. Хотя, казалось бы, никак перед этой властью не провинился. Он — основатель и строитель первого сибирского университета — Томского. Помимо основных, научных занятий, он был профессором медицины, известен как археолог, этнограф, публицист, историк и серьезный религиозный философ.

В 1889 году Флоринский в «Известиях императорского Томского университета» опубликовал заметку «О происхождении слова «Сибирь». Она привлекла внимание Потанина, который откликнулся размышлениями «О происхождении географического имени Сибирь».

События более чем столетней давности — стоит ли воскрешать? Но, во-первых, сибирская топонимика за целый век, к сожалению, далеко не продвинулась, а сами исследования Флоринского и версии Потанина очень интересны. Потанинская точка зрения к тому же попросту забыта.

Поэтому перелистаем пожелтевшие журнальные страницы.

Сначала Флоринский, его версия — в переложении Потанина.

«В первый раз имя Сибирь, кажется, встречается у персидского историка Рашид-эд-Дина (XIII век). Именно у него упоминаются области Ибир и Сибир; это имя, по-видимому, относится к нынешней Западной Сибири, так как рядом говорится о реке Иртыше, о киргизских степях и о башкирских (Башкурт). Те же названия — Ибир и Сибир — находятся и у другого позднейшего восточного писателя Абульгази.

Русские узнали имя Сибирь задолго до Ермака и придавали его не к становищу только Кучума или к речке Сибирке, как думали летописцы, а к целой области. В грамотах 1554 и 1556 уже упоминаются «сибирския земли», а о существовании Сибирского царства русским стало известно еще с конца XV века.

Еще до Фишера явилось предположение, что слово «Сибирь» славянского корня и происходит от «север», и Фишер старался опровергнуть его, но его соображениями нельзя удовлетвориться. Лингвист Шафарик производил слово «Сибирь» от гуннского племени Сабиры или Себеры, которое первоначально жило за Уралом, а потом переселилось на Дон и Волгу. Существовавший в X веке в Камской Болгарии город Сивар был памятью о расселении этого племени с востока на запад. В числе племен Поволжья, перечисленных в письме хазарского царя Иосифа, упоминаются племена сувар, север. Нет достаточных оснований разуметь под именем Сувар не северян наших летописей, а какое-нибудь другое, не славянское племя».

Потанин резюмирует точку зрения Флоринского, ясно высказываясь за славянское происхождение имени Сибирь: это славянское переименованное слово — «север».

«Теперь я перехожу к тому, что дают нам по данному предмету предания, поверья и сказки южной Сибири и Монголии. — Послушаем Потанина: он начинает высказывать свою, очень оригинальную точку зрения. — В одной сказке качинских татар и в одной кызыльцев встречается гора Сьюбур.

В монгольских и бурятских сказках и поверьях встречается гора Сымыр или Сумбыр. (Потанин знаток этих народов). Ковалевский дает такие монгольские версии этого имени: Сумир, Сумэр, Сумбэр, Сумбур. Если это имя не местного происхождения, а занесено из Индии, то оно сделалось чрезвычайно популярно в монгольском народе, проникло в монгольские сказки и приурочилось к некоторым горам Монголии, как географическое имя. По книжным монголо-буддийским сказаниям, гора Сумэру находится в центре вселенной. Это представление усвоено и народом, как видно из рассказов, записанных от простых неграмотных людей, но в последних иногда вершина горы Сумбыр сближается с Полярной звездой, которая по-монгольски называется Алтын-хатасунь — «золотой кол». Так, одна версия просто говорит, что Полярная звезда — «золотой кол» — находится на вершине горы Сумбыр, по другой — Полярная звезда есть золотая маковка храма, который построен на вершине горы Сумбыр. Такое сближение неизбежно, — полагает Потанин, — должно повлечь за собой новое приурочение горы Сумбыр, именно народное воображение должно помещать ее на севере, где видна Полярная звезда. Народ, конечно, не мог заметить проти-

воречия в подобных представлениях, которое бросается в глаза нам, центрально-мировое положение и северное легко могли отождествляться в народном воображении. Полярная звезда находится близ центра звездного мира нашего полушария, и в то же время она служила северным народам указателем севера во время перекочевков.

Эсхатологические темы, связанные с Полярной звездой, могут служить опорой этому сближению. По-видимому, в этой звезде первобытные люди видели основу мира: в ее подвижности заключалась прочность мирового порядка».

Соглашаясь с Флоринским, Потанин опровергает его:

«Если действительно в представлениях народов Восточной Азии существовало отношение между Полярной звездой и именами Сумбыр, Сумэр, Субур, Сьюбюр, то эти имена легко могли связываться представлением о севере, или о странах, лежащих на север от Средней Азии, и жители Хангая и долин Орхона и Селенги не нуждались в заимствовании с запада. Отсюда, из хангайской страны, или из Северной Монголии, этот термин распространился на запад, в Туркестан, попал в сочинения мусульманских писателей и мог даже очень рано зайти и в степи Южной России, а не наоборот, как представляет дело г. Флоринский», — опровергает Потанин.

Потанину надо доспорить с оппонентом, сначала признав его частичную правоту:

«Заметка г. Флоринского выдвигает факт, что русские знали имя Сибир до Ермака. Очень вероятно также, что городу Искер имя Сибирь придано русскими. Они знали сначала имя страны, а потом, узнав о существовании в ней административного центра, и к городу приложили то же имя. Что это имя было известно к западу от Урала, показывает каталанская карта (1375 г.), на которой обозначены горы Себур; они положены на карту в том месте, где проходит Уральский хребет.

Русские нигде не нашли в Сибири инородцев, которые бы называли свою родину Сибирью».

Потанин был не только патриотом Сибири, но и патриотом России. В науке, впрочем, это не повод, чтобы притягивать факты за уши.

Григорий Потанин опровергает славянскую версию Василия Флоринского. Но они едины — вы заметили? — в другом — семантически. И по версии Флоринского: Сибирь — страна Севера, и по версии Потанина: Сибирь — страна, связанная с Полярной звездой, страна Севера.

Мне потанинская версия нравится: «Сибирь — страна Полярной звезды». Мы помним, что давние наши, понятно же, сибирские предки в главной звезде северного небосвода искали основу, основоположность мира и зрели в ней мировой порядок. Несомненно, все это переносится и на саму страну Полярной звезды, каким бы образом ни получившей свое нынешнее имя Сибирь. Мы не меньше наших давних предков-сибиряков прекрасно представляем, что и сегодня Сибирь — основа мира, основа планетного миропорядка. Хорошо, чтобы это уразумели и все остальные. Не правда ли?



Великий хантыйский путь

Откуда они пришли?

В отечественной исторической науке, в этнографии утвердилась версия об алтае-саянском происхождении самодийских народов: ненцев, селькупов, нганасан, энцев. Гипотеза по имени создателя называется теорией Фишера—Кастрена. Именно они собрали первоначальные данные, положенные в основу этой научной версии. Ее поддерживал и выдающийся российский этнограф Георгий Николаевич Прокофьев, придавший ей не только строго научный, но и эстетически стройный вид, приведя убедительнейшие аргументы в пользу того, что свой путь на север самодийцы начали от отрогов Саян и Алтая.

Однако любая гипотеза остается научной версией, в которой существуют неизбежные неясности, не позволяющие считать ее бесспорно доказанной, абсолютной аксиомой. В древнейшей же истории самодийцев «белых пятен» слишком много. Это и заставляет современных историков не только развивать гипотезу Фишера—Кастрена, но и выдвигать контраргументы и свои версии.

Одна из версий принадлежит известному археологу, директору Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Союзной Академии наук, академику Алексею Петровичу Окладникову. О теории Фишера—Кастрена он отзывался весьма почтительно, считая, что Кастрен создал основу, «определившую целую эпоху». Кастреновы доказательства предполагали, что «на далеком Востоке», в глубинах Азии и находилась общая прародина не только самодийских, но, естественным образом, и всех финно-угорских племен, «ибо Кастрен к тому же установил несомненное языковое родство самодийских и финно-угорских племен».

Однако, приподняв почтительно шляпу, Окладников предположил прямо противоположное.

«Рассуждая логически, — полагал он, — в такой же мере возможно и обратное предположение, то есть мысль о том, что родина всех финно-угорских племен находилась не на востоке, а где-то на

западе и что они пришли не с Енисея к Уралу и далее, к берегам Балтийского моря, а наоборот».

Чтобы аргументировать свою версию, Окладников проанализировал солидную группу археологических памятников различных эпох, найденных на территории от Байкала до Карелии, и, обнаружив в них те характерные черты, которые могут говорить о некоей общности, или же, наоборот, о различии. На этой основе он и сформулировал вывод о тех процессах, которые происходили в древнейшие времена и привели в конечном итоге древние племена на сибирский Север.

«На востоке, — считал Окладников, — жили древние монголоидные — по их физическому облику — племена. На западе жили племена изначального европеоидного облика. Процесс смешения европеоидов с монголоидами востока начался, вероятно, задолго до неолита, еще в верхнепалеолитическое время...

Должно быть, уже тогда в этой зоне контакта на территории между Уралом и Енисеем возникло смешанное в антропологическом отношении население, начал формироваться так называемый лапоноидный, или уральский антропологический тип, совпадающий, как известно, в значительной мере с носителями уральских и финно-угорских языков».

Историк называет процесс смешения древних племен востока и запада «грандиозным по времени и территориальным масштабам». Конечно, детали древнего процесса наука восстановить вряд ли сможет, но по находкам археологов можно сделать строгие и определенные предположения.

Версия Окладникова о появлении самодийцев на сибирском Севере в окончательной формулировке выглядит так:

«В результате проникновения западных племен на Енисей, начавшегося, быть может, еще в палеолите, так и появились предки самодийских племен, которые впоследствии, после возникновения оленеводства, снова распространились на северо-запад, в более удобные и богатые оленьими пастбищами места».

Окладников попутно отвергает теорию Фишера—Кастрена—Прокофьева.

«В Саянах и на Енисее, следовательно, — считает он, — не было никакой прародины финно-угорских племен и, в частности, самодийцев. Древняя родина всех их — лесное и лесостепное Приуралье, как западное, так и восточное, а также соседние с Уралом лесные области Восточной Европы».

Утверждение смелое, но, как заметит и непрофессионал, излишне не аргументированное.

Подойдем к проблеме с другой стороны.

Взгляните на карту Западной Сибири: она пестрит названиями рек, которые заканчиваются одинаково — на «ёган». Слово может варьироваться: ега, ёгон, ягун, юган, даже игай и игол. Но во всех хантыйских диалектах слово это означает одно и то же — река. Но если с севера спускаться по карте на юг, то южнее рек Вах и Васюган мы знакомого «речного» окончания не увидим. О чем это говорит, о чем свидетельствует?

«Как видно по названиям на ёган, ханты шли с северо-запада на юго-восток. Последней юго-восточной границей проживания ханты являются реки Вах и Васюган».

Этот вывод принадлежит томской лингвистке Людмиле Калининой, которая занималась специальными исследованиями хантыйской

топонимики на территории Западной Сибири. Она совершенно определенно заявляет, что ханты пришли в Западную Сибирь исторически сравнительно недавно, шли с северо-запада, значит, из-за Урала, следовательно, Сибирь не столь давно стала их родиной. Мысль исследовательницы четка и понятна: если бы ханты двигались на север, продвигаясь постепенно с обжитых южных территорий, это должно было отразиться в топонимике. «Еган» принадлежит к разряду тех прочных гидронимических следов на карте, которые оставляет любой народ, обживающий свободную территорию.

Итак, ханты по происхождению (и по Калининой) — европейцы и сибиряками стали не столь давно, явно в новую эру. Так можно кратко сформулировать вывод Калининой. У ее гипотезы есть немало сторонников, она подкрепляется не только топонимическими материалами, но и лингвистическими, этнографическими, биогеографическими. Но означает ли это, что совершенно определенно и бесповоротно доказан путь древних угров, предков ханты, из Европы через Урал в Сибирь?

Не будем торопиться...

«Образуется как бы непрерывная цепочка: Хакасско-Минусинская котловина (южные хакасы) — Северный Алтай (северные алтайцы) — река Томь и Средняя Обь (телеуты и сибирские татары), а ниже — обские угры (в первую очередь ханты).

Это и есть путь движения раннеугорских племен из Хакасско-Минусинской котловины на Среднюю Обь».

Эта версия принадлежит известному археологу, доктору исторических наук Леониду Романовичу Кызласову. Берем на заметку мысль ученого о том, что предки ханты — раннеугорские племена — двигались из Минусинской котловины, а это Присаянье, через южный Енисей и Алтай на Среднюю Обь, то есть двигались с юго-востока на северо-запад. Кызласов, таким образом, утверждает совершенно обратное противоположное тому, что говорит Калинина. Парадоксально?

Но дочитаем Кызласова до точки: «Такой путь подтверждается и данными топонимики».

Звучит почти невероятно, но дабы доказать собственную гипотезу, Кызласов также в качестве основного аргумента берет слово, обозначающее в том же хантыйском языке «большую реку вообще». Еган? Нет, Кызласов берет слово «ас». Ну, во-первых, главная река ханты Обь по-хантыйски — Ас. Ханты называли остяками, некоторые исследователи утверждают, что «остяк» — это русифицированный вариант слова «ас-ях», то есть речной, обский человек. На языке некоторых групп манси и Иртыш звучит точно так же — Ас. В хантыйских диалектах, скажем, у ваховских, васюганских и верхнеказымских ханты «ас» трансформировалось в «ес».

Если взглянуть на гидрографическую карту Минусинской котловины, то в названиях многих рек мы эти «ас» и «ес» различим невооруженным глазом: Ас-кыз, Малый Есь, Сарас, Албас.

Двинемся севернее и западнее — северный Алтай. И здесь — Каз, Тесь Бадавас, есть даже речка Антибес. А сейчас в таких названиях, как Мрас-су, Тельбес-су, Тутуяс, «водный» корень несколько замаскирован, но все равно при внимательном анализе непременно обнаруживается. Перейдем на Обь — Ас. Здесь немало притоков, в названии которых легко угадывается древний угорский корень: Тартас, Туртас, Напас, Рогарес, Пактас. В подобном контексте приток

реки Тым Пегас вряд ли будет ассоциироваться с легендарным жеребцом поэтического олимпийского вдохновения. Некоторые из названий с современных карт уже исчезли, но, скажем, в «Чертежной книге Сибири» Семена Ремезова читаются легко.

В этом «коридоре», который, начинаясь с юга Минусинской котловины, проходя северным Алтаем, дальше движется по фарватеру Оби, Кызласов при внимательном изучении старого картографического материала обнаружил много названий, заканчивающихся на «зас», «сос», «сас». Скрупулезно проведя необходимый лингвистический анализ, он пришел к выводу, что топонимы, заканчивающиеся на «зас», «сас», а их тоже очень много, являются древнеугорскими и означают уже не большую реку вообще, а, наоборот, небольшой приток — малую речку. Исследователь делает вывод: «Из приведенного анализа топонимических материалов представляется несомненным, что некогда угры населяли Хакасско-Минусинскую котловину и северный Алтай». Кызласов специально подчеркивает: «Везде, где говорится об уграх, под ними разумеются ханты и их отдаленные предки, говорившие уже на угорском языке и вышедшие из Хакасско-Минусинской котловины».

Не странная ли наука, эта топонимика?! При желании, пользуясь ее методами и принципами, можно доказать прямо противоположное.

Да, действительно, сегодня наука не может совершенно определенно ответить на вопрос, где древняя прародина ханты, откуда и как они шли в среднюю Сибирь, где обитают сейчас. Видный исследователь венгерский академик Петер Хайду несколько своих монографических работ посвятил доказательству того, что «угры и самодеды первоначально проникли в Сибирь из Восточной Европы, перевалили через Урал, что центром первоначального обитания финноугров до их расселения были река Кама и среднее течение Волги».

Кстати, у Волги есть небольшой приток — река Угра. Река точно под таким же названием имеется на территории Польши. А как можно объяснить тот факт, если судить по «Чертежной книге Сибири» знаменитого Ремезова, левым притоком Енисея является река Огр-Угр?

До окончательной истины явно далеко. Необходимо свести воедино множество фактов, которые сегодня кажутся противоречащими друг другу. Наука ищет путь к истине через множество гипотез, нередко ошибочных. В сибирской истории немало темных мест, и ученые не располагают путеводно-ярким фонарем, который бы осветил им эти темные места, им приходится двигаться большей частью на ощупь, где, чтобы отыскать верный путь, нужно убедиться, что ложная дорога заводит в тупик.

Надо иметь в виду, что Леонид Кызласов для своих предположений использует гораздо более древний топонимический пласт, связанный с предками нынешних ханты, его интересует эпоха на границе старого и нового времен. Людмила Калинина опирается практически на современную лексику, которая утвердилась в языке ханты в последние века. Чтобы их точки зрения не противоречили друг другу, можно предположить собственную версию. На границе старого и нового времени древние угры начали свой путь из Минусинской котловины на север, они прошли всю Обь, перевалили даже Урал, а затем, несколько столетий назад, под влиянием новых условий повернули назад, снова перебрались через Урал, но на этот раз на юг, дальше современного Васюгана не ушли.

Опровергая чужие ошибки, ученые одновременно нащупывают свой путь к истине. Поэтому, оспаривая друг друга, не просто утверждают свой авторитет и приоритеты, а утверждают авторитет научной истины. Благодаря неустанной дискуссии проясняются темные места древней сибирской истории, и рано или поздно будет дан исчерпывающий ответ, откуда начинали свой путь народы Сибири, куда шли, куда приходили.

Одна гипотеза не замешает и не исключает другую, они могут сосуществовать вместе, но сторонники их должны продолжать поиск, чтобы убедительно доказать свою правоту. В любом случае от этих споров выигрывает наука. Яростнее в споре — ближе к истине.

...Вообще, по правде говоря, это не важно — из Европы в Сибирь, из Сибири в Европу...

Лично я придерживаюсь точки зрения известного сибиреведа Валерия Николаевича Чернецова. Доказав, что у угров много пересечений с древними персами, он предположил, что свой великий путь на великий Север бывшие степняки, известные нам сегодня как ханты и манси, начинали... с берегов великого Арала.

Но это уже другая история.



Сибиряк берет Москву

Всем известно, как сибиряки защищали Москву. Самоотверженно. Стойко. Умело. По-сибирски.

Но кто вспомнит, что сибиряки... брали Москву? Умело брали.

Впрочем, все по порядку.

Вообразим себе, что некто незаинтересованный с изумительной холодностью отстраненного исследователя, но внимательно и на протяжении веков наблюдает за двумя большими территориями: Северной Америкой и Сибирью. Чтобы не увлекаться человеческими страстями, пусть это вообще будет иноземец. Все понимающий инопланетянин. Пусть он включит свой «пост наблюдения» в конце XVI века, когда на ту и другую территорию пришли европейцы: на одну — западные, на другую — русские.

На конец XX века у этого инопланетного наблюдателя с экономическим уклоном задание: подвести промежуточные итоги. И, наверняка, этому незаангажированному схоласту придется поломать свою иноземную голову, что же случилось, что же произошло, где тот ключевой момент, когда, стартовав примерно в равных условиях, две богатейшие территории планеты пришли по существу к несравнимым результатам. Штаты Северной Америки стали процветающей державой номер 1, а Сибирь — одной из самых запущенных земель, ее экономический потенциал (данные профессора Бориса Орлова из Новосибирского академгородка) не превышает 6 (!) «штатовских» процентов. Может, ключевое событие произошло в 1774 году, когда бывшая колония англичан после знаменитого «Бостонского чаепития» приобрела политическую независимость, а сибиряки по сю пору мирно прихлебывают свой жиденький чай совокупно с метрополией?

Может, Атлантический океан, разделивший Англию и Штаты, сыграл благотворительную роль для процветания бывлой британской провинции, а Уральский хребет поступил прямо противоположно?

Может, главную роль играют не географические барьеры, может, все дело в качестве этнического материала? Но почему тогда британский (западноевропейский) этнос, отдрейфовав за океан, смог

создать процветающее государство, а русский «осколок» в Сибири подобного осуществить не смог?

Я давно помнил об одной официально не принимаемой, официально неортодоксальной теории ленинградского профессора Льва Гумилева, которую схематично и упрощенно можно свести к простой формуле: этносы рождаются, живут и умирают. По расчетам профессора выходило, что предельный возраст этноса — около полутора тысяч лет. Не зная теории в деталях, я предположительно думал вот о чем. Не является ли новым шансом «старого» этноса его отколовшаяся часть, освоившая, обжившая новую территорию? На примере США мое размышление как будто получало подтверждение: процветающие англоязычные янки, забыв старинные разногласия и распри, конечно же, всегда выручат бывшую метрополию. Переносим схему размышлений на отечественную почву: вместо Британской подставляем Российскую империю, вместо североамериканской колонии — сибирские владения. Что дает нам эта «крамольная» аналогия? Предположение, что политически и экономически независимая Сибирь в свое время (когда — XVIII? XIX? XX?) могла бы стать новым шансом России. Да, «отстегивание» — процесс болезненный, но, может быть, перспективно необходимый? И если Россия хотела бы помочь самой себе, ей необходимо иметь сильную самостоятельную Сибирь. Этнический фактор — вещь серьезная, чтобы им пренебрегать... Заманчиво.

Если профессор Гумилев подтвердит мои умозаключения, мы на пороге открытия, которое спасает и Россию, и любимую Сибирь...

Я стал искать встречи с ленинградским профессором, чтобы из первых уст получить ответ на свой вопрос: почему, по какой причине Сибирь на пятой сотне лет своего существования так и не становится новым шансом России, продолжая влачить жалкое колониальное существование? Может, в нем все и дело, в родном нашем колониализме, который мы так тщательно скрывали сами от себя.

Переговоры со Львом Николаевичем мы начали давно и, наконец, договорились встретиться в Москве, когда там будем и он и я. Я прилетел в Москву, позвонил. Жена профессора Наталья Викторовна ответила:

— Льва Николаевича «скорая» вчера отвезла в больницу. Инсульт.

Профессору 79 лет. Он трижды прошел кругами ГУЛАГа, не понаслышке знает Норильсклаг, Кузбаслаг, другие сибирские не пионерские лагеря. Да и в науке профессор из-за своих «безумных» теорий постоянно пребывал в официальной опале.

Но вот через несколько месяцев неожиданный звонок из Ленинграда:

— Приезжайте, поговорить смогу.

Лев Николаевич несколько оправился после инсульта, ходит, говорит, но все еще пока тяжело. Я задал свои вопросы.

Гумилев, как известно, этнографию считает не гуманитарной, а естественнонаучной дисциплиной, он ввел в народоведение новую категорию — энергию, или, как выражается, пассионарный толчок.

— Если говорить о дрейфе русских «встречь солнцу», за Каменный пояс, — рассказывает старый человек в кресле, — это следствие пассионарного толчка. Он начинается Ермаком и продолжается практически пять веков, когда была установлена окончательная граница с Китаем. Государство не мешало тем инициаторам, которые «кланялись» ему

новыми землями, а «землицы» были таковы, что в каждой из них могло свободно разместиться средневропейское королевство. От государства таким пассионарным личностям, как Ермак, Хабаров, Поярков, Атласов, требовалась только моральная поддержка, пища, свинец, порох, двигались они самостийно, самостийно объясняли целые народы, приводили их в покорность великому «белому» царю.

— Хотя, если мыслить логически, особой хозяйственной, экономической необходимости у России в новых территориях не существовало? — догадываюсь я.

— Этносы сами по себе не продвигаются ни на восток, ни на запад, этническое движение происходит вследствие особых обстоятельств, пространства и времени.

Кстати, в эту невеликую старинную квартиру Лев Николаевич перебрался недавно, это не родовое гнездо и дух великой Анны здесь не витает.

— Сравним историю заселения Сибири и Северной Америки, — вспоминаю вопрос, ради которого я и летел в этот ленинградский смог. В Америке появился новый этнос — янки. В Сибири этого не произошло...

— Странно от вас, сибиряка, слышать подобное утверждение. Сибиряки совершенно четко отделяли себя от населения других частей империи. Чалдоны — русские сибиряки — это же этническая реальность. Если говорить о политической дифференциации, нужно вспомнить знаменитых областников — Григория Потанина и Николая Ядринцева. Своим знаменитым трудом «Сибирь как колония» Ядринцев обосновал идеологически «сибирский» взгляд на Сибирь, как некую особую историческую общность в составе Российского государства. Так что принципиальной разницы с Северной Америкой в этническом смысле видеть нельзя. Следует учитывать, конечно, конкретные нюансы. Но принцип, что по ходу этногенеза пассионарный признак дрейфует дальше своего исторического центра, в этой ситуации весьма явственно прослеживается. Другое дело, что сумел сделать на своей земле американский народ за двести лет своего независимого существования.

— Именно этот аспект проблемы меня особенно и волнует. Территории стартовали примерно в равных условиях, а сейчас такой разрыв. Связано ли это, на ваш взгляд, с тем, что США обрели политическую независимость от своей метрополии, а в Сибири мы отмечаем отсутствие таковой. Куда же девался общий пассионарный толчок? В одном месте мы видим, как он преобразуется в мощную экономическую сверхдержаву, а в Сибири по мировым меркам — экономическое запустение и захудалость.

— Вопрос, который вы сформулировали, в общей своей основе справедлив, но необходимо сделать уточнение: нельзя сопоставлять пассионарный потенциал системы с уровнем ее экономического благосостояния. Есть системы пассионарного напряжения, но экономически они не процветают. Для экономического процветания оптимальным является уровень пассионарности около среднего. Пассионарность обеспечивает все виды человеческого развития: кроме экономической динамики, это и интеллектуальное становление, духовный рост, политическая активность. Мы часто сравниваем себя с западноевропейцами, но забываем, что по-разному решаем для себя вопрос права человека: собственные права всегда выше права нации. Это доминирующее для француза, немца, ита-

льянца, англичанина. В России доминанта была иной: термин «права человека» исторически в России не существовал, не признавался. Россиянин исторически не ставил свои права выше прав собственного сословия, нации, государства. Все сначала были подданными великого императора, нам самим не надо ходить далеко за примерами, мы помним великую общность — советский народ. Меняется политическая оболочка, политическая форма в соответствии с потребностями дня, но ощущение, которое на Западе принято называть имперским, оно у нас было всегда. Поэтому в вашем вопросе есть глубокий смысл.

Мы, наше общество, нация, решаем те задачи, которые нам положены по нашему этническому возрасту. Неразумный юноша не может стать мудрым стариком, нельзя перепрыгнуть через этапы развития. Сравнить, почему Сибирь не процветает, как Америка? Когда Сибирь дойдет, если, дай Бог, мы доживем, и Россия, и Сибирь (надеюсь вы не отделитесь к тому времени от России?), дожившие до возраста этнической зрелости, будут процветать.

— В экономическом смысле, если я вас правильно понял, наше незавидное существование фатально предопределено?

— Я бы не стал утверждать, что в этническом процессе существует фатальная детерминация. Я бы сказал так: объективные внешние ограничения определяют на той стадии, которую мы сейчас переживаем, большую степень беспорядка как в политическом, так и в экономическом смысле.

Для большей ясности я бы сказал, что мы переживаем более младший возраст, чем западноевропейский супрэтнос и связанные с ним колониальные. Мы примерно находимся на уровне XVI века, когда было невероятно тяжело во всей Европе. Являются ли Сибирь, сибиряки новым шансом России? Здесь я вас не могу поддержать: этнические сибиряки и россияне равны, и об этнических ресурсах говорить не приходится. Что же касается шанса всего русского этноса, этот шанс несомненно есть, но если мы им не воспользуемся, то будем виноваты сами. Ничто автоматически не происходит. Шансы следует использовать.

Да, неортодоксальный мыслитель Лев Гумилев меня не поддерживал. Нет никакого — ни этнического, ни географического шанса в том, что Сибирь, оторвавшись от матери своей России, сразу и катастрофически разбогатеет. Мы переживаем один этнический возраст, не очень содействующий процветанию.

Как не задуматься над прогнозом (или предостережением?), который высказал знаменитый автор детективов, бывший шпион и знаток загадочной русской души Джон Ле Карре: «Трагедия русских в том, что они хотят стать европейцами, но вместо того им придется стать американцами. Они хотят унаследовать европейскую культуру, о которой мечтают и в которой им отказывали, а им придется прямо перейти к джинсам и кока-коле».

А ведь я о чем? Чтобы сибиряк процветал как американец, а нужно — как западноевропейец.

Глубоко чтимый мною академик Дмитрий Лихачев даже Владивосток отнес к кругу европейской культуры. Владивосток — ворота в Японию, Корею, Китай, Юго-Восточную Азию со своими древнейшими цивилизациями.

Я не хочу оспаривать досточтимого филолога.

В его речи я слышу неприятное для меня неуважение Азии.

Вот есть Европа!

А вон Азия...

Понимай — азиатчина.

Я с Блоком:

Да, скифы мы,

Да, азиаты мы.

Именно Сибирь делает Россию великой азиатской державой. Разве этого нужно стыдиться? Сибирь дает России шанс быть повернутой к Азии.

Но я отвлекся. Сегодня все книги Льва Гумилева, слава Богу, издаются и пользуются — невероятно! — все растущим спросом.

Сегодня Гумилева уже можно цитировать по полно изданному.

В его книге «От Руси к России» меня, понятно, привлекли сибирские страницы.

Уверены ли вы в том, что на Руси существовало татаро-монгольское иго?

Следует ли называть «крестьянским» восстание Ивана Болотникова, если основу его отрядов составляла дворянская конница?

Помните ли вы, что нижегородцам во главе с Козьмой Мининым, чтобы собрать войска на освобождение Москвы от поляков, пришлось заложить своих жен? Не легенда ли о «прорубленном окне в Европу», если Петр I продолжил политику своих предшественников?

«Экстравагантным до неприличности» называют по сию пору воззрение на отечественную историю Льва Гумилева.

Коммунистическая номенклатура мордовала его по лагерям ГУЛАГа, но и всячески замалчивала его оригинальные теории, не давала печататься, не разрешала, действуя по известному унтерпришибеевскому рецепту «не пущать». Во всем мире этот ученый был известен как выдающийся мыслитель. Но не в Советском Союзе.

Интересна этнологическая концепция освоения Сибири русскими.

«Экспедиция Ермака 1581 года прошла, несмотря на малочисленность его отряда, весьма успешно. Для устройства новых территорий немедленно направились царские воеводы: князь Болховский и Глухов, которые соединились с казаками в 1583 году. Русское продвижение на восток стало необратимым: Кучум отступил в Барабинскую степь и оттуда лишь набегами тревожил русские владения. В 1591 году князь Кольцов-Мосальский окончательно разгромил последнего сибирского хана, и Кучум был вынужден обратиться к царю со слезной просьбой вернуть ему отнятый улус, обещая полную покорность. История Синеи орды завершилась.

Может возникнуть вопрос: почему столь пассивно вели себя могучие степные народы: ойраты (западные монголы) и казахи? Ни те, ни другие не приняли активного участия в борьбе Кучума с русскими землепроходцами и воеводами. Это, видимо, объясняется тем, что силы ойратов, которые были буддистами, и казахомусульман были скованы их собственной междоусобной борьбой и тем, что русские, продвигавшиеся лесными массивами Сибири, не представляли для степняков никакой угрозы. Народы северной Сибири: остяки (ханты), вогулы (манси), тунгусы (эвенки), самоеды (ненцы) — также не вступали в борьбу с русскими. Очевидно, ни одна из сторон не давала повода для конфликта».

Гумилев продолжает:

«Народы Сибири в XVII веке находились в фазе этнического гомеостаза — равновесия с природной средой. У них просто не хватало сил, чтобы защищаться от притеснений русских пассионариев.

Во-вторых, продвинувшись в Сибирь, наши предки не вышли за пределы привычного им кормящего ландшафта — речных долин. Точно так же, как русские люди жили по берегам Днепра, Оки, Волги, они стали жить по берегам Оби, Енисея, Ангары и множества других сибирских рек.

Но самым важным, с точки зрения этногенеза, является третье обстоятельство. Русские переселенцы и администрация в основной своей массе легко устанавливали плодотворные контакты с народами Сибири и Дальнего Востока. Недаром противодействие миграции русских было столь ничтожно. Конфликты с русскими, если они и возникали на первых порах, например, у бурятов или якутов, быстро улаживались и не имели тяжких последствий в виде национальной розни. Единственным практическим следствием русского присутствия для аборигенов стал ясак (уплата одного-двух соболей в год), который инородцы понимали как подарок, дань вежливости «белому царю». При огромных пушных ресурсах Сибири дань была ничтожна, в то же время, попав в списки «ясашных» инородцев, местный житель получал от центрального правительства твердые гарантии защиты жизни и имущества. Никакой воевода не имел права казнить «ясашного» инородца: при любых преступлениях дело посылалось на рассмотрение в Москву, а Москва смертных приговоров аборигенам никогда не утверждала».

А как же с тем эпизодом, когда сибиряки брали Москву? Было ли такое, и если было — когда?

Гумилев с большой симпатией описывает хана Синей (западносибирской) орды Тохтамыша. Московские историки старались упустить из вида эту интересную историческую личность наверняка не случайно... Под водительством хана Тохтамыша... Надо понимать, что основу туменов хана составляли сибирские татары. Далекая история... Зачем скрывать прошлое? Что было, то было. Вот как это описывает Лев Гумилев:

«В 1382 году Тохтамыш организовал набег на Москву. Переправившись через Волгу и Оку, татары внезапно объявились под стенами города. Большая часть московских бояр, духовенства, воинов, как и всегда летом, выехала из Москвы в близлежащие деревни. В Москве оставались лишь великая княгиня и митрополит Киприан. Киприану и было поручено защищать город, но, не будучи военным человеком, митрополит не смог организовать оборону. Поэтому татарам удалось окружить Москву, но взять ее не смогли. Москва к тому времени уже обладала высокими каменными стенами, на которых стояло огнестрельное оружие.

Этот набег Тохтамыша был бы совсем не страшен, если бы не характер населения, осевшего в Москве за несколько предыдущих спокойных десятилетий. Чего хотел посадский люд? Выпить и погулять. Поэтому население Москвы, простые московские люди, сев в осаду, прежде всего направились к боярским погребам, сбили замки, вытащили оттуда бочки с медом, пивом, винами и основательно напились. Затем, показывая свою «неустршимость», они шли на стены и ругали татар, сопровождая брань соответствующими жестами. А татары, особенно сибирские, народ очень обидчивый, и они

крайне рассердились на москвичей за их поведение. Митрополит же сделать ничего не мог; его никто не слушал, а когда владыка захотел уехать из Москвы (полной осады не было, и выйти мог любой), его, как и великую княгиню, посадские обобрали до нитки.

После отъезда Киприана народ продолжал гулять и пропивать свое и чужое имущество. Через некоторое время, когда был выпит весь запас спиртного, москвичи решили договориться с татарами; татарам было предложено изложить свои условия мира, для чего осажденные собрались впустить в город посольство. Но когда открывали ворота, никому из представителей «народных масс» не пришло в голову выставить надежную охрану, дабы пропустить только послов. Посадские просто открыли ворота, татары ворвались в город и устроили резню».

Что могу сказать? Что было, то было.

...Журналисту приходится встречаться со многими людьми. Я не исключение, меня всегда притягивали неординарные личности, приходилось встречаться близко с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, но особо горжусь я одной встречей. Она была не длинной, несколько сумбурной. Человек, к которому я пришел, напросился в гости, был болен, отходил после тяжелого инсульта, даже не смог надписать автограф на подаренной книге. Я задавал вопросы, на них большей частью отвечал его секретарь и ученик, а хозяин только согласно кивал. Хозяином тесноватой квартирки в старом ленинградском доме с высокими потолками был Лев Николаевич Гумилев.

Хотя его знаменитый отец и его знаменитая мать в этой квартире никогда не жили, в ней, казалось, все дышало великой Анной Ахматовой и гениальным Николаем Гумилевым.

Это редкий случай: великий сын великих родителей.

До этого мы долго сговаривались со Львом Николаевичем о встрече. Он мотался между Ленинградом и Москвой, доделывал недоделанные дела, дописывал недописанные книги, пытался их издать. Встречу все время приходилось откладывать.

Потом, именно на оговоренную дату пришелся его тяжелый инсульт. Прошло несколько месяцев, Лев Николаевич поправлялся тяжело, лететь к нему не следовало. Но я все же рискнул: старый человек, а мы все ходим под Богом.

Встречусь — хорошо, не встречусь — не судьба.

Я провел в гумилевской квартире, наверное, не больше часа-полтора и вышел в ленинградскую слякоть с подаренной им книгой «Этногенез и биосфера Земли».

Почему я об этом столь подробно?

Я точно знаю, что в жизни встретил единственно великого человека. Это Лев Николаевич Гумилев. Казалось бы, ничто в больном, так и не выздоровевшем старике не выказывало величия.

Но всякий смотревший и слушавший его наверняка понимал — перед ним великий дух, мудрая мысль, высокое достоинство, нестандартность гения, несмотря на обыденность и болезненную ущербность облика.

Парадоксальность взглядов всегда с трудом устраивает привычный ум.

Гумилев поражает, заставляет не соглашаться.

Но один его постулат безусловен:

Сибирь — сердце Евразии!



История титулов длиннее истории освоения

Первым административным центром сибирско-северных земель, которые русские летописцы именовали Югрой, был, как бы неожиданно это ни звучало, весьма далекий от Сибири Новгород Великий. Да, вольные граждане Великого Новгорода считали «закаменную» землю своей «волостью».

Интересные сведения нахожу у дореволюционного сибирского историка А. Оксенова. Анализируя русские летописи, он насчитал, что в них, начиная с 1032 года и кончая 1446-м, десять раз упомянуто о походах новгородцев за данью в югорские земли. Первым предводителем новгородцев в походе к «железным воротам» был князь Улеб. Среди других предводителей упоминаются князь Глеб Святославович, воевода Ядрей, Даньслав Лазутинич, воеводы Самсон Колыванов, Александр Абакумович, Степан Ляпа, Василий Шенкурский и Михайло Яковлев.

Однако это не означает, что за четыре с половиной века новгородские дружины побывали в Югре всего десяток раз. Как справедливо указывает А. Оксенов, «летописцы не считали нужным заносить в летописи известия об этих походах, как о явлениях обыкновенных; в летописях же мы встречаем всего более известия только о таких походах, которые сопровождались каким-нибудь несчастьем, неудачей для новгородцев».

Пожалуй, самым выдающимся был поход 1364 года. Отряды Александра Абакумовича и Степана Ляпы не только добрались до Оби, но и спустились вниз по великой реке до самого Ледовитого моря, надо полагать, до Обской губы. Можно предположить, что новгородцы были первыми русскими людьми в этих местах.

Воевода Василий Шенкурский построил в югорской земле первый русский острог. Правда, точных данных о месте заложения его крепости пока не имеется.

После укрепления государственной власти в Москве походы новгородских «даньщиков» в Югру прекратились. И уже в конце XV века великий князь Московский Иван III к своим

многочисленным титулам добавил еще два: «князь Югорский и Обдорский».

Сибирская Югра вошла в состав Русского государства почти на век раньше Ермакова присоединения Сибири к России.

Еще одна титульная история.

В его «Истории»

изящность, простота.

Доказывают нам без всякого

пристрастья,

Необходимость

самовластья

И прелести кнута.

Так писал восемнадцатилетний Александр Пушкин, получив восьмитомную «Историю государства Российского», созданную его хорошим знакомым Николаем Михайловичем Карамзиным. Эпиграмма безжалостна, но точна. Однако у Пушкина есть и другие отзывы об этом большом труде: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом».

В мнениях великого поэта нет противоречия. Противоречия заключались в самом историческом труде. Карамзин обобщил огромный материал, но идейно оставался слишком убежденным монархистом, чтобы исключительно верно истолковать все движущие силы российской истории.

Карамзин писал свою книгу на материале древнейших летописей и архивных документов. Поэтому и до нашего времени карамзинская «История» не потеряла своего значения. Вот что мы найдем у Карамзина о присоединении сибирского Севера к государству Ивана III.

«В 1499 году князь Симеон Курбский, Петр Ушатый и Заболоцкий-Бражник, предводительствуя пятью тысячами устюжан, двинян, вятчан, плыли разными реками до Печоры, заложили на ее берегу крепость и 21 ноября отправились на лыжах к Каменному Поясу. Там встретили россияне толпу мирных самоедов, убили 50 человек и взяли в добычу 200 оленей... За Ляпиным съехались к ним владельцы Югорской земли, Обдорской, предлагая мир. Каждый из сих князьков сидел на длинных санях, запряженных оленями. Воеводы Иоанновы ехали также на оленях, а воины на собаках, держа в руках огонь и меч для истребления белых жителей. Курбский и Петр Ушатый взяли 32 города, Заболоцкий — 8 городов, более тысячи пленников и 50 князей».

Именно с той поры на «Вогулич и Югрич и Самоядь» был наложен ясак, а Иоанн Третий к своим многочисленным титулам (это произошло в приснопамятном 1500 году) присоединил еще два: «Великий князь Югорский и Обдорский».



Земля Ермака

Грешным делом, по непростительному неведению я полагал, что прах досточтимого Ермака Тимофеевича покоится на тобольском холме, невдалеке от белоснежных стен первосибирского кремля, где еще в прошлом веке поставлен скромно величественный обелиск. Со своей последней вершины знаменитый воитель и дерзкий разбойник оглядывает и провидит те щедрые земли, что привел он «под руку» грозного московского государя. Мой дух урожденного сибиряка был покоен: мы помним и почитаем того, кому обязаны сибирской родиной.

Потребовалось некое душевное усилие, чтобы сопоставить факты: четырехгранный обелиск установлен лишь в 1839 году на свободной холмистой пустоши, а не на месте чьего-то захоронения. Мраморный четырехгранник обозначает исключительно память благодарных сибиряков.

Но где же находится сама могила явно не последнего в Сибири человека, который известен нам под именем Ермака? Атаман пришел не в пустой, а населенный край: для меня он не покоритель татар и остяков, а тот человек-рубеж, та точка отсчета, когда русский народ полноправно вошел в семью сибирских народов. С его похода начинается уже многовековое, а потому нерасторжимое общежитие народов Сибири, большей частью мирное и дружное. Пустыня ли — забытая могила? Или проблемы в исторической памяти не способствуют пониманию Родины, а значит, и любви к ней? Странное дело, современные историки, рассказав о последней битве Ермака, не «хоронят» его, а сразу, перескакивая, переходят к его посмертной судьбе. Ни одного слова о погребении и захоронении Ермака в наиболее значительной работе последнего времени ленинградца Руслана Скрынникова «Сибирская экспедиция Ермака». Впрочем, и исторические источники противоречивы и неконкретны. «Кунгурский летописец» говорит о Башлевском кладбище недалеко от Епанчинских юрт. Семен Ремезов в своей летописи настаивает — Бегишевское кладбище в 12 верстах выше знамени-

того Абалакского монастыря. Читаем самого компетентного историка XVIII века Герарда Миллера: «Его похоронили на Бегишевском погосте под кудрявой сосной».

На современной карте Вагайского и Тобольского районов мы отыщем и Бегишево, и Епанчино, и Байшево. Но где же все-таки могила державно-вольного атамана, что с нею случилось? Ермак не только сиживал, но и явно был похоронен на диком берегу Иртыша. Река эта норовита, любит рыть новые русла. Может, давно размыты старинные могилы...

Я решил пройти последним путем знаменитого первопроходца, в общем-то, не надеясь на какие-то находки, скорее, в надежде исторически-освязаемо ощутить брэнность человеческого бытия. Но, слава Богу, живя суматошной жизнью, решая непокладистые конца века проблемы, мы продолжаем ощущать себя и в исторической жизни, славное прошлое сопровождает нас и в обыденной.

Бывший дорожник-строитель Ким Нехай, к которому мы обратились, как-то нечаянно вспомнил, что в не совсем давние холостяцкие времена на клубные вечеринки ради форсу он ходил... в кольчуге. На случайной рыбалке у вагайской прорвы вместо корявого осетра из сетчонки вытянул драную, но блестящую, как новенькая, ратную стальную рубашку. Сейчас эта кольчуга (историки определили — явно ермаковских времен) украшает стенд местного самостоятельного краеведческого музейчика, созданного при поддержке самого Кима.

В музее привлек мое внимание заказной триптих чувашских художников Андреевых: на заглавном панно они и помирили, и подружили некогда противостоящие стороны — «усадили» за один пиршественный стол и Ивана Грозного, и царя Кучума, и атамана Ермака. Наверное, это далековато от дальней реальности, но мысль художников ясна — прошлое не должно разобшать, а только мирить и сплачивать нас.

Как хорошо, что даже в глубинном райцентре всегда можно отыскать любознатцев-любопытцев, которые копаются в старых книгах, записывают разные, казалось бы, пустяковые сведения о родном крае, не проходят мимо примет прошлого. В Вагае тоже отыскались такие любопытствующие старожилы — Галина Васильевна Глухих и Николай Константинович Харламов. Вместе с ними мы поехали искать место последней сечи поздно проснувшихся ермаковских казаков и тайно подкравшихся, прошедших по реке «лосиным бродом» летучих татарских конников.

Найти это место сегодня очень трудно: дело в том, что вроде неторопкий, почти сонный Вагай умудрился образовать «прорву». Существовал узкий перешеек, где Иртыш и Вагай текли рядышком, близко друг к другу, потом расходились, разбегались и где-то через пяток километров Вагай уже законно впадал в Иртыш. Вероятно, не слишком давно эта «узина» не выдержала взаимного напора двух рек, и в паводок Вагай — весьма редкое явление — впадает в Иртыш дважды: в «прорве» и в своем законном устье. Какое отношение речные метаморфозы имеют к месту последнего рокового боя? Летописцы донесли до нас, что последняя битва проходила на острове. Но на каком? На том, что образовался в результате прорвы? Существовала ли прорва сия во времена Ермака?

Мнения наших проводников разошлись: они с жаром приводили резоны, обосновывая за татар и за русских стратегические

варианты. Единодушны были в одном — последний ермаковский путь отдан на откуп дилетантам: энтузиастам, туристам, краеведам. Профессионалы — историки и археологи — что-то отсиживаются и отмалчиваются, хотя ведь совсем недавно даже пристойный повод имелся — 400-летие русской Сибири. У профессионалов заинтересованные местные помощники всегда отыщутся. Глава Вагайского района Камиль Морганов, к примеру, вполне официально пообещал, что даже из скудного районного бюджета они смогли бы выделить необходимые средства для проведения хорошо снаряженной экспедиции.

...Знойный августовский полдень. В застоявшемся сонном воздухе пронзительно звенит пчела, и дурманяще пахнет свежими скошенными травами. На вагайском острове, где, возможно, и принял последний бой вольный атаман, хороший сенокос — травы здесь поднимаются мощно, плотно и буйно.

Оказывается... Как в очередной раз не порадоваться, что все же бытуем мы в живой атмосфере истории, и народ не собирается забывать того, о чем узнал от своих отцов-дедов. Малик Камалетдинович Курмандаев, Малик-абый, который так заправски косит травы, несмотря на свои 70 лет, и так лихо точит литовки своим искусным помощникам, когда мы спросили его о предполагаемом месте последней сечи, с ходу включился в разговор. Он указал и место «лосиного брода» через Иртыш, по которому могли идти конные оппоненты Ермака, рассказал о ермаковой заводи, наверное, именно там атаман остутился с судна и в тяжелых доспехах стал тонуть.

Малик-абый считает, что вероятнее всего последняя стоянка Ермака была на острове посреди Иртыша, но тут же поведал о том, что все иртышские острова «плавают». Только на его памяти за последние полвека этот иртышский остров — Иртыш размывает его южный берег и намывает песок на северном — продвинулся на север эдак с полкилометра. А за четыре-то века как могли путешествовать острова!

На последнем «стратегическом» совете с местными краеведами мы определяемся точно: не надо искать никакого Бегишевского погоста, никогда в этих местах не было деревни Башлево, священная татарская роща в этих местах одна — она на окраине села Баишева. Если где и искать прах атамана, то только там.

Здесь хотя бы кратко следует процитировать «Описание Сибири» Герарда Миллера. «Мертвое тело Ермака было найдено у татарских Епанчинских юрт. Татарин по имени Яньш, внук князя Бегиша, ловил там рыбу и увидел человеческие ноги, торчавшие из воды. По драгоценным панцирям, которые он увидел на теле, Яньш заключил, что имеет дело не с простым русским. Когда собрались жители деревни, они легко догадались, что перед ними сам Ермак. Было строго запрещено тем людям, которые его хоронили, указывать кому-либо место его погребения».

Странное дело — смерть Ермака потрясла не столько его дружину, сколько мирных татар: его могила, по свидетельствам, стала священной, мертвое тело атамана производило «чудотворение». Земля с его могилы делала больных здоровыми, помогала татарским женщинам при родах, способствовала успешной охоте. Из этих легендарных преданий нетрудно понять, что сибирские татары не держали зла на славного ратоборца: наверное, в те времена победы

воспринимались иначе, чем сегодня, сильный чтился, а слабый смирялся. Это «чудотворение» смутило магометанских имамов, они повелели забыть тропу под «курчавую сосну», и уже к середине XVIII века, сообщает Г. Миллер, «место погребения Ермака татарам совершенно неизвестно». Хорошо, татарам-мусульманам неизвестно, а православным русским?

Памятуя, что первый сибирский митрополит Киприан собирался канонизировать Ермака в святые, я подумал, что в моем поиске могли бы помочь служители церкви. Ведь святые мощи — первый атрибут святости. А что ищу я? По сути, именно Ермаковы мощи. Я обратился к самому просвещенному в епархии архимандриту Макарию, тогдашнему ректору возрождающейся Тобольской духовной семинарии. Он любезно согласился помочь. Но, видимо, в церкви сложные кадровые проблемы: Макария неожиданно перевели в Ставрополь.

Сегодня возрождается и знаменитый Знаменский монастырь в Абалаке (Епанчинские юрты, напомним, находятся в 12 верстах от Абалака). Однако с наместником монастыря отцом Гидеоном (сейчас он служит в США) у нас состоялся странный разговор. Я-то полагал, что православная церковь и сегодня сильна своей памятью к мертвым, почтением к обряду погребения и загробной жизни, сохранению крестов над русскими могилами. Молодой же священнослужитель говорил правильные вещи о том, что самая большая память Ермаку — это духовное возрождение нашего края, восстановление в том числе Абалакского монастыря. Но где покоится прах Ермака, это, по его мнению, «не важно».

По нынешним временам со служителями церкви не спорят, их слушают. Но мне, честно говоря, услышанное мнение — и это не издержки атеистического воспитания, а скорее, наоборот, пиетет к церкви — показалось несколько легкомысленным. Боюсь, что не существует церковных источников, где бы говорилось о судьбе Ермаковой могилы. Возможно, Киприанова попытка не удалась именно потому, что и он, спустя всего полвека после Ермаковой гибели, не мог отыскать могилу.

Огромную работу провел омский историк Дмитрий Фиалков. Поиск ключей к тайне могилы Ермака привел его в... Гарвард. Оказалось, что именно в этом университетском городе хранится подлинник знаменитого атласа Семена Ремезова «Хорографическая чертежная книга Сибири». Правда, внеся необходимые корректировки и реконструкции, Д. Фиалков очистил текст летописца от позднейших описок: тело Ермака «погребено выше погоста Бекишевского на горе на мысу под большой сосной вблизи юрт Баишевых».

...Баишевский старожил, бывший председатель здешнего колхоза Измаил Бариевич Хучашев привел нас на «дикий берег» рядом с деревенской пристанью. Именно здесь подступает к Иртышу священная татарская роща, в которой, по преданиям, похоронен священный для магометан основатель шифитского законовещения шейх Хаким, внук Аш Шашина.

Старик Хучашев передает деревенскую легенду, которую сам слышал от деда (а тот, в свою очередь, от своего деда), что здесь, на окраине кладбищенской рощи (она была значительно больше), находилась могила «чужого». Здесь, еще на его памяти, высилась могучая вековая «курчавая» сосна. То, как произносится слово «чужой», и то, что именно об этой могиле из поколения в поколение

передаются предания, может свидетельствовать, что это не совсем обычный «чужой». Конечно, это не доказательство того, что мы именно у могилы Ермака, но тот профессионал, который захочет поискать, имеет серьезный шанс найти.

Мы знаем, что в Томске исследуют могилу «старца» Федора Кузьмича, предполагаемого императора Александра I: томичи ищут специалистов, причем самого необычного профиля — лозоходцев, лозознатцев. Наверное, такие бы пригодились и здесь, в Байшево. Причем срочно.

Здесь я переведу дух, чтобы рассказать, что же мы увидели на окраине священной роши и действительно диком берегу. Это полигон местной шпалорезки, обосновавшейся здесь десяток лет назад. Околица священной роши не так давно повырблена: все кругом загажено перегнившим древесным дерьмом. Кругом валяются пакеты шпал. Колдобины, грязь — привычный образчик социалистического хозяйствования — свинства, и, как можно предположить, коммунистического отношения к труду. Хучашев едва сдерживает слезы, когда рассказывает, как упрашивал давешнего начальника не губить кладбищенские сосны. Но здешнее начальство постоянно временное. Разор на могиле не последнего русского человека (пусть не Ермака, пусть любого дальнего первопроходца) — это, конечно, наш очередной национальный позор. Впору объявлять хотя бы всесибирский сбор рублей-копеек на оградку Ермаку.

...Село Байшево, 755-й километр фарватерного хода великого иртышского пути. Говорят, совсем недавно он был помечен в лощинах, и бывалые капитаны, проходя это красивое место, давали «ермаковский» гудок. Мы долго стояли на «диком берегу», прошло немало судов и на юг и на север, но памятных гудков мы так и не услышали. Мы искали не только могилу Ермака, но еще и лекарство от нашей беспамятливости, от прогрессирующей болезни забвения. Забываем мы, забывают нас.

Земля остяцких рыбаков, вогульских охотников, земля ли Кучума, земля ли Ермака нам завещана, нам оставлена предками в наследство щедрейшая, великая земля, наша общая родина — Сибирь.



Начиная с папы римского

На историческом дворе 1458 год. Сибирь еще не присоединена русскими, но ее присутствие в мире обозначено и определено.

Каким образом на письменный стол римского ученого Энео Сильвио Пикколомини попадают записи слов вогульского племени из неведомо-далекой Сибири — уже никто не объяснит. Но увлекающийся лингвистическими сравнениями Пикколомини неожиданно обнаруживает, что «дикое» сибирское племя говорит на языке, чрезвычайно сходном с европейскими мадьярами. Так закладывается первый кирпичик в основание былого единства мадьяр и вогулов (современно — венгров и манси).

История филологии этот факт зафиксировала. Он любопытен еще и потому, что автором «Космографии», где приведены эти сравнения, был папа римский — Пий Второй. Именно это имя получил гуманист и филолог Энео Сильвио Пикколомини, избранный — чему удивляться! — на папский престол. Именно в Ватикане трудился первый ученый финно-угролог.

К сожалению, его фундаментальный труд — энциклопедический свод тогдашних знаний и представлений о мире середины текущего тысячелетия — «Космография» — так и не переведен на русский язык.

Впрочем, занимаясь историей Сибири, хорошо осознаешь, что, пожалуй, все увлеченные исследователи были людьми колоритными и замечательными, наблюдательными, с интересными судьбами.

Финно-угристика — составная часть общего языкознания. О важности изучения языков уральской группы говорит тот факт, что центры финно-угроведения существуют не только в тех странах, где эти языки распространены: в России, Венгрии, Финляндии. Эти языки изучают лингвисты Австрии, Англии, Германии, Швеции, США, Франции, Голландии, Италии и даже Монголии и Японии.

Но все же главные заслуги в решении проблем финно-угорских языков принадлежат российским, венгерским, финским ученым. Изучению мансийского и хантыйского языков посвятили многие свои работы венгерские исследователи Антал Регули, Бернат Мункачи, Пал

Хунфальви. Труды Гомбоца посвящены лексике мансийского языка, а Халашаи привел веские доказательства родства финно-угорских и самодийских языков. Первую серьезно-строго-научную теорию родства этих языков выдвинул финский ученый Кай Доннер. Хенрик Паасонен создал полную систему финно-угорских и самодийских звуковых соответствий. В истории науки прочно закрепились имена Александра Кастрена, Артура Альквиста, Кустаа Карьялайнена, Тойво Лехтисало. Они изучали различные аспекты языков коренных сибирских народностей. Но для того, чтобы заниматься своими спокойными вроде, кабинетными, изысками, они должны были прежде постранствовать в сибирских и северных тайгах и тундрах, причем в страшно тяжелых условиях: в снегах, хлябях, топях, песках. Это были скромные труженики науки и великие странствователи, великие пешеходы.

Крупным научным центром по изучению финно-угорских языков является Германский университетский город Геттинген. Это еще в XVIII веке называли «лабораторией» финно-угорского сравнительного языкознания.

Первых читателей английского классика знаменитой поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай» поразило, как свободно ориентировался автор в географии. Северный колорит вносили постоянно поминаемые в рифмах заснеженные хребты, Печора, полярные ветра, ледяные глыбы, вьюги, бураны, Обь. Еще в юности Милтон проштудировал немало ученых трудов, посвященных загадочным для европейца Московии и Китаю. Работая у Оливера Кромвеля государственным секретарем, будущий поэт переписывался с русским царем Алексеем Михайловичем. Уже на закате жизни, ослепший, он распорядился напечатать свой юношеский труд с длинным названием «Московия, или Известия о Московии по открытии английских путешественников, собранные из письменных свидетельств разных очевидцев; также и другие малоизвестные страны, лежащие на восток от России до самого Китая, недавно в разное время открытые русскими». Издатель замешкался, и книга вышла в свет уже после смерти автора в 1682 году.

Что же было известно Джону Милтону о далекой Сибири?

«К северо-востоку от России, — пишет великий слепец, — при реке Оби лежит страна самоедов, открыл ее один русский по имени Аника (Строгонов?!), который первый завел с самоедами торговлю и, добывая от них богатые меха, нажил большое богатство и узнал их страну, а впоследствии, дав знать о своем открытии Борису, привителю Федора, указал, сколько полезно будет для государства приобрести эту страну. Борис отправил к самоедам пышное посольство и миролюбивыми средствами достиг того, что они отдались в подданство России с обязанностью ежегодно поголовной дани, состоящей из двух богатейших собольих шкур. Гонцы Борисовы, проехав двести миль к востоку от Оби, донесли, что там красивая страна, изобилующая лесами и источниками, что жители ездят верхом на оленях и лосях, другие же в санях, запряженных оленями, а иные еще на собаках, столь же прытких, как олени. Самоеды, приехавшие с этими гонцами, на возвратном пути их в Москву удивлялись красоте этого города и возбуждали равное удивление своею стрельбою, попадая без промаха в цель величиною с деньгу на таком расстоянии, что ее едва можно различить».

Николае Милеску, которого в России величали Спафарием, — колоритная фигура своего времени. Получивший блестящее образование в Константинополе, отлично владея многими языками, в том числе арабским и турецким, Милеску оказался превосходным дип-

ломатом в родной Молдавии. Когда на родине сложилась тяжелая обстановка, Милеску уехал в Россию. Здесь «человека, премудрого в латинском и славянском, а наипаче еллинском языках, и русской скоро может выучить и готов сам переводить» определили в Посольский приказ. Но Спафарий был не только первым среди переводчиков, ему поручались трудные дипломатические миссии. Особо известно его путешествие к пекинскому богдыхану с поручением от царя Алексея Михайловича. Спафарий оставил описание трудного путешествия, многие страницы которого посвящены сибирской дороге и обитателям сибирского края. Путешествие продолжалось три года — с 1676 по 1678 — и по результатам закончилось блестяще.

Благодаря Спафарию географы и этнографы имеют прекрасные свидетельства очевидца о Сибири предпетровской эпохи. Западную Сибирь он преодолел по рекам Иртышу и Оби, по кетскому волоку перебрался на Енисей. В книге Спафария есть подробное описание Иртыша, всех населенных пунктов, которые он посещал. К примеру, о тогдашнем Самаровском яме ученый путешественник писал:

«Самаровский ям потому слывет, что был остяцкий князь в том месте, именован Самары, также и городок выкопан на высоких горах и шанцы по се время видятся. А Самаровские горы зело высоки и круглы, будут кругом верст 20, а дале не идут. И горы неплодны, и на них болота и озера есть, и камень мелкий, и лес непотребный. А ям Самаровский стоит на правой стороне Иртыша, а на яме есть 50 паев против Демьянского яма, и приказчик на нем есть сын боярский, послан из Тобольска; и церковь Святого Николая есть. И от Самаровского яму до Березова доходят дощаником вниз по реке, сперва по Иртышу, а потом Обью, в 6 дней».

Отдельную главу Спафарий посвятил «описанию славной и великой реки Оби от вершины ее и до окончания и устья морского ее».

«И от того места, где впадает Иртыш в Обь, учнет Обь-река зело простраться. А от Березова, меж Собской и Обдорской заставами, до Мангазейского моря, до устья Оби-реки, где впадает в океан, в проливу морскую, вниз доходят по той же Оби-реке в 12 дней. И тут впадает Обь многими устьями в море, и столь множества воды из Оби впадает в море, что побеждает морскую соленую воду и бывает сладкая и пресная. И посреди той проливы в море течет вода, будто река, и тут зимой дни очень малы и стужи великие. И тут близ моря и устья Оби живут самоеды. А далее живут остяки, по Оби-реке множество их».

Не преминул автор сообщить и о главной достопримечательности и загадке Сибири: «Около Березова есть капища идольские остяцкие, и про тех пишут земнописатели, что тут есть идол Золотые Бабы, однако же золотых не сказывают, а что серебряных, деревянных крашенных множество и медных льют же. И первое, что ловят из всех зверей, им приносят».

Немало места Спафарий уделил описанию природных богатств сибирского края. Вот только одна вкусная страничка из таких описаний: «А рыбы всякой в той Оби зело множество, наипаче осетры великие ловят. А особая рыба есть муксун, которая зело добрая. А кажется, что из моря идет. И столь множество в ней рыбы есть, что ни по одной реке и множественней и жирней невозможно быть».

С трудом Спафария знакомится всякий, кто занимается историей Сибири, выясняя, как жили здесь наши предки. Значение труда Спафария подтверждает факт, что недавно Молдавская Академия собрала все написанное Николаем Милеску и впервые в полном объеме издала труды в книге «Сибирь и Китай».



Упражнение для картежника

Не знаю, как вы, а я очень люблю смотреть на географические карты. Они столь привычны в нашем быту, в нашей жизни, что обиходность часто заслоняет подлинный смысл величия этого изумительнейшего изобретения человеческого гения. Емко, точно и выразительно показывает нам карта лик планеты, на которой нам выпало счастье жить. Разве есть какой-то другой способ столь лаконично и столь полно рассказать о нашей земле, как это делает простая школьная карта!

А рассматривать и сравнивать старинные карты с нынешними — это незабываемое удовольствие: земля словно медленно проявляется, приобретая свой подлинный облик. Сравнивая, ты приходишь к осознанию того, какой громадный труд стоит за каждой черточкой на карте, цифрой, изгибом синей жилки реки, изогипсой морской впадины и штрихом горной вершины, сколько мужества и человеческого терпения многих поколений понадобилось, чтобы мы узнали настоящее лицо нашей земли. Карта — труд, подвиг и драма. Не одна человеческая жизнь положена на алтарь познания.

Мореходы и геодезисты, геологи и ботаники, топографы и гидрологи, этнографы и зоологи, археологи и гидрографы, лингвисты и навигаторы — каждый из них оставил свой след. А за четыре века неустанных трудов была создана достоверная, многогранная карта этого региона, который мы называем Тюменским. Горные кручи Полярного Урала, тундровые топи и таежные дебри, холодная пучина моря студеного и его гибельные льды не остановили этих людей. Эстафета человеческого подвига никогда не прекращается, и пусть даже небольшой камешек сияет своим светом в огромной мозаике наших знаний. И если сегодня слова «Тюмень», «Югра», «Ямал» звучат как символ богатства и могущества России, то в этом великая заслуга и тех, кто шел на «край земли», ведомый благородной страстью познания и чувством высокой ответственности перед потомками.

Трудно открывалось лицо арктической сибирской окраины, но поиск начался давно...

Ученые-историки бережливы и суеверны, когда дело касается неопубликованных ими секретов.

Я понял это, когда попал как-то, уже давненько, в тесный кабинет профессора Михаила Ивановича Белова, который тогда возглавлял полярный сектор в Ленинградском институте Арктики и Антарктики. Однако наше давнее совместное путешествие с раскопок Мангазеи, видимо, оказало свое благотворное действие, и профессор, помешкав, подумав, достал из заветного шкафчика явно старинный фолиант.

Это было весьма редкое, изданное мизерным тиражом собрание карт XVI, XVII, XVIII, начала XIX веков, посвященное единственной теме — российским арктическим берегам и открытиям в Русской Арктике. Конечно, меня интересовал более других только один сектор — ямальский — арктические берега. Расщедрившись, профессор даже позволил мне сделать пометки-заметки в своем блокнотике.

С тех пор того атласа, либо подобного ему, я уже больше не встречал. Знаменитый профессор Белов умер, покинутый, оставленный, брошенный на произвол судьбы при очередной реорганизации Арктического института. Но мой блокнотик с заметками сохранился.

Попадется ли вам когда-либо на глаза столь уникальное собрание старинных карт — трудно сказать, наверное, не по нынешним временам подобные переиздания, потому-то и решил позволить себе коротко рассказать, как приоткрывался на протяжении веков арктический лик Ямала.

Попутно сказать, морская граница нашей области протянулась на 5 тысяч миль: по старым строгим меркам — это крупная морская держава. Тем более всепланетное потепление может сделать Северный морской путь оживленной судоходной трассой.

Но пора раскинуть карты. Самой древней в том собрании профессора Белова считалась изданная в Базеле в 1556 году, но начертанная в 1549-м карта «Московии» барона Нейпергского и Гутенхагского, более известного в России под именем Сигизмунда Герберштейна, посланника австрийского императора Максимилиана I при русском дворе. На нынешнем Тюменском Севере барон Герберштейн поместил нарисованную Злату Бабу, увидим мы и «Обеакас», «Обеа кастеллум» — Обскую крепость... Что это за крепость — понять трудно, ведь до похода Ермака остается еще несколько десятилетий. Но крепость «Кас», несомненно, русская. За Уралом начертана и река Сосса, надо полагать Сосьва.

В 1562 году картографическое «Изображение России, Московии и Татарии» создал англичанин Антонио Дженкинсон. По обычаю тех времен карта была рисованной и прилично иллюстрированной. На карте Дженкинсона на западносибирских землях я увидел два интересных рисунка. На местности «Байда», в земле «Молгомзайа», изображены двое молящихся, они преклонили колена перед высоким шестом, на котором поднят некий вымпел. Вообще на этой карте много молящихся. На земле же, обозначенной «Обдория», двое молятся на некую скульптурную группу, которую можно принять и за Золотую Бабу.

Известно письмо Антонио Дженкинсона князю Генриху Сиднею, своего рода комментарий к карточным рисункам.

«Злата-баба, т.е. золотая старуха, свято почитается жителями Обдории и Югории. Жрец спрашивает у этого идола совета, что им делать, или куда переселиться, и чудно сказать: сам идол дает определенные ответы вопрошающим и следует верное исполнение.

Жители этих стран поклоняются солнцу и красному лоскуту, подвешенному на шест. Жизнь проводят в палатках, питаются мясом всяких животных, змей, червей, имеют свой особый язык».

Двигаюсь дальше. Год 1570-й. Авраам Ортелий публикует в Европе свой атлас. На нем за Обью, на карте, неприлично короткой, — не великая Обь, а куций хвостик: Ортелий изображает большой, огромный полуостров. Его можно считать Ямалом, но поясняющих надписей нет. Зато буквенно обозначенный Вайгач находится не западнее, а восточнее обского устья. Да и вся Обдория продвинута на запад, Ортелий явно приближал ее к Европе.

На сводной карте «Новое описание северной области Московии», обобщающей знания Дженкинсона и Герберштейна, обнаруживаю знакомые «Молгомзайю» и «Байду».

По Ледовитому морю, которое можно принять за залив океана, изображен плывущий корабль. Сибирь для авторов карты, как и вся Русь, еще сплошной туман.

На восточном архипелаге Новая Земля с удивлением читаю имя народа — «чиремисси». Понятно, что черемисы (нынешние мари) никогда столь далеко на север не забирались, они обживают среднюю Волгу.

Англичанин Антоний Вид свою карту, изданную в 1595 году, чертил при помощи русского диссидента, тогда попросту беглеца, окольного Ивана Ляцкого, прихватившего с собой в побег старорусские карты. Но и это не сделало представление о северной Сибири более достоверным. Хотя земля «Абдори» находится за «Вилки Перим», севернее «Кондори» и «Вахули», но в лесах и гораздо западнее, чем на самом деле.

Много любопытного и более подробного обнаружил на «Карте земли самоедов и тунгусов» Исаака Массы. Здесь уже обозначена не только Обь, но и реки Пясина и Енисей, на востоке — полуостров, отдаленно напоминающий Ямал, но без названия, зато по имени назван «остров Белей».

На карте «надежнейшего амстердамского морехода» Виллема Баренца (она опубликована издателем де Фера) «Начертание карты трех плаваний голландцев к северным странам» Ямал не изображен, а Обская губа присутствует весьма условно. Но даже на этой карте, которая чертилась Баренцем на новоземельской зимовке, он помещает земли «Самойеда», «Иугора», южнее — «Кондора». В земле «Молгомзайя» изображен погонщик на саях, запряженных явно оленями.

Конечно, русские землеведы знали о Сибири гораздо больше. Об этом свидетельствует «Карта древней России», изготовленная по повелению царя Бориса Годунова и появившаяся в свет в 1613 году. На ней практически достоверно изображены река Обь, достаточно хорошо показаны Обская и Тазовская губа, приблизительно верно начертан Тазовский полуостров, где мы обнаружим Тазовский городок и Волок (т.н. Мангазейский ход — с Таза на Енисей). В междуречье Таза и Енисея помещена земля Байда, а Обдория продвинулась на берег Карской губы. Тобольск обозначен главным городом Сибири, рядом с ним «Югория», а чуть выше — «Сибирия». Обозначен и Ямал, но очень причудливой, сердцеобразной формы, зато на нем уже обозначена река Зеленая.

Однако просвещенная Европа все еще заметно отставала в знании северной России. В 1648 году появляется шедевр картографического искусства — «Карта мира» Вильгельма Янсона Блавиуса,

знаменитого ученика знаменитого Тихо Браге. Так вот, Ямал на этом атласе я так и не сыщу, а на восточном берегу Оби треугольник на север можно принять и за Гыдан, и за Таймыр сразу.

В 1667 году появляется «Чертеж древний всея Сибири» на основе «Служебной чертежной книги» Семена Ремезова. «Чинен сей чертеж снисканием и самотрудием и геротграфством стольника и воеводы Петра Ивановича Годунова печатным тиснением граду Тобольску и окрестным сибирским градам, странам и землям». И здесь еще немало сомнительного: к примеру, озеро Таз, архипелаг Новая Земля изображен как часть побережья внутреннего, внутрисибирского Мангазейского моря. Есть здесь река Кровавая, но трудно определить, какая река получила в то время столь страшное название.

С Ямалом происходят постоянные странности: его нет и на «Чертеже Сибири», созданном Спафарием в 1678 году после его знаменитого Китайского посольства. Новую Землю Спафарий изображает на севере Мангазейского моря. Зато вполне достоверно Спафарий прокладывает дорогу, которая тропами идет от Москвы сухим путем до Тобольска.

В 1673 году появляется первый этнографический чертеж Сибири, автором которого считают митрополита Корнилия. Митрополит (если митрополит) Корнилий (если Корнилий) знал уже много о коренных северных сибиряках.

По Оби и берегу моря Мангазейского он размещает «Самоедь Гиндинскую», видимо, гыданскую. На Гыдане и Тазовском полуострове — «Юрацкой орды самоеды», на Таймыре — «немирные самоеды», выше Сургута мирополит Корнилий определяет «Пестрой орды остяков», а имеется у него «Земля Кондинска и Оедаринска, в ней град Березов», «Земля Югорска». Митрополит Корнилий строго объясняет достоверность своего этноатласа: «По допросам в различии цветов учинен сей в наличии Сибирский чертеж... всех разных городов, жилищ и степи, и плодоземных орд, родов и язык вокруг облегающих сосед. О них нам повести и чертежи в подсвоение ясаку и надлежит». На «Чертеже Сибири» (1685 года) можно различить реку Пыр (Пур), а на реке Сось увидеть Обдорскую заставу.

Море Мангазейское у сомнительного митрополита изображено напротив Новой Земли. Но, кроме Мангазейского, есть и «Море Ледового». Примечательна мореходная справка: «Около моря до Камени ходу подле земли как льды перепустят лето I, а не пропустят 3 лета ходу». Про Полярный Урал сказано по-русски откровенно: «Не знает сего Камени долиuti никто».

Большим знатоком России был бургомистр Амстердама, друг Петра I Николас Витсен. 4 года — по 1691-й — он составлял по собственным материалам карту России. Впервые на Витсеновой карте появляется название загадочной земли — «Лукомория», она находится чуть южнее «Обдории». Ямала по-прежнему еще нет, вместо него небольшой выступ, речная дельта, берег «закаменной самоедиси». Зато очень хорошо изображен Тазовский полуостров, правда, Тазовская губа слишком вытянута по меридиану. Народ «Пиаки» помещен на Гыданский полуостров. Новая Земля изображена почти правильно, только без восточного берега. Есть два моря: море Тартарукум и Мангазее-Зее, правда, трудно понять, относится ли последнее название к Карскому морю.

Из мастерской Семена Ремезова вышла карта Сибири 1718 года, она предназначалась для академика Мессершмидта. В моем блок-

ноте отмечена примечательная подробность: «Обская застава» — у моря Мангазейского, глубокого залива «Море-окияна».

«Владения царя или императора русских в Европе и Азии». Такая карта стараниями де Фера вышла в 1722 году в Париже. В ней использованы данные Николаса Витсена и Избрандта Идеса. Ямала нет. По-прежнему. Ему явно не везет.

Но параллельно друг другу на востоке обозначены два конусовидных полуострова, что можно принять за Тазовский полуостров и Гыдан.

В устье Пура обозначены «лас Пиакки» — народ пяки уже занял свое историческое место.

В 1725 году в Нюрнберге выходит атлас Гомана — «Новейшая генеральная карта Империи Московитиум». У Гомана витсеновское Лукоморье переместилось, расположено севернее Обдории. Обозначена Собская застава, в дельте Оби большой остров, Обской и Тазовской губы нет, нет Ямала, Тазовского полуострова и Гыдана, там ровный морской берег. «Самоеда» — гораздо южнее «терра Теймир».

Участник экспедиции Мессершмидта швед Страленберг в 1725 году в Париже выпустил «Новое географическое описание Великой Татарии» (так тогда именовали сибирскую Россию).

«Нова Земля» на ней представляет почти прямоугольный кусок суши, протянувшийся по параллели от Вайгача до устья Хантайки.

Ямал представляет из себя некрупный мыс, намного южнее гыданского выступа.

«Провинция Ангазейя» протянулась от левобережья «Иениссей» в глубь Сибири. «Обдория» обозначена по реке, впадающей в губу.

Большой интерес представляет «Карта Обского устья» Петра Чичагова. Она не просто подробна, а уже в отдельных фрагментах даже геодезически достоверна. Это результат исследований русского геодезиста, посланного на Север Петром Первым.

Тазовская губа очень большая, Обской практически нет, только дельта.

«Хуба Табовска» соединяется с Карским морем узким проливом.

Полуостров Ямал, если назвать так восточное побережье губы Тазовской, упирается в Вайгач. По нему тянутся горы до пролива.

Гыданский полуостров представляет вытянутый на запад узкий и длинный мыс.

Обозначены поселения — Обдорское и Надымское.

Карта напечатана «иждивением обер-секретаря правительствующего Сената».

Картой Петра Чичагова практически заканчивается картографическое мифотворчество, составление карт по легендам, рассказам, «скасам», допросам и расспросам. Одно из последних деяний императора Петра I — идея Великой Северной экспедиции. Уже после смерти императора в Сибирь, на берега Ледовитого и Тихого океанов пошли отчаянные петровские лейтенанты. Они были снаряжены необходимым научным инструментарием, описывали берега Российской империи по всем правилам тогдашней геодезии. Облик России, в том числе и Сибирского Севера приобретал научный вид. Оставалось, понятно, много «белых пятен», на стирание которых потребовалось еще более двух веков. Но основное было заложено.

Хотя мы все еще очень плохо знаем родную землю, каждому из нас есть что сделать в познании родины.



Город Нижний — это на Туре

Если вы хорошо знаете географию Западной Сибири, то вряд ли найдете нечто общее между великим Иртышом и рекой Полуй, на крутом берегу которого расположилась столица Ямало-Ненецкого автономного округа Салехард. Роднит, может, лишь то, что на крутом берегу Иртыша тоже расположилась столица и тоже автономного округа — Ханты-Мансийского — ныне Ханты-Мансийск, бывшее Самарово и Остяко-Вогульск.

Но не будем спешить с выводами.

Полуй здешние обитатели — ненцы — издревле называют иначе: Лар-яха. Обозначает имя — «родовая река Ларов», именно по берегам этой реки селились ненцы рода Лар, который сегодня прославляет переселившийся на тобольские берега Иртыша очень своеобразный художник Леонид Лар.

Откуда же взялось название Полуй, что оно означает?

Оказывается, Полуй течет не только у Салехарда, впадая в Обь, его можно найти и на том же Иртыше. Причем не один. В недавние еще времена сибиряки, жившие на Иртыше, называли «полуями» новые русла Иртыша, которые мощная река промывала сквозь рыхлые грунты, спрямляя свой путь к Оби. Прямые новые речные ложа называли также «прямицами» в отличие от стариц — старых русел.

Загадку представляет и то, что «Полуй», скорее всего, слово финского корня: «ойа-пуоли» обозначает «половина реки».

В этом факте некоторые лингвисты торопятся видеть подтверждение того, что угро-финские племена формировались на Урале.

Каким же образом Лар-яха получила новое имя Полуй? Ведь достаточно крупную и даже судоходную реку вряд ли спутаешь с новым руслом еще большей реки.

Доказательных материалов, чтобы точно ответить на этот вопрос, пока нет. Остается предположить, что наши далекие предки, которые не летали над Полуем, скажем, на вертолетах, не имели быстроходных лодок и, по всей вероятности, не особо разбирались в крупномасштабной топографии, все-таки спутали эту реку с но-

вым руслом... ну, скажем, Оби. Однако это весьма вольное, если не легкомысленное предположение. Ясно, что загадка куда труднее, и ее еще предстоит разгадывать.

Занявшись топонимикой, вспомним и об имени первого и славного града Сибири — о Тюмени. Трудями многих популяризаторов почти узаконено, что «Тюмень» от тюркского слова «Тумен» и обозначает «10 тысяч всадников», т.е. некоторое подобие военного округа — степного, конного, насчитывающего именно 10 тысяч воинов на лошадях.

Нынче другие версии и варианты не рассматриваются, скорее всего и рассматривать их некому, ибо именно нынче специалистов по топонимике раз... и обчелся. Надо честно признать, мы не просто недалеко ушли от давних исследователей, но и вообще пошли в сторону, если не назад.

Давайте заглянем хотя бы в «Историю Сибири» почтенного мэтра Герарда Миллера. Еще в середине XVIII века этот дотошный путешественник, знаток архивов и устных сибирских преданий, писал:

«О происхождении названия Тюмени татары рассказывают двояким образом. Это слово на их языке обозначает десять тысяч. Одни из них уверяют, что в древние времена там жил могущественный татарский князь, имевший до 10000 подданных, или имевший возможность собрать войско такой численности. Другие же рассказывают, что татарский князь, живший здесь, приказал однажды заполнить все овраги реки Тюменки своим собственным скотом. Это было сделано, и при счете оказалось 10000 голов скота. По первому объяснению можно судить о силе татар, по второму — об их богатстве.

Возможно, что то и другое выдуманно. Название Тюмени не первое, которое основано на басне. То же самое название встречается на Каспийском море, где приток реки Терека известен под названием Тюменки; на нем был расположен татарский или черкесский город, названный Тюменским городком.

Что же касается происхождения названия сибирского города Тюмени, то во время строения города оно, вероятно, было в употреблении у татар, теперь же они им больше не пользуются, а называют город старым именем Чимгитур».

Посмотрите, какое богатство вариантов предложил дотошный немецкий педант на русской научной службе в отличие от наших современников, которые настаивают на одном-единственном, побольшевикски однозначном милитаристском варианте — Тумен.

Насколько мне известно, лишь один топонимист продолжил исследование вариантов, предложенных Герардом Миллером. Это омский исследователь Михаил Лебедев.

Его небольшое эссе относится к концу тридцатых годов, когда Тюмень, Тюменский округ входил в состав Обь-Иртышской области с центром в Омске.

Вот версия омского ученого.

«Тюмень» — не от татарской легенды (то есть осмысливания непонятого слова!) 10000 воинов или (другая легенда) голов скота. Уже Миллер считал, что «возможно, то и другое выдуманно». В «Словаре алтайского и аладагского наречий тюркского языка» есть, — обнаруживает Лебедев, — *тöмен* — вниз, долу; *тöменги* — нижний. Ср., — предлагает Лебедев, — русское «Нижний», Нижний Новгород».

Если действительно исходить не из легенды, переосмысливание непонятого слова, как чаще всего и случается в любительской

топонимике — науке дилетантов, то с Тюменью все обстоит просто — это еще один Нижний, Нижний город на Туре, или городок Низовой.

Кстати, и о Туре. Еще один анализ Михаила Лебедева.

«Известный Патканов производил «Тура» от вогульского «тур» — озеро, а Миллер — от татарского, бухарского «городок, крепость». Но сам Миллер чувствовал натянутость, почему и допускал, что татарское название могло произойти (Лебедев ставит здесь два знака (?!) — *А.О.*) от вогульского терь-я — болото. Итак, и крепость, и болото?! Но «крепостями не были Кысым-тура (Девичий городок), Бишик-тура (Женин городок) и ряд других «тура», а стояли они обычно на сухих высоких берегах! Алтайское «тура» — дом, город, строение».

Чем хороша топонимика: как всякая гуманитарная наука, она окончательных приговоров никогда не выносит, поэтому из многих — обязательно многих! — вариантов всегда можно выбрать тот, который нравится — истиннее! — больше. Но всегда надо помнить, что это все же всегда не окончательно.

Если уж мы забралась в забытые лебедевские изыскания, еще одна его очень любопытная версия. Она касается древней, дорусской столицы Сибири Искера.

«У него есть двойник — Иско/е/р на реке Колве; оба они расположены на высоких, обрывных берегах рек. Названия того же типа: Пыскар, Шоркар, Шурышкар и другие «ка/е/ры» на берегах рек, озер. И тобольский татарский Кашлак был «основан» на месте «древнего остяцкого городка». Характерно, что Пигнатти, приведя объяснение «Искер» из татарского языка (иски = древний + ер = земля, то есть городище), однако чувствует неладное: «Невольно закрадывается мысль, что и татары во время захвата этой местности у туземцев застали уже здесь поселение людей, живших сообществом в городке, откуда и создалось название его». Уже Миллер отмечал, что по Шардену есть «Искер» в Грузии. Катанов обращал внимание на наличие корней слова в турецком языке, Пигнатти — река Искер в Болгарии. А «Книга большого чертежу» знает «на Сосве ниже Ляпина град «Искар».

История народов многослойна. Топонимы подсказывают непредвзятому исследователю: в каменную стену человеческого бытия этот кирпич положил этот народ, этот камень — это племя, этот камешек — этот род.

Земля круглая, человечество не стоит на месте, движется своим земным кругом.

Есть много любителей, которые хотели бы считать, что бытование народов — неподвижность. Нет, жизнь человечества — дорога, и мы ищем следы каждого на этой вечной дороге постижения жизни.



Первая пашня Сибири

Российская история явно излишне милитаризирована: историки (особенно составители школьных учебников) упиваются победами отечественного оружия, забывая, что государства утверждаются отнюдь не ратным, а сугубо мирным трудом. Памятуя о военно-колониационном стимуле, произведенными казацкими пищалями, я все же полагаю: полноте, да разве Ермак заглавная фигура сибирского первоосвоения-обжитья? Не проглядели ли мы за легендарной Ермаковой кольчугой настоящего освоителя? Конечно, прошлое народов (иного нам не досталось) кроваво, но в цивилизованных странах давнюю кровь не поминают, дабы не вызвать новую. Простенькая мысль недавно осенила мою голову: а когда на сибирскую землю ступил первый русский — не воин, а крестьянин-хлебопашец? Незатейливый вопрос, но ответ на него оказался непрост. Даже дореволюционные историки, куда более миролюбивые, чем советские, тоже не особо задавались такими вопросами: где, когда, кто? Где распахана, когда и кем первая пашня в Сибири — первоначальница мирного освоения необъятных пространств до Великого океана? До того, как забраться в пыльные фолианты, я постарался представить канву событий. Мое размышление протекало так: в 1582 году ермаковская ватага разгромила тумены Кучума. Через четыре года подошло время основания первого сибирского города — государственного острога — Тюмени. Покоренные «народцы» понесли ясак в цареву казну. Отсюда начинается русская Сибирь. Как устраивалась жизнь первых русских сибиряков? Начнем хотя бы с того, чем они кормились — не святой же дух первопроходчества питал их. Конечно, под рукой имелось все: рыба, ягоды, дичь. Но всякий новый край заводится с хлеба насущного, значит, с пашни. Надо полагать, появиться она должна была рядышком с первым острогом. Привозным запасом служилый государев казак, наверное, долго продержаться не мог. Если для небольшого отряда еще можно припасти командировочного провианта, то городскому гарнизону достаточен только хлеб доморощен-

ный. Значит, где-то сразу после «основательного» 1596 года и должна была крестьянская соха пройти по тюменскому чернозему. Но крестьянин — движущая сила тогдашней истории, писаной историей особо не отмечается, безмянно фигурируя под популярным псевдонимом «народ». Отыщем ли имена первых землепашцев — весьма проблематично, хотя бы — топографически точно — где была распахана первая кормилица русских сибиряков? В середине нынешнего века работал замечательный историк В.И. Шунков, написавший капитальную монографию «История земледелия Сибири», именно за нее я ухватился как за путеводную нить. Однако эпизод крестьянского первопроезда Шункова особо не волновал, хотя историк лаконично подтверждал, что направление поиска верно: «Тюменские деревни были первыми русскими земледельческими поселениями на Туре. Пашенные люди Тюмени, Верхотурья, Туринска положили начало русскому земледелию».

Может быть, что-то подскажет другой известный труд не менее замечательного историка П.Н. Буцинского, я бы назвал эту книгу энциклопедией мирного освоения Сибири, — «Заселение Сибири и быт первых ее насельников». «В 1595 г. в Тюмени, кроме служилых людей, были и посадские, и пашенные крестьяне». К сожалению, и Буцинского не особо интриговало, где засеивались первые тюменские пашни. Видимо, следовало поточнее изучить, где же селились первые граждане Тюмени, распашку земли они должны были вести явно вблизи своего острога. Неоценимую помощь здесь окажут «портфели» Герарда Миллера, набитые архивными документами к его «Истории Сибири». Миллер констатирует: «Ни одна из сибирских местностей не обладает, кажется, такими преимуществами. Место, занимаемое Тюменью, тянется во все стороны на равной высоте и покрыто плодороднейшей пахотной землей». Первоначальная черта города заканчивалась на границе реки Тюменки, Деделова и Вишневого буерака, там, где сегодня проходит улица Полевая. Полевая? Случайно ли именно это название?

Начиная одинокий поиск, не встречая поначалу понимания и участия, я не подозревал, что могу пойти по чужому следу, что отыщется в Тюмени человек, которого нынешние мои вопросы обременили куда раньше. Не стоит, как говорится, деревня без праведника. Кто занимался краеведением, не раз на практике убеждался, что непременно сыщется человек, который по интересующему вопросу и много знает, и ведает давно. Чаше всего ведуны эти — скромные, тихие люди, не умеющие афишировать себя, а порой от излишней скромности стесняющиеся своего многознания. Они мне очень нравятся, эти праведники, чьим тихим подвигом и держится не особо прочная истории сибирской связующая нить. В Тюмени я сначала обнаружил библиографа Бориса Бычина. Скромный сотрудник научной библиотеки проделал невероятный труд: систематизировал и издал в двух томиках капитальнейший указатель литературы, в котором по существу прослеживается вся деревенская история Западной Сибири, — «Сельское хозяйство Среднего Зауралья». Бычин подсказал мне конкретную фамилию — Иваненко.

Я читал книги А.С. Иваненко «Вокруг Тюмени», «Путеводитель по Тюменской области», «Окрестности Тюмени». Они проникнуты любовью к Сибири, к сибирскому краю, у читателя возникает ощущение, что автору в этих местах ведомы каждая кочка, буторок, овра-

жек, он их прошагал, прополз, исследовал. Но особого интереса к землепашеству я не отметил у автора. И напрасно!

Доцент Тюменского сельхозинститута А.С. Иваненко подготовил солидную рукопись по истории тюменского земледелия. (Книга эта уже вышла в свет в Свердловске).

Александр Стефанович подтвердил мои розыски, да, первая пашня Сибири находилась в нынешней черте Тюмени, возможно, это действительно улица Полевая, но, вероятнее всего, район улиц Челюскинцев и Семакова. Иваненко, человек конкретного исследования, не оставил мне надежды: первая пашня уже застроена, и если нам захочется как-то увековечить крестьянскую славу, придется воспользоваться распространенным оборотом «На этом месте...». И только.

— Мы уже давно ходим по асфальту там, где когда-то трудолюбивый тюменский землепашец вел трудную борозду, — не то сетует, не то обижается Александр Стефанович. — Городская застройка в Тюмени особенно не продумана и безобразна, она постепенно, последовательно стирает крестьянскую землепашескую историю Сибири. Город вообще как-то чужд и равнодушен к истории своих кормильцев, не замечает и их, и их труд. За последние семь десятков лет мы поднаторели в разделении трудящегося народа: один вроде гегемон первого сорта, другой — примкнувший, труд которого можно использовать, но не ценить. Мы скорее отметим девяностолетие какой-нибудь незавидной пролетарской стачки, чем четырехсотлетие крестьянского подвига.

Первая цель — местоположение первого русского поля — достигнута: отрицательный результат тоже результат. Естественно, печально. Мы чтим отечественные святыни: Куликово поле, поле Бородина, Малахов курган. А разве мирный подвиг сибирского пахаря не соразмерен с доблестным деянием воина? И коли мы собираемся жить в вечном мире, может быть, нам чаще следует останавливать свое внимание на мирном освоении, полагая, что Сибирь покорилась соха, а не меч. Политая потом первых сибиряков пашня — наша святыня. Но сегодня чтить, выходит, фактически нечего. Может быть, опустить руки? Впрочем, стоит ли торопиться? Может, повезет с датой и именами.

В «Историческом обозрении Сибири» славного тоболяка Петра Словцова меня остановила фраза: «Если рассматривать русско-сибирское земледелие как искусство, а не как производство народного хозяйства, оно не могло развиваться от первоначального, в 1590 году перенесенного тридцатью сольвычегодскими пахарями». Во-первых, замечательно, что Словцов считает землепашество искусством, а во-вторых, что за тридцать пахарей из Соли Вычегодской и что за дата 1590 год? После основания Тюмени минуло 4 лета, может, сольвычегодцы и есть самые первые?

Откуда у Словцова эти точные данные, на какие документы он опирался, сохранились ли эти старинные бумаги, где они?

В каждом исследовании есть своя интрига, потому что к результату, который потом становится очевидным, приходишь весьма извилистым путем. Правда, по пути узнаешь много неизвестного для себя, достаточно, чтобы погрузиться в атмосферу эпохи. Но как хочется побыстрее выскочить на искомое.

Оказывается, в рукописи А.С. Иваненко (кстати, называется она «400 лет сибирского земледелия») ведомый Словцову документ цитируется. Это царский указ Федора Иоанновича именно 1590 года:

«Выбрати в Сибирь на житье тридцать человек крестьян с женами, детьми и со всеми их животы, а у всякого человека было бы по 3 мерина добрых, да по три коровы, да по две козы, да по три свиньи, да по 5 овец, да по двое гусей, да по пятеру кур, да по двое утят, да на год хлеба, да соха со всем для пашни, да телега, да сани и всякая житейская рухлядь, а на подмогу им дать по двадцать пять рублей человеку».

Я, как бы сказали в старину, поблагодарил провидение за то, что именно зимой 1990 года в мою голову пришли мысли о первых землепашцах Сибири. Ведь минуло ровно 400 лет! Славный юбилей, и еще не поздно что-то предпринять, дабы не забылся окончательно крестьянский подвиг. Еще на одну мысль наводил царев указ: из документа явствует, что на исходе шестнадцатого века землепашество считалось высокопрофессиональным занятием, а не простым обиходным делом, в каком каждый мог считать себя профессионалом. Насколько же основательно царское распоряжение, цари и четыре столетия назад действовали профессионально, не грех такой основательности поучиться и нынешним пылким премьерам!

Доцент Иваненко тоже чтит профессионализм царева премьера Бориса Годунова:

— Вы отметьте особо — посылал пахарей не из центра, а с Российского Севера, понимал, что климат Северной Двины схож с тюменской погодой, посылал северян в надежде, что они легче приживутся на новом месте, освоят необжитую сибирскую землю.

Борис Бычин раздобыл редкую и занятную книжицу «Сибирь в XVII столетии», выпущенную в Тюмени в начале нынешнего века радением знаменитой купеческой семьи Чукмалдиных. Опубликованная в ней «дозорная книга» Тюмени 1623 года свидетельствует, что к тому времени в тюменской округе уже существовали землепашеские деревни Каменка, Молчанова, Зырянка и самая крупная из них — Метелева. В дозорной книге можно отыскать и фамилии русских «пашенных». С точностью, конечно, не определишь, но житейский резон подсказывает, что среди этих фамилий вероятнее всего есть и те, кто самым первым начинал сибирскую запашку. Ведь после царева указа прошло чуть больше тридцати лет — возраст одного поколения. Русский крестьянин жилист, рабочий век его долог, наверняка в документе помянуты не случайные люди, а крепкие, основательные, известные крестьяне. Мне бы хотелось думать — Андрюшка ли Сатюков и брат его Тишка, Антошка ли Архипов, Ивашка Тимофеев, Якунка Михайлов либо Шестачок Осипов — именно они и есть самые первые тюменские землепашцы. Если уж не все, то кто-то из них непременно. Запомнить бы накрепко эти фамилии. Понятно, это не знаменитые сподвижники атамана Ермака, но Сибири они принесли огромную пользу: крестьянская соха несла мир и достаток. Приват-доцент П. Головачев сообщает любопытную подробность: «Неслужилое, тяглое население представлено было пашенными и посадскими. Интересно отметить, что в это время число пашенных крестьян в Тюмени было гораздо больше, чем в последующее (над ними был поставлен даже особый пашенный приказчик)». Из этого факта непреложно явствует, что первоначальная Тюмень — настоящая землепашеская деревня.

Итак, ныне нам ведомо все: рядом с государственным тюменским острогом (от нынешнего городского центра не дальше улицы Полевой) 400 лет назад (по крайней мере, никак не позднее) по

специальному цареву указу тогдашние российские профессионалы-землепашцы (предположительно можно назвать и их имена) распахали и засеяли первое хлебное поле.

Первое поле Сибири!

Все вроде отлично, только мы не увидели воочию, руками не пощупали ту славную землю, может, поэтому достигнутые цели не особо радуют. Но, быть может, задача изначально не особо верно сформулирована? Зачем непременно первая пашня, ведь можно поискать ту, которая сохранилась. Если уже нет первого, то, наверняка, есть старейшее поле Сибири.

«На речке же на Тюменке мельница мучевчатая пашенного крестьянина Тренки Метелева, у него, у Тренки, под деревню, мелет зимою и летом одними жерновы, а вода не малая, оброку с той мельницы платят в государеву казну 3 рубли».

По всем доступным нам с доцентом А.С. Иваненко документам выходило, что Метелева — самая старая русская деревня Тюменской области, по существу же и всей Сибири. Здесь, у Метелевой, сразу же за сооружениями городского водозабора («а вода не малая») начинаются поля. Вид сибирский — скромный, серенький, дальние окоемы, перелески. Где-то здесь хлебопашец Метелев с редким именем Тренка выращивал рожь и «мутовчато» молот ее, кормил земляков, платил «три рубли» оброку в ненасытную государеву казну.

«Пашут землю сохами и лошадыми, — свидетельствует еще один документ, любезно разысканный для меня библиотекарем Бычным. — Черноземную землю никогда не сдабривают, а только пашут и боронят, а где земля пашенная, белая, то оную под каждый продукт сдабривают возкою из жительствовавших назмом и то малую часть. И под рожь, и яровые хлебы трудолюбивый крестьянин землю пашет по два раза глубиною в четыре вершка. Прилежной к работе крестьянин обрабатывает с малым помощником пашенной земли десятин до 12».

Да, оно не должно быть особо большим, старейшее поле Сибири — десятин 12 с небольшим, то, что было доступно трудолюбивому пахарю, его малому помощнику и сохе.

Сейчас там, где некогда трудился Тренка Метелев, работают механизаторы учебно-опытного хозяйства учебно-научно-производственного объединения «Тюменский сельскохозяйственный институт». Старейшее сибирское поле по-прежнему трудится, работает интенсивно, урожаи здесь неплохие: если брать за последние десять лет, — это, примерно, 30 центнеров зерна с га, 460 центнеров кукурузы, свыше 100 центнеров картофеля. Оно, почитай, уже более четырехсот годков, не простаивая, кормит сибиряка.

Можно отыскать первое омское, томское поле, иркутское, красноярское, но следует помнить, что сибирский землепашец начинал свой долгий и славный сибирский путь отсюда — с берегов Туры.



Заговор остяцкой княгини

В квартире у советского художника, точнее у художника из райцентра Советский Вадима Савинова, я увидел на стене портрет пожилого человека, явного фронтовика: он при военных орденах, с грустным или тревожным? — взглядом.

— Кто это? — поинтересовался я.

— Брат мой, единоутробный, только отцы у нас разные — Валериан Тимофеевич Кузьмин.

Сам Савинов родом ханты, и брат его единоутробный, понятно, тоже.

Здесь же неожиданно выяснилось, что Валериан Кузьмин — автор книжки, которую я тщетно искал, — «Земля Кодская», изданной к 400-летию Октябрьского района.

Валериан Тимофеевич умер два года назад, незадолго до смерти успев закончить большой труд — книгу о родной земле. Он три года воевал, вернулся инвалидом, после войны освоил мирную профессию строителя, участвовал во многих громких стройках Тюменского Севера, в частности, в освоении Самотлора.

Но на всю жизнь хантыйский воин и строитель остался верен родной деревне, в которой родился, — Малому Атлыму. Наверное, счел сыновним долгом собрать все, что писали о его деревне за четыре века ее существования, собрать все, что знали его старшие земляки, и то, что знал он сам.

Его книжка как благородный завет, необходимое завещание: не только неосознанно любить, но и знать родную деревню, ее историю, корни свои.

Прекрасно, когда бывалый человек, повидавший мир, полноценно осознает, что нет ничего прекраснее и милее малой родины, и оставляет такой святой завет.

Валериан Тимофеевич поработал тщательно, досконально и основательно, ничего постарался не опустить, не пропустить, поработал во всех доступных ему архивах и музеях. Его труд не претендует на беллетристический изыск, но в исторической части книжка

писана очень сочно, вкусно, дальше — более схематично и сухо: наверняка, обработать не хватило времени.

Замечательно, когда человек без всякого расчета на славу и похвалу перед самим собой выполняет долг. И прекрасно, что нашла Октябрьская администрация деньги, чтобы этот скромный, но очень важный и полезный труд издать.

Еще одно несомненное достоинство книги Валериана Кузьмина: человек он, понятно, советской эпохи, но взгляд его на историю родной земли, слава Богу, не классово-пролетарский: человек перестроечного времени видит ее во всей многокрасочности, а не двутонно: черно-бело, бело-красно.

Неторопливо и основательно деревенский Нестор-летописец описывает все этапы долгой жизни родной деревни, родной округи. Не всякая, даже старая деревня вековая, может похвастать и своей летописью, и своим летописцем. Их, честно говоря, считанные единицы.

Я вспомнил Валериана Кузьмина и его книжку, чтобы процитировать небольшой фрагмент — интереснейшую страницу югорской истории:

«Кодское княжество сохраняло свою независимость до XVIII века.

Большой остяцкий князь Алач, а затем и его сыновья — Иван и Михаил — занимали видное положение среди остяков, пользовались большим уважением и были очень справедливы по отношению к своим соплеменникам. Они поддерживали союзнические отношения с Московским государством, строго соблюдая договорные обязательства. В последующие годы большие князья меньше стали придавать значения взаимоотношениям с мелкими князьями, многих из них стала одолевать алчность. Их перестали интересоваться нужды и жизнь сородичей. Среди таких можно назвать большого Кодского князя Ичигея и Анну, которые умудрились ввести еще один налог на своих сородичей. Не выдержав непомерного ясака на пушнину, мелкие княжества выступили против большого князя. Центр княжества находился в юртах Нангакорт, на реке Нангакорка, в шести километрах ниже по течению Оби от Октябрьского. Зная, что в одиночку не одолеть его, решили расправиться с ним сообща. В этом восстании (с 1607 по 1609 год) участвовали малоатлымские, большеатлымские, шеркальские, вежакарские и другие соплеменники. Руководимые своими вожаками, они пошли в поход, убили старого князя Онжина. Два года продолжалось это остяцкое восстание, но силы были не равны, и оно в 1609 году было подавлено с помощью русских казаков».

К сожалению, Кузьмин написал о восстании княжны Анны очень бегло.

Вот что удалось разузнать о давних событиях мне.

В народной памяти не только сохранны, но и любимы, особо почитаемы такие имена: Разин, Пугачев, Булавин, Болотников. Что-то, а бунтовать долготерпеливая русская душа любит.

Но если поискать, каждый народ, даже небольшой, отыщет своего национального героя. Редко, правда, в такой роли выступает женщина.

Царские воеводы, посланные московскими властями «на правление» в Тобольск, откровенно попирали куцые права «инородцев». Верхом проявления недовольства угнетенных северян было

восстание ненецкой и хантыйской бедноты под предводительством отважного Ваули Пиеттомина. Менее известны другие попытки. Одна из таких попыток принадлежит княгине Анне Кодской. Система грабительского ясака, практиковавшаяся сибирскими чиновниками, тяготила не только бедных охотников и рыболовов, но и национальную верхушку — «князцов» и «старшин». Анна Кодская задумала свой заговор широко. Княгиня и ее доверенные лица объехали стойбища самаровских и белогорских остяков. Гонцы были направлены к сосьвинским остякам, а также в Обдорск, где в то время княжил Мамрук. Послы Анны достигли даже берегов Енисея, где вели переговоры с тунгусскими старшинами. Переговоры шли успешно: решено захватить важнейшие остроги и крепости, свергнуть царских наместников. Князь Мамрук сам отправился по зимней дороге из Обдорска, чтобы сообщить Анне о своем согласии.

К весне 1609 года в планы заговора были посвящены уральские воины и туринские татары.

Не все посвященные в замыслы Анны Кодской умели хранить тайну. Неосторожные вопросы вогульских охотников, приехавших на ярмарку, заставили насторожиться верхотурского воеводу. Он поспешил известить свое начальство в Пелымском остроге «о готовящейся измене».

Военные действия заговорщики планировали начать ближе к зиме 1609 года. Предводительница считала, что выступать следует сразу в нескольких местах. Обдорским остякам и самоодам вменялось в обязанность соединенными усилиями с отрядами сосьвинских вогулов захватить Березов. Тобольск должны были занять кондинские, нижеиртышские и сургутские остяки вместе с татарами.

Пока пелымский воевода соображал, велика ли степень «измены» вверенных ему вогулов, на Сосьве березовскими казаками был арестован посланец княгини Анны остяк Кочегом. При допросе «с пристрастием» истерзанный Кочегом выдал не только цель поездки, но и план восстания.

Из русской истории мы помним, что в 1609 году на Руси шла война с польскими шляхтичами, пытавшимися водворить на русском престоле пресловутого Лже-Дмитрия. «Сибирская смута» могла бы значительно подорвать царский авторитет в новоприобретенном сибирском крае. Поэтому тобольское начальство, узнав о тревожном известии, постаралось как можно скорее искоренить «измену». Воеводские помощники на всем пространстве обширного края быстро и решительно обезоружили названных Кочегомом руководителей предстоящего вооруженного выступления. Восстание не состоялось.

Что случилось дальше с княгиней Анной, какова ее судьба я, к сожалению, не знаю. След ее потерялся в пыльных архивах.



Апостол Сибири

В Тобольске о нем помнят, но, мягко сказать, не чтят. В одном из тобольских храмов был придел в его честь; где этот придел сейчас — никто из церковных иерархов мне сказать не мог.

А ведь это единственный святой Русской православной церкви — урожденный тоболяк. Казалось бы, повод для почитания немаловажный. Хотя в церковном мире он не забыт. В Курганской области в его честь назван небольшой городок, его именем называют и Свято-Успенский монастырь. Речь о святом старце Далмате.

Мне захотелось побывать в местах, где совершал свои жизненные и духовные подвиги великий сибирский старец. И я оказался в спокойном городке Далматове. Титул у него небывало-городской, сегодня официально пишется — село Далматовское.

Свято-Успенский монастырь устроился на высоком берегу Исети прямо против устья впадающей в нее Течи. Берега в ивняке. Издали красивый церковный вид портят большие заводские трубы, разместившиеся тут же. Когда попадаешь на монастырскую территорию, следы недавней разрухи явственны. Монастырь возвращен церкви совсем недавно, долгое время здесь размещалось оборонное предприятие. «Оборонка» отступает, но как после всяких военных — поле боя безрадостно. Аналогия напрашивается сама собой: долгое время Россия ставила на силу духа, большевики же поставили на силу силы и, кажется, проиграли напрочь.

Монастырь пытается возродиться. Здесь 6 монахов. Уже шесть. Или еще шесть? Но они здесь, шесть мужчин, посвящающих себя Богу.

Наставник Спасо-Успенского мужского Далматовского монастыря отец Варнава очень молод. Еще студентом философского факультета Уральского государственного университета он совершил монашеский постриг.

Как беден монастырь, можно судить хотя бы по обуви наставника: в летнюю жару он ходит в стоптанных кирзовых сапогах.

Речь отца Варнавы непривычна, странна. Молодой современник с разночинской бородкой и философским образованием, с явно

выраженным философским складом ума делает некий прыжок во времени: церковной речью своей, житийным языком, забытыми словесными оборотами, как волной, уносит тебя в другую эпоху, другие времена. Слово преодолевает мрак времени. Надо ли о давних святых говорить другим, современным языком?

— О Далмате мы знаем из его жития, из записок современников. Родился он в 1594 году, а преставился в 1697, прожив невероятно долгую жизнь — 103 года. Происходил он из казаков, отец его — казак из Малороссии. Пожалован государем, получил за службу дворянство. Женился его отец на крещеной татарке.

Был Димитрий в детстве обучен грамоте, родители дали ему необходимое образование. Имел детей, имел свою семью, отличался богобоязненностью, но, скорее всего, тяготила его жизнь мирская. И когда умерла его жена, в зрелом уже возрасте, имея многих детей, Димитрий Иоаннович Макринский решил посвятить жизнь Богу, уйти в монастырь, и ушел в Невьянский Богоявленский монастырь Верхотурского уезда. В монастыре принимает постриг в честь преподобного Далмата, подвизавшегося в Константинополе в IX веке. В монастыре, видя его подвижническую жизнь, братия решает избрать его строителем монастыря, возложить на него бремя руководства всей обителью. Однако преподобный Далмат не хотел славы человеческой, желая избежать суетной славы, решает покинуть монастырь, и чтобы не соблазнять братию, уходит тайно, взяв с собой святыню — икону Успения Божией Матери, с которой и прошел он свою монашескую жизнь. Со святыней уходит на восток, ища места уединенного, по дороге встречает одного из местных поселян, который указывает ему подобающее место.

Далмат поселяется на этом месте, на Белом Городище, на высоком берегу Исети, у подошвы оврага ископал пещеру, где и стал подвизаться. Места необжитые, места безлюдные, в уединении предавался он монашеским своим подвигам. Земли эти принадлежали тюменскому татарину Илигею, который отдавал их в ясак русским промышленникам Королеву и Шипицыну. Те промышляли здесь зверей, рыбу ловили и отдавали дань Илигею. Видя, что появился русский пришелец — монах, промышленники стали подозревать возможность создания обители на этом месте, поэтому начали внушать Илигею мысль, что для его владений создалась реальная угроза, опасность. Илигей пришел на это место. Угроза была неминуема. Преподобный Далмат, помня слова апостола Павла «всем бых все», чтобы избежать ненужного кровопролития и спасти душу ради подвигов дальнейших, признался Илигею, что он приходится ему родственником, ибо по матери-татарке он действительно Илигею близкий родич. На этот раз Далмат избежал неминуемой смерти. Однако в дальнейшем русские промышленники не успокоились, и еще несколько раз Илигей приезжал со злыми намерениями.

Хрестоматийно, житийно это Далматово испытание выглядит так: «Враги достигли своей цели: они возбудили злобу Илигея до того, что он осенью 1645 года с толпою татар снова двинулся к Белому Городищу с намерением умертвить Далмата. Настолько была сильна злоба Илигея, что он как будто забыл и о своем родстве с Далматом, и о данном ранее сего обещании не стеснять инок, поселившегося на его вотчине. Что мог сделать беззащитный и одинокий инок, живущих в непроходимых лесах? Скрываться от врага было противно душе богобоязненного старца, помощи же от людей

нельзя было и ожидать. Но здесь, где уже нет, по-видимому, никакой помощи, невидимой заступницей инока является Пресвятая Богородица, покровительница всей его жизни. Утомленный переездом Илигей остановился ночевать на правом берегу Исети, почти против пещеры инока, и в эту ночь, в которую он намерен был умертвить Далмата, видит во сне «благолепну жену, в ризах багряных, с бичем в деснице, которая при грозном взоре изрекла: «Старца Далмата не убивать, зла слова ему не произносить и отдать ему всю вотчину с угодыми». Устрашенный сим видением Илигей на другой день с толпою татар смиренно явился к иноку и рассказал ему о своем ночном видении, называя благолепную жену Пресвятой Богородицею. Так оказались безуспешными хитрости и происки злонамеренных людей там, где человек и его жизнь находятся под защиту Пресвятой Богородицы!».

Илигей пообещал Далмату, что как только выйдет срок использования оброчных земель русскими промышленниками, он передаст свои земли святому старцу. В 1646 году, когда вышел срок ясака, Илигей с родственниками вышел к пещере преподобного Далмата, обвел его по границам владений, дав грамоту, что передает преподобному земли в вечное владение.

Когда о подвигах преподобного Далмата стали узнавать иноки, к нему стали стекаться проходящие люди русские, монахи, чтобы подвизаться вместе с преподобным. Пещера уже не могла вместить всех подвизающихся, преподобный Далмат решил выстроить часовню в честь иконы Успения Божией Матери, иконы, которая оберегала его и подарила ему сие место. Впоследствии в часовне находилась усыпальница преподобного Далмата.

На Далматову обитель нападали татары, делали набеги калмыки, осаждали ее башкиры. Поселенцев убивали, брали в плен, степняки старались отодвинуть монахов от своих кошей и степного приволья. Но под мудрым примером старца и сына его Исаака обитель выстояла.

Православные христиане стали чтить преподобного Далмата еще при жизни, а после смерти особенно, почитание его распространилось на Сибирь и край Зауральский, даже иноверцы почитали преподобного Далмата прежде всего за то, что он как первопроходец принес свет веры Христовой в этот край. Исцелял преподобный Далмат от разных болезней, в том числе и братию монастыря, и жителей окрестных деревень.

Отец Варнава спешит по своим делам. Забот у него много. Может, не о духовном он думает сейчас, о насущном хлебе. Сложные времена в конце века. Для всех.

В церкви в специальной раке хранят мощи святого Далмата. Их обнаружили совсем недавно.

Наверное, сибирский святой чрезвычайных подвигов, даже по церковным меркам, не совершил. Он просто был предан Богу, оберегаем Им, посвятил себя Ему и остался в благодарной народной памяти как великий подвижник.

Живет сибирский городок.

Далматов городок.

Далматов...

Сегодня есть немало людей, которые хотят развести нас, людей конца XX века, по отдельным национальностям, по отдельным религиозным «квартирам». Это убийственно на перенаселенной планете.

Честно говоря, меня к житию святого Далмата привлек именно этот факт: православный русский святой — сын сибирского казака и сибирской татарки. Нас объединит только любовь. И исключительно любовью должна жить планета Земля и люди на ней.

Пример старца Далмата свидетельствует, что высшая ценность — многоликое человеческое сообщество.

Если спуститься по склону оврага от бывших монастырских стен, в ивняковых зарослях увидишь родник. Говорят, этот родник открылся Далмату.

Бежит, струится прозрачная, хрустально-холодная вода чистого источника. Чистая вода прошлых времен впадает в нашу сложную современность.



Загадки «потайного» писателя

Видишь спелые поля, комбайны на опушке, перекуривающих комбайнеров, самолет в небе. Дорога хотя и сельская грунтовка, но вполне сносная. В деревнях по обе стороны дороги попадаются ветхо-древние домишки, но все же запустением и пустынью не веет.

И как будто трудно перекинуть переходный мостик и дать себе поверить, что эти места искони староверческие, истово староверческие, что именно здесь жили особые русские православные, что ради веры без боязни и без колебаний могли пойти прямо в огонь.

За деревней Кирсановой (на деревенском озерце плавает пара диких лебедей) по найденной тропинке в березовой рощице мы находим старую часовенку. Старые бревна, ветхие доски. Глухая, сырая темь — часовенка без окон. Под навесом у крылечка на подставке несколько иконок. Мы ставим и зажигаем приготовленную свечку.

Эта часовня поставлена в честь, я бы так сказал, местного святого, давнего староверческого вожака Мирона Галанина. Миронушки. Почему-то именно это ласковое имя утвердилось за этим твердым неистовым старовером.

Две старушки, ревниво наблюдавшие за нами, особенно за телеоператором, проводив нас долгими взглядами, перекрестились непривычными жестами и поправили кустики букетиков у оградки.

Эти неприятельные букетики из простых полевых цветов словно воплощали связь времен и крепость, нерушимость человеческой памяти.

Нет пророка в своем отечестве...

О Мироне Галанине, вся деятельность которого связана с Исетском, Тюменью, Тобольском, я узнал... в Новосибирском академгородке.

Все известное творческое наследие этого писателя — три странички старославянской вязи. Не маловато ли, чтобы именовать его писателем? Но сам-то Мирон Иванович Галанин никогда в писатели не рвался, это, скорей, для нас интересно, что же во второй половине восемнадцатого века писал человек, похороненный на

кладбище деревни Кирсановой Исетского района. Сам-то он себя считал ревнителем истинной веры.

Старообрядческий наставник Мирон Иванович Галанин вошел в сибирскую историю как идейный вождь староверческого крестьянства Урала и Сибири, попавший в тобольские казематы не только за свои крамольные убеждения, но и за призывы к протесту против власть имущих: как государственных чиновников, так и церковных.

А вот член-корреспондент Академии наук из Новосибирского академгородка, выдающийся современный археограф Николай Покровский открыл Галанина и как писателя: именно ему принадлежит честь открытия тех трех старославянской вязью изукрашенных страниц, авторство которых, несомненно, принадлежит староверческому наставнику Миронушке.

Кстати, Покровский считает, что большой и, по всей вероятности, главный труд Мирона Галанина еще нужно искать: в староверческих книгах он упоминается неоднократно, но в руки исследователей пока не попадался.

Книжная староверческая культура — огромный и своеобразный пласт ссыльной и гонимой сибирской народной культуры, долго не изучаемой и до сих пор недостаточно изученной.

Попутно вспомним — староверы дали России Третьяковых, Шукиных, Рябушинских, Морозовых, Солдатенковых, Прохоровых.

Кроме солидного Новосибирского археографического центра, в последнее время крупный центр сформировался в Уральском государственном университете, где трудятся ученики Покровского.

Я встретился с ведущим сотрудником археографической лаборатории УрГУ, кандидатом исторических наук Виктором Ивановичем Байдиным. На сегодня Байдин, пожалуй, самый крупный знаток староверческой книжной культуры южной Тюмени, в том числе он пристально занимается творчеством и личностью Мирона Ивановича Галанина.

Байдин по ревизским «скасам» вычислил дату рождения Миронушки — год 1726-й. Родился Мирон в деревне Вохминой (ныне не существующей) на реке Ирюм — это тогдашний Исетский дистрикт. Кстати, около родной деревни Мирон Иванович готовил самосожжение в начале пятидесятых годов, когда гонения на староверов особенно усилились. Правда, это не состоялось.

Удалось уточнить и дату смерти. Раньше, по косвенным данным, Мирону Ивановичу прибавляли 6 лет жизни. Прожил он ровно 8 десятков лет.

Жизнь его была мученической. Девять лет Мирон провел в заключениях: тюрьмах, острогах и казематах. Его дважды пытали в Тобольске, три года провел в Екатеринбургском остроге. Кстати, работал он на горнозаводском мраморном карьере, причем с осужденными смертниками. Работал один, остальные староверы так были запятаны, что подниматься не могли. Мирон не лучшим словом поминает тобольского губернатора Федора Соймонова. Сам бывший каторжанин, губернатор с рваными ноздрями гуманистом не стал. Со староверами Соймонов просто свирепствовал.

В начале 1761 года его снова возвращают в Тобольск, где допросом занимался сам православный митрополит Павел Конюшкович. Присутствовал митрополит, не гнушаясь сана, и на пытках. Слишком опасен был Мирон. На воле Галанин оказался в 1764 году при либеральном тобольском губернаторе Евгении Петровиче Кашкине.

Чтобы доказать Мироново авторство недописанных текстов, Байдин использовал не только филологические и текстологические методы, но и математико-статистические.

Надо было провести и натурные изыскания. В 1754 году Галанина арестовали на Авраамиевском острове в Тюменском уезде. В рукописи «О древних отцах», авторство которой Мирону приписывалось, но не доказывалось окончательно, исследователь обнаруживает такую подробность.

Оказывается, это группа островов среди болот, а не один остров. Такую тонкость мог знать только человек, скрывавшийся на этих болотных островах, а такой факт из биографии Мирона был известен: на этих островах его арестовывал сам тюменский воевода с воинской командой. Воевода пошел на приступ староверческого укрытия после неудачной попытки местных церковнослужителей. Попы шли на приступ со служилыми татарами, но их отогнали ружьями и копьями. Только потом в дело вступил сам тюменский воевода и, естественно, доносил по высшему начальству о своей ратной и православной доблести.

Автор в своих произведениях не особо афиширует ни свои страдания, ни свои испытания. Галанин как старовер и крестьянин считал это неэтичным. Он брался за перо, чтобы писать об общих, принципиальных вопросах, и тем отличается от прославленного Аввакума. Но в более поздних староверческих книгах приводятся свидетельства современников Мирона, и там можно обнаружить детали подвигов Галанина, его мук, стойкости в муках, выдержки тех испытаний, которые он переносил, вступая в смертельно опасные по тем временам конфликты с властью предрержащими. Мирон не отступал своим убеждениям, шел на муки, отстаивал свободу образа жизни крестьянства.

Что же написал писатель Миронушко?

Долгое время было известно только его «Письмо Стефану Тюменскому». Группа Байдина обнаружила еще три рукописи старинного письма. «Родословие часовенного согласия», «История о древнем благочестии», «О древних отцах».

Галанин, по мнению Байдина, основоположник крестьянской литературы. Конкретная и историческая крестьянская жизнь, построенная на преемственности поколений. Никаких провиденциалистских мотивов, теоретических обобщений. Мирон стоял у истока такого подхода к литературе, по его стопам пошли многие авторы староверческих рукописей. Поэтому-то их книги совокупно так и ценны — это крестьянская история России.

Прочтем вместе один галанинский фрагмент из его знаменитого письма Стефану Ивановичу Тюменскому:

«Во-первых, посылаю поклон от лица моего до сырой земли, прошу творца небесного, дабы послал вам жизнь мирную, телесное здравие, душевное спасение. Пишу со слезами от радости, друже мой присный, что сподобил мя господь бог видеть родной мой край. Много было горя, когда я находился в городе Тобольске: кругом люди веры с нами не одной, как лютыя восставали звери на нас в Знаменском монастыре при Пятницкой церкви, томили во оковах нас со иноком Иоакимом дважды, было увещевание, дабы нам принять новые обряды никон (иянские). И еще были разные пытки, которые устроены при монастырских келиях. В етом же в монастыре Знаменском находился первый наш подвижник и страдалец за истинную веру протопоп Аввакум. Здесь он служил службу по ста-

ро-печатным книгам три года. Аввакум стал открыто обличать духовенство и народ. Тогда его выслали из Тобольска по приказу Никола патриарха в отдаленные места: на реку Лену, в дальнюю Украину, на границу китаишкую. Видел и те монастырские темницы, где томили и морили нашего страдальца инока Авраамия и священника заморили голодной смертью. Видел все; колодников тиранят по рассмотрению сибирского губернатора Соймонова. При мне одного монаха из Малоросии Феофилакта, колодника, закованного железными цепями, под караулом строгим привезли в Тобольск и били плетями. Участвует при всех тиранствах архиерей Павел. В Успенском монастыре Далматовском я спрашивал монахов, за что так жестоко мучат Мелеса монаха? Мне сказали, что за богохульство. Не знаю положения его. И нас тоже прикавывали к колодкам на железные цепи за неприятие новоизданных книг и новых порядков. С 1744 года мы платили оклад за веру, с 1752 года законом нам приказано было носить особое платие и со знаками: все это мы с терпением пережили. Когда настало время тишины с воцарением императрицы Екатерины Второй, с 1762-го года нам дарована свобода, с 1764-го года отменен двойной оклад за веру, разрешено всем крещеным христианам возвратиться на родину; и мне, грешному и недостойному, сподобил господь пользоваться милостию царицы Екатерины, и освободили меня на свободу из тобольских казематов монастырских. Славить нужно всевышнего бога в молитвах и молиться за державную императрицу, за здравие ея. Было сильно строго, молились ночами, собирались тайно. Теперь радость — молимся открыто. Был совет на Бешкиле строить часовню. Есть письмо из Старого завода, там заводские христиане посылали инока схимника отца Максима в 1765 году в Москву для розыскания истинных священников. И они, заводския, нас приглашают на духовный совет, который назначен на 1775 год около сретения господня. У них тамо есть священники, правленые от ереси. Некоторые сомневаются о них. Да раздорники творят раздор церковный. Когда гонения были христианам, тогда некогда было выдумать разные крамолы. Вам единомысленный по вере духовный брат Мирон Галанин».

Галанинский язык — это язык народно-крестьянской среды, в которой он жил и свободу которой он отстаивал до конца. Так что его можно назвать крестьянским народным писателем. Никакого плетения словес, церковнославянской вязи — только язык, близкий к разговорному, практически понятный и сегодня. Голая суть. Простой язык — язык правды.

— Ну что, назовем Миронушку предшественником Пушкина в создании литературно-народного языка, — предложил я. — Предшественник Пушкина Тюменского уезда?

— Это смело и, конечно, спорно. Но личность он яркая и самобытная, а писатель незаурядный. Он — выразитель самосознания крестьянства, высокой ее степени, защитник традиционных и далеко не худших бытовавших в народе ценностей.

Байдин издал все известные галанинские произведения в «Антологии народных писателей Урала и Сибири». С древних страниц разговаривает с нами наш земляк, умница, крестьянский вожак, страстотерпец за веру, первый народный писатель в наших краях, да и в России, скорее всего, тоже.



Тайные умыслы петровского висельника

Последние дни этого человека были ужасны... Петра Первого в мягкосердечии не обвинишь, но, кажется, государственный варвар решил превзойти себя. Хоронить повешенного не разрешил. Два месяца пеньковая веревка держала, но сгнила от весенних дождей. Труп рухнул.

Но и это не заставило Петра предать тело казненного земле.

Император велел повесить висельника во второй раз, распорядившись — большой рационалист! — вместо ненадежной пеньки использовать железную цепь. Сколько еще недель перед зданием Двенадцатой Коллегии на Васильевском острове болтался много-страдальный труп — история умалчивает.

Перед повешением князь Матвей Петрович подвергся семи изощренным пыткам.

За что же Петр Великий так надругался над недавним фаворитом?

Если коротко, можно сослаться на Александра Герцена. Выдающийся критик самодержавия считал, что князь Матвей повешен «за лихоимство».

В смертном приговоре Гагарин определен как «взяточник и разоритель народа».

Современный историк находит в его характере «чрезмерное честолюбие, неумную жажду власти и личного обогащения».

Есть сведения, что в мздоимстве Матвей Петрович не уступал сиятельному Александру Даниловичу, будущему березовскому узнику Меншикову.

Но во времена великого Петра не ворующих чиновных вельмож, пожалуй, не существовало. Петр расправлялся круто, но таких императорских жестокостей удостоился лишь самый первый и самый, как считали, «блистательный сибирский губернатор».

Так все же почему?

Есть в трагической истории князя Матвея Гагарина одна загадка. Ему это ставили в вину, но даже семь пыток не заставили при-

знаться Петрова наместника в Сибири. В чем не признавался стойкий висельник?

В одном из доносов на Гагарина утверждалось, что он ведет дело на откол Сибири от России, собирается стать сибирским царем, сибирским императором.

Не продиктовано ли Петрово свирепство именно этим — он казнил не просто дежурного мздоимца, типичного казнокрада и ординарного взяточника, а соперника, покусившегося на трон, на владения российского государя, он жестоко добивал первого сибирского сепаратиста.

Новосибирский историк Михаил Шиловский считает, что Гагарин жестоко поплатился именно за свои честолюбивые, властолюбивые вождедения, за идею отдельного от России сибирского царства.

Найдем ли мы этому подтверждения?

И действительно ли Петром руководила не просто присущая ему патологическая жестокость, а стремление самым жестким образом — в зародыше — задавить попытки раскола империи, устрашить публичной казнью всех будущих государственных раскольников, выбить навечно столь крамольные мысли из голов влиятельных вельмож?

Царствуй, кради, воруй, но только в рамках «единой-неделимой»? Наверное, и так можно понять действия царя, собиравшего Россию не для того, чтобы ее растаскивали по кускам честолюбивые вождьеленцы. Хотя справедливости ради надо сказать, что первым сибирским сепаратистом был... вовсе не сибиряк, а один из невидных царей рода Романовых. Вы, пожалуй, и не вспомните — Федор Алексеевич — старший Петров брат и предшественник. Обширная территория, видимо, плохо поддавалась управлению, Федор не знал, что делать с необъятной Сибирью, и решил от нее избавиться довольно простым способом.

Как свидетельствует знаменитый историк Василий Ключевский, родился проект расчленения обширного царства: «...Явились бы полномочные местные правители вечные, не сменяемые, пожизненные наместники.... царства Казанского или царства Сибирского и т.д. Царь Федор дал уже согласие на этот план аристократической децентрализации управления... из наличных представителей московской знати».

И только вмешательство тогдашнего церковного патриарха Иоакима помешало осуществлению идеи не блещущего государственным умом старшего Петрова братца.

Явно, что влиятельные князья-бояре Гагарины об этой идее знали, а Матвей Петрович и помнил...

Неизвестно, как отнесся тогда будущий великий Петр к братову помыслу: Россия — без Сибири. Но в случае с князем Матвеем ясно видно — даже за попытку мысли на этот счет карал и мстил немилосердно.

Гагаринский «сепаратизм», впрочем, никак не подтвержден и не доказан, только доносы, ябеды, наветы, клевета. С семи-то пыток чего только можно было не наговорить! Но не сказал. А ведь уже стар был князь... Слаб. Смерти не побоялся — напраслины не подтвердил.

Странная вещь происходит с Гагариным — такая характерная, такая яркая личность, а о нем практически не найдешь ничего на-

писанного. Я искал не даже обстоятельно-капитальное, а хотя бы что-нибудь об этом фантастическом человеке, но — увы!

Из сухих энциклопедических справочников можно узнать немного.

Князь Гагарин (он, кстати, из Рюриковичей) впервые попал на глаза Петра на строительстве Волго-Донского канала. Ступени гагаринской карьеры говорят о недюжинных талантах: воевода в Нерчинске, комендант Москвы, президент Сибирского приказа. Став губернатором Сибирского царства, он достроил Тобольский кремль, послал экспедицию на Камчатку, отвел устье Тобола, снарядил военную экспедицию за песочным золотом Эркети. Золото «не посветило», зато была заложена Омская крепость. Блистательное губернаторство изобиловало не только сплошными достижениями, случались промахи, промашки, ошибки, «важные», как свидетельствует П. Словцов, но не «преступные». Однако...

Честно признаемся: звезда Сибири взошла во время губернаторства князя Рюриковича — Матвея Петровича Гагарина.

И все-таки — увы! Злосчастная судьба довлеет над этим светлым именем: никто не взялся, даже оппонируя, описать эту незаурядную жизнь.

Я очень полагался на Н. Бантыш-Каменского, на его «Словарь достопамятных людей». Но оказалось, что на букву «Г» Бантыш тома «Словаря» не издавал.

Небольшую зацепку дает прекрасный поэт Леонид Мартынов, омский уроженец, сибирский патриот. Но Мартынов явно неоднозначного мнения об основателе родного города — ведь именно экспедиция, снаряженная по указанию М.П. Гагарина, основала Омск. Герой мартыновской поэмы «Пленный швед» говорит:

Мы сами с усами! И что нам Гагарин!

Сей злой губернатор над нами не барин.

Он есть лихоимец, хитер и коварен!

Но Петр все знал сам. Мудрый был государь он.

И далее:

— Я жив, а казнен лихоимец Гагарин!..

Есть в мартыновской поэме намек на тайные замыслы тобольского губернатора:

Веселый был ужин: мы сделались пьяны.

Мы пили и строили многие планы:

«Что Санкт-Петербург нам? Там дождь и туманы!

А в нашем владенье восточные страны!».

О том говорили, как сделались пьяны.

В «Повести о тобольском воеводстве» Леонид Мартынов также пристрастен к Гагарину, но менее заметно: «Гагарин явился в Сибирь с великой торжественностью: плыл на судне, сплошь обшитом алой тканью, чуть ли не под алыми парусами. Выходил Гагарин на пристанях, принимал хлеб-соль и переименовывал бородастых растерянных воевод в коменданты. Прибыв в Тобольск, Гагарин осмотрел воздвигнутый Семеном Ульяновичем Ремезовым на горе новый каменный город. Сказал, работу надо продолжать еще и еще, мало построек, город должен стать волшебным красивым. «Дам тебе скоро искусных помощников! Таких инженеров, что и Москва не видывала. У меня с царем уже договорено».

Попутно можно отметить, что Гагарин, по слухам, затеял достройку сибирского кремля в Тобольске не случайно, а с дальним

прицелом, мол, есть кремль, а в кремле, естественно, должен быть царь. В сибирском кремле — сибирский царь.

Мартынов писал о Гагарине мимоходом, и вряд ли мы составим хоть сколько-нибудь цельное представление об этой яркой фигуре.

Я нашел документальных свидетельств о Гагарине немного, но, слава Богу, это оппоненты, а именно: противоречащие сведения могут нарисовать неоднозначный характер.

Начнем с источника, который рисует образ злого, коварного губернатора-лихоимца. Правда, здесь присутствует один парадокс: Матвей Петрович явно благоволил, чему есть немало свидетельств, пленным шведам, но именно в лице одного из просвещенных пленников Гагарин получил непримиримого критика.

Это тобольский узник, знаменитый автор книги «Северная и восточная части Европы и Азии», капитан Иоганн Филипп Страленберг. Что за черная кошка пробежала между ними, но каждая Страленбергова строчка дышит ядом.

«Можно легко себе представить, как существовала бедная страна, примером чего особо является Сибирская губерния, которой князь Гагарин, как генерал-губернатор и арендатор, причинил неопишуемые несчастья.

Когда он был в Сибирской, именуемой Иркутской, провинции ландгауптманом, или воеводою, он изрядно изучил случаи делать деньги в Сибири и согласился на эту кондицию. И несмотря на то, что он из-за ужасных козней, которые принял в своем бывшем воеводстве, еще ранее был приговорен к виселице, от которой тогда освободился отдачей большой суммы денег, которые приобрел в Иркутске, такому опороченному человеку вся эта Сибирская губерния была отдана в аренду, так и исход его показал, как прекрасно он ею управлял».

Страленберг дотошно рассказывает-пересказывает якобы гагаринские планы превращения губернии в «Сибирское королевство» и именно этим объясняет демократизм, которым Гагарин, стремился завоевать расположение простых людей. «Гагарин, — пишет Страленберг, — в Сибири снял свой парик и одевался в наполовину русское, наполовину немецкое платье, притворялся очень благочестивым, ежедневно посещал церковь и строго придерживался постов, с крестьянами при входе и выходе из церкви милостиво разговаривал, обнадеживал их лучшими временами и таким просителям всегда давал быстрое решение обещанием возможной помощи. Так, он не забывал оказывать много добра шведским пленным и очень беспокоился, чтобы они в своей бедности могли что-нибудь заработать».

Всякому доброму губернаторскому намерению Страленберг отзывается в искренности.

«Гагарин принял хорошее устройство, чтобы задерживать устные и письменные донесения из Сибири. Для этого он все дороги между Россией и Сибирью закрыл хорошими караулами, запрещал путешественникам под угрозой смерти следовать по ним и оставил открытым только Верхотурский проход, где он поставил одного из своих близких родственников как верного исполнителя своих приказаний по имени Траханиотов, который очень старательно наблюдал, чтобы никто без паспорта губернатора и его писем к должностным лицам не проезжал. Если же тот или иной честный рус-

ский человек возражал против этого, его отправляли в самую отдаленную провинцию, откуда и нельзя было узнать, куда он делся».

Поход в Эркетъ за золотом Страленберг объясняет стремлением Гагарина организовать армию. «Он легко мог создать пехоту и в случае необходимости мог иметь много шведских пленных в качестве офицеров». Но губернатору не хватало ружей и пороха. Именно поэтому «он послал несколько человек в Бухару, где некоторые реки содержат немного золотого песку, и закупал его там столько, сколько только мог достать. И когда собрали около 10 фунтов, он с ними совершил путешествие в Петербург и доложил царю, сказав, что золотой песок можно найти ближе, чем это было на самом деле. Но при этом он доложил, что не так легко туда попасть, он бы захватил эти места, если ему предоставят для этого 100000 человек, ружья и амуницию и еще мастеров по изготовлению ружей и пороха».

Царь, которому это предложение было очень приятно, оказал ему много милости, обещая все послать, но этой лисе не особенно доверял и назначил полковника Бухгольца, которого Гагарин должен был снабдить всем необходимым для этой экспедиции, что для Гагарина было тяжелой и неприятной вестью, но он должен был смириться... постепенно все интриги князя Гагарина не только открылись, но он, наконец, был после семикратной пытки приговорен к заслуженному наказанию — к виселице. Что Сибирь претерпела и как она была разорена его арендой — очевидно».

Что казалось очевидным для многознающего шведа, не видится таковым даже при чтении его текста. Ведь вполне возможна недобросовестность страленберговских информаторов — все это только предположения, но никаких конкретных фактов гагаринского предательства. Известно, что самым благим намерением можно придать самый неблагой умысел.

Но мы должны быть благодарны Страленбергу: он явно выражал не только личную точку зрения, но и то общественное мнение, которое сложилось о сибирском губернаторе.

Слава Богу, всегда на Руси были сомневающиеся в официальных репутациях. Среди них оказался «сибирский Карамзин» — честный и самостоятельный историк, автор «Исторического обозрения Сибири» Петр Словцов.

О чем повествует сдержанный Словцов? Я, честно говоря, поражаюсь его изысканно-уважительному стилю, точности его определений. Князя Гагарина Петр Андреевич ставил высоко: «Сей боярин, впоследствии злополучный, много содействовал устройению губернии и осведомлению о ней на всем пространстве».

Кстати, полный титул Гагарина, приводимый Словцовым, звучал так — «Сибирского царства губернатор».

Никакого царства приобретать не нужно было, оно существовало и при нем — царев наместник—губернатор.

Словцов попытался разбить аргументами все поклепы и наветы, возведенные на Гагарина:

«Тогда развязались в Сибири языки у злословия, у злобы, неблагодарности и едва ли у людей честных. Иной утверждал, что песочное золото (Эркетъ, которое искали посланцы Гагарина — А. О.) была ложь, другой — что Гагарин злоумышлял отделиться от России, третий говорил о растрате государственной казны на веселости, и всякий по-своему топтал длинную тень человека, да-

леко сидевшего при закате солнечном. Те, которые унижались из подлости, выпрямляются с дерзостью, так как бы низость обнадеживалась стоячего постановкою с падением лица высокого».

Словцов призывает не верить официально зафиксированным наветам, уличая подлость доносчиков.

Все симпатии его на стороне опального, униженного, казненного... И печально, как реквием, звучат словцовские слова, может быть, лучшие, сказанные о небезупречном, но большом сибирском деятеле:

«Вся слава, как паутина, сдунута, и правосудие в 1721 году изрекло страшный приговор против жизни князя Гагарина, в урок отдаленных правителей, если только беды одних могут быть уроками для других. История страны, не зная ни подробностей доносов, ни пополения следователя, ни объектов подсудимого, безмолвствует».

Наверное, читателю хотелось бы знать точнее, чья точка зрения — Страленберга или Словцова — предпочтительнее для меня.

Верю ли я, подобно Леониду Мартынову, в злые умыслы князя Матвея?

Нет, мне ближе то, что говорит Словцов, но в то же время где-то в глубине души не могу избавиться от ощущения, остается сомнение: не мог такой противоречивый человек, такая яркая личность — князь Матвей Гагарин — не вознестись в своих мечтах, в сатанинской своей дерзости не противопоставить себя царю, не поставить себя на его место.

Почему мечтал, что причиной тому: честолюбие, хотел лучшей доли Сибири. Рюрикович! Нам их не понять. Не всякому плебею это дано.

Но об этом не узнали его палачи, вряд ли узнаем и мы. Мне кажется, из своего двадцатого века я люблю князя Матвея Петровича Гагарина, благочестивого авантюриста, блистательного деятеля, решительного мошенника, строителя и сибирского радателя, казнокрада и благодетеля простых людей.

Человека красивых дел и замыслов. И... не разгаданных умыслов.



Татарские записки бургомистра Амстердама

Самый знаменитый российский «плотник» — Петр Михайлов (впрочем, в отечественной истории он известен больше как Петр Великий) — во времена своего первого, нарочито-анонимного визита в Европу, завел в Амстердаме весьма полезное знакомство. Новый знакомец, в отличие от своих соотечественников, о России знал довольно много. Он даже написал и на собственные средства издал книгу о ней — «Северная и Восточная Тартария». Наверное, ему можно простить даже то, что Россия у него все еще Тартария. Впрочем, Европа всегда с трудом меняла свои привычки, особенно если это касалось «варварской» России.

Молодому, страстно любознательному «плотнику» очень нравились беседы с многознающим амстердамским бургомистром. Николас Витсен действительно долгое время был главным лицом в ратуше голландской столицы. Но в историю этот блестящий потомок знатного патрицианского рода вошел не столько благодаря своим административным доблестям. Он был сведущ в астрономии, энциклопедически подкован в географии, степень доктора права позволяла ему справедливо решать проблемы подвластных ему горожан. Витсен с удовольствием писал живописные пейзажи, выполнял деликатные дипломатические поручения. Завидная разносторонность. Как только подворачивалась малейшая возможность, он старался узнать что-то новое о далекой, неведомой, загадочной России. И, конечно же, когда представилась возможность, он с удовольствием встретился в Амстердаме во время великого посольства «плотника» Петра Михайлова.

Эта встреча оказалась взаимопользительной: спустя некоторое время Витсен выпустил новое издание своей «Тартарии», где исправил наиболее грубые ошибки, дополнил, вставил целые разделы, например, об археологии Сибири.

«Тартария» Витсена знакомила просвещенную Европу с молодой петровской Россией, знакомила доброжелательно, ибо была

написана непредубежденным исследователем. Конечно, и в ней немало нелепиц и выдумок, но тогда справедливости ради надо заметить, и сами россияне не совсем хорошо знали свою страну. Корреспондентами Витсена чаще всего были знающие русские люди.

Сегодня Витсена чаще всего цитируют этнографы-североведы.

Да, пожалуй, амстердамский бургомистр одним из первых достоверно рассказал о жизни и нравах российских северян-остяков, тунгусов, самоедов.

«Наиболее ранние известия о ханты принадлежат голландцу Витсену», — пишет, например, известный советский финно-угровед, доктор исторических наук Зоя Соколова. На «Тартарию» ссылаются многие исследователи северных народов.

Но книга Витсена... до сих пор не переведена на русский язык. Точнее, она переведена на русский язык, но уже много лет добросовестный перевод труда доброжелательного амстердамского бургомистра хранится в архиве Института этнографии в Ленинграде. Очень жаль, что такая любопытная книга так и не издана.

...Мне не повезло, когда я приехал специально в Ленинград: этнографический архив был закрыт по каким-то очередным техническим причинам. Встреча с трудом Витсена не состоялась...

Повезло в другой раз. На Всемирном конгрессе финно-угроведов, который проходил в Сыктывкаре, я встретился с известным венгерским ученым, профессором университета в Сегеде Тибором Микола. Случайно речь зашла о книге Витсена.

— Что ты горюешь? — ободрил меня жизнерадостный ученый венгр. — Немецкий язык понимаешь?

— Со словарем, — ответил я.

— Я тебе подарю Витсена.

Тибор достал аккуратный томик регулярного университетского сборника «Студия Урало-Алтаики» — «Сообщения Н. Витсена об уральских народах». С голландского на немецкий перевел Витсенов труд мой собеседник Тибор Микола.

Как известно, венгры (мадьяры) относятся к уральской семье народов — они близкие родственники обских угров: ханты и манси, поэтому венгерские исследователи много делают для изучения своих сибирских «родственников». Именно по этим мотивам в венгерском городе Сегеде издан давний труд Витсена о сибирских остяках и самоедах.

В томик урало-алтайского сборника (переведен не весь увесистый фолиант Витсена) Микола отобрал только те фрагменты, которые рассказывают о сибирских народах угорского круга.

О чем же поведал просвещенным современникам амстердамский энциклопедист?

Прежде всего его труд свидетельствует о том, сколь хорошо его русские информаторы были осведомлены о северной Сибири. Витсен рассказывает об обычаях, одежде, промыслах, хозяйстве северян, о реках, поселениях, много интересного сообщает о Новой Земле и Мангазее. Небольшой словарик ненецкого языка показывает, что безымянный русский знаток предоставил в распоряжение Витсена грамотно составленный самоедско-русский словарь. Упоминает Витсен и о легендарной Злате Бабе — «золотой старухе», но называет услышанную легенду «выдумкой».

Еще один штрих делает честь одному из первых описателей Российского Севера. И гораздо позже имя ненцев — «самоеды»

—некоторые ученые производили от якобы каннибальских привычек коренных северян. Витсен авторитетно (конечно, он пересказывал мнения своих русских информаторов) доказывает, что так называли ненцев потому, что их излюбленным блюдом было «сырое мясо». Самоеды — значит сыроеды. Уже в петровские времена русские хорошо знали, что никакого северного каннибализма не существует.

Я горжусь, что в моей библиотеке есть томик Николаса Витсена, возможно, единственный за Уралом... Но моя гордость несколько бы не пострадала, если бы любопытную книгу знаменитого амстердамца все же издали на русском языке и мои современники узнали бы много интересного и о нашей Родине, и о давнем Севере.



Персональных дел гофмалер в тобольской ссылке

Мы помним многих сосланных в Сибирь. Но — так уж нам навязывали — скорее помним ссыльных высокопоставленных большевиков или тех, кого верные ленинцы считали своими предшественниками, — от Радищева через декабристов к народникам.

Но, кроме неумных революционеров, в Сибирь ссылали более спокойных людей, чем-то не угодивших правящим режимам.

«Петр Великий». «Цесаревна Елизавета». «Напольный Гетман». «Канцлер Головкин». «Царевна Наталья». «Царевна Прасковья». «Петр I на смертном ложе».

Кто интересовался историей отечественной живописи, наверняка догадался, о ком пойдет речь. Живописца Ивана Никитина считают одним из основоположников отечественного портрета, его прижизненные «персоны» Петра Первого едва ли не самые замечательные.

Иван Никитин был придворным живописцем, но в его случае это скорее оценка мастерства, чем ординарная верноподданность. Тем более штатным художником он числился при приличном дворе. «Гофмалера персонального дела» (его штатная должность) можно считать соратником Петра I.

Никитин, прошедший хорошую итальянскую школу, но сугубо в русской манере, в отличие от других придворных «малеров», писал не персоны, а личности. Возможно, он — первый русский психологический живописец. С никитинских портретов встает суровая и жестокая эпоха.

«Гофмалерство», к несчастью, имело обратную сторону: после смерти Петра началась карусель придворных интриг. Братья Никитины: Иван, Роман (тоже талантливый живописец) и Иродион (думающий священник) — были обвинены ни мало ни много в измене. «Измена» Ивана Никитина состояла в том, что в его руки попала (но не была прочитана им даже до конца) рукописная тетрадка с пасквилем на влиятельнейшего церковного деятеля Феофана Прокоповича.

«Вина» Ивана Никитина доказана не была, но пять лет он подвергался пыткам «с пристрастием» в Петропавловской крепости, пока неправый суд не вынес изуверский приговор:

«Иван Никитин, что он, взяв Троицко-Сергеева монастыря у бывшего иеродьякона Ионны, что потом был расстрига Осип, такую же подозрительную тетрадь, читал и, видя в ней написанные противности, не токмо где надлежит не донес, но брату своему Роману Никитину писал, чтоб тое тетрадь сыскав сжег, надлежит учинить наказание — бить плетьюми и сослать в Сибирь на житье вечное за караулом».

Вечная ссылка замечательному живописцу, как видим, предназначалась, по существу, за порядочность. Не донес, не предал — получай пятилетку в Петропавловской крепости «с пристрастием» и — Сибирь.

Романа Никитина в Сибирь сослали на житье «вечное за караулом» с женой, священника Иродиона — в Кодский монастырь под Березово. Таковы судебные нравы эпохи императрицы Анны Иоанновны.

Для Ивана и Романа местом ссылки назначили Тобольск.

Братья прибыли в губернский центр скорее всего в феврале—марте 1738 года. Чем они занимались в ссылке, исследователи точно установить не смогли. Наверняка писали портреты местной знати и, возможно, иконы. В эти годы как раз расписывался отремонтированный Софийский собор, возможно, к росписям привлекли и бывшего гофмалера персонных дел.

Существует лишь одно документальное свидетельство: в «Каталоге вещам и книгам» Русского музея имеется строчка: «Портрет тобольского митрополита Антония Стаховского писал Иван Никитин». Безусловно, никитинский портрет был передан в Академию художеств из коллекции Зимнего дворца, но позднее исчез. Однако запись свидетельствует, что ссыльный живописец имел контакты с тобольским митрополитом: Антоний Стаховский — личность незаурядная, человек строптивый. В Тобольск Антоний попал не по своей охоте и, вызывая недовольство добропорядочных церковных сановников, использовал сибирских ссыльных для просветительской и миссионерской деятельности.

Скорее всего столь же благосклонно митрополит отнесся к братьям-живописцам.

В Тюменской картинной галерее имеется портрет Ермака. Существует легенда, что это работа Ивана (либо Романа) Никитина. Соблазнительно согласиться, что ссыльный «персонных дел» мастер писал знаменитого атамана — первоначального русского сибиряка. Но искусствовед Татьяна Лебедева обстоятельнейшим образом доказала, что тюменский Ермак вряд ли никитинской кисти, он «несет в себе следы парсунности, характерные для конца XVII века, никаких следов той школы, которую получили братья в Италии, в нем нет».

Но это не отрицает предположения биографа Никитиных искусствоведа П. Петрова, который считал, что братья, живя в Сибири, вряд ли не писали на заказ портрет «этого весьма чтимого героя».

Сибирская ссылка, к счастью для братьев, длилась недолго: умерла Анна Иоанновна, а следующая императрица по традиции объявила амнистию. Под царицыну милость попадали все братья. Одна-

ко главный тогдашний палач России, руководитель Тайной Канцелярии граф Ушаков не спешил, обосновывая преступную неторопливость тем, что «ныне оные Никитины живы или померли о том в Тайной Канцелярии известия не имеется».

Царская амнистия была объявлена в октябре 1740 года. Роман Никитин вернулся в Москву весной 1743-го. Да, не слишком спешило в Сибирь высочайшее милосердие.

А что же Иван Никитин? Сохранилось только два документа с упоминанием его имени. В конце декабря 1741 года старший Никитин был у присяги, что означало восстановление в гражданских правах. В феврале 1742 года дом Ивана Никитина в Тобольске был обворован. Значит, в 1742 году (два года после амнистии) Иван Никитин был еще в сибирском губернском центре.

Не установлено, но большинство исследователей биографии Ивана Никитина считают, что он умер по дороге из ссылки на руках своего шестнадцатилетнего племянника Петра — Романова сына. Живописец был еще не стар, предположительно можно считать, что он едва перешагнул за 50 лет. Где похоронен замечательный художник, на каком полустанке от Тобольска к Москве, установить не удалось.

Можно с большой долей вероятности предположить, что больной художник и вовсе не успел выехать из тобольской ссылки и похоронен здесь, как и предписывал несправедливый царский указ — «на житье вечное».

Если вам в Третьяковке, в Русском музее, в Загорском музее-заповеднике попадутся на глаза портреты работы Ивана Никитина, взгляните внимательнее. Они того стоят. Да и то не забыть — невольный, но наш земляк.



«Куриозное» путешествие с несостоявшимся затмением

Знакомясь с историями экспедиций русских исследователей на Север, непременно обратишь внимание на одно обстоятельство: скромным путешественникам приходилось переносить большие тяготы. Они мерзли, голодали, страдали от цинги. Передвигались они на лошадях, в неудобных оленьих упряжках. Пища особой изысканностью не отличалась, одежда и кров — тоже. Заедали вши, клопы, настоящим бедствием были комары.

Экспедиция русского академика француза Николая Иосифа Делиля де ла Кройера в дальнесибирский Березов на этом фоне выглядит помпезно. Научные силы, включая практикантов-воспитанников Морской академии, составляли восемь человек. Экспедиционный эскорт в несколько раз превышал скромное научное число. У экспедиции имелся хозяйственный распорядитель — майор Семен Салтанов, попутно присматривавший за практикантами. Беспрецедентный случай: в штате числился особый метрдотель путешествия, на какую роль академик выбрал бывшего лакея Михайло Гренинга, официально он проходил по рангу переводчиков. В экспедиционный штат попал и делилевский слуга Шарль. Капрал императорской гвардии Венедикт Ширчеев с подмастерьем Алексеем Кришовым занимались «заготовкой» лошадей и разведкой дороги. Капрал Сучкарев с тремя бравыми солдатами исполнял охранные функции. Толмач Палторов помогал академику, который был весьма слаб в русском языке, общаться с другими членами экспедиции. В Тобольске для непомерно разросшегося «исследовательского» отряда выделяют священника отца Антония, фельдшера Шахова и 19 солдат. Солдаты подбирались по признаку мастерovitости, знали толк в кузнечном деле, могли плотничать и столярничать.

С 10 марта 1740 года, как только за городской заставой скрылись дома императорской столицы, академик старался не покидать роскошный, к этому случаю построенный, экипаж. Именной указ, «отверстой лист» императрицы Анны Иоанновны позволял Делилию пользоваться на станциях теми привилегиями, которые оказывались только высшим

сановникам империи. Понятно, грамоту с царицыным вензелем академик извлекал и по случаю и без оногo. Почести ему оказывали весьма вельможные. В Тобольске сибирский губернатор Петр Иванович Бутурлин поспешно выслал навстречу ученому каравану почетный караул. «По большой улице для приема путешественников были расставлены рядами, — живописует встречу делилевский биограф академик П. П. Пекарский, — солдаты и офицеры, ими командовавшие, отдавали честь, когда мимо проезжал академик со своею свитою... У дверей его комнаты поставлен был почетный караул, и было дано множество солдат для исполнения поручений академика и его спутников». В далеком Березове воевода Федор Иванович Шульгин, бывший поручик-преображенец, преподнес астроному «зуб» мамонта. «Жители города спешили дарить их сливками, говядиною, гусями и русскими кушаньями». На обратном пути из Сибири, по дороге из Тобольска в Соликамск экспедиционный обоз представлял из себя 25 экипажей, запряженных четверками. Когда Делиль плыл по Каме, то знаки внимания ему оказывали бароны Строгоновы — владыки этих мест. Делилю был предоставлен барк с отдельными каютами, «покойными, светлыми, меблированными». Академик настоял на том, чтобы на барке подняли Андреевский флаг. «Прикащики спешили усердно услуживать ему... Им отводили господские дома... Повсюду им предлагались закуски и угощения, за которые ничего не брали». Академик спешил обрадовать оставшуюся в Петербурге жену: «У нас изобилие пива, меда, водки разных сортов из винных погребов барона».

Доброжелательно настроенный к Делилю Пекарский все же заметил: «Вообще нельзя было требовать почестей более тех, которые оказывались нашему ученому».

Чем объяснить такое внимание к экспедиции? Ей были поставлены задачи государственной важности? 3 мая в северной Сибири ожидалось затмение солнца, только здесь можно было наблюдать прохождение планеты Меркурий через круг солнца. Именно это наблюдение и было целью делилевского путешествия. Споры нет, прохождение Меркурия через круг солнца, как отмечал известный специалист, имеет «важное значение для теории этой планеты». Но было ли это наблюдение важнейшей проблемой тогдашней отечественной науки, когда и о границах-то России не имели еще четкого представления? Особое внимание объясняется исключительно персоной руководителя. Академику исполнилось 52 года, 14 из них он прожил в России.

Иосиф Николая Делиль родился во Франции, в 26 лет завоевал «блистательную известность» в научных кругах парижских астрономов. Это оказало решающее значение для его дальнейшей судьбы. Император Петр Первый и сам привлекал иностранных ученых к работе в России и наставлял российских послов, чтобы они обращали внимание на хороших специалистов. «Утечка мозгов», как сказали бы мы сегодня, «экспорт умов» в петровской России был поставлен на широкую ногу. На парижскую знаменитость обратил внимание российский посланник во Франции князь Куракин. Делиль (и его младший брат Людовик) заключил с посланником четырехлетний контракт на организацию обсерватории. Контракт неоднократно продлялся — Делиль проработал в России 21 год.

Несомненно, Николая Делиль был выдающимся специалистом. Он ввел в России математическую географию. Основатель Пулковской

обсерватории академик В.Я. Струве называл его «наш первый астроном». Однако бескорыстие вряд ли было присуще этому подвижнику науки. Если уж француз трудился во славу ее, то не забывал и о своей. Не отличаясь особой родовитостью, старался выставить себя большим вельможей и позволял высокомерные высказывания в адрес русского народа. Внимание императорского двора он заслужил не столь учеными занятиями, сколь сомнительной научности деятельностью. Императрица Анна Иоанновна, женщина малообразованная и умом заметно не блещущая, любила поглазеть на звездное небо и при случае беседовала о предметах астрологии. Академик парижской выучки был галантным собеседником. Фаворит императрицы, небезызвестный Густав Бирон платил Делилю специальную пенсию за эти астрологические собеседования. Занятия придворным звездочетством Делиль объяснял «стесненными обстоятельствами». В России он привык жить на широкую ногу и даже немаленькое академическое жалованье считал слишком скромным для своей особы.

Как же протекала северо-сибирская экспедиция? Через 41 день, 20 апреля, — по тем временам рекордно скоростной срок — делилевский обоз уже находился в Березово. Мастеровитые солдаты принялись за сооружение в пустующей избе временной обсерватории. На север, к обскому устью был послан капрал Ширчев. Он достиг Обдорска и даже, вероятно, района нынешнего Салемала у впадения Оби в Обскую губу. Однако его донесение вряд ли обрадовало руководителя экспедиции. Капрал сообщал, что «лошадей нет, ездят только на оленях, нет никакого жилья». Когда Делиль намечал план путешествия, он четко обозначил конечный пункт: «Обдорский при устье Оби реки». В предписании, подписанном могущественными членами Императорского кабинета Волынским, князем Черкасским и Остерманом, тоже стояло определено: «В Обдорск, к Оби реке отправить». Академия наук, ходатайствовавшая за Делиля, считала, что «оное путешествие для астрономии и географии весьма курьезно и потребно» (французское слово «куръез» имеет несколько значений, так что этот северный вояж можно считать замечательным и любопытным, но можно забавным и странным).

Рассказ Ширчева привел Делиля «в содрогание». Он поспешил поставить в известность президента Академии Корфа: «Мне невозможно ехать далее как по причине дурных дорог, так и по недостатку лошадей».

До науки ли, до прохождения ли Меркурия через круг солнца, если трясет на тундровых ухабах? Академик сказал: «Бр-рр» и окончательно успокоился.

В Березове подготовили все к наблюдению меркуриевского прохождения через круг солнца в момент его затмения. Однако день третьего мая, которого так ждали и ради которого и затевалась дорогостоящая поездка, оказался облачным. Долгожданный Меркурий не показался в семифутовом «невтоньянском» телескопе академика. Столь незадачливый исход дела мог значительно поколебать авторитет Делиля. Тем более что инструкция гласила иметь в качестве основного пункта наблюдения не Березов, а Обдорск. Но вот что писал Делиль своему влиятельному петербургскому коллеге Гроссу: «Желая знать, остались ли мы в потере, отложив поездку в Обдорск, мы попросили уведомить нас, благоприятствовала ли там погода наблюдению прохождения Меркурия, но нам сообщили, что и там небо было так же облачно, как и в Березове.

Несколько дней и всю ночь там, как и в Березове, продолжался сильный ветер со снегом, и он стих уже по прошествии времени для наблюдения».

Астроном с мировым именем добавлял, нисколько не конфузясь: «Это доказывает, что вперед не должно довольствоваться одними астрономическими наблюдениями, но что нужно советоваться и с астрологиею, когда предпринимаешь столь дальнее странствие, в надежде на ясное небо».

Кажется, последняя фраза была предназначена для императрицы, которая всегда полагалась только на расположение звезд и поэтому могла простить «значительные издержки Сибирской экспедиции».

Майор Салтанов в письме канцлеру Артемию Вольнскому безыскусно излагал научные итоги путешествия: «Сочинили несколько обсервациив разных, как для лангитуды, так и латитуды чрез разные светила, а Меркуриевой видеть счастья не имели».

Пробыв в Березове шесть недель, экспедиция, не по-научному говоря, несолоно хлебавши, отбыла назад. Обсерваторию не стали разбирать, потому что в том году в Березове ждали приезда двух академических профессоров — Гмелина и Миллера, для которых оставили специальную записку.

3 июня экспедиционный дощаник с 25 березовскими казаками, которые должны были грести против обского течения «при недостатке попутного ветра», отошел от крутого сосьвинского берега. На обратном пути астрономы на два дня задержались в Самаровском яме, один день провели в Демьянских юртах, а в Тобольске остановились на месяц. Делиль рылся в уникальных сибирских архивах и поручил снять копии с некоторых особо интересных географических карт, составленных сибирскими знатоками. (Позднее эти карты неизвестно каким путем попадут за границу и будут изданы там раньше, чем в России).

Возвращение проходило с подобающей помпой. Но в письмах жене бывший француз хотел представить свое путешествие как особо опасное. Его петербургские корреспонденты наверняка ужасались, получая делилевские описания мест, населенных разбойниками, негодьями простыми и негодьями «величайшими». Но ничего с академиком не приключилось, и он в письмах к жене начинал пылко выдумывать смертельные ситуации.

«Михайло, господин Кенигсфельд и Грегорьев будут каждый по очереди с одним солдатом стоять на страже по ночам для большей безопасности на случай внезапного нападения, — запугивал он бедную женщину, но тут же утешал, — и тогда разбойникам придется плохо, если они вздумают напасть на нас потому, что мы имеем достаточно пороха и пуль. Михайло, г. Грегорьев, г. Кенигсфельд, Матис и Шарль, не считая трех солдат, имеют каждый по 30 или 40 приготовленных зарядов... Что же касается собственно меня, то раздумав хорошенько, я считаю благоразумнейшим отказаться видеть это сражение слишком вблизи и оставаться запертым в своей каюте до тех пор, пока не заставит меня отворить ее какой-нибудь разбойник, которому захотелось бы, чтобы ему разможил голову академик. (Ах ты, отчаянный рубака!). Тогда у меня будут пистолеты к его услугам (вот он, французский дворянин, земляк д'Артаньяна!) и к услугам другого, который бы за ним последовал или даже для всех, которые представятся, сколько бы их ни было, лишь бы они дали мне время заряжать вновь мои пистолеты».

Сохранились свидетельства, что мадам Делиль была умной женщиной, и, надо полагать, она понимала, что эти brave фантазии проистекают не от излишков храбрости ее муженька, а скорее от ее недостатка. Ведь Делиль приказал вывесить государственный флаг на строгоновском барке в надежде, что разбойники побоятся нападать на судно, осененное знаком императорской власти. Кажется, ему везде чудились бородатые ваньки-каины. Видимо, потому столь большими были охранные команды, может, оттого и спали ученые одетыми, в перевязях и со шпагами на боку.

Жена Делиля понимала, откуда могла прийти настоящая опасность для ее мужа: в то время, когда астроном путешествовал по окраинам, его царственная покровительница Анна Иоанновна приказала долго жить. Мадам Делиль спешила указать мужу на новые влиятельные фигуры, покровительство которых могло обеспечить дальнейшую спокойную жизнь. И Делиль писал длинные послания канцлеру Бестужеву, «монсьёру» Миниху, новому президенту Академии наук Бреверну, барону Строгонову, адмиралу Головину, французскому посланнику де ла Шетарди, канцлеру Остерману, всем, кто только мог оказать поддержку и не поставить в укоризну «значительные» экспедиционные расходы. Ведь астрономические расходы астрономии принесли минимальную пользу. Делиль расшаркивался направо и налево, чтобы «совершенно оправдать благосклонное расположение и виды великих покровителей». Он-де радел о чести русской науки, желая «показать иностранцам, что способна свершить эта нация для успехов наук». В экспедиционном отчете он выдвигал новые проекты, главным образом для того, чтобы получить звание «первого географа и космографа империи». Однако при новом дворе академик уже не пользовался былым влиянием, и через семь лет, окончательно попав в опалу, принужден был вернуться во Францию.

Мы знаем много северных экспедиций, гораздо более скромно экипированных, которые принесли науке большую пользу, нежели путешествие Делиля. Однако не следует зачеркивать и то, что дала эта пышная экскурсия. Научные силы хотя и были немногочисленны, но все же по тем временам довольно основательны. Механик Матис в Березове устроил «снаряд» для наблюдения магнитных склонений. Плодотворно трудился второй помощник по астрономическим делам, прапорщик Грегорьев. Надо отдать должное Делилю и в том, какой путь обучения он избрал для воспитанников Морской академии: они могли участвовать в его наблюдениях, помогая и при этом практикуясь. Для тогдашней системы обучения — это смелое нововведение. Сам Делиль определял астрономические пункты по пути следования, в том числе очень верно определил долготу Березова. Все данные оказались весьма точными, потому что экспедиция была экипирована новейшими по тем временам приборами. Но самое главное — Делиль пользовался новым английским инструментом. С этим пассажным снарядом (изделие лондонского мастера Гретама) еще не были знакомы даже в Европе. Этот инструмент был оставлен в Березове для научной эстафеты Гмелину и Миллеру.

Самым известным участником экспедиции, естественно после Делиля, был сотрудник Академии наук, адъютант-астроном обсерватории Тобиас Кенигсфельд, который в штатном расписании числился «рисовальщиком, помощником по части наблюдений и вычислений, переводчиком, натуралистом и этнологом». Кенигсфельд вел дневник путешествия, оставил достоверные наблюдения не толь-

ко об экспедиции, но и о жизни народностей севера Сибири. Рисунки Кенигсфельда стали предметом особого внимания, ибо с течением времени стали редким и практически единственным документом по этнографии ханты, манси, ненцев Тобольского Севера.

Известный советский историк А. Андреев, который специально занимался изучением кенигсфельдовских рисунков, писал о них:

«Не отличаясь высокими художественными достоинствами, рисунки Кенигсфельда дают все же ясное и точное представление об изображенных на них предметах, а те из них, которые относятся к Березову, погостам и ямам на Оби, являются единственными зарисовками очевидца первой половины XVIII века, сохранившего нам виды этих мест. Этнограф найдет, конечно, ценные подробности в изображениях остяков и их предметов; объяснение к этим рисункам он прочтет в разных местах дневника, где тот говорит о своих встречах с остяками».

На своих рисунках Кенигсфельд изобразил различные виды Березова и его достопримечательности, Шоркарский погост, Демьянский ям, юрту тобольских татар. Много рисунков посвящено зарисовкам обихода остяков.

В действиях Тобиаса чувствуется та научная жадность, которая всегда отличает настоящего ученого. С педантичностью большого исследователя вел он и свой дневник.

Адъюнкт-астроном стоит у истоков финно-угроведения: он, пожалуй, первым подметил сходство черемисского (марийского) языка с финским.

Особенно обстоятельно «этнолог» описал (время ему это позволяло) остяков. Обратим на этот факт особое внимание — это было первое этнографическое исследование приобских ханты. Что же привлекло внимание Кенигсфельда? Он описал орудия промысла ханты, например, семифутовый лук и стрелы с железными наконечниками. Стрелы с тупыми деревянными наконечниками предназначались для промысла белки.

Очень рациональна была лыжная палка промысловика: верхний ее конец одновременно служил лопаточкой для разгребания глубокого снега. Описал этнолог собачью упряжку охотника, сибирских лаек. «Нарты очень легки и сделаны из ивовых прутьев, — отмечает Кенигсфельд, — но так крепко, что выдерживают тяжесть человека с поклажей. В таких-то экипажах остяки совершают все свои переезды, то лежа и даже спя, привязанные к саням».

Все эти сведения двух с половиной вековой давности для современного этнографа представляют ценнейшие свидетельства хотя бы просто потому, что более старых и более обстоятельных этнографических описаний ханты не существует.

В «Дневниках» Кенигсфельда много интересных подробностей, которые сегодня имеют исторический интерес, о нравах той эпохи, о жизни русских сибиряков.

Аккуратность, исполнительность, настоящее научное прилежание Кенигсфельда понравились Делилю. По окончании путешествия он ходатайствовал перед Императорским кабинетом «о дозволении Товию (так на латинский манер Делиль пишет имя Тобиас) Кенигсфельду, который находился при обучении математических учеников в путешествии, остаться в этой же должности и по этому уважению дать ему звание адъюнкта астрономии в Академии наук с жалованьем и другими преимуществами, присвоенными для лиц, полезных академии».

Трудно судить, был ли дан этому ходатайству, ибо Делиль к этому времени попал в опалу. Известно, что после экспедиции Кенигсфельд два года работал в географическом департаменте, но потом произошла какая-то странная история. По распоряжению Канцелярии Академии наук, где тогда властвовал небезызвестный ломоносовский недруг Шумахер, Кенигсфельд был арестован и освобожден только по специальному указу правительствующего Сената. Видимо, этот академический арест окончательно испортил отношения молодого ученого с Канцелярией, и в 1742 году он порвал с Академией. О дальнейшей его жизни известно немного. В 1772 году, через три десятилетия после путешествия в Ревеле (это нынешний Таллин) было издано сочинение Кенигсфельда. В нем было всего 25 страниц в кварту. Сочинение носило длинное название, полностью объясняющее содержание научного труда: «Новое географическое изображение карты поныне еще не довольно известной части берега Ледяного моря и точного устья Оби реки чрез трудное путешествие, в 1740 году совершенное лично и с астрономическими наблюдениями и съемками и географическими расчетами».

Почему эта карта была издана в Ревеле? Хотя Кенигсфельд родился в Вологде, родители его были лифляндцами, и, по всей вероятности, после академического ареста он переехал на родину родителей. Издатель «Лифляндской библиотеки» Гадебуш называет его «рижанином Кенгсфельсом». В состав Лифляндии входила тогда южная Эстония и северная Латвия. Так что нам трудно сегодня точно утверждать, был ли Кенигсфельд латышом или эстонцем.

Есть еще одна неясность в биографии Кенигсфельда. Этнограф прошлого века академик П.И. Кеппен, который прочел ревельское сочинение Кенигсфельда, сообщал, что автор «занимался съемкой течения Оби, устья и берегов Ледовитого моря, охотился с остяками на моржей недалеко от мыса Маттесале или Северо-восточного». Это якобы следовало, по сведениям Кеппена, из содержания кенигсфельдовской книги.

Мы знаем, что экспедиция Делиля добралась только до Березова. Однако Делиль отправил в Обдорск капрала Вениамина Ширчеева, который добрался до района нынешнего Салемала. Но вот был ли вместе с капралом Кенигсфельд? В «Дневниках», в письмах Делиля это нигде не отражено. Понятно, что в это время Кенигсфельд требовался в Березове для астрономических наблюдений. К тому же мыс Маттесале — это даже не обское устье, а север Гыданского полуострова. Там действительно в ту пору можно было охотиться на моржей. Но невероятно, чтобы сам Кенигсфельд мог этим заниматься. По всей вероятности, он несколько неточно передал слышанный от кого-то рассказ о моржовой охоте на севере Обской губы, сделав себя участником этого экзотического занятия.

Подводя итоги... напыщенный академик Делиль де ла Кройер, сам того не ведая, оказал хорошую услугу коллегам, еще раз подтвердив истину, что «куриозные» научные экспедиции если в чем-то и забавны, то непременно любопытны.



Сибирская звезда парижского вертопраха

«С нетерпением ожидали у нас звездочета, посвященного в таинства богов: но вместо того к нам приехал в двух дрянных санях вертопрах в голубой шинели, худо скроенной и еще хуже отделанной; у него было два спутника: швейцарец и чухонец. Мы очень удивились, встретив, сверх нашего ожидания, человека, болтавшего без умолку и без толку, изрекавшего в одно и то же время приговоры и о звездах Млечного Пути, и о том, как следует наряжаться, твердившего о политике и предлагавшего всякие преобразования во всем, что попадалось ему на глаза... Вероятно, он рассчитывал на наше совершенное невежество и на пословицу: «Кривой — царь между слепцами». Когда ему принесли книги и уличили в ошибках, он не мог надивиться, что в Тобольске есть книги, и был вне себя, узнав, что к нам доходят даже и сочинения, которые запрещены Сорбоною и Папою: и Бэль, и Орлеанская дева, и Дух законов, Вольтер и Корнель. Каково чудо, такие книги в Сибири, а во Франции их читают украдкой. Если бы господин аббат не слишком торопился и постарался узнать в России людей порядочных, то Сибирь не так бы удивила его».

Так писал безымянный тобольский интеллигент своему знакомому в Санкт-Петербурге. Из корреспонденции видно, что сибиряки не очень почтили европейца «в дрянной шинели». Кто же это был и каким попутным ветром занесло в Сибирь парижского вертопраха?

Во всем виновата Венера...

В 1761 году эта планета должна была пройти в очередной раз через диск Солнца. Оказалось, что наиболее благоприятные условия для наблюдения редкого астрономического явления — в Сибири. Российская Академия поторопилась снарядить экспедицию. Профессор Никита Попов отправился в Иркутск, а адъютант (впоследствии академик) Степан Румовский — в Селенгинск. Русские ученые внесли серьезный вклад в европейскую программу наблюдений над Венериным затмением Солнца.

Когда подготовка к экспедиции приближалась к завершению, из канцелярии французского короля поступил неожиданный запрос: не мог ли в исследованиях принять участие и королевский астроном? Президент Петербургской академии наук граф Кирилл Разумовский вежливо отказал, однако, как выяснилось, королевский посланник уже находился в пути. Как потом выяснилось, Шапп д'Отероша пригласил известный Г.Ф. Миллер. Делать нечего, канцлер М.И. Воронцов посодействовал, чтобы астроном (это как раз и был аббат Шапп д'Отерош) попал в Сибирь. До Иркутска аббат доехать уже не успел, ему пришлось монтировать свой девятнадцатифутовый телескоп в Тобольске.

О том, как велось наблюдение знаменательного астрономического явления, тот же тоболяк сообщал столичному корреспонденту:

«Обсерватория его помещалась на одной из крепостных стен, он пригласил туда и город, и слободы, и действительно к нему приходило так много народу, что было бы чудом, ежели бы его наблюдения оказались точны: потому что во все время аббат наблюдал, кричал писцу, пускался в рассуждения с присутствующими, хохотал с весельчаками, любезничал с дамами и спорил насчет Апокалипсиса и скончания мира. Ему не было человеческой возможности наблюдать как следует даже и несколько секунд».

Надо полагать, аббатские наблюдения не слишком обогатили астрономию. «Всеобъемлющий» звездочет на поверку оказался обыкновенным невеждой. Повар тобольского губернского прокурора Пушкина, выходец из Госкони Шабер продал королевскому астроному две дюжины тараканов по пятаку за штуку, убедив просвещенного земляка, что сибирские тараканы «летом поют на деревьях, как кузнечики, и что они так же опасны, как скорпионы». Шапп д'Отерош принял поварскую шутку за чистую монету и «тщательно сберегал» необыкновенных тараканов в подарок королевской Академии. В другой раз повар удружил аббату (за два с полтиной) утку, убедив астронома, «будто у этой утки змеиная голова».

Наверное, большой беды от французского легковерия не случается. Но, вернувшись в Париж, аббат через несколько лет, в 1768 году, издал толстую книгу, которая катастрофически быстро (интерес к Сибири) была переведена на английский и голландский, и с его легкой, точнее поверхностной, руки по Европе начали гулять слухи-анекдоты о Сибири. Книга эта имеет длинное название: «Путешествие в Сибирь по приказанию короля в 1761 году, содержащее в себе нравы, обычаи русских и теперешнее состояние этой державы; географическое описание и нивелировку дороги от Парижа до Тобольска; единственную историю оной дороги; астрономические наблюдения и опыты над естественным электричеством, украшенное географическими картами, планами, съемками местности, гравюрами, представляющими обычаи русских, их нравы, их одежды, божества калмыков и многие предметы естественной истории. С королевским одобрением и привилегиею». Кратко книгу называют «Вояж в Сибирь».

Надо представить, что нагородил легковерный «энциклопедист». Помимо всего прочего, книга д'Отероша была выдержана в высокомерных тонах, аббат почти на каждой странице высказывал пренебрежительное отношение к русскому народу. «Мне приходилось опасаться суеверия невежественного народа», «они признают господина лишь по его жестокому с ними обращению» — такими фра-

зами пестрит псевдоученый труд. Конечно, в чем-то аббат был несомненно прав, когда обличал деспотические порядки (чем заслужил позднее несколько комплиментов Георгия Плеханова), но свое неуважительное отношение он чаще всего демонстрировал не к угнетателям, а к простому русскому человеку.

За оскорбленное национальное чувство вступилась императрица Екатерина Вторая. Она написала полемическое сочинение «Антидот» (противоядие). Историки признают за великой Екатериной литературное дарование, которое, кстати, особенно ярко проявилось в ее пьесе «Сибирский шаман». Полемическое сочинение ядовито и едко высмеивает звездочета-вертопраха. «Высочайший» автор уличает его во всех нелепостях и глупостях, отмечает напраслину, которую легкомысленный французишко возводил на русский народ.

Приведу пример полемики из «Антидота».

«Он говорит, — пишет Екатерина Вторая об аббате, — что жители Тобольска по случаю его астрономических наблюдений приняли его за колдуна; однако он не был первым, кто производил в Сибири астрономические наблюдения: в разное время их производили также обе Камчатские экспедиции. Он прибавляет: «Наименее невежественные распускали об этом наблюдении самые нелепые толки, между тем как остальные ожидали этого момента с таким же страхом, как светопреставления!». Господин аббат, если тобольские кумушки так смотрели на дело, то они в этом сходились с кумушками парижскими и многих иных мест, где кометы и прочие небесные явления заставляли дрожать немало людей». Екатерина не преминула заметить едко: «Ваши королевы в течение долгих времен не могли родить без того, чтобы в гардеробной не был спрятан астролог».

При жизни императрица почему-то не удосужилась издать свой незаурядный литературный труд, вероятнее всего ее устроило, что приближенные смогли прочесть «Антидот» в списках. «Антидот» издан в 1869 году в историческом сборнике «Осмнадцатый век». Издатель, известный русский историк и архивист Павел Бартнев писал по этому поводу: «Оборона русского народа от навета иностранцев должна быть известна в России».

С присущей сибирякам объективностью отнесся к произведению королевского аббата великий тоболяк, знаменитый историк Петр Андреевич Словцов. В «Историческом обозрении Сибири» он аргументированно опровергает д'Отероша, но словцовское резюме выглядит так: «Мы с негодованием пропускаем колкие высказывания о наших обычаях и свадебных обрядах, общих в то время с Россиею и притом представленных Шаппом без целомудрия и даже без благопристойности. Ни звание астронома, ни имя аббата не попрепятствовали ему принять роль дружки на одной русской свадьбе, чтобы после выдать бесстыдное описание старинного обычая и обесславить свое творение скаредною картинкою. По заслуге достойный Паллас назвал ученого аббата вертопрахом, и этот вертопрах в последней половине XVIII века был один из безнравственных французских ученых».

Словцова привлекли такие высказывания ученого аббата, с которыми он, скорее всего, и сам соглашался.

«Сибиряки рослы, плотны и статны. Они любят женщин и напитки до излишества. Унижаясь пред главным начальником, они поступают весьма жестоко с низшими и своими служителями».

«Женщины тобольские красивы, белотельны, с тихою и приятною физиономией, с глазами черными, томными и всегда потупленными. Головной убор их состоит в искусном переплете черных волос с разноцветными платками, чем дают себе вид прелестный. Все румянятся, даже служанки и простонародные женщины. Вообще, женщины статны от 18 до 28 лет. Ноги и ступни у них толсты, как бы для поддержки естественного их дородства».

«Мужчины в Сибири дотоле не будут чинны и благонравны, доколе не начнут уважать своих жен и доколе женщины по праву красоты и воспитания не станут содействовать приятностям общезжития».

«В Пасхальную неделю чиновники ездят друг к другу с поздравлениями и после взаимных обниманий пьют в каждом доме. Простой народ в праздники предается пьянству и разврату».

Понятно, что даже предельная объективность не могла заставить Петра Словцова принять основное направление книги французского вояжера.

«Шапп был тех мыслей о русских, что они, рождаясь с грубым строением, будто бы не способны вмещать ни воображения, ни гения, и верил в язвительное слово известного Монтескье, что для возбуждения в русском чувства надобно ободрить его. Прилично ли так говорить гению, если Монтескье был в самом деле гений?».

У антироссийских традиций Европы давние корни, но как и в случае с парижским вертопрахом аббатского звания в дрянной шинели, это явно идет не от большого ума и основательности знаний.



Легенда об ученом выпивохе

Есть у меня в Москве приятель — сподвижник по полярному братству. Он бывший арктический гидролог, ныне автор многих арктических проектов, сподвижник знаменитого Дмитрия Шпаро, автор книг об Арктике — Александр Шумилов. Как-то при встрече Александр Васильевич изумился:

— Ведь у вас в Тюмени умер один великий человек. Ты знаешь? Он назвал фамилию.

Фамилию я помнил, но то, что он умер в Тюмени, тогда не знал.

В Тюмени умер и похоронен действительно великий исследователь России.

И его смерть, его захоронение — все еще неразрешенные загадки. Понятно — все связанное со смертью, печально, но то, что связано с этой смертью, — ужасно.

Вот свидетельство одного из современников. Речь идет о первой половине XVIII века.

«Стояла уже зима, земля глубоко промерзла, гробовщики не очень старались и кое-как зарыли гроб. Какие-то бродяги раскопали яму, раздели труп, который несколько дней, отданный на съедение собакам и волкам, валялся на снегу. Зарыли его вторично, поглубже и на гроб положили большой камень. Весенним половодьем Тура подмыла берег, и останки «замечательного русского ученого», странного и доброго человека исчезли в мутной воде своенравной сибирской реки».

Было ли так на самом деле, или это легенда — утверждать трудно, но как-то уместно вписывается в необычайно странную жизнь Георга Вильгельма Стеллера, немецкого ученого на русской академической службе.

Адъютант Петербургской Академии прославился своим участием во второй Камчатской экспедиции, соратничал с Витусом Берингом в плавании к берегам Америки, провел не просто тяжелейшую, а страшнейшую зимовку на бесприютном острове — системы

Командорских — в Тихом океане. Четыре года изучал Камчатку. Это вместились с 1740 по 1744 годы.

Тюмень — остановка на пути возвращения Стеллера в царскую столицу. Как уже знаем, последняя остановка. Времена на дворе — страшные. Чтобы как-то ощутить, вспомним эпоху НКВД и ГУЛАГа, то же «слово и дело», только два века вспять.

На Камчатке, на Командорах, в Тихоокеанском плавании Стеллер провел труднейшие, но и самые плодотворнейшие годы.

Знаменитый Бернгард Гржимек в своей книге «От кобры до медведя гризли» описывает характерный эпизод из американского плавания Витуса Беринга. Командору было тогда 60, старик явно чувствовал себя неважно, его угнетали тревожные предчувствия. Стеллер первым заметил на горизонте гористые очертания Аляскинских островов, и «ему не терпелось продолжить свои биологические исследования. Однако капитан корабля В. Беринг имел другие намерения и вскоре приказал сняться с якоря и возвращаться назад. Стеллер был до крайности возмущен таким решением и в конце концов настоял на том, чтобы командир корабля дал ему хотя бы десять часов на обследование острова Каяк, где кораблю все равно надо было пристать, чтобы пополнить запасы пресной воды. Всего 10 часов — после приготовлений, продлившихся десять лет! Но Стеллер за это время обнаружил на этом острове 160 новых видов растений, собрал сведения о местных жителях, которые в страхе от него убегали, записал множество наблюдений и только после этого вернулся на корабль».

(Статью о своем исследовательском подвиге-набеге Стеллер назовет не без присущей ему ядовитой иронии «Описание растений, собранных за 6 часов в Америке»).

И так — напряженно, истощенно, яростно — Стеллер, не жалея себя, мог работать всегда. Из экспедиции он вез в академию уникальные материалы: 16 огромных ящиков собранных коллекций.

Молодой ученый — ему стукнуло 36 лет, — понятно, был окрылен. Каково же ему было, когда в Иркутске его арестовали и призвали на допрос к самому губернатору. Донос, попавший с Камчатки в Петербург, обвинял Стеллера чуть ли не в подготовке восстания камчадалов. Действительно, Стеллер разрешил разехать по домам нескольким недовольным камчадалам, которых вроде бы арестовали, но никто не охранял и которые пропадали от голода. Слава Богу, иркутским губернатором оказался просвещенный человек Лоренц Ланге, он понял и принял объяснения коллеги-исследователя.

Но причуды российского фискального сыска не поддавались разумным мотивам. В Соликамске Стеллера арестовывают вторично с предписанием вернуть его в Иркутск на новый допрос. Говорят, что не обошлось без интриг тогдашнего тобольского губернатора — им был Алексей Михайлович Сухарев, он знал и недолголюбил Стеллера. Сухарев сделал так, что задержал посланное из Иркутска донесение Сенату об освобождении, и Стеллер по губернаторской прихоти принужден был возвращаться из европейского Соликамска в Сибирь. Кого такое не сломит! Однако, когда арестованный возвращается в Тару, его нагоняет столичный курьер с предписанием освободить ученого «из караула». Вот в таких приискорбных обстоятельствах Стеллер оказывается в Тюмени. Единственное, о чем он мог не беспокоиться, это о коллекции: еще в

Соликамске он передал ее коллеге академику Фальку, и, скорее всего, дальневосточные научные сборы — 16 уникальных ящиков — уже в столице.

Что же произошло в Тюмени или под Тюменью 12 ноября 1746 года? В официальном лекарском документе причиной смерти Стеллера называется «горячка». Тогда этот диагноз имел гораздо более широкий диапазон, не исключительно алкогольный. Но официальная версия тюменских чиновников места для вольного трактования медицинского термина вроде не оставляет:

«В необыкновенно холодный день конвой остановился у близ дороги стоящего кабака, чтобы подкрепиться водкой». Стеллер же якобы лег в сани нетрезвый и заснул, а ямщик и провожатый по случаю необычайно сильной стужи отправились с улицы на постоялый двор. Так как Стеллер не звал их, то они оставались там долго, вернувшись же к саням, нашли его «окоченевшим (буквально!) от холода». Автор этого рапорта, вероятнее всего, полицейский пристав, не удержался от морального резюме: «Само собой разумеется, жаль, что ученый и даровитый человек предавался этой страсти, доведшей его до смерти, о которой описано выше».

Легенда о Стеллере-пьянице подтверждается и другими мемуарами и документами. В Тобольске, припомнил некто, на обеде у архиепископа Стеллер якобы напился до чертиков. В Иркутске «зело хмельной» грозился вице-губернатору. На Беринговом острове Стеллер «привык пить и предавался этому уж слишком».

Казалось бы, зачем ворошить прошлое? Ну, был у неутомимого исследователя немалый грех, поплатился он за него — расплатился собственной жизнью, примем к сведению и забудем. Не этим же велик Стеллер, у него иные заслуги перед наукой. Да и как не запить: условия экспедиции тяжелейшие, зимовка на Командорах каждый день грозила смертью, доносы, аресты, молодая и любимая жена Бригитта не поехала с ним, а осталась в Москве. Он уже 9 лет в этой беспросветной экспедиции.

Однако Александр Шумилов, человек рыцарски настроенный к своим предшественникам по изучению Арктики, решил не согласиться с расхожими мнениями о выдающемся пьянице. Он разыскал документы, которые опровергали официальную версию о нелепой смерти пьяного Стеллера в ямщицких санях. Полицейские рапорты откровенно лгали. Видимо, кому-то было выгодно, надо было представить смерть Георга Стеллера именно такой: замерз сомнительный пьяница, и Бог с ним. Шумилов документально, на основе бумаг из архива Беринга доказывает, что Стеллер умер на руках тюменских врачей, в трезвом уме и здравой памяти. Он тяжело болел, наверное, несколько недель, и в Тюмени остановился именно по этой причине: здесь тяжелый недуг свалил его с ног. За пять дней до кончины, понимая неизбежный конец, Георг Стеллер пишет завещание: «сие есть моя последняя воля... похоже я ныне весьма болен и не чаю живым быть, то прикажу по смерти моей все мои пожитки отдать жене и дочери моей».

Священник тюменской церкви добросовестно переписал не только Стеллеровы пожитки, но и все его бумаги. Пожитки через какое-то время оказались у Бригитты, которая вскоре благополучно вышла замуж, а бумаги — в академической канцелярии. Их долго обрабатывали, и уже в конце века восемнадцатого вышли Стеллеровы труды «Описание земли Камчатки», «Путешествие от Камчатки к Америке вместе с капитан-командором Берингом».

Александр Шумилов просит не считать адъюнкта академии трезвенником, хотя задается вопросом, где увлеченному наукой Стеллеру взять время на загулы? Объяснение Шумилова благородно: Стеллер был слишком увлечен и ботаникой, и зоологией, и этнографией. Слишком близко к сердцу принимал все то, что казалось ему несправедливым. И даже любил слишком. Возможно, «этому» не по-немецки предавался также слишком. Но не до смерти.

И вторая легенда: об обрушившейся могиле, о мутных водах Туры, поглотившей волками обглоданное тело.

В 1776 году в Тюмени находился еще один петербургский академик Пьер Паллас. Он видел место погребения Стеллера, заметив, что оно «очень еще известно тамошним старожилам».

Так обрушилась ли Стеллерова могила, или кому-то хотелось не просто стереть память об этом человеке, но и вырвать ее с корнями, точнее — с могилой?

Городское кладбище находилось тогда в районе нынешнего краевого музея. Но это православное кладбище. Протестант Стеллер там похоронен быть не мог. Его похоронили отдельно, но, как горестно замечал кто-то из современников, «нет памятника над могилой несчастного естествоиспытателя». Старожилы место помнили, потом могли запомнить. Унесла ли своенравная Тура Стеллеров гроб — в общем-то, следовало доказать точнее. Ясно одно — памятный камень умершему в Тюмени адъюнкту Петербургской академии Георгу Вильгельму Стеллеру должен быть. В память его заслуг перед российской наукой и Сибирью. Он — уроженец Германской Франконии. Сегодня мы дружим со многими германскими фирмами. Память о Стеллере — наша общая память, наша общая история. Это был бы и мемориальный камень наших давних связей и дружбы.

Я хотел отыскать могилу Стеллера. Пока не нашел. Но — нашел замечательнейшего человека.

Его несколько не огорчали лишения в жизни, отмечал его знакомый академик Иоганн Гмелин, всегда он был в хорошем расположении, и чем более было вокруг него кутерьмы, тем веселее становился он. Ему было нипочем пробыть целый день без еды и питья, когда он мог совершить что-нибудь на пользу науки. Он стряпал все сам. Ни парика, ни пудры он не употреблял, и всякий сапог и башмак был ему впору.

Штурман Стен Ваксель, правая рука командора, свидетельствовал: «Большую услугу оказал нам адъюнкт Стеллер, отличный ботаник, который собрал различные растения и указывал нам разнообразные травы».

Брошенный молодой женой (собравшись с ним на Камчатку, Бригитта дальше Москвы не поехала), Стеллер не без изящества и яростной грусти напишет: «Я совершенно забыл ее и впал в грех любви с Природой».

Он был честолюбив, строптив и жаловался на самого командора: «Во всем принят не так, как по моему характеру принять надлежало, но яко простой солдат, и за подлого от него Беринга, и от прочих признаван был, и ни к какому совету я им, Берингом, призван не был».

Гмелин предостерегал. «Ему никто не смеет противоречить, потому что в противном случае навлечет на себя несчастье быть им преследуемым».

В общем, палец в рот не клади. Стеллер, не считаясь с именами и титулами, мог постоять за себя.

В нем всего намешано, что позволило одному нравственному советскому академику вынести приговор: «Стеллер был первоклассным натуралистом, но совершенно аморальным человеком».

Мне Стеллера к окончательной добродетели не подвести, не забыть бы вообще, что был, а каким был — каким ни есть.

«Покойников, которых не успели еще предать земле, обгладывали песцы; не боялись они подходить и по-собачьи обнюхивать беспомощных больных, лежавших на берегу без всякой защиты».

Это сам Стеллер описывает страшную зимовку на Командорах:

«Паруса, составляющие крыши наших землянок, быстро ветшали, и не в состоянии были противостоять постоянным сильным ветрам. Они разлетались при первом же порыве ветра, а мы оставались лежать под открытым небом».

«К полуночи разыгралась сильная метель, крышу нашу сорвало, и нас самих выгнало из шалаша. Тогда мы принялись собирать плавник, подтащили его к продолговатой яме, напоминавшей могилу, рассчитанную на двух персон, и решили в ней переночевать. Сверху мы перекрыли ее плавником, на который навалили свою одежду, пальто и одеяла, а чтобы хоть немного разогреться, разожгли костер».

«Иной больной кричит от холода, другой жалуется на голод и жажду. Цинга многим так страшно изуродовала рот, что от сильной боли они не могли есть, почти черные, как губка, распухшие десны переросли и покрыли зубы».

Они на этом жестоком острове оставили несколько десятков погибших товарищей. Здесь же похоронили и командора Беринга.

Стеллер в этих условиях не выживал, а работал: собирал, классифицировал, описывал, систематизировал. Прикладная ботаника — сбор лекарственных трав — помогала спасать больных.

Натуралисту Стеллеру повезло, когда он открыл один вид морских животных, неизвестных науке, — это морские коровы, или Стеллеровы коровы. Кстати, эти животные были так быстро истреблены из-за своего вкусного мяса и молока, что Стеллер оказался не только первооткрывателем, но и единственным ученым, который наблюдал и описал этих коров. Как и у него, с трудной судьбой.

Одно колоритное местечко из Стеллерова описания «...» коров, коров-крестниц: «Весной они спариваются, причем происходит у них все как-то очень «по-человечески». Обычно это бывает под вечер при тихой погоде. Прежде чем спариться, они некоторое время ласкают друг друга, самка не спеша плавает взад и вперед, а самец неотвязно следует за ней, пока ей самой не надоест ждать... При этом они обнимают друг друга передними лапами».

Не правда ли, писатель в Стеллере брал верх над сухим натуралистом и систематиком? Стеллеровы коровы погибли не только из-за своего вкусного мяса: молодое оно напоминало нежную телятину. Топленый жир напоминал сладкое миндальное масло. Мясо не портилось на жару и предотвращало цингу.

Говорят, Стеллерову корову можно было быстро приручить, одомашнить, и она бы еще долго послужила природе и человечеству. Но излишне доверчивую ее безжалостно истребили.

Корова Стеллера была чрезвычайно доверчива, не боялась коварного человека, забывала заботиться о своей жизни и оказалась беззащитной перед человеческой корыстью и жестокостью.

И мне мнится, что не случайно это добродушное животное, почти случайное в истории науки, получило имя Стеллера. В их мимолетных судьбах что-то незаметно, неназойливо пересекается, сопрягается, перекликается. Приходишь к неутешительному выводу: хорошие люди и хорошие коровы на этой земле долго не живут.

И мы «крестника» — первооткрывателя Г.В. Стеллера — можем быстро и окончательно забыть. Но зачем? Разве так уж много великих людей умерло и похоронено в Тюмени?

Он такой живой в своей непредсказуемой судьбе, а грех любви с Природой, в чем он искренне признавался, наверняка, лучший из грехов.



Прусский Хлестаков проездом из Тобольска...

Сюжет гоголевского «Ревизора» помним? Трудно забыть. Помним, что анекдот, положенный в основу сюжета, Гоголю рассказал Пушкин.

Но известно ли вам, что сюжет этот придумали... безымянные русские служивые, и не где-нибудь, а, естественно, в Сибири, и именно в Тобольске?

Прочитирую старинный мемуар.

«Мои солдаты, которые до этого жили при мне припеваючи, вскоре заметили мое стесненное положение и думали, как бы мне помочь. Никогда бы мне самому не пришло в голову составить такой план, какой выдумали эти молодцы: они пришли, чтобы мне его открыть.

«Иван Карлович, — сказали они мне, — мы очень хорошо чувствуем, что твои деньги идут к концу. А между тем нет недостатка в способах для улучшения наличия, если ты только согласишься с нашим планом, и нам бы это помогло».

Я дал им объяснить свое намерение. Они хотели во всех городах, которые мы должны были проехать, выдавать меня за знатного прусского пленника, который десять лет был лишен свободы в Сибири.

Их нация, говорили они, при таких случаях чрезвычайно любопытна, и я могу быть уверен, что как только это известие распространится, ни один человек хотя бы малейшего положения не откажется от удовольствия меня увидеть. Пусть я поступлю в соответствии с этим, они же со своей стороны уж так все устроят, чтобы любопытство людей было бы доведено до высшего предела, и никого ко мне не пустят, который не имеет в руке хороший подарок для меня. Я подумал над этим проектом, нашел его выполнимым и согласился. Мы, сказал я им, сделаем в первом городе на нашем пути пробу. Это была Тюмень. Только я устроился, мои солдаты отправились ко всем купцам города и сделали вид, как будто собираются сделать для меня большие покупки. Они потребовали показать им самые богатые товары, и все они оказались для меня недостаточно хороши. Естественно, что это вызвало внимание и вопро-

сы, кто же этот господин, которого они сопровождают? Вот это и было то, на что хотели словить купца. Чем любопытнее он им казался, тем таинственнее вели они себя и доводили его в конце концов до того, что он начинал их просить, чтобы они сказали, кто я такой. Не успевал я оглядываться, как уж кто-нибудь у меня объявлялся, и когда меня извещали, что все получили то, что следовало, и незнакомец и для меня принес, его вводили ко мне. Это был всегда Степан, который в качестве моего верного камердинера выполнял церемонию представления и уведомления.

Я поворачивался, принимал глубочайший поклон незнакомца, после украдкой брошенного на стол взгляда подходил к нему и начинал с ним разговор, длинный или короткий, в зависимости от того, нашел ли я подарок достойным или нет. Тогда я приказывал своему камердинеру Степану принести ему стопочку водки, принимаемую всегда очень почтительно. Не принимали подарка меньше 10 рублей деньгами, или пушшиной в ту же стоимость. Кто приносил меньше, того мои солдаты сразу же отправляли. Таким образом я путешествовал до Москвы и имел при себе, когда прибыл в этот город, сто рублей денег, несмотря на то, что в пути из Тобольска через Казань в Москву мы жили так роскошно, как только можно жить в такой стране. Я приобрел 200 рублей деньгами и столько же пушшиной».

Кем же был этот удачливый предшественник Хлестакова? Сдается, что Н.В. Гоголь знал — и достаточно подробно — его историю, должен был знать, ибо некоторые подробности мошенничества Ивана Карловича совпадают с подвигами Ивана Александровича.

Ну, во-первых, Иван Карлович никакой не Иван, а Иоганн Людвиг, и самый настоящий, всамделишный прусский шпион. Фамилия его Вагнер, Иоганн Людвиг Вагнер, и 25 февраля 1759 года, когда его арестовал русский офицер, Вагнер занимал солидный пост — он именовался так: почт-директор Пруссии. Арест произошел в городе Пилау, в Восточной Пруссии. Почему же русский офицер арестовывает пруссака на его родине? Если подзабыли: в 1759 году продолжалась так называемая Семилетняя война, победоносные екатерининские полководцы полноправно маршировали-топтали германские земли. Почт-директор Вагнер был уличен в шпионаже, его вина основательно доказывалась тайным блокнотом, куда Вагнер с немецкой педантичностью вносил рода, численность войск в русских гарнизонах. Фронтальной трибунал на расправу скор, шпиона с его секретным блокнотом приговорили к расстрелу, будущий Иван Карлович несколько суток ожидал намеченной казни, но пришло императорское помилование, расстрел заменили ссылкой в Сибирь. Вагнер шел долгим этапом: Соликамск, Тюмень, Тобольск, Тара, Енисей, Мангазея Туруханская. Ссылку прусский шпион отбывал именно в Новой Мангазее на Турухане. Длилась сибирская отбывка прусского почт-директора четыре года. С лишком. Лишok этот — путь в ссылку и обратная дорога, как мы уже извещены, проведенная им не без приятностей в хлестаковском стиле, и самое главное — без заключительного разоблачения.

Должно отметить, что в середине «осмнадцатого века» к шпионам относились то ли легкомысленно, то ли по-человечески. Режим содержания оказался достаточно вольным, да и правда, куда пруссаку удрать из мангазейских снегов? Вагнер имел возможность свободно вести дневник, потому в сибирской истории остался — запомнился не потайным блокнотом, а именно сибирским дневником, изданным в Берлине в 1789 году. Берлинская книга носит длинное, привычное по тем време-

нам, название: «Иоганн Людвиг Вагнер, нынешний королевский почт-директор Грауденца, судьбой заброшенный в русский плен с 1759 года по 1763-й, с занимательными сообщениями и наблюдениями о Сибири и Казанском царстве, с приложением выписок из лучших описаний этих стран, с присовокуплением замечаний редактора».

Как всякие авантюристы, Иоганн Вагнер, а это из хлестаковской истории, начавшейся в Тобольске, явственно выводится, был человеком явно неунывающим, не теряющимся в любой безнадежной ситуации, с тем легким и поверхностным характером, который позволяет не поддаваться мизантропии, хотя все житейские обстоятельства склоняют к этому. Когда 20 июня 1763 года ему доставили и прочли указ о досрочном даровании свободы, Вагнер свой отъезд, как сообщает исследователь его истории, иркутский знаток Эрвин Зиннер, «отметил торжественными балами и обедами, получил множество приглашений, ухаживал, как не без гордости сообщает, за местными красавицами «высшего света», вызывая этим ревность, с одной стороны, и обильные слезы — с другой».

Женщины вообще, в том числе и мангазейские барышни, понятно же, всегда льнут к авантюристам. Попутно припомним, как И.А. Хлестакова обхаживала не только дочка городничего, но и его степенная супруга.

Впрочем, еще одно любовное приключение почтового директора, на этот раз в Енисейске, на обратном пути из ссылки, заставляет вспомнить, что у вымышленной гоголевской интриги могли иметься вполне реальные основания.

В Енисейске, заведя множество знакомств среди здешнего «высшего» общества, он, очевидно, небезуспешно предался радостям любви. В него страстно влюбилась молодая купчиха, давала взятки сопровождающему Вагнера солдату, но, увы, успеха не добилась. Вагнер подарил свое сердце дочери бедной вдовы обанкротившегося купца, купив ее за шесть рублей у матери. Он даже намеревался взять ее с собой, но узнавшая об этом соседка-купчиха пыталась из ревности отравить Вагнера пельменями. Вагнер вовремя узнал о коварном плане и немедля собрался в путь. В придорожной деревне беглянка обнаружилась, девушку отобрали. Нежные узы дорожной любви были грубо и беспощадно разорваны.

Преувеличивает ли Вагнер силу своего обаяния, или повествует сущую правду, мы уже не проверим, но его европейский читатель мог узнать, как сильны в своих сердечных страстях сибирские девушки. Его поклонница вскоре умерла от тоски и горя.

Если любовь — то до гроба!

Вагнер кстати и некстати не забывает помянуть сильный сибирский темперамент:

«Русские имеют сильный темперамент, склонны к похоти и очень изобретательны в нахождении средств для ее удовлетворения, так что, судя по моему опыту и собранным по этому пункту известиям, никакая другая нация не может с ними в этом соперничать».

Сказано несколько грубовато, юмор по-немецки тяжеловат, но именно это заметил достаточно доброжелательный немецкий узник с задатками незадачливого Дон Жуана.

Говоря о Вагнере, часто приходится поминать Мангазею. Многие из нас, скорее всего, помнят (если помнят?) Мангазею ямальскую на реке Таз. Но после большого и разрушительного пожара 1672 года тазовская Мангазея перестала существовать, столица северо-сибирс-

кого пушного торго перековчала на восток, к берегам Енисея, к устью Турухана, правда, имя перековашему поселению было оставлено старое — Мангазея, иногда она именовалась Новая Мангазея. Именно в ней и отбывал свой срок жизнерадостный, жизнелюбивый, любвеобильный и неунывающий Иоганн Вагнер. Вот как он описывает место заточения, прощаясь с ним: «Мангазея расположена в пустынном месте, на горе, близко к морю. С одной стороны протекает Турухан, к северо-западу — Черный Тунгус, к юго-западу — Енисей, и со всех сторон города виден огромный густой лес, по которому протекают эти реки. Сам городок состоит из 60 очагов, все дома деревянные. Все жители обязаны выполнять казакскую службу, и за это каждый получает свою порцию крупы и муки и жалованье по три рубля. Никаких податей они не платят. Пашень у них нет, а только луга, и каждый косит свою траву, где пожелает. Имеется множество старых людей, старцев в 90 лет, которые никогда еще не видели в поле стебля. Жители держат коров, лошадей и свиней. Леса состоят преимущественно из кедров огромной величины, которые, вероятно, стоят еще со времен всемирного потопа. Каждое лето ударяют молнии в эти деревья, и пожар горит годами, но убыли древесины не заметно».

Одна деталь заставляет задуматься, кто кого наказал больше: российское правительство прусского шпиона, или шпион российское правительство. Для содержания Вагнера на туруханском яру построили специальный домик, для которого из Енисейска специально везли кирпич, глину и известь. Караулили «Ивана Карлыча» три гренадера с унтер-офицером во главе, да еще специально посланные воеводой два дополнительных казака. Вся эта орава караульщиков кормилась, естественно, за государственный кошт. На что, на что, а на жандармские караулы даже на краю света Россия денежек не жалела.

Изданная книга делает авантюриста Вагнера серьезным человеком. Это был весьма интересный источник сибирских знаний для европейских ученых, тем более Сибирь рисовалась не бегло, а понималась изнутри. С прусской педантичностью и дотошностью Иоганн Вагнер о чем только не рассказывал: масленица, русские бани, зимний путь по Енисею, рыбная ловля, пушной промысел, устройство охотничьих лыж, ярмарка, охота на белых медведей, тунгусские шаманы, дорожные станции. Прусский шпион, не утратив бодрости духа, открывал дальнюю Сибирь для себя и для своих современников-соотечественников.

Родина, на которую ровно день в день, но через пять лет вернулся почт-директор, встретила его не очень гостеприимно. Хотя его принял сам король, кроме дежурно-казенных слов, испытанный Сибирью королевский шпион ничего не получил: ни шестьсот рейхсталлеров, которые Вагнер просил за причиненный ему ущерб во славу прусской родины, ни даже прежнего места службы ему не вернули. Более благополучные бюргеры прочно водрузились в директорском кресле. Вот после этого и записывай секретные сведения в потаенный блокнотик, шпионь во славу короля. Пруссия — не Россия, хлестаковские уловки не для прижимистого чиновного немца. Авантюристом Иоганн Вагнер мог быть только в Сибири! В России его подвиг повторит незабвенный Иван Александрович Хлестаков.

Как бы и где бы узнать, не попался ли на глаза Н.В. Гоголю Вагнеров труд о его судьбе! Или мошенники, как и Дон Жуаны, в своих авантюрах похожи друг на друга?



Сослан по императорскому недоразумению

В БСЭ (образца 1953 года) о немецком драматурге Августе Коцебу написано: «В кругах передовых русских писателей, начиная с Пушкина, имя Коцебу стало нарицательным для обозначения реакционного и пошлого писателя».

«Тайный агент русского царя» в 1819 году был убит «прогрессивным» студентом Карлом Зандом (если убийца бывает прогрессивным).

БСЭ ничего не сообщает о том, что немецкий подданный Август Коцебу высылался русским царем в Сибирь — Тобольск и Курган. Самое странное — Коцебу так и не понял, за что и почему он сослан. Во времена императора Павла I, а это произошло на исходе его царствования, такие странные вещи случались сплошь и рядом. Тобольский губернатор Кушелев, благорасположенный к Коцебу и получив сопроводительные бумаги, тоже не мог объяснить причину ссылки и только разводил руками.

В 1816 году в университетской типографии Москвы вышла двухтомная книга «Достопамятный год жизни Августа Коцебу, или Заточение его в Сибирь и возвращение оттуда, описанное им самим». Исходя из того, что Коцебу реакционный и пошлейший писатель, вообще агент русского царя, может быть, не стоило и брать этот фолиант в руки?

Стиль, конечно, ужасный. Возможно, в этом повинен переводчик В. Кряжев. Коцебу, понятно, страдал гипертрофированным эгоизмом, судьбой был заброшен в экзотический, неведомый для европейцев край, но умудрился, сосредоточившись на своих переживаниях, ничего о Сибири по существу не рассказать. Но мимо чего трудно пройти и ради чего я начал рассказывать об этой странной ссылке, Коцебу в своем длинном писании сумел проникновенно рассказать о доброте сибиряков. Он встречал их повсюду, хотя сибирское пребывание его было скоротечным — с мая по август, и за это время ссылный имел возможность познакомиться с нравами Тобольска, Тюмени, Кургана.

У сибиряков имелось свое отношение к ссылным, к ссылочным, как обозначает их Коцебу. В свойственном ему велеречивом тоне он просвещает своего читателя:

«Вообще казалось, как будто нещастие быть в ссылке доставляло в Сибири право на общее уважение и помощь. Само название, которым означали всегда сосланных, изъясляло нежное сожаление или уверенность в невинности их, ибо их называли нещастные. «Кто там идет по улице?» — «Нещастный». — Никогда я не слышал другого, по меньшей мере унижительного, преступления означающего наименование ссылочных».

Самого лучшего мнения Коцебу о тобольском губернаторе Кушелеве:

«Где вообще найти мне достаточных слов, чтобы по достоинству изобразить оказанное мне сим мужем благодущие! В его воле было сослать меня и в Березов, на берегу Ледовитого моря, где в самые жаркие летние дни земля едва на пол-аршина в глубину оттаивает, а он выбрал мне самый теплый климат своей губернии, и такой город, где он знал, что добрые обыватели живут. В Тобольске мог бы он предоставить меня уединенной горести и недостатку, но он почти всякий день приглашал меня к столу своему».

По ходу повествования о Кушелеве идет сноска:

«Благородный муж сей теперь Литовским гражданским губернатором и пребывает в Гродне».

Замечательных людей Коцебу встречает повсюду.

Вон один из товарищей его по несчастью:

«Киндяков, сын достаточного симбирского дворянина, сослан был с двумя своими братьями и еще тремя офицерами сюда по доносу предателя за некоторые вольные шутки на веселом пиру...

Тем приятнее было мое обрадование, когда я скоро после того в г. Киндякове нашел молодого, самого образованного человека.

Для меня немалое утешение было найти человека, имевшего благородные мысли и нежнейшие чувствования, с которым я уже в первую четверть часа свел некоторую дружбу. Он упомянул, что у него есть маленькая библиотека: какое известие! Он обещал мне книг: какое щастие! Он же рассказал мне, что многие из моих пизс играют на Тобольском театре, конечно, очень плохо, но с великою похвалою».

Это не преувеличение: имя Августа Коцебу в Тобольске было известно. В местном театре шли его пьесы «Ненависть к людям и раскаяние», «Сын любви» (все это игралось «с великим одобрением»). Когда сам Коцебу находился в Тобольске, там «учили» (репетировали) его очередной опус — «Деву Солнца». Драматург сообщает, что из-за «великих издержек» пришлось делать «сбор между почетных обывателей».

В связи с постановкой произошел случай, который Коцебу назвал смешным, хотя смешного в нем не заметно. Даже благожелательный Кушелев не смог ссыльного Коцебу оставить в губернском центре и отправил его в Курган. На берегу Иртыша и произошел «смешной эпизод».

«Кибитка моя была уже на судне... — рассказывает Коцебу. — Русская, изрядно одетая женщина остановила меня и насказала премножество похвал комедиям моим. Мне показалось это очень не вовремя, и я хотел пройти, отблагодарив коротко. Но она объявила мне тогда, что принадлежит к отменной тобольской труппе и сказала, что ей досталась роль верховной жрицы в «Деве Солнца», а она не знает, как ей для этой роли одеться должно, и для этого просила меня описать ей костюм. Во всяком другом положении я

бы насмеялся ей в глаза, но теперь, в досаде нахмурясь, сказал ей, что она видит, что я, будучи в Сибири, не могу быть не в духе заниматься перуанскими одеждами, и потому просил ее, чтоб она по своему вкусу сама выбрала костюм, и с тем ее оставил».

Такую непочтительность можно объяснить только расстроенными чувствами «ссылочного» драматурга. Но ведь он описывает этот эпизод спустя годы (когда у него все благополучно утряслось), сохраняя былую неуважительность к русской даме, граничащую со злобой. Видимо, это признак отмеченного Пушкиным «пошлейшего» писателя.

Редкий из нас не помнит о подвиге декабристских жен. Но тот, кто занимается историей Сибири, знает, что следование за опальным мужем в Сибирь было практической нормой женского поведения, начиная с протопопицы — жены достоправного Аввакума.

Такой пример женского героизма приводит и Коцебу.

«Барон Соммаруга, из Вены родом, по словам его, полковник в австрийской службе и кавалер ордена Марии Терезии, имевший в Риге любовное приключение и поединок и, как он утверждал, за то сосланный. Неблагоприятствуемый, но сильный соперник у его любезной и теперешней жены приготовил ему эту участь, но сам никакой пользы от того не получил, ибо молодая, едва осьмнадцатилетняя жена через две недели после отправления своего мужа, оставя свою родину, родителей и друзей, одна-одинехонька, не разумея ни слова по-русски, с одним только извозчиком последовала мужу своему в заточение... Я сам ее видал и дивился твердой любви ее. Она и мне доказала доброе свое сердце, ибо как я сначала ничего не едал, кроме сухого хлеба, то она часто присылала мне супу и жаркого со стола своего».

Но за что же попал в опалу правоверный реакционер и плодовитый драматург? Мы узнаем об этом на последних страницах второго тома его сибирских мемуаров. Уже после смерти Павла I в Кенигсберге доверенное лицо императора, его камердинер и фаворит граф Иван Кутайсов поведал тайные причины странного заточения. Граф «с неложною откровенностью отвечал мне, — сообщает Коцебу, — что совсем никакой настоящей причины не было, кроме того, что я, как писатель, был подозрителен Государю. Но вы видели, присовокупил он, как скоро и охотно он поправлял свои ошибки. Он вас любил, доказывал вам это всякий день и далее бы еще более доказал».

Возвращением из сибирской ссылки Август Коцебу был обязан самому себе, точнее своему творчеству. Павел I прочел «пиесу» Коцебу «Лейб-кучер Петра Третьего», был очень растроган и велел незамедлительно вернуть немецкого подданного из Сибири.

Кутайсову император признавался:

— Он теперь из лучших моих подданных.

На что Коцебу резонно спрашивал самого себя:

— Не знаю, почему Государь почитал меня теперь лучшим подданным, нежели до поездки моей в Сибирь?

После этого, или по каким-то другим причинам обласканный высочайшим русским самодуром немецкий драматург Август Коцебу и вошел в историю и в БСЭ как «агент русского царя».

Ссылка в Сибирь, однако, не самое комфортное путешествие, важно и то, что Коцебу сумел увидеть в Сибири много добрых людей, что явно делает ему честь, как реакционному инженеру человеческих душ.



Ермаков бенефис в Санкт-Петербурге

*Сибири больше нет,
отныне здесь Россия.*

Этот стих сочувственно процитирован в одной неплохой книжке о сибиряках.

Я прочел стихотворную цитату и, естественно, возмутился. Россия Сибирь, даже Сибирь российскую перечеркнуть, зачеркнуть не может. Став российской, Сибирь не исчезла, была и есть. Они существуют вместе: Сибирь — в России, Россия — в Сибири. Иначе не могут.

Безапелляционность поэтической формулы возмущала.

Тем более слова эти вложены в уста ни кого-нибудь, а почтенного Ермака. Это он произносит последние предсмертные слова, прежде чем броситься в бушующие воды Иртыша. Он — главный герой поэтической драмы «Ермак». Естественно, я захотел прочесть всю драму.

Прочтя, мнения своего о заключительном пассаже не изменил: ничего, кроме привычного российского высокомерного снобизма, они не выражают, этим и характерны: кто же в столице не считает, что у российских земель не должно быть особенностей, кроме одной — полной верноподданности столице.

Впрочем, мнение мое об авторе драмы, понятно, не столь однозначно. Во-первых, автору, когда он закончил «Ермака», шел всего 21 год, вообще же Алексей Степанович Хомяков — человек неординарный, и я рад, что благодаря тем злополучным словам прочел хомяковского «Ермака» и познакомился с незаурядным автором, которого, конечно же, «проходил» то ли в школе, то ли в университете, но как-то не отметил, не увлекся, не заинтересовался.

Вообще в сибирских школах и университетах как-то не особо стараются обратить внимание старательно учащейся молодежи на все, что написано и сибиряками, и о Сибири.

Если сам вовремя не спохватишься...

Современник Пушкина, офицер лейб-гвардии Алексей Хомяков, отпросившись у начальства в бессрочный отпуск, в середине памя-

ного 1825 года путешествует по Европе, останавливается в Париже, чтобы поучиться живописи, и промозглой парижской зимой, всего за несколько недель сочиняет стихотворную драму в пяти действиях «Ермак». К тому времени ермаковская тема в отечественной словесности исчерпывается знаменитой рылеевской думой и лирическими стихами автора «Душеньки» Ивана Дмитриева. Хомяков вводит в русскую литературу Ермака, как эпического героя, с него начинается (и на нем заканчивается?) ермаковская эпика.

Не забыв, что автору едва минуло 20 лет, надо отметить, что, пожалуй, нынешние двадцатилетние пишущие на такие полотна не замахиваются. Не тот масштаб. Понятно, что в 20 трудно быть суровым реалистом, поэтическая Россия учится у тогдашней романтической Европы, и, естественно, из-под молодого пера выходит нечто романтическое.

Как и положено романтической драме, сюжет «Ермака» закручен круто. Читатель держится все время в напряжении, ибо с первых строк запахло изменой верного друга и сподвижника, Ермак в конце концов умрет, как жертва интриг своего есаула Мещеряка и заговора остяцкого шамана. В напряжении держит и любовная интрига: верная Ольга отыщет своего Ермака в Сибири, но по неведомым романтическим причудам уйдет от него в монастырь. Отец хомяковского Ермака тоже доберется до Сибири лишь за тем, чтобы простить сына-разбойника и умереть. И царь Иоанн в четвертом действии драмы по-отечески простит разбойного покорителя Сибири.

Честно говоря, несмотря на длинные монологи, расхожие мысли и ходульность героев, пьеса читается легко и свободно, мало кто из опытных сегодняшних драматургов умеет так держать напряженную интригу. Самый главный для меня интригующий мотив — Алексей Хомяков примеривает на Ермака корону сибирского царя, да-да, ему хочется видеть в покорителе Сибири и первого русского сепаратиста. Пожалуй, в хомяковской драме это самый напряженный, самый интригующий момент.

Недрузи атамана обманывают его, сообщая, что якобы царь Иоанн против всех ермаковых казаков, не простил самого Ермака, и его в России ждет казнь.

Ермак вынужден выбирать: «Здесь — быть царем, там — умереть на плахе». Ермака красноречиво соблазняет сибирский шаман:

*Надежд венец сей. На твоих власах,
Как заблестит он светлыми лучами!
Надень его, он будет над тобой
Сиять так, как венец шайтанов золотой,
Усеянный бессмертными звездами.
Надень его, и в завтрашний же день
Увидишь ты, что сто народов разных
Перед тобой склоняют чело во прах.
Все племена от дальнего Китая
До камских и уральских берегов,
От Каспия до вечных льдов полношных,
Все назовут тебя своим царем.*

Коварно красноречив предатель Мещеряк:

*Мы все с тобою умереть готовы,
Но мы от смерти не спасем тебя.
Мы верны, но нас мало, несчетны
Дружины Иоанновы. Ермак!*

*За нами рать враждебная России,
А впереди враждебная Сибирь.
Прими венец сей.*

Очень убедителен предатель, хорошо знает романтический мерзавец психологию человеческого тщеславия:

*Ты к смерти осужден.
Будь царь сибирских стран,
Полунощи могущий повелитель,
И пред тобой смирится Иоанн,
Невинного неистовый гонитель.
Но для чего же медлишь ты? Решишь!*

Шаман искусительно добавляет:

Будь, будь царем, спасителем Сибири.

Я отвлекусь от хомяковской драмы и от истории вопроса, и задам вопрос читателю: там — плаха, а здесь — царская корона. Что вы предпочтете?

Полагаю, добровольцев на плаху не найдется. Но вы люди суровой реальности, а наш герой — герой романтической драмы.

И еще. Зададимся глуповатым вопросом, навеянным хомяковскими стихами: а если бы Ермак не преодолел искуса и водрузил на свои седые власы венец сибирского царя, интересно, как и куда бы тогда пошла сибирская история? Впрочем, кажется, мы попадаем в мощную романтическую струю и начинаем терять надежную почву реальности.

Хомяковский Ермак, естественно, терзается, ибо выбор — венец или смерть, как и для каждого из нас, действительно нелегок.

Однако обольщение недолго, и как верный, истинный гражданин России, хотя и находящийся под пятой «гносного злодея» Иоанна, Ермак преодолевает искуса.

Напрасны моления шамана, который с русским атаманом связывает спасение своего царства:

*Ермак! Ермак!
Прими венец, и никогда в подлунной
Другой престол так не сиял, как твой.
Отвергни — ты погиб. Сибирь погибла.*

Государственный долг для Ермака, как и для автора драмы Алексея Хомякова, важнее жизни.

Алексей Степанович, вернувшись с европейского смотра в Россию, читал своего «Ермака» в салоне московского друга, поэта Дмитрия Винивитинова, кстати, на следующий день после того, как Пушкин прочел там же своего «Бориса Годунова». С одной стороны, очень впечатляет — Хомяков состязался не с кем-нибудь, а с самим Пушкиным, с другой стороны — Пушкин затмил. Михаил Погодин писал, что после «Бориса Годунова» «Ермака» слушали «невнимательно»: общее мнение было не в пользу пьесы.

Но сценическая судьба «Ермака» получилась куда счастливее: в нем оказалось много созвучного мыслям современников при весьма занимательной романтической интриге, хотя Хомякову пришлось два года повоевать с цензурой.

Театральный Санкт-Петербург был покорен хомяковским «Ермаком». Хомяковским и каратыгинским, ведь главную роль взял себе знаменитый ведущий столичный трагик Василий Каратыгин.

Современник так описывал премьеру спектакля в августе 1829 года: «Малый театр, где его давали, был полон до невероятности, и успех был блистательный. Неимоверно, какое влияние он произ-

вел при превосходной игре Каратыгина. Рукоплескания были оглушительны, и при окончании вызывали автора».

Автор, к слову сказать, не вышел. Офицер Хомяков в то время воевал с турками под Шумлою на Дунае.

Театральные летописи тех лет свидетельствуют, что «Ермак» шел в Санкт-Петербурге в трех театрах: Большом, Малом и Новом, и пять сезонов неизменно пользовался успехом зрителей. Столица аплодировала сибирскому герою, покорителю Сибири, человеку чести и долга, славному Ермаку, для которого звание «русский» было выше славы и царского венца. Петербургская труппа с «Ермаком» гастролировала и в Москве.

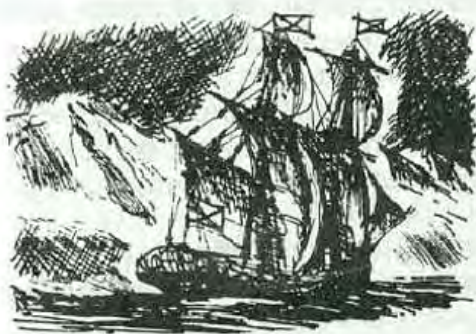
Не знаю, ставили ли хомяковского «Ермака» в Сибири, но здесь эпилог — «Сибири больше нет, отныне здесь Россия» — вряд ли бы шел под аплодисменты.

«Ермак» Хомякова — первая драма, которая вывела на столичную сцену первого русского сибиряка, уже потому мы бы должны, хотя от случая к случаю, помянуть автора.

Но...

Как это часто случалось в истории отечественной литературы, крупные фигуры нередко, большей частью по политическим причинам, забываются. Выпал из пристального, заинтересованного наблюдения и Алексей Хомяков, ибо узколобые разночинцы-литературоведы определили его по одной линии и безукоризненно заузили — славянофил. Хомяков куда шире, глубже, куда неоднозначнее, куда интереснее, даже не как деятель, а как русский человек. Чего он только не успел сделать в своей недлинной жизни! Кроме поэзии и драматургии, Алексей Степанович оставил заметный след в философии, истории, общественной мысли. С годами пылкий романтик стал большим прагматиком, практиковался в гомеопатии, получил английский патент на паровую машину, изобрел дальнобойное ружье, усовершенствовал технологию сахароварения, в своем поместье опробовал новые внекрепостнические способы ведения хозяйства. Для меня характерен один пример из жизни Хомякова.

Двадцатилетний, он умудренно убеждал своих увлекающихся друзей, будущих декабристов, что те хотят заменить единоедержавие тиранством вооруженного меньшинства. Это был зрелый ум, замечательная личность, хотя, надо честно признать, относительно Сибири—России он опрометчиво заблуждался.



Декабрист-империалист

Как назвать патриота страны, которая и является империей, и официально империей именуется? Имперщик? Имперный? Неловко...

Я в слово «империалист» негативного смысла не вкладываю и Дмитрия Иринарховича Завалишина за его империализм не осуждаю. Он так понимал роль своей страны — Российской империи.

Империализм будущего декабриста зародился в 1822 году, когда на фрегате «Крейсер» мичман Завалишин прибыл в тогдашние русские владения в Русской Америке: ему поручено было обследовать от Российско-американской компании роль Форт-Росса. К тому времени эта торгово-промышленная фактория на западном побережье северо-американского континента существовало уже десять лет. Напомню, что в то время Калифорния принадлежала Мексике.

Дмитрий Завалишин явно был увлекающимся человеком. После двухлетних исследований в Америке он предоставил отчет правлению компании, а также посвящает в свои замыслы императора Александра I.

Это начало 1825 года.

Но вскоре умрет император, а Завалишин вместе со своими пылкими товарищами выйдет на Сенатскую площадь, будет арестован, осужден императором и сослан в Сибирь. Но пока один россиянин, морской офицер, пишет другому верховному россиянину. Русский американский писатель Виктор Петров в эссе «Декабристы и Русская Америка» интерпретирует помыслы мичмана с «Крейсера»: «Завалишин считал, что территория Форт-Росса слишком мала, чтобы сделаться земледельческой базой для русских колоний на Аляске, и планировал расширить территорию русских владений, перевалив через горы и заняв обширную, богатую, солнечную равнину за ними до ее естественных рубежей. Этими рубежами, по мысли Завалишина, могли быть: на севере — граница с США, то есть 42-я параллель, на юге — северное побережье Сан-Франциско, на востоке — долина реки Сакраменто, а еще лучше — отроги горной цепи Сьерра-Невада».

Кстати, эта империалистическая мысль высказывалась и до Завалишина. Он уже арестован, находился под следствием, но писал

новому монарху Николаю I (против которого совсем недавно выступал на Сенатской площади), агитируя его на активную российско-американскую политику: «Плодотворные гавани и географическое положение Калифорнии заставило меня желать присоединения этой провинции к России».

Завалишин получил 20 лет сибирской каторги и ссылки. Но ничего не могло заставить его отказаться от сокровенной мысли. И, собираясь в дальний сибирский путь, пишет императору снова.

Николай I получает очередное послание от уже осужденного морского офицера Дмитрия Завалишина: «Калифорния, поддавшаяся России и заселенная русскими, осталась бы навсегда в ее власти. Приобретение ее гаваней и дешевизна содержания позволяет содержать там наблюдательный флот, который бы доставил России владычество над Тихим океаном и китайской торговлей, упрочил бы владение другими колониями, ограничил бы влияние Соединенных Штатов и Англии».

Какие чувства испытываешь, когда читаешь эти строки, написанные давным-давно, более чем полтора столетия назад. Какое-то непонятное, но приятное волнение.

Как чувствуем себя сейчас мы, русские? Ущербно. Уныло. Погружены в непроходящие горести. Великая империя распалась. Нам, простым гражданам, прививают чувство некоей несомненной вины, призывают к покаянию за дела наших славных предков, вроде они все делали не так.

Но ведь историю не переделаешь. Мало того, чаще всего из истории никто и не старается извлекать уроков. Как русские, так и все остальные. Напрасно.

Совершенно не лукавя, читая послания Дмитрия Завалишина, я испытываю гордость. Русский морской офицер считал, что весь мир принадлежит ему, он активно может распоряжаться в этом мире, он чувствовал себя хозяином на американском континенте и не думал, что здесь уже все произошло и ничего нельзя изменить.

Хозяин мира. Вот что такое русский империалист-декабрист Дмитрий Завалишин. Давно это было. Боюсь, что нам уже не пережить, не испытать подобного ощущения пространства мира. Мы живем в XX веке, и нам прививается ощущение второсортности, втородержавности.

Но... Все зависит от нас.

Безумие!

Человеку грозит смертная казнь, кандалы, каторга, а он пишет своему палачу... Не о помиловании, а о вящей, американской славе России.

Мичман, простой мичман во время своего пребывания в Штатах вел в Калифорнии интриги, причем высокого уровня. Завалишин связался и с мексиканской партией, и с миссионерами, говорил собеседникам о якобы действующем «Ордене Восстановления». Который захватит власть в Калифорнии и присоединит ее к России.

Мало того, он предпринял рискованные авантюрные действия, чтобы присоединить к России Республику Гаити в Карибском море. Трезвое правление Российско-американской компании не устояло перед соблазнами этого авантюриста. На сентябрь 1826 года компания наметила торговую экспедицию на Гаити, которую должны были возглавить наш отчаянный мичман и пленный французский генерал Бойс.

Но до сентября 1826 года нужно было пережить декабрь. 14 декабря 1825 года. Сенатская площадь. Ни российской Калифорнии. Ни российской Республики Гаити.

В ссылке в Чите Д.И. Завалишин изучал языки. Изучил их тринадцать. В числе девятнадцати оставшихся в живых декабристов он вернулся из Сибири в Россию. Этот неистовый мечтатель умер в возрасте 88 лет чуть больше века назад. Недавно. Еще недавно жили такие одушевленные хозяева мира.

Сегодня еще бы следовало добавить о роли Российско-американской компании в восстании декабристов. Ведь незабвенный К.Ф. Рылеев был членом главного правления компании, к ее делам были причастны сибиряк Гавриил Батеньков, Орест Сомов, Владимир Романов.

Историк Михаил Сафонов недавно опубликовал интересную версию, которую по случаю уместно будет процитировать: «Была еще одна влиятельная сила, заинтересованная в переменах и называвшаяся Российско-американской компанией. Перед этой акционерной компанией, созданной Павлом I в конце XVIII века, в свое время ставилась грандиозная задача — осуществить экспансию в Дальневосточном регионе, в результате которой северная часть Тихого океана должна была превратиться во внутренние воды Российской империи.

Реализация этого плана с самого начала встретила сильнейшее противодействие Англии, Франции и северо-американских Соединенных Штатов. Еще большим препятствием стало то, что после наполеоновских войн Александр I поставил во главу угла европейские дела и фактически «заморозил» планы экспансии в Америке.

Руководители компании предпринимали отчаянные попытки исправить положение. Был разработан план экспансии в Калифорнии, на Гаити и Сандвичевых островах. Но все начинания разбивались об упорство царя. С Российско-американской компанией в той или иной степени были связаны и многие члены тайных обществ. Так, Завалишин намечался на пост правителя колонии «Росс» в Калифорнии. Батенькову предназначалось место правителя всех русских колоний в Америке. Рылеев был правителем канцелярии компании (дом компании на Мойке у Синего моста, где проживали К. Рылеев и А. Бестужев, стал одним из штабов «бунтовщиков»).

Два известнейших политических деятеля начала XIX века — Н. Мордвинов и М. Сперанский, — которые, по замыслам членов тайных обществ, должны были войти в новое временное правительство, считались вдохновителями активной политики на Дальнем Востоке.

Дела компании тем временем продолжали ухудшаться. С 1822 года она прекратила выплату дивидендов. Становилось все очевиднее, что спасти положение может только резкое изменение правительственного курса. Взоры руководства компании все чаще обращались к двум императрицам: жене Александра I Елизавете Алексеевне и его матери Марии Федоровне. Обе они были акционерами компании, но первая в ту пору оказалась при муже в Таганроге, далеко от Петербурга...».

Михаил Сафонов, исследуя тайные причины мятежа на Сенатской площади, призывает отказаться от однобоких по-ленински, классовых оценок восстания декабристов. Полагаю, что пример только одного декабриста Дмитрия Завалишина подсказывает нам, насколько все было сложнее, жизненно полнокровнее и многообразнее.

...Возможно, виной тому пресловутый американский империализм. Видимо, вещь заразная. Но, когда я стоял на земле Форт-Росса, переживал сугубо империалистические чувства. Во-первых, мне было жаль Российскую империю. Что ни говори, это дело рук наших дедов и прадедов — ратных, мирных, мозговых. Мне было искренне жаль, что мы так бездарно распростились с Русской Америкой.



Amerika, которую мы потеряли

У вас бывает так: на земле есть место, где вы не просто мечтаете побывать, а которое как бы вас ждет, дожидается, притягивает и манит? И встреча, несмотря на все трудности и сложности, попросту неизбежна, так сильно взаимное притяжение человека и места.

О каком историческом факте подумает правоверный россиянин, когда ему обозначат дату — 1812-й год? Полагаю, сто из ста вспомнят единственное — Отечественную войну против Наполеона.

Я и не задаюсь целью найти оригинала, знающего, что именно в 1812 году основана фактория Форт Росс: Россия получала владения в Калифорнии, а если учесть, что некоторое время Калифорния входила в состав Мексики, можно прийти к выводу, что российские владения в Америке распространялись на Аляску и Мексику. Вы этого не знали? Я тоже. Мы это не проходили.

Еще одна историческая подробность, не лишенная пикантности.

Что в вашем представлении Гавайские острова? Знойное солнце, жгучая экзотика, далекие, по Хемингуэю, острова в океане, конечно же, не имеющие никакого отношения к России?

Зря.

К России Гавайи имели прямейшее отношение. Мало того, что владетельный князь Гавайских островов Камехамеха просился под правление российского императора, целых шесть месяцев Гавайи, по существу, тоже были русским владением под управлением флотоводца — русского адмирала Фердинанда Коцебу. Александр I то ли слабовато разбирался в географии, то ли страдал аллергией на экваториальное солнце, но гавайскому князю Камехамехе в покровительстве было отказано. Чего только не отыщешь в отечественной истории!

Но, поминая декабриста-империалиста Д. Завалишина, я остановлюсь на Форт-Россе. Это он манил-притягивал и неизбежно притянул. Когда из Сан-Франциско, где есть Русская горка, по хорошей американской дороге доберешься до берега Тихого океана, действительно тихого, но бесподобно великого, не миновать Русской речки. Говорят, она короткая, но мы видим только ее тихоокеанское устье.

На дальнем, еще речном, но уже и океанском, берегу безмятежно и бестревожно нежатся тюлени. Тюлени телом мелковаты и столь непривычны, в общем-то, на безлюдных местах, что кажутся игрушечными. Но вон один из них не очень ловко, тускло-серебряно сверкнув брюхом, полез в холодную воду, за ним собрался другой. Настоящие тихоокеанские тюлени с Русской речки.

Потом пойдет бесподобная дорога в невысоких, но серьезных горах, и часто под левым колесом внизу, кажется, только океан. Дорога впритык к Тихому океану. Справа почти отвесная стена горного ущелья.

Скоро Форт-Росс, и, значит, ты едешь по российской территории. Бывшей территории бывшей Российской империи. Кстати, сам Сан-Франциско православно принадлежал Тобольской метрополии.

В марте 1812 года Иван Александрович Кусков (явно не подозревая об агрессивных планах императора всех французов Наполеона Бонапарта) спокойно, имея в своем отряде 25 служивых и ремесленников и 80 туземцев с русской Аляски и алеутов, приступил к строительству крепости, которую сразу нарек просто и державно — Форт-Росс. Предварительно Кусков миролюбиво обо всем договорился с вождями местного племени кашая помо. Прислал его сюда главный российский американец, главноуправляющий Российско-американской компанией Александр Андреевич Баранов — человек дальновидный, умудренный и перспективно мыслящий. Понятно, большой русский империалист Баранов своему заместителю ставил весьма конкретные задачи: промысел дорогого морского бобра, продовольственное снабжение русских факторий на Аляске.

Кусков оборотисто и добротню построил надежную симпатичную крепость.

Форт-Росс переживал разные эпохи, в том числе времена упадка, запустения и разора.

4 июля 1995 года мы увидели Форт-Росс примерно таким, каким он был в лучшие свои времена при Иване Кускове.

Берег крутой, внизу, волнуясь и пенясь, только у небольших прибрежных скал необъятное солнечное пространство океана.

Как же далеко с этого берега до России!

А может, наоборот, — близко? Там, за Тихим океаном — Россия, Сибирь, дальний ее восток, но отсюда — запад.

За деревянным высоким тыном построено немного: дом Кускова, дом Ротчева, часовня, в самой середине — колодец, служебное здание, канцелярия, склады, дом для персонала. Трое ворот, для обороны две башни — блокаузы.

4 июля — День независимости США и пристойный повод здешним русским собраться в Форт-Россе. И не только здешним. Я нечаянно увижу здесь отца Гидеона, с которым встречался в Абалакском монастыре, тобольского историка Александра Бердникова, владыку Василия, которого встречал в православном храме Сан-Франциско, кстати, внука председателя четвертой Госдумы Российской империи, светское имя архиепископа — Василий Родзянко.

Но прежде всего меня привлекает сухой, поджарый высокий старик — настоящий американец! — с прекрасной несколько старомодной русской речью. Да, имя и фамилия — Виктор Петров — подсказут, что он сугубо русских корней. И хотя он родился в китайском Харбине в семье эмигрантов, от отца с матерью впитал такую любовь к своей исторической родине, что вот уже более полувека пишет ле-

топись американской истории русских людей как XX века, так и всех предыдущих, если американская история окрашена в русские тона.

Он не только писатель, профессор, историк, но и настойчивый общественный деятель русско-американской силы пробиваемости.

Только благодаря ему...

Перед второй мировой войной Форт-Росс представлял из себя руины: стены проломлены, башни порушены, от двух жилых строений только следы срубов. Через Форт-Росс, прямо через давнее русское поселение шла автодорога — национальное шоссе № 1.

Чтобы привести все в божеский вид, требовались миллионы. Американцы доллары считать умеют. Но они не знали настойчивости профессора русского корня. Петров создал Русское историческое общество, затеял несколько процессов против властей штата Калифорния и добился невозможного: шоссе под могучим номером 1 было отведено на солидное расстояние (мы по нему и ехали), а общество нашло средства, чтобы реконструировать исторический форт.

Сошлись два фактора: у американцев очень короткая история, и они не жалеют денег на неполные свои пять исторических столетий. Да и американские русские к Форт-Россу питают те чувства, которые позволяют не считать в кошельке скаречно каждый цент.

Но только благодаря ему... Человек — главный фактор.

Лучшей реконструкции трудно придумать: в Форт-Россе все опрятно, добротнo, продуманно. И неназойливо музейно. Живо. Мелькнула предательская мысль — сегодня Форт-Росс выглядит лучше, чем в годы своего создания — во времена Ивана Кускова, когда здесь еще пахло свежеструганым, свежерубленным деревом.

Уже несколько раз по круглым датам здесь проводят костюмированные представления: русский приход в Калифорнию, русская жизнь в Форт-Россе. Я видел фотоснимки, конечно, а-ля рюсс, но правдоподобно, выразительно и красиво.

Лучшего знатока давней русской жизни в Северной Америке, чем мой собеседник профессор «Петрофф» в Америке не найти. В России тоже.

— Кто такой Ротчев? — переспрашивает старый человек, Виктор (он так и не назвал своего отчества), когда мы подходим к изящному строению, обозначенному на табличке «дом Ротчева». — Александр Гаврилович Ротчев — второй и последний правитель крепости Росс. Кстати, он был женат на урожденной княгине Гагариной, дальней родственнице знаменитого сибирского губернатора. Елена Ротчева и здесь, в тогдашней американской глухомани, вела светскую жизнь, у нее имелась изысканная библиотека, лучшее по европейским меркам фортепяно. Один французский писатель, заглянувший сюда, отметил, что хозяйка недурно играет Моцарта.

Спустя полтора века дом правителя сохранил характер давней хозяйки: во всем присутствует изысканная простота. Или простая изысканность?

Но именно Александру Ротчеву выпала исторически неблагодарная миссия продавать Форт-Росс. За три десятка лет выгодный морской бобр был безжалостно выбит, а сельскохозяйственная колонизация не приносила необходимых для русской Аляски выгод. Русский флаг над фортом реял 29 лет.

Еще одного земляка я встречаю... на кладбище. Вдали от океанского берега, за крепостным тыном стоят кресты. Кладбище, понятно, уже декоративное, старое давно разрушилось, но реконстру-

ируя Форт-Росс, на старом месте воссоздали и кладбище. Если могли разыскать, на крестах ставили фамилии. На таком простом кресте простая русская фамилия — Василий Васильев. Внизу, мельче — «тобольский крестьянин».

Кто ты, Василий Васильев? Что тебя привело сюда, на калифорнийский берег? Чем ты занимался в русском форту? Что повлекло твою смерть?

Только имя, фамилия. И нет ответов. Но мы догадаемся: влечение пространства, счастливая судьба, новая жизнь — кто преодолеет искус этого влечения? И Василий Васильев увлекся.

Александр Бердников ищет здесь следы Осипа Прянишникова — толмача, знатока алеутского наречия и тобольского второй гильдии купца. Тоже отчаянный был человек, серьезного куражу и азарта, большой помощник Ивану Кускову. Как превосходный переводчик имел специальный аттестат Резанова. Русская церковь здесь построена и его радением. Уезжал. Возвращался. Тянул тобольского купца Форт-Росс.

В доме Кускова два портрета. Мужской и женский. Хозяин. Хозяйка. Холсты прижизненные. Мастер неизвестен, но хорош, выразителен. Дымка времени превращает в патину давние краски.

Глаза женщины на старинном портрете заставляют замедлить шаг. Вообще щемящее чувство некоей исторической сопричастности испытывал я, находясь в Форт-Россе, как, впрочем, и сейчас, покинув его. Как будто это не только страничка российской истории, но и часть моей личной биографии.

И уже что-то мистическое связывает меня с основателем Форт-Росса Иваном Александровичем Кусковым, и непонятное волнение вызывает его роман с калифорнийской индианкой (наверняка, племени кашая помо), ставшей его женой с неиндейским именем — Екатерина Прохоровна.

Два портрета.

Неизвестные люди.

Почему дыхание прерывается? Почему чувствуешь загадку, а этой прелести секрет, как у поэта, разгадке жизни равносильна.

Тайные страсти подразумеваешь. Неизведанное. Нечто нерядовое. Или ничего рядового.

Секреты старых портретов.

Я заметил за собой это именно в Форт-Россе. Они не немые. Портреты не молчат. Портретные лики разговаривают с тобой. Но язык их странен, и не сразу понятен. Они без слов навевают тебе правду старинных загадок и разгадок, истину давних страстей, аромат былой жизни.

Без слов.

Впрочем, сугубый реалист профессор Виктор Петров рассеет мои романтические реминисценции.

— Ну что вы! — резко возражает старый Виктор. В каждом его слове какой-то непривычный акцент. Русский акцент, но русского языка начала века.

Увидев мои потускневшие глаза, Петров смягчается:

— Как вам сказать? Русские женщины сюда не ехали, их не везли: женское дело хлопотное, обременительное, психически тонкое. Промыслы — мужское занятие. Одни мужики. Голодные мужики. Только правителям, высшим чинам позволялось ехать сюда с женами. Остальные женились здесь исключительно на индианках

или приезжали с алеутками. Иван Кусков был молод, приехал без жены. Екатерина Прохоровна была очень влиятельна. Она — настоящий оберег Форт-Росса. Индейцы на крепость не нападали: видимо, она знатного рода. Устроила курсы русского языка, сюда индейцы приходили обучаться русскому, и дети, и даже взрослые. Соседи-испанцы в лес ходили только с солдатами — боялись индейцев, а русские бесстрашно шли в одиночку — индейцы их не трогали. Тоже, наверняка, влияние госпожи Кусковой.

Почему русских женщин здесь не было? Да ведь и в Сибири с женщинами имелись проблемы.

Соглашусь с профессором Петровым, но подумаю: почему в конце концов не задалась русская колонизация Калифорнии и дальше на американский Север? Полагаю, и потому, что ехал сюда сибирский мужик без бабы. А что такое мужик без бабы? Перекати-поле.

Самая, может быть, большая ошибка правителей Российско-американской компании. Ехала бы сюда русская женщина, непременно бы ожили американские берега. Это бабье предназначение оседать, обживаться. Мужик не смог в своем необихоженном одиночестве. Русская баба обжила бы.

Версия...

Неполные тридцать лет — вот и вся короткая русская история Форт-Росса в Калифорнии. Казалось бы, зачем вспоминать эту песчинку времени в необъятной пропасти вечности?

Но что-то неотвратимо шемит душу и заставляет помнить, что у твоей родины была и американская история. Чувство сожаления, чувство почти родственной утраты: почему произошло именно так, а не так, как хотелось бы, чтобы не утрачивались иллюзии величия?

Форт-Росс — это сила и это слабость тогдашней России, сила россиян и слабость государства. А слабости своей родины прощаешь нелегко.

Добротно и надежно жили русские калифорнийцы. Жили-обживали новую для себя землю. Думаете, до русских в Калифорнии выращивали кукурузу? Нет, ее внедрил русский агроном Петр Черных.

Мы здесь собирались обосновываться надолго. И любой подвиг первопроходства не обходился без скромных людей в рясах. Есть гражданский термин — подвиг, в церковном обиходе в ходу другое слово — подвижник.

Мы стоим после традиционной литургии в скромной часовенке Форт-Росса с владыкой Василием на обрывистом берегу океана. Владыка в черных праздничных одеждах, седобород, высоколоб, величествен. Он смотрит в солнечную спокойную океанскую даль так пристально, как будто надеется рассмотреть отсюда российские берега.

— Русские, пришедшие сюда первыми, были великими русскими. Скромные и великие. А какие удивительные миссионеры! Равноапостольные. Какая сила духа! Они работали среди язычников в трудной среде, в сильной конкуренции с католиками-испанцами. А ведь с тех еще времен у нынешних алеутов, иннуитов, индейцев продолжается традиция православия. Россия ушла с американского континента, а Православная Церковь не уходила, осталась со своей паствой.

Московские церковные православные иерархи не очень дружны с американским православием. Наверное, это неправильно. Что делить? И ведь прав владыка Василий: Православная Церковь из Америки не уходила. Россия ушла.

— Я чувствую себя здесь дома. В доме своих предков.

Кто же показал настоящую силу духа?

Это надо ценить.

Форт-Росс был продан Российско-американской компанией калифорнийскому соседу, как свидетельствуют источники, натурализованному мексиканцу и авантюристу Джону Аугустусу Суттеру. Наверное, недорого — за 30000 долларов. Возможно, по тем временам деньги бешеные, сегодня цена Форт-Росса смотрится скромно. Суттер должен был выплачивать доллары в три приема. Два вклада он произвел добросовестно, полностью и в срок. Третий, как поведал нам дотошный профессор Виктор Петров, так до конца и не выплатил. Так что за Соединенными Штатами, если порыться в давних документах, видимо, должок. Время — это деньги и проценты. Наверное, набежало немало. Не потребовать ли за долги? Впрочем, я шучу. Шучу? Но до сердечной боли жалко этой прекрасной русской Америки, которую мы потеряли.

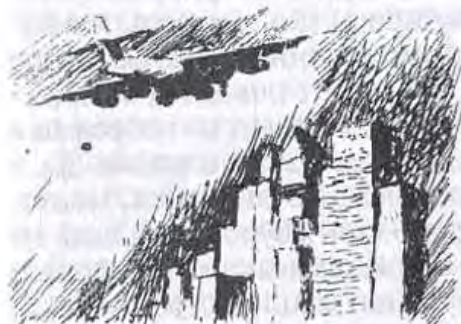
Надо бы сказать о шансе, великом шансе. Вполне вероятно, что Форт-Росс, вообще значительная часть Калифорнии могли остаться российскими. Такой шанс был. Один, может, из тысячи, может, из миллиона. Но был. И замешан он на любви и... смерти. Как всегда, смерти несвоевременной. 40-летний директор Российско-американской компании, солидный человек и камергер Николай Резанов, ревизовавший американские владения, в Сан-Франциско влюбился в Кончиту — 15-летнюю дочку испанского коменданта крепости Аргуэлло. Но возлюбленная была католичкой, и православному камергеру на брак требовалось специальное разрешение самого императора, а Кончите — самого папы римского. Резанов поспешил в Санкт-Петербург. Но Кончита не дождался пылкого камергера. По дороге, подъезжая к Красноярску, Резанов упал с лошади, простудился и скоропостижно умер в Красноярске. Кончита закончит свою жизнь в монастыре, посвятив свою жизнь Богу и своей первой и единственной любви. Но при чем здесь исторический шанс Форт-Росса и русской Калифорнии? Резанов вез в столицу не только просьбу на брак с католичкой, но и документы (плюс аргументы), чтобы побудить русского императора прибрать к рукам калифорнийские земли севернее Форт-Росса. Там тогда не было ни испанцев, ни англичан, только дружески настроенные к русским индейцы. Американский адмирал Бедроуз, изучавший государственную деятельность Николая Резанова, однозначно полагал, что если бы не нелепая смерть, камергер непременно осуществил бы свои идеи. Смерть Резанова следовало оплакивать не только безутешной Кончите, ведь красноярская простуда, в общем-то, повернула ход российско-американской истории. Как дальше бы распорядилась судьба, тут следует помнить и о Крымской войне, и о судьбе Аляски, но все это сослагательное наклонение, а в Красноярске вместе с 42-летним камергером хоронили и этот исторический шанс России — России на трех континентах.

После Резанова идею России трех континентов уже никто активно не высказывал.

Иван Кусков закопал где-то здесь толстую медную доску — надпись всего три слова — «Земля Российского владения».

Доску искали. Но тщетно. Не нашли. Земля хранит...

Земля российского владения.



Пыль с копыт ковбойских мустангов

Урайские нефтяники включили меня в состав делегации, которая летит в США для предварительных переговоров по закупке оборудования для сибирских промыслов. Сибиряки едут в Америку решать свои проблемы. Как это делается и как получается?

Руководитель делегации — руководитель ПО «Урайнефтегаз» Владимир Чаун. За девять дней нам придется побывать на полигонах фирм «Винтех» и «Итего» в Хьюстоне, слетать на восьмиместном самолете в города Лафкин и Денджифилд на фирмы «Лафкин индастриз» и сталелитейный завод «Одинокая звезда», в Оклахома-Сити и Талсе (это уже другой штат) побывать в цехах фирм «ЕСП» и «Норрис», в Бартлесвилле — в лабораториях фирмы РЭДА (возможно, это единственная фирма в США, в названии которой есть слово «русские», — русские электродвигатели Арутюнова). Потом будет штат Луизиана, городок Шривпорт, недалеко от которого можно наблюдать работу тяжелого подъемника. Три штата, десяток городов и городков, тысячи миль по асфальту и по воздуху, незаменимый «Додж-РАМ», маленький самолет «Суперкинг эйр» (что-то наподобие нашего Ан-2), «Боинги». Говорят, что наши специалисты едут за границу прохладиться. Может, мне не повезло, или я попал в нетипичную делегацию, но продоху для прохладений не случилось ни минутки. Во вполне рабочую субботу мы семь часов хлебаем американского дорожного киеся, чтобы в местечке Виктория посмотреть работу установки капитального ремонта скважин, в воскресенье в качестве разрядки нам разрешается в кинотеатре при музее посмотреть документальный фильм «Пожары Кувейта». Даже в последний день (до отлета считанные часы) нам еще показывают видеофильм очередной фирмы, старающейся пробиться на сибирский рынок.

Деловые американцы — хваткие люди, они не теряют времени, они не теряют времени ни за ланчем, ни на вечеринке, и если кому-то из русских захочется прохладиться-отдохнуть, ему просто не дадут. Сюда приезжают работать. И хотя президент принимав-

шей фирмы «МДсейс» Том Рассел приглашал на свое ранчо на границе с Мексикой, времени на ранчо не осталось.

Мне посчастливилось, я увидел не туристскую, не витринную, не вывесочную Америку, не Америку на показ, а Америку деловую, рабочую, даже так — работающую. Страну работающих людей и давней культуры труда. Я видел, как работают металлурги, токари, ремонтники буровых скважин, прокатчики, менеджеры, монтажники, геофизики. Правда, с каким-то внутренним удовлетворением отмечаешь про себя, что американский работага почти ничем не отличается от нашего кадрового рабочего, он также собран, сосредоточен, но небрежен в одежде и, кажется, всегда рад отвлечься от привычного ритма. Да и производства, которые мы видели, разительно не отличаются, может, потому, что плавильное дело, прокат или ремонт буровой — дела не стерильно чистые. И когда видишь эту вполне привычную симфонию привычного труда, удивляешься, почему наши машиностроители так и не смогли за 70 лет наладить, скажем, производство приличных, надежных подъемников, и за ними надо ехать за океан. Ответ, наверное, один: технологии американцев не только высоки, но и очень гибки, они направлены на нужды потребителя.

Те менеджеры, с которыми встречались, свое предложение формулируют так: что вам надо? Потом последует вопрос об исходных данных, сроках изготовления и ценах.

У нас, как известно, вопрос ставится по-другому: мы вам можем предложить. А за неимением других предложений приходилось брать то, что непригодно было уже 50 лет назад, так мы и загоняли себя в технологический тупик.

Начальник нефтеучастка в Урае, самый, как он представляет себя, «некоррупцированный специалист», Алексей с российской гордостью ничему не удивлялся, глядя на работающих американцев.

— Я думал увидеть другое, на класс выше. Меня распропагандировали, что в Америке все самое лучшее. Кое в чем мы американцам и фору дадим.

Спору нет, трезвый русский работага не уступит американскому собрату. Но, видимо, у нас произошла накладка с революциями: одна явно оказалась лишней — Октябрьская, а другую мы пропустили — мировую научно-техническую.

Нефтяной Техас хорошо знает нефтяную Тюмень, хотя сибирские названия англосаксу произносить трудно. Мы приезжаем в понедельник на полигон фирмы «Винтех», а там уже подготовлены к отгрузке в четверг три платформы: нефтеперегонный заводик для Нягани на 150 тысяч тонн бензина, керосина и солярки. Здесь рядом каркас завода поменьше — уже для Урая. Через 6 месяцев и он будет готов к отправке на «шипе» из Мексиканского залива в порт Калининград.

На заводе в городке Лафкин нам показывают готовую к отправке партию редукторов для нефтекачалок на станцию Тюмень заводу «Сибнефтемаш».

На сталелитейном заводе «Одинокая звезда» в городе Питсбурге не без гордости рассказывают, что только отправили шесть тысяч насосно-компрессорных труб в Нижневартовск, катают партию НКТ для Когалыма.

Строгий менеджер «Норриса» (фирма — мировой лидер по производству штанг) Рон Шин рассказывает о своих впечатлениях: он три месяца назад из Нижневартовска и Радужного, партнер «Норриса» — «Черногорнефть».

150 своих знаменитых насосов поставила в Сургут и Когалым фирма РЭДА.

Моложавый президент фирмы «Ордуэлл» Арт Тейхграбер уже знает русских партнеров — его восьмидесятитонные подъемники закупили не только Оренбург, но и «Пурнефтегаз».

И так везде. Сибиряки в Техасе явно не новички. Здесь знают «по именам» не только «генералов», но и главных инженеров, ведущих специалистов нефтяных объединений.

Сибиряки еще, наверное, не самые важные заказчики, но уже надежные партнеры.

Сибирский заказ — это хлеб, это работа. За сибиряками гоняются. Чтобы встретиться с заказчиками из Урая, к примеру, в Талсу из Калифорнии (это черт знает как далеко, с тихоокеанского побережья, через горы) едет президент фирмы «Трайко» и два его ведущих сотрудника.

Президент «Кордуэлла» Арт на своем частном самолете пролетом из Канзаса забирает нас в Хьюстоне, чтобы отвезти сначала в Шривпорт, штат Луизиана, еще 35 миль по автобану от местечка Париж, свернуть на проселок и показать в работе действующий 80-тонный подъемник, а потом снова на «Суперкинге» отвезти обратно в Хьюстон.

И это не обязательно, что урайцы закупают станки именно фирмы «Кордуэлл». Пусть посмотрят, пусть убедятся: репутация — хороший капитал. Он может окупиться не сейчас, но все равно должен окупиться. Таковы принципы бизнеса.

Конечно, у моих спутников глаз горит: здесь, и в Техасе, и в Оклахоме, и в Луизиане, им предлагают качественную, современную продукцию. На что хватит долларов квоты — трудно сказать. Но скупой платит дважды — лучше покупать надежное оборудование.

Скажу одно — сибиряки умеют торговаться. Может быть, из-за того, что долларов все же негусто, а приличное оборудование и стоит прилично. Но понять нетрудно: если за покупателем гоняются, значит, торговаться можно и нужно. Любимое словечко у Владимира Чауна — уторговка. Он полагает, что всегда 20—30% стартовой цены можно сбить. Пойдут американцы на это, пойдут, хотя и смотрят печально. Неслыханные, агрессивные цены! Надо торговаться за каждый доллар!

Не знаю, сколько подъемников, качалок, штанг, НКТ, электроцентробежных насосов, редукторов в конечном счете закупит Урайнефтегаз. Но знаю, что будет закуплено оборудование самое качественное и по возможно дешевым ценам.

Одна сделка практически состоялась: Урай покупает у «Винтеха» завод (на 150 тысяч тонн сырой нефти) по переработке в бензин, керосин, мазут и дизельное топливо. Скорее всего, установят его на «Ловинке» — Ловинском месторождении. Он позволит практически обходиться без дизельного бензина самому Ураю и, пожалуй, поможет ближнему соседу — Советскому району.

Я сидел в офисе «Винтеха» на седьмом этаже, специалисты обсуждали проблемы реформинга, а я думал, кто сейчас в Советском районе предполагает, что в Хьюстоне, штат Техас, решаются проблемы его бензинового дефицита.

Выгода партнера — моя выгода.

Еще один принцип бизнеса. Здесь полагаются на профессионализм партнера, и никто не собирается надурить другого. Дороже обойдется.

Джин Спаркман, руководитель отдела маркетинга фирмы «Лафкин индастриз», неподдельно озабочен проблемами сбережения электроэнергии в Западной Сибири:

— Вы еще с этим не столкнулись, но эта роскошь расточительства не может продолжаться вечно. Мы можем предложить уже сейчас качалки повышенной производительности, которые потребуют энергии на четверть меньше традиционных.

Разве он не прав?

Та же фирма «Лафкин» добилась льготного стомиллионного кредита для завода нефтеперерабатывающего оборудования в России. Для этого пришлось даже внести изменения в законодательство США (редкий случай).

Когда попадешь в среду технократов, чувствуешь себя увереннее и устойчивее. Наш брат, политизированный журналист, отечественные политики отравляют атмосферу возрождающейся России воплями о неизбежном распаде, упадке, окончательном падении, гражданской войне. Здесь, слава Богу, никакой политики: лебедки, сальники, качество обсадных колонн, марка стали для редуктора, где и что подешевле. Но понадежнее, и все это без истерических споров о будущих путях России.

И понятно, что эти люди сумеют обеспечить нормальное будущее великой стране, если им не перестанут мешать все эти правые истерики и тоталитарно-демократические неврастеники.

Там, на берегу другого океана, особенно ясно осознаешь, что в нашей стране пока все еще властвуют не люди дела, а безответственные политиканы. Чем меньше политики, тем больше дела, тем ближе мы к цели своего существования. Ведь великий брежневский лозунг «Все для человека, все для блага человека» — увы! — в жизнь воплощен все еще не у нас, а у них.

Когда проникаешь в деловые взаимоотношения, понимаешь, что сибирских нефтяников ценят в мире как представителей промышленности мирового уровня. Но — парадокс! — в нашем Отечестве считается почти преступлением, если нефтяной «генерал», а точнее нефтепредприятие, имеет свой счет в заморском банке. Любой предприниматель средней руки Америки, другой страны имеет такой счет, ибо без банковской карточки нечего делать ни в Америке, ни в Азии, ни в Европе. И вот российский промышленник мирового уровня должен вести себя в мире цивилизованных банковских отношений как бедный родственник.

Если уж мы решили выходить из-за железного финансового занавеса, то должны принимать правила игры издавна сложившихся цивилизованных отношений.

Что я заметил: американцы не чураются работы, не считают, что какая-то работа может оскорбить их. К нашей делегации был прикомандирован мистер «нет проблем» Оди Дэвис — высокооплачиваемый консультант фирмы, владелец ранчо в 40 акров, грузный, добродушный, корейский ветеран 64 лет. Он лихо вел «Додж» по дорогам Техаса и Оклахомы, все делал вовремя, устраивал, менял, если надо, программу, пожалуй, руководствуясь единственным, чтобы русским было «карашо».

Не знаю, мог бы так работать русский специалист его ранга и его состояния. Дед Оди в свое время прокладывал первый трансамериканский газопровод Техас—Чикаго, отец был знаменитым доктором, сам Оди поработал и в Венесуэле, и в Пакистане, имеет приличное

миллионное состояние, но не считал зазорным явно не по стариковски бегать и хлопотать, устраивая дела русской делегации.

Он скоро приедет в Тюмень закупать русские машины и оборудование.

Средний годовой заработок в Америке — где-то 20 тысяч долларов. Рабочие тех производств, где мы были, получают, в среднем, 10—14 долларов в час, 2—2,5 тысячи в месяц. Инженеры получают, как правило, раза в два больше. В Америке все построено на деньгах. Но, отмечу про себя, главным там все же считаются, пожалуй, не деньги. Главное — бизнес, дело, работа. Есть работа — значит, человек живет в собственном доме, и это не домик-домишко, а приличная вилла с высоким, по нашим меркам, уровнем комфорта. Если человек в Америке имеет работу, он не может жить плохо. У него уже определенный уровень качества жизни, он может стремиться или завидовать иному уровню, но его уровень — зависть для нас. Плохо живут не имеющие работы, не желающие работать, опустившиеся люди, алкоголики и наркоманы.

Полутно. В штате Техас пресловутый Егор Кузьмич с его антиалкогольными запретами пришелся бы вполне впору. До 12 часов дня здесь не купишь даже банку пива, спиртного вам не продадут после двух ночи, бутылку не дадут молодому человеку моложе 21 года. Устроитель вечеринки отвечает за поведение своих подвыпивших гостей.

За американские дни я видел много веселых людей, но не видел пьяных. Законы и запреты в штате, не в пример России, блюдут. Нарушение закона — это автоматическая потеря работы со всеми вытекающими последствиями.

Чему быстро учишься в Америке — это улыбаться. Может, это от незнания языка, а незнание стараешься как-то компенсировать. Сами же американцы улыбаются при всяком удобном случае. Они улыбаются располагаяще. Когда возвращаешься в Россию, это бросается в глаза — из страны расположенных к тебе людей ты вернулся на родину насупленных, нахмуренных, пасмурных лиц.

Америка — сплошная дачная местность.

Подлетаешь ли к Хьюстону, Оклахома-Сити, Шривпорту — где город? Города по существу нет. Есть даун-тауны. В четырехмиллионном Хьюстоне это пятачок, на котором десятка два высотных зданий, в Шривпорте — три здания. Все остальное — сплошные одно-, двухэтажные домики. Америка давно исповедует принцип — человеческое жилище не должно быть выше дерева. Ближе к земле — хозяин на своей земле. Это куда естественнее, чем наши жилые клетки, это соответствует человеческой природе. Не знаю, как в других городах, но в тех, в которых был, этот принцип незыблем. Отдельный дом в городском районе — это не признак богатства, это норма.

Дик Уэбб пригласил нас к себе на телевизионный финал супербола. Он живет в хорошем, спокойном районе Хьюстона, кстати, недалеко от места, где строит себе дом президент Буш. У них с Джилл четыре дочери, но все они уже определились, живут отдельно. На двоих Дик и Джилл подыскали дом в пять комнат, три спальни, три туалета и специальный гардероб, не говоря уже о просторной кухне и гараже. И это весьма небогато. Недавний эмигрант из Ленинграда Оскар получил работу в «МДсейс», имеет дом попросторнее — с ним дети. Тот, кто имеет стабильную работу, не отказы-

вает себе в приличном жилье. Я уж не буду расписывать, что хороший район — это тишина, покой, искусственное озеро, парк, надежная охрана. Район изолирован, он предназначен для спокойного проживания, дома не огорожены, никто не держит специальных собак. И напомним — это не для избранных. Себе позволить такое может инженер, учитель и даже рядовой журналист.

Название этого очерка несколько замысловато. Но я ничуть не выдумывал. Так наша переводчица Наташа Волкова перевела название небольшого ресторанчика в Далласе, где мы ужинали. Техас — штат одинокой звезды и, не забудем, ковбоев. Так это был ковбойский ресторанчик, салун, там подавали бесподобный стейк, на небольшой сцене играли кантри три парня в шляпах и ковбойских сапогах, публика пила пиво «Одинокая звезда» из специально охлажденных кружек и танцевала искренние, простые, незамысловатые танцы.

Осознавалось, как здесь ценят общение, как просты в общении. То, что увидел за эти дни, дает возможность говорить, что США — страна спокойного счастья. Она стремилась к нему и добилась. Американцы заслужили свои постоянные улыбки. Жизнь коротка, чтобы еще и пропустить улыбнуться. Это страна трезвых, основательных людей, исповедующих главную ценность — работу. Здесь уже все отлажено, заведено, системно. Это общество вечного двигателя, ибо таким двигателем может быть только человеческий интерес. Здесь все держится именно на интересе. Наверное, есть внутреннее напряжение, но человек демонстрирует только уверенность. Непоколбимо. Общество, государство и закон эту уверенность граждан поддерживают.

Мы вопим от своей неуверенности в себе, в системе ценностей в любимой отчизне. Великая Россия возродится только на нашей уверенности — мы можем. Об этом я думал ночью над Атлантическим океаном, когда «Боинг-747» уже летел в Амстердам, оставляя на траверзе по левому борту Гренландию.

И все-таки красивых женщин в Америке явно меньше, чем в России. И за пять минут на тюменской улице Республики я увижу красивых женщин больше, чем за десять дней рабочего визита в штате Техас.

И это великий шанс России. Разве мы можем подвести своих прекрасных женщин и не возродить Россию?



Сибирское кредо Пушкина

«Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье!».

Что мы помним еще у классика из написанного им о Сибири? Писал ли Пушкин еще что-нибудь о Сибири? Задумается самый дотошный пушкинист.

Мы найдем прекрасные слова о Сибири, сказанные Михаилом Ломоносовым, Александром Радищевым, Федором Достоевским, Иваном Гончаровым, Глебом Успенским, Антоном Чеховым. Пожалуй, ничего не отыщем у других классиков: Николая Гоголя, Ивана Тургенева, Федора Тютчева, для которых российской Сибири как бы и не существовало. Нет, Александр Сергеевич подозревал о существовании Сибири и даже в те времена, когда «во глубину сибирских руд» еще не сослали его строптивых вольнолюбивых друзей. Во-первых, у Пушкина было несколько сибирских замыслов.

В михайловской ссылке в начале памятного 1825 года Пушкин записывает «Воображаемый разговор с Александром I». Примечательна концовка незаконченного произведения. Воображаемый император в воображаемом разговоре делает ремарку: «Но тут бы Александр Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего (хотя отчасти справедливого), я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму «Ермак» или «Кочум» «размером с рифмами».

Ермак не случаен в царско-поэтическом диалоге, сибирский атаман занимал мысли молодого поэта основательно. За два года до «Воображаемого разговора», тоже из Михайловского и тоже в феврале, Пушкин писал другу Николаю Гнедичу: «Я жду от вас эпической поэмы. Тень Святослава скитается невоспетая, писали вы мне когда-то. А Владимир? А Мстислав? А Донской? А Ермак? А Пожарский? — Заключил свой синодик примечательным афоризмом: — История народа принадлежит Поэту».

Косвенное свидетельство, насколько прочно засела ермаковская эпопея в поэтических замыслах подрастающего гения, можно получить из письма Евгения Баратынского в январе 1826 года:

«Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму «Ермак». Предмет истинно поэтический, достойный тебя. Благослови тебя Бог и укрепил мышцы твои на великий подвиг!».

В 1826 году в Москве, в салоне Дмитрия Винивитинова, на следующий день после премьерной читки Пушкиным «Бориса Годунова» молодой поэт Алексей Хомяков читал свою драматическую поэму «Ермак». Пушкинского мнения о хомяковской драме не сохранилось, но, наверное, на время пыл поэта к Ермаку остудило. Однако Ермак так окончательно и не собирался покидать голову поэта.

Известно, что спустя десяток лет, уже в 1835 году, Александр Сергеевич просит своего приятеля офицера В. Соломирского, находящегося в поездке по Сибири, «писать о Ермаке».

Кто знает, продлилась ли жизнь поэта, мы бы имели пушкинскую поэму о Ермаке уровня «Медного всадника» и «Бориса Годунова».

Что написал бы Пушкин о Ермаке? Сложилась ли его точка зрения на сложнейшую фигуру российско-сибирской истории? Трудно утверждать. Сдается, что приятели поэта, тот же Баратынский, ждали от Пушкина «восхваления колониальных завоеваний России».

За Пушкина ручаться нельзя: как всякий гений, он непредсказуем, и куда завели бы его рифмы и строфы в «дали свободного романа», предсказанию не поддается.

Но как государственный, как гражданин России Пушкин был последователен и почти официально прямолинеен.

Сохранился крохотный пушкинский отрывочек, озаглавленный исследователями как «план и набросок начала статьи о Камчатке».

По существу, эти несколько строк — сибирское кредо Пушкина. Прочитав два тома «Описания земли Камчатки» Степана Крашенинникова, А.С. записал для себя: «Завоевание Сибири совершалось постепенно... Уже все от Лены до Анадыря реки, впадающей в Ледовитое море, было открыто казаками, и дикие племена, живущие на их берегах или кочующие по тундрам северным, были уже покорены смелыми сподвижниками Ермака... Явились смельчаки, сквозь невероятные препятствия и опасности, устремившиеся посреди враждебных и других племен... приводили (их) под высокую царскую руку, налапали на их ясак и бесстрашно селились между ими в своих жалких острожках».

Весь стиль краткой заметки доказывает, как высоко оценил Пушкин непростой труд Ермака и его сподвижников. Василия Атласова, которому он несомненно симпатизирует, поэт называет «камчатским Ермаком», и в его устах это явно почетный титул.

Все сибирские замыслы Пушкина, к нашему несчастью, оказались не реализованными, может, зря Александр I не рассердился да не сослал своего поэта в творческую «командировку» куда-нибудь в Тобольск? Мы ведь помним, как продуктивны оказались пушкинские посиделки в Михайловском и в Болдино.

Литературовед С. Цейц проанализировал пушкинскую библиотеку, выделил в ней «Сибириану», чтобы основательно доказать, насколько серьезно интересовался большой книгочей и завзятый книжник Пушкин сибирской темой.

Приведенный список свидетельствует четко, что о Сибири Пушкин читал много, жадно, с непреходящим интересом. Это соотносится и с тем фактом, что именно в начале XIX века, в пушкинское время, Сибирь активно выходила на российскую деловую и общественную арену, заявила о себе Европейской России более существенно, нежели до этого. Не следует забывать, что в российской общественной мысли

Сибирь долгое время практически не присутствовала, ее не замечали, как старательного, незаменимого, но незаметного работника.

В 1818 году (Пушкин только что закончил лицей) в Санкт-Петербурге начал выходить «Сибирский вестник».

Шесть лет Григорий Иванович Спасский, подвижнический издатель «Вестника», просвещал столичный бомонд: Россия — сибирская держава, у Сибири интереснейшая история, Сибирь — будущее России.

Пушкин «Сибирским вестником» заинтересовался попозже, но в его библиотеке имелся практически полный комплект (редчайшее счастье для современного сибироведа) «Сибирского вестника» (по 1824 год). Позже Г.И. Спасский издавал «Азиатский вестник». Пушкин по своей инициативе вступил в переписку с этим замечательным публицистом и издателем. Все свои первичные сибирские знания А.С. скорее всего получал именно из «Сибирского вестника». Находился в пушкинской библиотеке и второй том французского издания «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, тот, недоступный нашему современнику, том, где Робинзон Крузо путешествует по Сибири, через Нерчинск попадая в Тобольск. Наверняка проштудированы были Пушкиным такие солидные фолианты, где много сибирских сведений, как труды монаха францисканского ордена Жака дю Плано Карпини, «Очерк Всемирной Географии» Мальт-Брюка. Прочтя легкомысленное «Путешествие в Сибирь» французского аббата Шаппа д'Отроша, Пушкин, по примеру Екатерины Второй, засел за критический разбор этого антирусского клеветнического пасквиля. Правда, дальше первой страницы рецензии дело не пошло...

Свою библиотеку национальный классик подбирал тщательно, дотошно и любовно. На его полках — французские, английские, голландские издания, причем много букинистических редкостей. Тот же Шапп д'Отрош у него амстердамского издания 1769 года.

Судя по библиотеке, Пушкин имел возможность прочесть все достойное, что к тому времени было издано по Сибири и российскими книгоиздателями. Это и Миллерова «История Сибири», книга И. Кириллова «Цветущее состояние Всероссийского государства», трехтомник Пьера Симона Палласа, пятитомное «Полное собрание ученых путешествий по России», лепехинское «Путешествие от Тюмени до города Архангельска», работы Г. Мюллера, Степана Крашенинникова, путевые записки Григория Шелехова. Наверняка привлек его и «Рассказ о пешеходном путешествии сквозь Россию и Сибирскую Татарию от границ Китая к Ледовитому океану и Камчатке» знаменитого англичанина, капитана Кохрена. «Рассказ» отчаянного кругосветного авантюриста вышел в 1824 году, привлек внимание русских журналов, которые читал Пушкин. В тогдашней журнальной периодике, кстати, сибирские материалы были не в редкость, и все они листаны А.С.

Легковесный эфиопский повеса, как некоторые рекомендовали нашего первого поэта, по крайней мере над сибирскими материалами, работал с основательностью прилежного немецкого педанта.

Неплохо знал Пушкин и сибирских современных ему писателей, из которых, конечно, выделял нашего земляка П.П. Ершова. Восторженное восприятие «Конька-Горбунка» позволило Пушкину в разговоре с Петром Павловичем заявить: «Теперь этот род сочинения мне можно и оставить».

Подразумевались поэтические сказки, которым тогда баловался и сам классик. Сохранился пушкинский отзыв еще об одном произведении сибиряка — романе Ивана Калашникова «Дочь купца Жолобова».

Александр Сергеевич отвечал автору: «Вы спрашиваете моего мнения о «Камчадалке». Откровенность под моим пером может показаться вам простою учтивостью. Я хочу лучше повторить вам мнение Крылова, великого знатока и беспристрастного ценителя истинного таланта. Прочитав «Дочь Жолобова», он мне сказал: «Ни одного из русских романов я не читывал с большим удовольствием».

Пушкин прибавляет к крыловскому комплименту: «После этого не тревожьтесь мнением Полевого, он человек смысленный, обязательный и умный, но, конечно, уж не литератор. Как писатель, он не имеет никакого таланта, как критик — повторяет чужие мысли... Публика его любит единственно за его дерзость и потому, что глупцы с благоговением слушают человека, который смело все бранит, и думают: то-то умник!»

Про Полевого оставлено не случайно. Николай Полевой еще один сибиряк, урожденный иркутянин, проживавший в Москве, основатель и издатель журнала «Московский телеграф». Он — великий сибиряк, но с Пушкиным их отношения не сложились. Не ко всем сибирским писателям А.С. относился благожелательно и льстил их талантам. Так что каждая высокая оценка — наособицу. Ясно, что читывал Пушкин и других сибирских авторов, был беспристрастен и разборчив, предвзятостью не страдал.

Пушкин не переваривал одного современного ему немецкого драматурга Августа-Фердинанда Коцебу, обзывал его писания «коцебятиной», прозу — «уродливой и надутой». Однако, несмотря на антипатию, в своей библиотеке держал даже в двух экземплярах книгу «Достопамятный год жизни Августа Коцебу, или Заточение его в Сибирь и возвращение его оттуда, описанное им самим».

Дотошные исследователи довольно точно определили даже дату, когда произведения самого Пушкина стали знакомы в Сибири. Оказывается, уже в 1823 году в забытом богом Троицкосавске (нынешней Кяхте) местный купец говорил заезжему путешественнику о звучной лире Пушкина. Сошлюсь на мнение великого сибиряка, историка П.А. Словцова, с произведениями которого А.С., кстати, несомненно был знаком. Пушкинский приятель, упоминавшийся командированный офицер В. Соломирский в июле 1835 года писал поэту.

Итак, обратный адрес — Тобольск.

«На днях у меня обедало человек пять моих приятелей. В числе гостей был Петр Андреевич Словцов, старец знаменитый, сын Сибири. Он соученик и бывший друг Сперанского, богатый умом, познаниями, правдолюбием и несчастиями. Словцов должен жить в памяти русских или лучше человечества, даже жизнь одного мудреца несравненно поучительнее жизни сотни воинов. Другой гость (ибо должен тебя с ним познакомить) — человек, достигший богатства и чинов собственным умом и дельностью, образованный старинной школой и твердый в своих правилах. Меня же ты знаешь. Говоря о словесности, заговорили о тебе, и мой богатый гость старинной школы восстал на тебя со всею силою классицизма и педантизма. Я, вопреки моим мнениям, взял твою сторону, и дело пошло на голоса. Словцов сказал: «Сочинения Пушкина должно читать для роскоши ума; везде, где я встречаю произведения его пера, я их пробегаю с жадностью». Полагая, что такой отзыв человека, подобно Словцову, для тебя приятнее и занимательнее мнения наших полусловесников, я поставил себе приятною обязанностью сообщить тебе оное. Прение продолжалось. Словцов согласился, что род твоих сочинений

мог бы быть возвышеннее, но, говорил он, гении своевольны. Наконец, так как общее мнение было на твоей стороне, я, чтоб совершенно победить сопротивника, предложил тост за твое здоровье с тем, чтоб всякий сказал какое-нибудь желание.

Словцов пожелал богачу-антагонисту, чтобы его дети с тобою сравнялись; один из гостей — чтоб ты вечно писал; другой — долгой жизни. Словцов заметил, что долгая жизнь великим умам несвойственна, им надо желать благотворного потомства. Наконец, классик пожелал, чтоб все тебя уважали, но по справедливости ценили твои сочинения. Итак, мы все пили за здоровье гения-писателя, даже я, пьющий одну воду».

В одной восторженной книжке я прочел фразу: «Пушкин мечтал побывать в Сибири».

Пушкинское намерение воспроизводится из замечания княгини Марии Волконской: «Пушкин говорил мне: «Я намерен писать труд о Пугачеве. Я отправляюсь на места, переваливаю через Урал, последую дальше и явлюсь к вам в Нерчинские рудники просить пристанища».

Княгиня вздыхает: «Он... не побывал в наших краях».

Зная, как истово работал Пушкин в Оренбурге, можно предположить, что и Сибирь серьезно пленяла и манила его.

Кстати, в одном пушкинском черновике отыщется такое признание автора:

*И я б желал, чтоб мать моя
Меня родила в чаще леса,
Или под юртой остяка,
Или в расселине утеса.*

Так как остяки живут только в Сибири, надо полагать, что Пушкин не прочь был родиться именно в Сибири.

Было ли это мимолетной мечтой? Чего не наговоришь прелестной княгине? Но, скорее всего, Пушкин не мечтал побывать в Сибири, а примерял себя на Сибирь. Смог бы он, как его друзья, выдержать Нерчинские рудники?

В любом случае к Сибири он не был равнодушен. Если бы не воображаемый Александр I, а реальный император разозлился бы на него... Мы же знаем, что гражданами России декабристов сделала не Сенатская площадь, а Сибирь...

Впрочем, это уже плутающая тропинка домыслов, в то время как у нас имеются и существенные факты пушкинской реально-творческой биографии.

Однозначно: Сибирь его занимала. Вопрос времени, когда бы этот интерес творчески реализовался. Пуля Дантеса поставила точку и на сибирских пушкинских замыслах.

На смерть поэта мы запомнили лишь зажигательные лермонтовские строки. Стихи нашего земляка, писца Тобольского приказа Евгения Лукича Милькеева всероссийского резонанса иметь не могли. Но прислушаемся к незамысловатым строкам сибирской поминальной по Пушкину.

*Ты был родным певцом великого народа,
И голос твой шумел, как русская погода,
Был горд и величав, как наши небеса.
И в радугах сверкал и лился, как роса:
И снегу белого был чище, холоднее,
Был громче, звонче льду и
Стали был острее.*



«Высочайшая» ссора в Исетской слободе

Я как-то задумался и составил для себя список: классики русской литературы и их дань Сибири. Начав с Ломоносова, мы вспомним его знаменитое, сегодня скандальное «Могущество Российское Сибирью прирастать будет». Пушкин:

*Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.*

Совершенно прошли мимо Сибири Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Николай Гоголь, Иван Тургенев.

Зато Радищев, сибирский узник, написал целое исследование «Сокращенное повествование о приобретении Сибири», и это ему принадлежат замечательные слова: «...и как богата Сибирь своими природными дарами! Какой это могучи край!.. Ей предстоит сыграть великую роль в летописях мира».

Еще одному сибирскому узнику мы обязаны великолепными «Записками из Мертвого дома». Николай Лесков без всякого принуждения написал «Сибирские картинки XVIII века», посвященные церковной истории этого неровного века.

Если считать классиком Николая Чернышевского, его судьба неотделима от Сибири. Автор «Обломова» Иван Гончаров по Сибири возвращался после кругосветного путешествия на прославленном фрегате «Паллада».

Лев Толстой обратился к Сибири, заинтересовавшись судьбой знаменитого старца Феодора Кузьмича, лже-Александра Первого.

Антон Чехов? «Письма из Сибири!» «Остров Сахалин!» Так что от Радищева до Чехова русская классическая литература скромно, но Сибирь не забывала. Хотя если взять все написанное нашими классиками о могучем крае, едва ли наберется 3—4 полноценных тома. И наверняка меньше, чем об Орловской губернии.

Василий Андреевич Жуковский незапятнанным советским литературоведением к лику классиков однозначно не причислен, но где-то в одном с ними ряду, по крайней мере, поблизости. Впрочем, его сибирская история связана не с литературой...

Я как всегда преувеличиваю все, что связано с Сибирью, но тем не менее мы не должны забывать два выдающихся факта: реформа 1861 года, известная как отмена крепостного права, по всей вероятности, зародилась в Сибири, и в Сибири же оформилась идея реабилитации декабристов. В последнем случае не последнюю роль сыграло село Исетское, точнее, ссора, которая произошла в глухом сибирском селе июньским вечером 1837 года.

Крепостное право отменял царь, которого не только официальные источники, но и народ нарек Освободителем — Александр II. И он же, только-только вступив на трон, выпустил из Сибири наказанных героев Сенатской площади.

При чем здесь Исетское? У царевичей — наследников престола — курс воспитания заканчивался по традиции масштабным путешествием. Наставником будущего императора Александра Второго был Василий Андреевич Жуковский, известный нам как дружественный учитель Пушкина, неудачный поклонник Маши Протасовой и крупный русский поэт. Жуковский предложил двадцатилетнему своему воспитаннику не блистательный Париж, не обязательный Берлин, не привычную Ниццу, а Сибирь. Покладистый цесаревич согласился с выбором уважаемого воспитателя.

Вместе летом 1837 года они объехали весьма незначительный кусок Западной Сибири, но вольные пространства и на воспитанника, и на воспитателя произвели... перспективное впечатление.

Прочтем несколько абзацев из книги Георгия Чулкова «Императоры», где много места уделено сибирскому вояжу наследника.

«Путешественники ехали так спешно, как будто за ними по пятам гнались враги. Жуковский заметил по этому поводу, что столь торопливое обозрение России похоже на чтение одного оглавления книги, оставшейся неразрезанной в руках ленивца».

Основательный Жуковский, понятно, хотел бы от своего сиятельного воспитанника большего прилежания во всех делах, посему столь строг. Впрочем, в добросовестности Его Императорскому Высочеству не откажешь.

«Однако кое-что наследник все же увидел. В Сибири — в Ялуторовске и Кургане — он видел поселенных там декабристов. Его чувствительное сердце было растрогано. Он ходатайствовал перед отцом о смягчении их участи, и Николай Павлович сократил некоторым сроки их изгнания. Это умилило Жуковского. За время путешествия цесаревичу было подано 16 тысяч просьб».

Борис Зайцев в жизнеописании «Жуковский» сибирский эпизод преподносит более рельефно.

«От Екатеринбурга до Тобольска по Сибири все было — широта, мощь, изобилие... Все несравненно более привольнее, богаче... Людей меньше, а пространств больше, и они щедрее, плодородней. Но не представлялось ли образованному юноше, объезжающему свои владения, что вот этот край так обогнал Россию Европейскую и потому, что крепостного права никогда здесь не было. Вольный труд вольного народа! Для будущего Освободителя впечатления поучительные».

Первым либеральным действием Александра Второго, вступившего на императорский трон, было «прощение» декабристов. Так что не увлеку воспитателя цесаревича Александра Николаевича за Урал, еще неизвестно, как бы сложилась судьба сенатских страдалцев. Где будущий царь почувствовал себя гуманным правите-

лем, истинным воспитанником мягкосердечного поэта Жуковского? В Тобольске? В Ялуторовске? А может, в Исетской слободе?

В Исетской слободе, по всей вероятности, в Земской станции 5 июня для приехавших был организован субботний обед, где произошла «глупая ссора», вызвавшая «неутешное» сожаление В.А. Жуковского и даже желание прервать путешествие и возвратиться обратно.

Чем была вызвана ссора? Вероятнее всего, не простил цесаревич Жуковскому его задержку в Тюмени из-за ушибленной лошади женщины и за то, что сумел догнать поезд свиты только в слободе Исетской — это через 145 верст. Расплата была унижительной: вместо третьего номера в дорожной кавалькаде дали поэту номер 5 с худыми лошадьми и тяжелым экипажем. В неотправленном письме на имя великого князя Жуковский писал: «Признаюсь Вам, что такое обращение крепко мне не нравится». Дело, конечно, состояло не в том, каким номером будет следовать экипаж Жуковского в кортеже, а в том, что рушились его надежды воспитать из наследника престола царя-человека, монарха-гуманиста.

Впрочем, тюменский эпизод — лишь одна из версий.

По другим, причиной ссоры воспитателя и воспитанника явилось то, что цесаревич не обратил внимания на бесправное, бесчеловечное положение декабристов.

Василий Андреевич был явно недоволен тем, что наследник слишком увлекается приемами и фуршетами, не обращая внимания на то, на что обязан его обращать человеколюбивый монарх.

Наверное, лишь простодушный поэт мог позволить себе столь дерзкое поведение. Возможно, не сразу, но его наставления все же доходили до сердца молодого цесаревича.

Трудно представить, что великий монарх, каким можно считать царя-освободителя, мог состояться без подобного благотворного влияния настоящего христианина, каким был Жуковский.

В жизни много связей, поэтому я и позволяю себе думать, что после исетской ссоры расстроился не только воспитатель, но и воспитанник.

В молодости, даже не желая того, мы многое воспринимаем так, как подсказывают нам учителя. Кто точно определит, не вспоминались ли позднее цесаревичу и неприятный эпизод в Тюмени, встречи в Тобольске и Ялуторовске и то, что в Исетской слободе строгий воспитатель оказался недоволен его недостаточно человеколюбивым поведением.

Оправдываться, доказывать, что не так уж ты и плох, — удел не только нас, простых смертных, но и царствующих особ.

Вполне возможно, что я ошибаюсь в своих предположениях. Но для меня освобождение крестьян России от крепостного ярма было вряд ли возможно, по крайней мере в те исторические сроки, если бы не благотворное, мягкосердечное влияние на царя-освободителя поэта Жуковского и поездка цесаревича в Сибирь, когда он в пределах империи имел возможность сравнить две российские стихии — крепостную и вольную.



Сибирские встречи великого Гумбольдта

Мы живем в Азии.

Вы знаете, что из всех шести материков планеты Азия — самый высокий континент, и мы живем на самом возвышенном континенте, хотя и на Западно-Сибирской низменности?

А помните, кто задался вопросом о средней высоте континентов и вывел Азию вперед?

Когда произносят имя Александра Гумбольдта, чаще всего добавляют эпитет великий. Великий Гумбольдт.

Как все деятельные мудрецы, он жил долго — 90 лет. Для современников он был чем-то вроде первого космонавта и не только потому, что написал капитальную монографию «Космос», но открывал для земляков и землян планету Земля, умел смотреть на нее обобщенно, как бы сверху, и даже путешествуя на телеге, обозревал планету как с космического корабля. Видел то, замечал то, что не замечали едущие на привычных телегах. Тогда космонавтов не было, подобный взгляд оставался прерогативой Бога.

На счету отважные, непривычные для осторожного немца, путешествия-исследования в Южной и Северной Америке, на Урале, в Сибири и Алтае. Он принадлежит к числу универсальных гениев человечества, умел эмпирические наблюдения превращать в стройные теории, иногда опережающие время, иногда проверку времени не выдерживавшие. Но бесспорные и спорные гумбольдтовские теории организации планеты Земля толкали науку на плодотворное движение вперед.

Русский интерес Гумбольдта, скорее всего, формировал приятель его молодости, русский студент Фрейбергской горной академии с очень знаменитой фамилией Соймонов, потомок выдающегося сибирского губернатора с «драными ноздрями» Федора Ивановича Соймонова. Сохранилось письмо молодого Гумбольдта русскому знакомцу Владимиру Соймонову, в котором уже проклевывается его страстный интерес к неведомой стране Сибирь.

«Я становлюсь дерзким, дорогой друг, — писал Гумбольдт Соймонову, — но я должен обратиться к Вам с одной-единственной просьбой:

если в течение 20 лет Вы будете иметь возможность или сами по себе, или в связи с уважаемым семейством, из которого Вы происходите, послать кого-нибудь в экспедицию или даже на постоянную должность в Сибирь для работы по геогнозии или ботанике, не забудьте о своем старом друге в Фихтельберге». «Я с юных лет мечтал об Иртыше и Тобольске», — так признавался маститый ученый, стоя на «диком берегу», своему влиятельному собеседнику, тобольскому генерал-губернатору Ивану Александровичу Вельяминову.

Гумбольдт не кривил душой и говорил эти слова не ради гостевого приличия. Сибирь действительно манила и притягивала его.

«Не можете ли вы дать мне точные сведения о том, под какой широтой лежит самое северное и обитаемое зимой селение в Сибири? Было бы очень интересно узнать также часовые колебания магнитной стрелки и силу магнетизма во время северного сияния среди полярной ночи», — так в январе 1812 года писал высокопоставленному соотечественнику на русской службе Раннекампфу Александр Фридрих Гумбольдт. Тогда он намеревался пересечь Азию через Екатеринбург, Тобольск, Енисейск и Якутск до вулканов Камчатки.

В планы естествоиспытателя, однако, вторгся Наполеон, развязанные им европейские войны отодвинули осуществление заманчивой для Гумбольдта идеи на целых 17 лет.

Великого немецкого натуралиста-философа за разносторонность научных интересов и глубину исследований современники называли «Аристотелем XIX века». В преклонном возрасте — ему пошел уже шестидесятый год — ученый все-таки предпринял довольно трудное и столь желанное, долгожданное путешествие в Сибирь и на Алтай. Результатом стала капитальная многотомная монография «Центральная Азия».

Азиатский маршрут Гумбольдта отмечен вехами: Екатеринбург, Камышлов, Тюмень, Тара, Барнаул, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Омск, Оренбург.

Император Николай I принял горячее участие в организации этого исследовательского вояжа по сибирским просторам. Принял участие, как понимал, по-императорски: в пути следования Гумбольдту губернские чины оказывали почтение не как простому путешественнику: это была своего рода официальная экспедиция. Что, впрочем, иногда мешало, иногда помогало.

В 1829 году почетный член Петербургской Академии наук прибыл в губернский Тобольск — самый северный пункт своего путешествия. Видимо, любопытному естествоиспытателю очень хотелось попасть на северный Полярный круг, но осторожные спутники отговорили немолодого академика от рискованного предприятия. Однако сохранилось свидетельство того, что интересы ученого барона распространялись гораздо севернее.

В губернском центре Гумбольдт познакомился с инспектором местной врачебной управы доктором Альбертом, который совершал регулярные поездки в Березов и Обдорск. Ему-то и отправил уже из Берлина свое письмо любознательный натуралист. Письмо не длинно, но хорошо характеризует интересы ученого. Приведу его с небольшими купюрами:

«Если уже и в отсутствии моем должен я обеспокоить господина статского советника Альберта, то откровенно выскажу свои желания. Первое. В июне в ближайших к Северу местах, везде или только в болотистых лесах, под растаявшим слоем А находится за-

мерзший слой Б, лежащий, вероятно, не на замерзшей земле С. Должно думать, что слой Б с каждым летним месяцем становится постепенно тоннее? Вообще весьма бы любопытно было посредством выкапывания колодезей это узнать.

Второе. Измерить на льду ширину Иртыша при Тобольске и Омске, ширину Оби при Березове и Обдорске.

Третье. Перевести на остяцкий язык некоторые фразы, чтобы иметь понятие о грамматическом изменении слов в сем языке. Например, молитву «Отче наш!» (и перевод написать русскими буквами). Далее, например: «Я имею большого оленя, а маленькие олени принадлежат моему брату», «Моя жена ест большую рыбу, а маленькие будет есть завтра», «Олени моего брата крупнее, нежели олени моего отца».

С благодарностью вспоминая о приятных днях, проведенных мною с друзьями моими в гостеприимном доме господина статского советника Альберта, остаюсь и прочая Александр Гумбольдт».

В постскриптуме ученый добавлял: «Толстоту льда в Березове и Обдорске нельзя ли будет измерить в конце нынешнего лета, то есть в начале сентября сего 1829 года?».

Инспектор врачебной управы доктор Альберт, по воспоминаниям современников, определялся «опытным и искусным врачом». Его национальности, судя по фамилии, свойственна педантичность и в не малой степени тщеславие. По всей видимости, тобольский доктор не без гордости исполнил просьбу великого ученого. К сожалению, труд Гумбольдта о Сибири не переведен на русский язык. Книга — большой библиографический раритет, и мне не удалось проверить, сообщал ли Гумбольдт о вечной мерзлоте Березова и Обдорска, о ширине здешней Оби и «толстоте» ее льда на ширине Полярного круга.

Несколько слов хочется сказать о тобольском корреспонденте Александра Гумбольдта. Член Тобольской врачебной управы Франц Белявский писал о своем коллеге: «После поездки инспектора Альберта (в Березовский уезд) началась деятельная переписка с высшим начальством, и с этого времени почти ежегодно на несколько месяцев отправлялся туда инспектор Альберт и по мере возможности подавал помощь инородцам».

По тем временам подобная забота была делом немалым.

И еще одну сторону биографии доктора Альберта небезынтересно отметить. Доктор, часто наезжавший в Обдорск, был родным племянником Шарлоты Буфф, той самой, которую в 23 года безнадежно любил великий Гёте, и которая осталась в истории мировой литературы под именем Лотты из «Страданий молодого Вертера».

Беседовал прославленный гость и со знаменитым тоболяком Петром Андреевичем Словцовым, который в то время уже занимался своим «Историческим обозрением Сибири». Собеседники не оставили мемуаров этой встречи. Скорее всего, беседа касалась мысли тобольского историографа: с присущей ему страстью он доказывал, проверяя на знаменитом собеседнике, свою идею: человеческая история должна вписываться в естественно-природные условия и ландшафт. Словцов позднее выписывал парижские издания Гумбольдта и корректно ссылался на них.

Надо сказать еще об одном тобольском знакомстве великого немца.

О сибирской экспедиции Гумбольдта есть хорошая книжка Игоря Забелина «Возвращение к потомкам». Одна цитата из забелинского эссе: «Первоначально предполагалось, что конечным восточным пунктом путешествия Гумбольдта будет Тобольск, но в То-

больске Гумбольдт посчитал, что по времени (до зимы) он еще успеет посетить южный Алтай, и получил согласие властей на продолжение путешествия. В Тобольске к Гумбольдту и присоединился «долговременный» попутчик Ермолов, племянник «покорителя Кавказа» и сам на Кавказе бывавший».

Вместе с Гумбольдтом сибирскими исследованиями занимались его авторитетные спутники: профессор минералогии Густав Розе и ботаник Христиан Эренберг. Это были истые подвижники науки.

Плодовитый Розе уже в 1842 году издал два тома описаний сибирского маршрута. К сожалению, его труд на русский также не был переведен, как, впрочем, статьи и монографии Эренберга.

Хотя экспедиция Гумбольдта официально конвоировалась, все же Сибирь предоставила знаменитому путешественнику немало приключений. Своему не менее знаменитому брату Вильгельму Гумбольдт писал: «Мы ехали день и ночь и утром 20 июля в целости и сохранности добрались до алтайского города Барнаула на берегу извилистой Оби. Однако тут нас застала буря, она бушевала более семнадцати часов, ветер налетал с юго-запада, из киргизских степей, волны на Оби были, как на море, о переправе нечего было и думать. Пришлось расположиться на ночь биваком на берегу. Пылающий костер в лесу напомнил мне Ориноко. Едва стихал ветер, принимался лить дождь, и так до бесконечности, но в общем для нас это было благодеяние, так как комары, наконец-то, дали нам передышку, и мы сбросили удушливые маски». Через Обь экспедиция Гумбольдта переправилась, как только буря стихла, и вполне благополучно.

Русский спутник Гумбольдта Николай Степанович Меншенин в своем отчете подсчитал, что за двадцать три недели путешественники проехали 14500 верст, в том числе 690 верст водою и, кроме того, около 100 верст по Каспийскому морю. Они побывали на 568 станциях и «привели в движение» 12 тысяч с лишним лошадей. Путешественники 53 раза переправлялись через разные реки, в том числе 10 раз через Волгу, два раза через Каму, восемь — через Иртыш и два раза через Обь...

Перечисление деловито-сухо, но в нем угадывается меншенинское неприятие подобного галлопирования, как способа исследования.

— Отметим, кстати, — подводит итог более благожелательный Забелин, — что азиатское путешествие Гумбольдта способствовало утверждению им таких понятий, как средняя высота материков (математические прикидки осуществил Лаплас). Азия по всем показателям оказалась самым высоким материком, средняя высота горных хребтов, представления о зависимости распределения растительности и ледников в горах от средних годовых температур. Окончательно сложились у Гумбольдта взгляды на морской континентальный климат. Этими, теперь всем известными, понятиями мы также обязаны ему. И ему мы обязаны принятым в современной науке не только широтным, но и меридиональным (по секторам) районированием земного шара.

Гумбольдтова «Центральная Азия» стала еще одним камнем в основании его мировосприятия планеты Земля. Как всегда, в его трудах спорное соседствовало с бесспорным, но у Гумбольдта было бесспорно одно — его стремление к постижению истины.

Среди своих современников он был чрезвычайно знаменит и почти по-императорски почитаем. Но... *Trausit mundi...* Хотя проходит шум мирской славы, остается постигнутая истина. И сибиряки, как могли, помогли автору «Космоса».



Одиночество гения

1 мая 1845 года началось, тогда, да и сегодня незаметное, но по своим окончательным итогам выдающееся научное событие — путешествие по Сибири, угро-самодийскому миру Российской империи Александра Кастрена.

Путешественнику исполнилось 32 года, это была вторая попытка финского ученого шведского происхождения исследовательского покорения Сибири.

Первая оказалась не вполне удачной: ученый почти бежал из Тобольска, хотя бегства ничто не предвещало. Он, преодолев Полярный Урал, оказался в Обдорске, работал в Березово, намеченным маршрутом продвигался к губернской столице.

В истории Сибири много экспедиций разного калибра и масштаба. Почему же мне хочется выделить именно эту?

А вы знаете случай, когда приговоренный к смерти, не прося пощады у природы, не сетуя на судьбу, торопится не сохранить свою жизнь и продлить скоротечные дни, а, усугубляя свое положение, старается и торопится сделать одно, как он считает, главное дело: изучить языки малочисленных сибирских народов финно-угорского круга?

Кастрен приговорен: трудная студенческая юность и... чахотка. Неизлечимая по тем временам. Можно побороться за свои бренные дни: поискать места на планете, где даже чахотка отступает. И у талантливого ученого имелся такой шанс, но он выбирает Сибирь — страну ссылки и каторги, которая любого здорового европейца только мифами о себе могла заставить заболеть. Но в Сибири живут остяки, вогулы, самоеды, те народы, с которыми родственны и языком, и традициями европейские финны; живут котты, койбалы, арины, сойоты, юги, бирюсы — тоже родственные племена, но которые уходят с исторической сцены, теряют языки, вымирают. Их остаются единицы... Немного. Но в далекой Сибири они еще сохранились. Еще можно успеть. Завтра будет поздно, наука их утратит. Кто это сделает, кроме тебя?

Чахоточный лингвист-этнограф Кастрен выбирает Сибирь.

Приступ чахотки во время первой сибирской попытки настигает его в Березове. Единственный березовский эскулап советует: если он не подлечится, то следующей зимы уже не переживет. Не словари сибирских народов, а могила в сырой и холодной земле ждет его.

Кастрен вынужденно прерывает экспедицию, но, вопреки всем рекомендациям, только на время. Начатая работа уже не позволяет ему остановиться.

Приведу две записи из его полевого дневника: «Теперь я в Тюмени, и приветствую Азию в том же самом городе, в котором с небольшим за год я навеки простился с Сибирью».

Тобольск, 16 мая. Судя по всему, у путешественника угнетенное настроение.

«Во время переезда от Тюмени, или даже от Екатеринбурга до Тобольска природа не представляла моему любопытству ничего такого, чего бы я не видал и не описывал уже тысячу раз: бесконечные равнины, частью обращенные в пашни и луга, частью поросшие лесом. Все пусто, однообразно, безжизненно. Какое-то подавляющее бремя тяготеет над страной и над народом. Природный сибиряк стоит у русских на хорошем счету за простоту его нравов, за гостеприимство и добродушие. Все это, может быть, отчасти и справедливо. Но всякое изъявление радости и веселья, как, например, пение, пляска, общественные или семейные празднества, в Сибири или, по крайней мере, в Тобольской губернии, величайшая редкость».

О жизни Александра Кастрена я написал книгу «Манящий свет звезды Полярной». Сейчас о том, что не попало в нее.

Авторы стресняются признаваться в любви к своим героям. Но тогда что же водит их пером? Чем больше я узнавал о жизни этого человека, тем глубже редкое чувство преклонения усугублялось во мне.

Перед каждым, взявшимся изложить биографию большого человека появляется соблазн повторить какое-то дело его жизни. С путешественниками это почти просто, особенно в век наших транспортных возможностей. Поехать, сравнить... Задача удобная и благородная. Но зачем же сопоставлять несравнимое? О том, как трудно было раньше, а сегодня удобно, мы все хорошо помним. Стоит ли сравнивать «инородцев» середины прошлого века и ненцев, ханты, селькупов космического времени?

Соизмеримы ли гиганты индустрии на берегах Оби и Енисея с рыбозасольными станами и казенными магазинами кастреновской поры? Стоит ли считать и сопоставлять количество неграмотных «инородцев» и качество сегодняшних телевизоров, которые можно смотреть уже и в тундровом чуме?

Но когда задумываешься над судьбой таких людей, как Кастрен, просто не можешь не задаться вечным вопросом: зачем же человек проходит земной юдолюю, что определяет смысл нашей жизни? Для чего он свершен, этот подвиг чахоточного финна, что он оставил нам? Не лучше ли ему было отыскать покровителей побогаче да вместо смертной Сибири поискать спасение от болезни на благоприятных курортах хваленой Швейцарии? Обыватель, коварно прячущийся в каждом из нас, уже занес топор этого вопроса: зачем? Ради чего? Разве не нашлось бы исследовательских здоровяков, чтобы отправиться нужным маршрутом и совершить то, что требовалось от них наукой и государственной необходимостью?

Мне бы хотелось поспорить с расхожей фразой, занесенной еще латинянами, о том, что здоровый дух прячется в здоровом теле. В

болезненном теле прячется, как правило, здоровый дух, а многовековая культура человечества явила нам немало примеров того, что самый неистовый, самоотверженный дух доставался телам, безнадежно неспособным на подвиг. И дух в который раз являл миру, что брэнная наша оболочка — не залог таланта и гражданских добродетелей. Человек героичен в преодолении себя. Вся жизнь эгоистичного рационалиста Кастрена — непреходящее свидетельство того, что он строил жизнь вопреки законам здравого смысла, ибо сознательно соглашаться приближать свою смерть здоровый дух не может. Но снова вопрос: во имя чего это братание со смертью? Кто, если не он, первым должен был задаться этим вопросом: почему я, немощный, больной? Немилосердная судьба, почему твой выбор пал на меня? Рассудительная история простила бы, как прощает и более слабых. Ведь Кастреновы таланты все равно проявились бы, даже если он и не предпринял этого путешествия. Лингвист он блестящий, а поле деятельности в его времена еще слишком широко и не пахано, чтобы он не мог найти себе перспективный акр, не расставаясь с тихим кабинетом, не меняя свежий ветер с Балтики на гнилостный дух сибирских болот.

Неужели собственный суд нашей покорной, всепрощающей совести выше суда истории потомков? Я не могу ответить на этот вопрос. Я просто благоговею перед человеком, который ответил на эти вопросы не так, как мне подсказывает наш здравый смысл, наш врожденный инстинкт самосохранения. Но нас всегда влекут ценности духа, недоступные нам.

Обреченный Александр Кастрен делает шаг, ускоряющий его смерть. Он, только он, единственный знает:

— Если не я, то никто.

Проникнемся опытом его исключительности, подумаем о собственной, напомним себе: если не я, то никто.

Из множества вариантов живая жизнь выбрала меня. Песчинка в человеческом мире, ты должен помнить, что если не ты, то никто. Ты избран жизнью. И это выше мук обыденной смерти, и не прожитой срок определит ценность того, чему ты назначен и посвящен.

Превозмогающий себя преодолевает смерть.

Если представить науку лингвисту в виде планеты, то Александру Кастрену, несомненно, принадлежит честь открытия на этой планете самодийского континента. То, что он сделал для изучения малых народов Сибири и Севера, имеет непреходящее значение. Мне думается, что роль этого великого человека в науке о человечестве оценена еще недостаточно высоко!

За прошедшие полтора века многое изменилось в Сибири, чтобы искусственно воспроизводить все реалии Кастренова маршрута, ехать на лодке, на оленьей упряжке, в ямщицкой кибитке, дотошно сравнивать, как было при Кастрене, как выглядит сейчас, скрупулезно точно повторить старый маршрут.

Здесь нельзя было обойтись без связующей нити, которая бы помогла глубже понять прошлое, осязаемо ощутить подвиг ученого, явившего миру неизвестный науке «континент». И этой связующей нитью были и воздух Сибири, и необъятный ее простор, и даже необъяснимый запах времени, вечности...

Кастрен научно вывел малые племена Сибири из тьмы забвения, навсегда оставил их в памяти человечества. Конечно, не в силах одного человека возродить жизненный дух целых народностей. И когда идешь чужим следом, главное, наверное, понять, в

чем же он проявляется — творческий дух народов, спасенный от забвения. Огонь Кастренова сердца пылает в огромном костре творческого факела духа северных народов.

Я решил пройти сибирскими верстами Кастрена. Но нет, не для того, чтобы подивиться происшедшими переменами, но чтобы понять суть его подвига, погреться у вечного костра научного поиска, который зажжен жаром человеческого сердца, понять, во что претворяются наши безумные замыслы, как не обрывается связь человеческих поколений.

Начал я сибирский маршрут, как и он, из Салехарда (бывшего Обдорска) проехал по Оби, останавливаясь в таких приметных пунктах, как Березово, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Колпашево, Томск. Из Томска Кастрен перебрался в Енисейск, я же Енисей решил «оставить» на осень, а, пользуясь возможностями сегодняшнего транспорта, перебрался в самый восточный пункт моего предшественника — город Читу. Дальше шли Улан-Удэ, Кяхта, Кызыл, Иркутск, Саяны, Абакан, Красноярск, Енисейск и вниз по величавому Енисею до Дудинки. Кастрен забирался чуть севернее, до становища Толстый Нос, но сегодня на «Носу» поселения нет. Вернувшись назад в Красноярск, я посчитал обязанностью побывать в Новосибирске в Академгородке — во времена Кастрена этой ученой «столицы» Сибири не существовало.

Спустя почти полтора столетия Кастрен не забыт, в Сибири его знают, помнят, любят. Я встречал его портрет в кабинете бурятского философа, его работы — в захолустном провинциальном музее. В городе Кызыле, где установлен обелиск «центр Азии», с тувинским лингвистом Борисом Татаринцевым мы тщательно проследили «нелегальный» путь Кастрена к сойотскому дарге в тогдашние пределы «Поднебесной империи». Татаринцев провел точное, почти детективное исследование недозволенного маршрута, о котором Кастрен предусмотрительно не сообщал ничего конкретного. Географическая криминалистика позволила Татаринцеву сделать доказательный вывод, что проводники вели Кастрена к знаменитому в южных Саянах озеру Тоджа, где селились самые необычные тувинцы — в их жилах текла и самодийская кровь.

Бывалый енисейский речник, капитан теплохода «Латвия» Алексей Родин открыл мне Кастрена как писателя. Капитан попросил у меня Кастреново «Путешествие», читая сначала молча, а потом с восхищением принялся декламировать своим подчиненным в рубке, даже вызвал по радиации старпома и со вкусом цитировал Кастреново описание Енисея, приговаривая:

— Как славно пишет! Как точно! Как интересно!

После таких слов я снова взялся за знакомые страницы и с некоторым для себя удивлением обнаружил глубокую правоту простого читателя капитана. В записках Кастрена не просто много интересного, научно-познавательного, а сам автор интересен как писатель, как стилист, не только умный наблюдатель, но и точный беллетрист, умеющий писать поистине увлекательно. Не случись этой встречи в дороге, быть может, я бы так и не обратил на это внимания. Замечу попутно, что мне не только капитану приходилось рассказывать о Кастрене, и всегда его судьба внушала моим собеседникам из рабочих, крестьян, учителей и ученых уважение и восхищение: «Почему мы не знаем о нем?».

Памятуя о том, что финский ученый был гостем тогдашнего верховного ламы, я договорился о встрече с главой буддистов бандидо-хомбо-ламой и побывал недалеко от Улан-Удэ в главном буддийском храме — дацане. Семидесятилетний почтенный старец в традиционно-желтых одеждах внимательно выслушал рассказ о цели

моей экскурсии, почтительно прослушал отрывки из Кастренова «Путешествия», касающиеся ламаистских дацанов прошлого века, сам рассказал, как выглядели храмы буддистов, когда в этих краях путешествовал Кастрен, которого в Сибири интересовали не только самодийские, но, пожалуй, все, без исключения, народы.

В маленьком северном городишке Дудинка я встретился с долганской поэтессой Огдо Аксеновой, которая сама создала письменность для своего пятитысячного народа. Она закончила только десятилетнюю школу и не получила университетского образования, но ей помогли ученые из Новосибирского академгородка Елизавета Убрятова и Владимир Наделяев, которые сами полвека назад в таймырских тундрах начинали учить первых долганских детей. В Улан-Удэ я отыскал Баира Дугарова, молодого исследователя-буддолога, переводчика тибетского поэта Миларайба (XII век). Баир по матери — потомок исчезнувшего племени сойотов, тех самых сойотов, которые, по гипотезе Кастрена, начали путь самодийцев из Саян на север, к берегам Ледовитого океана. Я познакомился с гениальным, не всеми понимаемым хантыйским живописцем Геннадием Райшевым, молодой немецкой писательницей Анной Неркаги, которая вернулась из городского комфорта в отцовский чум, живет в тундре, каслает на берегах Карского моря и в долинах Полярного Урала вместе со своим мужем-охотником и пишет необыкновенно честные, правдивые повести в этом самом чуме, где нет ни только писательского, но даже и обыкновенного стола. Молодой хантыйский резчик Геннадий Хартаганов постепенно, не торопясь, осуществляет свою давнишнюю идею — трудится над созданием заповедника-музея национального быта ханты под открытым небом. А простой сибирский рабочий, лесник Петр Бахлыков сумел собрать много предметов хантыйского быта, промыслов, ритуальных вещей аборигенов реки Юган и создал музей в старинном сибирском селе Угут, музей, в который уже приезжают не только из городов России, но и из Болгарии, Швеции, Швейцарии.

Завершение моего пути совпало со Всесоюзной научной конференцией по социальным проблемам народностей Сибири в Новосибирске. Ученые и практики обсуждали насущные задачи, и не раз приходилось быть свидетелем, с каким пиететом самые разные специалисты, решая современные проблемы, произносят имя Кастрена.

В повторении маршрута, как в любом эпигонстве, присутствует нечто постыдное: мы заранее признаемся в собственной неоригинальности, несамостоятельности, слепо следуя за одаренным поводом, обреченные на вечное повторение.

Но у маршрута Кастрена есть своя особенность: его субъективный план отражал объективную картину, четко ограничивая самодийский мир, границы расселения народов, говорящих и говоривших на языках самодийского круга. Прошедшие полтора века, естественно, неизменно улучшили транспортные возможности на территории этого «материка». Но вот ведь странно — несмотря на возможности самолетов, речных «Метеоров», поездов и автомобилей, все же и по сию пору не нашлось исследователя, который — нет, нет, не просто повторил бы маршрут Кастрена, а проделал этот граничный путь, чтобы свести воедино то, что не состыковывается пока на каких-то гранях науки. Осторожность ли это нынешних исследователей, которые хорошо усвоили истину, что здравомыслящий не возьмется за необъятное?

Понимание своих возможностей? Этап ли такой в науке, что каждому положено работать на собственном плацдарме? Но все это непрелож-

но подтверждает безрассудную широту Кастренова крутозора, свидетельствует о той непонятливости — прекрасной сестре дерзости, которая заставляет человека все время поднимать предел своих возможностей.

Я рад, что меня с этими замечательными людьми свел не кто-нибудь, а Кастрен.

Я написал книгу «Манящий свет звезды Полярной» о сибирских верстах Кастрена, о его необъяснимо плодотворном путешествии. Я рад, что в мою судьбу вошел этот замечательнейший человек, эта великая личность — сын пастора из Рованьеми. Но до конца человека не поймешь, если не подышишь воздухом его родины. Как же я мог отказаться от путешествия на родину Александра в Финляндию, в родные его места, а родился он в Лапландии, в приходе Тервола близ городка Рованьеми, почти на самом Полярном круге, там, где сегодня сувенирный Санта Клаус делает свой немаленький бизнес.

Что оставляет после себя человек? Великий человек? Мы завещаем грядущему человечеству свои драгоценные деяния и подвиги, но что остается от нас? Конечно, Финляндия помнит своего национального героя.

Но...

Может быть, потому, что в 1944 году Рованьеми был стерт с лица земли уходившими из Финляндии немцами, здесь практически не сохранилось давней старины и былой памяти, великий сын этих суровых мест отмечен скупой. На здании библиотеки — мемориальная доска с символическим сибирским маршрутом. Кажется, русская карелка-переводчица Наташа — самый главный в Рованьеми кастреновед. Понятно, что сами финны фамилию Кастрена не забыли, но вряд ли могут сказать больше, чем знаю я.

Наша светская память коротка и избирательна.

Больше чтут традиции деятели церкви.

Хотя старый храм, где служил отец Александра пастор Христан, не сохранился, на его месте стоит восстановленная церковь, и даже молодой пастор помнит своего давнего предшественника. А старший его коллега заинтересовался непонятным поиском непонятных русских: зачем им Кастрен?

В родном городе моего героя — Лапландский университет. На городок в 35 тысяч человек населения — 2200 «студиозусов». Финны могут позволить себе эту роскошь. К сожалению, Кастрен недавним университетом не привлечен: лингвистов здесь не выпускают. Хотя, утверждает легенда, вот эти сибирские лиственницы (не очень могучие, но явно давние), ведь здесь стоял пасторский дом, могут помнить молодого Александра.

Издаю мне думалось, что Рованьеми больше гордится своим великим сыном, наладившим столь прочные мосты между Европейским Севером и Сибирью.

Финская столица Хельсинки больше чтит великого финско-русского ученого.

Мне удалось разыскать в Хельсинки единственного своего ученого знакомого — университетского библиотекаря, доброжелательнейшего Марти Кахла. Марти, несмотря на уик-энд, приехал из неблизкого городка Эспоо, чтобы показать мне университетский Кастрениум. Но ничего ожидаемого я не увидел, как говорится, обычный западный университет, естественно, современно оборудованный, но, наверное, похожий на все студенческие заведения во всем мире: по студенчески расхристанный, бесшабашный и беспорядочный. Про-

сто в здании, где размещается филологический факультет, сеть кафедр («институтов»), аудиторий и лабораторий финно-угорского круга носят это обобщенное название — Кастрениум. И даже полагающегося бюста ученого я на месте не обнаружил.

«Кастрениум», получается, это скорее морально-психологически, нежели организационно или административно, символическая дань памяти заслуг великого земляка.

Бюст Кастрена я обнаружил на обочине Национального музея, в незаметной боковой рошце. Декабрь в Хельсинки — это дождь, беспросветный, обложной, промозглый. Бюст реалистичный. Матиас Александр изображен в какой-то немыслимой шапочке, скорее извозчичьей, нежели профессорской, необозначенный скульптор если не перекошил, то скособочил своего героя, так что бронзовый Кастрен смотрит на унылую декабрьскую родину и мир жалобно, с упреком. И хотя Кастреново лицо прозорливо, уверенно и мужественно, воспринимаешь его, я воспринял, как обиженного и недоумевающего национального героя, особенно на фоне величественных соседей-истуканов. Бюст Кастрена прячется за могущественным чугунным (или бронзовым?) задом неведомого мне финского президента.

Признаюсь, бюст Кастрена произвел на меня незабываемое, но довольно странное впечатление — эта медно-зеленая извозчичья немыслимая шапка, как-то по-особенному выделяющаяся на сырости зимы, пронизывающе-холодной сырости. Мой каменный медный Кастрен в центре Хельсинки стынет, и даже в повороте его головы нечто от постоянно озябшего, недоумевающего человека.

Впечатление одно: гениальному человеку везде одиноко. Он рассчитывает на уважение и почитание если не современников, то потомков. Но потомки еще более беспощадны, чем современники. Не будем обольщаться. Но и не забудем мужества одиночек. По-другому ведь не бывает: в своем мужестве человек всегда одинок, но кто-то делает этот свой выбор — одиночество мужества.

Гельсингфорс, Хельсинки, кстати, не забыл, не забывает, не хочет забывать 108 лет своей российской истории.

В Хельсинки с недавних лет существует общество Александра Кастрена. Оно нашло свой скромный приют в престижной части города, в нем все солидно, обстоятельно, но предельно скромно.

Марья Лаппалайнен, ответственный секретарь общества Кастрена, расскажет об истории общества, его основных целях и задачах, неизбежных проблемах, прежде всего финансовых.

Тармо Хаккарайнен, координатор проектов общества Кастрена, подчеркивает российскую направленность деятельности общества: осуществляется ряд совместных проектов с финно-угорскими республиками, округами России, связи крепнут и развиваются.

Влюбленные слепы. Наивно, или безумно, они предполагают, что и все остальные без ума от предмета их обожания. Что скрывать, я люблю этого великого безумца Александра Кастрена, который жизни не пожалел ради любимой науки, ради любимой страны, который расчетливо сжег себя для того, чтобы сделать то, что мог только и исключительно он.

Я вижу незатухающий огонь его сердца, который светит через прошедшие десятилетия и эпохи. Я побывал на его родине, наверное, я хотел увидеть не только то, что увидел, но — примем реальность, а не будем строить иллюзий. Я на своем пути к Кастрену больше понял мусульман, которые стремятся в Мекку к священным камням Каабы,

паломников, которые идут к заветным для себя святыням. Не важно, что увидишь, но важно, что у тебя есть, для тебя существуют святыни.

И, наверное, необходимый постскриптум к моим финским впечатлениям. Кроме Кастреновых мемориалов, мне довелось побывать на многих промышленных предприятиях, что называется, в рабочих коллективах, встречаться с разными финнами в разной обстановке.

Какие же выводы можно сделать, посмотрев на сегодняшнюю жизнь Финляндии. Во-первых, независимость и желание жить самостоятельно продуктивны сами по себе: народ ответствен за свою судьбу, ему не на кого кивать, как распорядился своим потенциалом, так и живет. Наше общество сегодня тревожится ближайшей перспективой: как будем жить при рыночных отношениях. И в этом отношении Финляндия — интересный образец. В здешней краткосрочной гражданской войне победила — нравится нам это или нет — национальная буржуазия. В России победил пролетариат. Плоды их победного управления — современная Россия и современная Финляндия. Начав практически с единой точки отсчета, наши страны пришли к разным результатам: по уровню жизни Финляндия в первой десятке. Бояться рыночных отношений — это значит бояться того товарного изобилия, которое бросается в глаза в маркетах, магазинах и лавочках от Хельсинки до Рованьеми.

Бывшее Великое княжество Финляндии (оно в составе России находилось 108 лет) являет собой недавней метрополии два примера: по крайней мере, не надо бояться того буржуазного пути, которым она шла, и второе — в независимости есть тот шанс, который не всегда проявляется в союзе. Я помню вздох одного пожилого финна, говорящего по-русски и вполне лояльно относящегося к нашей стране:

— Я просто представить себе не могу, как бы мы жили, если бы в 1917 году остались в составе Российской империи и победи в нашей гражданской войне другой класс.

Все это можно оспаривать, только трудно оспорить то, что видишь своими глазами: современные города, первоклассные дороги, промышленность мирового уровня, бережное отношение к природе и постоянную заботу о человеке.

(Сибирская привязка: последним российским генерал-губернатором Великого княжества Финляндского был Николай Виссарионович Некрасов — сибирский депутат нескольких царских Государственных Дум. Именно сибиряк сдавал дела первому независимому правительству).

И еще чему бы следовало поучиться у финнов, впрочем, видимо, как и у всех народов, причисляющих себя к цивилизованным. На главной площади Хельсинки, Сенатской, стоит памятник. Кому бы вы думали? Императору Александру II. С деятельностью этого царя финны связывают многие реформы, которые способствовали возрождению финского языка, культуры, национального самосознания. Для России Александр II сделал куда больше — освободил российское крестьянство от многовекового рабства. Но в наших городах стоят памятники тем, кто обращал нас в новое рабство, но не царю-освободителю... У финнов есть свои счеты с Российской империей, но они не унизились до того, чтобы сводить эти счеты на уровне низвержения памятников. И, любуясь этим памятником, я еще раз думал о том, какую куцую, кастрированную отечественную историю заложили в нас. Мы не умеем ценить ее многоцветья, противоречивости, ее многоликости, нас приучили к одно- и прямолинейности, а потом мы еще удивляемся примитивности нашего мышления и наших решений.



«Иуда русской свободы»

Его немилосердно, яростно, гневно критиковали Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин, Иосиф Сталин.

Александр Герцен постоянно и строго порицал «старого товарища».

Аноним в доносе для Третьего Отделения назвал его «иудой русской свободы».

Он злонамеренно недооценивал ведущую роль государства диктатуры пролетариата и приравнивал его к режиму насилия и угнетения.

Он считал, что путь истории — от животности к человечности. Институт государства считал проявлением животности.

Его лозунги: мысль и бунт — двигатель развития!

Все для личности!

Страсть к разрушению — страсть созидаящая!

Он был постоянно не прав, но давно забыли его оппонентов, а великого анархиста Михаила Бакунина помнят во всем мире.

Это он — символ подлинного революционера, а не кровавые изуверы Дзержинские-Свердловы-Сталины.

Тюрьмы Австрии и Германии, Алексеевский рavelин и шлисельбургская одиночка, четыре года сибирской ссылки (Томск, Иркутск), побег за границу. Внешне — вспомнили? — он выглядел очень импозантно: заросший гигант, грива льва, повадки коварного тигра.

Один из создателей Первого Интернационала, Бакунин всю жизнь боролся с Карлом Марксом и его двусмысленным другом Фридрихом Энгельсом.

О нем можно рассказывать долго, восторженно, приводя себя в изумление. Я же вспомню сибирский эпизод бурной жизни, когда Бакунин грудью встал на защиту если уж не самодержавия в целом, то одного царского губернатора полностью. Чтобы защитить репутацию генерал-губернатора Восточной Сибири, М.А. Бакунин не постеснялся дерзко оппонировать таким видным и почтенным деятелям России, как декабристы Владимир Раевский и Дмитрий Завалишин, революционные соратники Достоевского — Петрашевский, Львов, Спешнев.

Понятно, кое-что шло и от личного, ведь генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский приходился Бакунину дядей, принимал активное участие в судьбе революционного племянника, ходатайствовал о его освобождении. Из одиночки Шлиссельбурга Бакунина освободили по известной дилемме императора Александра II, который предложил: либо вечная тюрьма, либо вечная сибирская ссылка. Граф Амурский мечтал освободить племянника.

Кстати, заключив с китайцами выгоднейший Айгунский договор, восточносибирский губернатор просил императора об одной милости: отпустить из Сибири революционных пленников Петрашевского, Львова, Спешнева и Бакунина.

Для вельможного сановника импозантный шаг?

Однако в среде почитаемых им революционеров у графа была тяжелая репутация сатрапа и самодура.

Герцен, стараясь быть объективным, дал графу Амурскому не лестную характеристику: «Оригинальный человек, демократ и татарин, либерал и деспот».

Возможно, истина как раз в герценовском объективизме, но бакунинская любовь, правда — сердечная. Казалось бы, недавнее время — середина прошлого века, но ведь всего чуть больше века назад Россия обрела Приморье. И дальневосточным нашим Ермаком стал генерал-губернатор Муравьев, справедливо получивший титул Амурского.

Послушаем Бакунина.

«...Расскажу вкратце историю приобретения Амура. Муравьев приехал с этой мыслью в Сибирь и еще до отъезда своего из Петербурга успел уговорить императора Николая снарядить морскую экспедицию вокруг света для отыскания устья Амура.

9 мая 1854 года состоялась первая экспедиция из 380 солдат и казаков вниз по Амуру под предводительством самого Муравьева. В Айгуне, китайской губернаторской резиденции, немного пониже нынешнего Благовещенска, и где была сосредоточена далеко превосходная военная сила, его хотели задержать, но он продрался и через Николаевск, Татарский пролив и Охотское море, отправил 380 человек в Камчатку довольно вовремя, чтобы отстоять ее против англичан, сам же в сентябре отправился в Аян, а оттуда в Иркутск через Якутскую область вполовину на собаках, вполовину верхом. В 1855 году в конце апреля он предпринял вторую экспедицию вниз по Амуру уже с 5000 войска, с угрозой пробился сквозь Айгун, и когда англичане явились в залив де-Кастри, они нашли его, по словам английского корреспондента «Тайм», «ошетинившимся людьми и пушками». В этом же году перевезено вниз по Амуру первое вольное население, занявшее оба берега Амура близ Николаевска. Я знаю, этот факт был сильно раскритикован в «Колоколе», но, любезные друзья, где ж справедливость?..

Вот вам, милые друзья, самые верные подробности об амурском деле. И когда подумаешь, что такое громадное дело, как присвоение огромного края и первое население каких-нибудь 4000 верст, совершенное в продолжение 6 лет — от 1854 по 1859 год включительно... Когда подумаешь, что на все это издержано до 1859 года включительно не более 540000 рублей серебром, взятых даже не у министра финансов, а из экономических сумм управления Восточной Сибирью, тогда, не правда ли, друзья, скажешь невольно, что другого такого примера нет, по крайней мере, в нашей истории».

Полагаю, нет большой надобности доказывать, что анархист Бакунин защищал достойного человека, наверняка, сложного характера, но много, очень много сделавшего для России.

Казалось бы, Герцен и его «колокольная» компания — люди умные, и им не надо доказывать очевидное, но в России партийные интересы всегда ставились выше истины и справедливости. Отдадим должное Бакунину — он поднялся выше партийных интересов товарищеско-демократов, не посчитался с их репутацией и резал правду-матку, невзирая на личности, не делая кумиров из своих соратников.

«В продолжение 13 лет один из лучших русских людей, проникнутый истинно-демократичным и либеральным духом, трудился в поте лица своего для того, чтобы очеловечить, очистить, облегчить и поднять по возможности вверенный ему край. Он совершил чудеса, в особенности чудеса для соннолюбивой России, привыкшей заменять дело фразами да мечтами; ничтожными средствами, без всякой помощи и поддержки, почти наперекор Петербургу он присоединил к русскому царству огромный благодатный край, продвинувший Сибирь к Тихому океану и тем впервые осмыслил Сибирь... 13 лет боролся он и боролся не безуспешно за права сибирского народа, стараясь освободить его, опять-таки сколько было возможно при известных вам политических условиях, от притеснений чиновно-административного, купеческого, горнозаводского, золотопромышленного, равно как и от зловонно-православного притеснения... Но вы, благовестники новой России, вы, защитники прав русского народа, как могли вы не признать и оклеветать его лучшего и бескорыстнейшего друга?».

Бакунин постарался объяснить революционерам заслуги сибирского губернатора, графа Муравьева-Амурского, он постарался убедить Герцена, что они поносят человека, который мог бы быть их союзником.

«Есть в самом деле один человек в России, единственный во всем официальном русском мире, высоко себя поставивший и сделавший себе громкое имя не пустяками, не подлостью, а великим патриотическим делом. Он страстно любит Россию и предан ей, как был ей предан Петр Великий. Вместе с тем он не квасной патриот, не славянофил с бороною и с постным маслом».

«Петербург, весь высший официальный мир его ненавидит, в Третьем Отделении... он записан как архи-красный; вообще его зовут там красный генерал — все это очень естественно. Между мертвыми он один живой, между мелкими, своекорыстными интриганами и эгоистами он один предан делу, он не берет пенсии, как его не ненавидеть!».

Михаил Бакунин прозорливо оценивает роль присоединенного Приморья в судьбах Сибири.

«На Амуре Сибирь примкнула ныне к океану, перестала быть безвыходно пустынею, Сибирью. Сибирь впервые осмыслилась Амуром. Нет сомнения, что Амур со временем оттянет Сибирь от России, даст ей независимость и самостоятельность. Этого сильно боятся в Петербурге, иные даже опасались серьезно, чтобы Муравьев не провозгласил независимость Сибири».

Исходя из последнего утверждения Бакунина, его объявляли сепаратистом и сторонником отделения Сибири от России.

Но это был не более чем риторический прием завязанного оратора, который, кстати, считал, что Российская империя должна раствориться во всемирной славянской федерации.

Послушаем комментатора, большевистского историка Юрия Стеклова.

«В своих «Записках революционера» Петр Кропоткин рассказывает: «В его кабинете молодые люди вместе с сьльным Бакуниным обсуждали возможность создания Сибирских Соединенных Штатов, вступающих в федеративный союз с северо-американскими Соединенными Штатами». Эта легенда ни на чем не основана, да, впрочем, сам Кропоткин приписывает мечтания об отделении Сибири не Муравьеву, а каким-то «молодым людям», которым по самой сути положено увлекаться всякими фантазиями. Но не только Муравьев, но и Бакунин не мечтал об отделении Сибири: нигде и никогда Бакунин не высказывал даже и подобных мыслей; он мечтал не о федерации Сибири с Соединенными Штатами, а о федерации всех поработенных царизмом, а затем и всех славянских земель, и мечту о такой именно федерации он приписывал Муравьеву».

Никто Муравьева в стремлении отсоединить Сибирь не обвинял, но карьера его не задалась: он уехал в Париж и удалился (или его удалили) от государственных дел. Император посчитал, что мавр сделал свое дело. Они всегда не ко двору, независимые люди дела. Ни к императорскому двору, ни ко двору рев. демократов. Выбиваются из стаи.

И еще пара цитат из Бакунина. О Сибири.

«Сибирь может обновить человека, она как будто дана провидением России для воссоздания судьбы, достоинства и счастья тех из заблудших сынов ее, которые посреди своих преступных заблуждений сохранили еще в себе довольно силы и воли для новой, правильной жизни».

И Бакунин о сибиряках.

«Сибиряки — народ умный, дураков не терпят и прощают скорее подлость, чем глупость. Подлостью, злостью и какую бы то ни было нравственную мерзостью сибиряка не удивишь, он так много видал их в своей жизни. Но политические преступники еще с давних времен, думаю, со времен Меншикова и Миниха, пользуются особым почетом в Сибири».

Бакунин получит много несправедливой критики в свой адрес, и самое мягкое определение ему от революционных коллег было — предатель. Это могли говорить только ограниченные люди, какими всегда являются революционеры. Но истинная свобода — никогда не критика. Высшая свобода — ценить достоинства оппонента и, если он есть, даже врага.

Доверимся Александру Герцену, рефлексиирующему революционеру, который относился к Бакунину с иронией, но все же любил его и именно поэтому мог оставаться объективным.

«Бакунин имел много недостатков. Но недостатки его были мелкие, а сильные качества крупны, — определяет Герцен и продолжает: — В пятьдесят лет он был решительно тот же кочующий студент с Маросейки, тот же бездомный богема с Бургундской улицы, без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами... Он родился быть великим бродягой, великим бездомником».

Наивное дитя! Бакунин вряд ли имел корысть, защищая сибирского губернатора, он мог быть не прав, но всегда искренен.

Не удержусь, чтобы не привести слов Александра Блока. Великий поэт прозы почти не писал, но Бакунину посвятил очерк. В блоковском эссе его прелестная оценка: поэт, как всегда, опрометчиво правил: «Только гениальный забулдыга мог так шутить и играть с огнем».

Кстати, Муравьев-Амурский у Блока заслуживает звания «добрый губернатор».



Евангелие от Достоевского

«Тюмень — великолепный город, торговый, промышленный, многолюдный, удобный — все, что хотите!».

Кому принадлежат эти слова? Попутный вопрос: многие ли из наших современников согласятся с восторженным автором?

В другом сообщении тот же автор некоторое время спустя:

«Исходил город вдоль и поперек и с удовольствием убедился, что Тюмень намного превосходит и Омск, и Семипалатинск».

Восторженным обожателем Тюмени оказывается Федор Михайлович Достоевский. Наверное, в 1854 году Тюмень действительно была достойна классического пера и восторженного восхищения.

Понятно, некий суровый реалист напомнит, что Достоевский возвращался из тяжелейшей сибирской тюрьмы — ссылки, его восторг можно объяснить радостью освободившегося от неволи человека. Но ведь мог бы так же радоваться в Семипалатинске, в Омске! Как бы там ни было и что тому ни причиной — прямо в герб Тюмени следует вписать слова великого Достоевского: Тюмень — великолепный город!

Достоевский — самый сибирский из наших русских литературных классиков, самый сибирский классик и по значимости написанного, по ценности сибирских впечатлений. Единственный конкурент у него, пожалуй, Антон Павлович, но Чехову все же не привелось испытать всего того, что перестрадал бывший петрашевец, революционный экстремист Федор Достоевский.

Но сегодня только об одном эпизоде из сибирских достоевских лет.

Январь 1850 года. Не казнен, но подвергнут гражданской казни, осужден, сослан на каторжные работы в Сибирь «по второму разряду».

Известно, что в Тобольске, в пересыльной тюрьме Федор Михайлович пробыл неполную неделю. Сохранившийся рапорт смотрителя Тобольского тюремного замка тобольскому полицмейстеру от 8 апреля 1850 года свидетельствует: «Присланные при предписании из Тобольского приказа из Санкт-Петербурга фельдъегерем

поручиком Прокофьевым преступники Сергей Дуров, Федор Достоевский и Иван Ястржемский, каковые преступники во вверенный мне замок приняты закованными в ножных кандалах и помещены на подсудимом дворе в особой комнате отдельно от прочих арестантов».

Впрочем, тобольские кандалы оказались не столь обременительными. В феврале 1854 года в письме брату Михаилу Федор Михайлович, вспоминая сибирские этапы, не забыл об этом помянуть:

«Хотелось бы мне очень подробно поговорить о нашем шестидневном пребывании в Тобольске, и о впечатлении, которое оно на меня оставило. Но здесь не место. Скажу только, что участие, живейшая симпатия почти целым счастьем наградили нас. Ссылные старого времени (т.е. не они, а жены их) заботились о нас, как о родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением. Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылали нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас. Я, поехавший налегке и не взявши даже своего платья, раскаялся в этом. Мне даже прислали платье». Письмо писано зимой 1854 года, когда Достоевский возвращался из ссылки. Но декабристы еще не прощены, и упоминать о них — государственных преступниках — даже в личной переписке не принято. «Ссылные старого времени» 25-летнего стажа.

Мария Дмитриевна Францева, дочь тобольского прокурора и сердечная подруга Натальи Дмитриевны Фонвизиной, так описывает знаменательную сцену.

«Фонвизина Н.Д., посещая их в Тобольском остроге, принимала в них горячее участие... Узнав о дне их отправления, мы с Н.Д. выехали проводить их по дороге, ведущей в Омск, за Иртыш, верст за семь от Тобольска. Мороз стоял страшный... Долго нам пришлось прождать запоздалых путников... Наконец мы услышали отдаленные звуки колокольчиков. Вскоре из-за опушки леса показалась тройка с жандармом и седоком, за ней другая, мы вышли на дорогу, и когда они поравнялись с нами, махнули жандармам остановиться, о чем уговорились с ними заранее. Из кошевых (сибирский зимний экипаж) выскочили Достоевский и Дуров. Первый был худенький, небольшого роста, не очень красивый собой молодой человек... Одеты были они в арестантские полушубки и меховые малахаи вроде шапок с наушниками, тяжелые кандалы гремели на ногах. Мы наскоро с ними простились, боясь, чтобы кто-нибудь из проезжающих не застал нас с ними, и успели только им сказать, чтоб они не теряли бодрости духа, что о них и там будут заботиться добрые люди».

В письмах, воспоминаниях почему-то не упоминается одна очень важная деталь. «Не место», как себя окоротил в письме брату Федор Михайлович, не время. Но по времени, когда он засел за «Записки из Мертвого дома» — 1869 год — это время наступило.

«При вступлении в острог у меня было несколько денег; в руках с собой было немного из опасения, чтоб не отобрали, но на всякий случай было спрятано, то есть заклеено в переплете Евангелия, которое можно было пронести в острог, несколько рублей. Эту книгу с заклеенными в ней деньгами подарили мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата».

Итак, в омскую тюрьму, в семипалатинскую каторжную солдатчину Федор Достоевский ехал с тобольским, с декабристским Евангелием. Наверное, оно значило для него гораздо больше, чем книга.

Ссылный классик в сибирское время еще почти неизвестен как литератор, болен, честолюбив, и Сибирь, казалось бы, должна стать для него символом краха всех его надежд.

Конечно, наиболее выразительны сибирские страницы в его «Записках из Мертвого дома».

Может, это тяжелейшая книга в русской литературе прошлого, XIX, века. Самая мрачная, самая беспросветная. Но Сибирь в этой тяжелой, возможно, самой достоевской книге — как это ни парадоксально! — светла.

«В Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, по справедливости играющие роль сибирского дворянства, или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в будущем. Из них умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии она приносит богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешать загадку жизни, скоро наскучают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный термин службы три года, и по истечении его тотчас же хлопчут о своем переводе и возвращаются восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею. Они не правы: не только со служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный, есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов, много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натывается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сам-пятнадцать. Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться».

Это пишет человек, который на взлете своей необычно даровитой жизни должен претерпеть невозможные, непредставимые испытания.

«Даже бедный, чахлый цветок, который я нашел рано весной в расселине каменистого берега, и тот как-то болезненно остановил мое внимание. Тоска всего этого первого года каторги была нестерпима и действовала на меня раздражительно, горько».

Состоялся бы Достоевский, если бы не его сибирские страдания? На этот вопрос, пожалуй, не ответит никто.

Он же и себе адресовал этот отнюдь не риторический вопрос.

«И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего».

По-моему, Достоевский честно влюбился в сибиряков, и даже ужаснейшие тюремные испытания не смогли умалить его восхищенные чувства.

Восхищение Тюменью проистекало у Достоевского от восхищения Сибирью и сибиряками, потому не случайно.

Есть у Достоевского, кроме «Записок из Мертвого дома», писем из Сибири, еще одна заветная тетрадь, которую литературоведы и исследователи его творчества окрестили бесхитростно — «сибирская тетрадь». Это писательский словник, ежедневник, текущие записи литератора на каждый день, чтобы не забыть того, что нужно и пригодится непременно писательскому перу. Удивительно меткая народная речь, записанная в Сибири. Почти 500 выражений. Конечно, их лучше всего почитать, это чтение не хуже, чем чтение «дневника писателя». Возможно, он и начался с этой «сибирской тетради».

Впрочем, пора вернуться к сибирскому Евангелию. Мы еще не выяснили для себя, кто передал его, вручил Достоевскому, чей это подарок.

Скорее всего, первая владелица — Наталья Дмитриевна Фонвизина, поехавшая в Сибирь жена декабриста генерала Фонвизина.

Но окончательно точных данных, непреложных свидетельств нет. Можно только косвенно утверждать, к тому же зная, что Наталья Дмитриевна вообще любила дарить книги, была богомольна.

Справедливости ради отмечу, что это могла быть Прасковья Егоровна Анненкова (Полина Гебль), ее дочь Ольга Ивановна, Жозефина Адамовна Муравьева. Прасковья Анненковой Достоевский, к примеру, писал из Семипалатинска: «Я всегда буду помнить, что с самого прибытия моего в Сибирь вы и все превосходное семейство ваше брали и во мне, и в товарищах моих по несчастью полное и искреннее участие».

Сибирское Евангелие сопровождало Федора Михайловича Достоевского всю его достойную и трудную жизнь. До самого смертного часа.

Из дневника его жены Анны Григорьевны.

Достоевский умирает.

«Проснулась я около семи утра и увидела, что муж смотрит в мою сторону.

— Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой? — спросила я, наклонившись к нему.

— Знаешь, Аня, — сказал Федор Михайлович полусшепотом, — я уже часа три как не сплю и все думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру.

— Голубчик мой, зачем ты это думаешь? — говорила я в страшном беспокойстве. — Ради бога, не мучай себя сомнениями, ты будешь еще жить, уверяю тебя!

— Нет, я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня. И дай мне Евангелие!

Это Евангелие было подарено Федору Михайловичу в Тобольске, когда он ехал на каторгу. Федор Михайлович не расставался с этой святою книгою во все четыре года пребывания в каторжных работах. Впоследствии она всегда лежала у мужа на виду на его письменном столе, и он часто, задумав или сомневаясь в чем-либо, открывал наудачу это Евангелие и прочитывал то, что стояло на первой странице (левой от читавшего). Он сам открыл святою книгу и просил прочесть.

Открылось Евангелие от Матфея. Гл. III, ст. 11: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли

приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».

— Ты слышишь — «не удерживай», значит, я умру, — сказал муж и закрыл книгу».

В феврале 1854 года один невольный сибиряк Федор Достоевский из Семипалатинска писал другой невольной сибирячке в Тобольск, «добрейшей Наталье Дмитриевне» Фонвизиной:

«Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен, в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Эти мужественные слова Федора Достоевского написаны на сибирской земле и напоминают каждому из нас о том, что в самые трудные времена только сам человек определяет для себя символ веры.



**«Дивная страна»
великого
анархиста**

Я не расскажу об этом великом человеке лучше, чем сказал его биограф Александр Аникин, который одним абзацем ёмко определил величие противоречий и противоречие величия этой страстной, темпераментной, великой природы: «В нем соединилось несоединимое: трибун, бунтарь-вития, страстно желающий современному ему миру полного и безусловного разрушения, и пытливый кабинетный ученый, стремящийся постигнуть тайны мировой гармонии, смелый путешественник-натуралист и завсегдатай тихих залов научных библиотек, светский, блестяще образованный князь-аристократ и идейный нигилист-демократ, зарабатывающий на жизнь физическим трудом, трезвый мыслитель, глубоко постигший природу власти и государства, и наивнейший идеалист-мечтатель, страстный проповедник свободы человеческой личности, последовательный противник государства и создатель казарменно-коммунистической утопии».

Речь идет о князе Петре Алексеевиче Кропоткине — замечательной русской личности, вписанной в мировой контекст революционного поиска истины.

О его происхождении писатель Сергей Степняк-Кравчинский выразился так: «Он принадлежит к высшей русской аристократии: фамилия князей Кропоткиных — одна из немногих, происходящих по прямой линии от Рюриковичей... ему говаривали, бывало, шутя, что он имеет больше прав на российский престол, чем нынешние Романовы, которые, в сущности, чистокровные немцы».

Бывшего личного пажа императора Александра II (Кропоткин — выпускник Пажеского корпуса) придворные Николая II считали первым врагом самодержавия. Священная черносотенная дружина приговорила его заочно к смертной казни.

Князь Кропоткин прожил бурную жизнь, испытал русские и французские тюрьмы, побеги, Петропавловку, процессы, сорок лет провел в эмиграции, водил самые знаменитые знакомства (Бернард Шоу, Элизе Реклю, Эрнест Реннан, Жюль Гед), в июне 1917

года международно признанный ученый-энциклопедист вернулся в республиканскую Россию, ликующе встречен многотысячной толпой, был признаваем за многолетнюю любовь к пролетариату Лениным и его режимом, но непреклонный старец на исходе дней своих учил вождя Октябрьского переворота азам демократии:

«Призывы к массовому красному террору... приказы брать заложников, массовые расстрелы людей, которых держали в тюрьмах специально для этой цели — огульной мести... Это недостойно руководителей социальной революции...»

Если же теперешнее положение продлится, то самое слово «социализм» обратится в проклятие».

Время показало, что вождь анархистов был ближе к истине, чем вождь большевиков. Глубоко порядочный человек, князь отказался от поста министра в правительстве Керенского, впрочем, как и от кремлевского пайка Совнаркома.

Восемь десятков лет богатой и щедрой жизни — мощный поток событий, дум, дел, подвигов и размышлений. Даже Ильич, не умевший ценить других, признавал: «Он для нас ценен и дорог всем своим прекрасным прошлым».

В 1862 году двадцатилетний князь Кропоткин, один из первых выпускников престижнейшего Пажеского корпуса, вместо столичного гвардейского полка выбирает себе службу в Амурском казачьем войске. Старший брат Александр, авторитет для Петра, отговаривает его, но тщетно: так будущий анархист понимает служение России — не придворно-салонный паркет, а новые дальние рубежи Отечества...

В своем сибирском выборе князь никогда не усомнился, никогда не покаялся. Наоборот.

В знаменитых «Записках революционера» (любимой, кстати, книге Франца Кафки) Кропоткин признавался: «Пять лет, проведенных мною в Сибири, были для меня настоящей школой изучения жизни и человеческого характера».

И еще...

«Годы, которые я провел в Сибири, научили меня многому, чему вряд ли мог бы научиться в другом месте... Путешествия научили меня также тому, как мало в действительности нужно человеку, когда он выходит из зачарованного круга условной цивилизации... человек чувствует себя удивительно независимым даже среди неизвестных гор, густо поросших лесом, или же покрытых глубоким снегом».

И там же.

«...В Сибири я утратил всякую веру в государственную дисциплину: я был подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом».

Сделаем пометочку: жизнь в Сибири таким натурам, как князь Кропоткин, позволяет утрачивать всяческую веру в государственную дисциплину.

Итак, год 1862. Юный князь едет в Сибирь. На 5 лет. Добровольно. Служить. В казачьем войске на Амуре. Служить Отечеству.

Сибирские годы заложили в выдающемся путешественнике то святое чувство, которое он сам так замечательно выразил: «Кто испытал раз в жизни восторг научного творчества, тот никогда не забудет этого блаженного мгновения».

Но это потом. А сегодня...

«Тюмень. Понедельник. 13 августа.

Вот и первый сибирский город. Я остановился в нижней Тюмени; все деревянные дома, широкие и грязные до невероятности улицы. Такие же точно улицы и в нагорной Тюмени. Чтобы что-нибудь поразведать, я отправился в конторы разных пароходств. В одной меня усадили, попросили чаю напиться, сигарку выкурить, разболтались насчет увеличения пароходства и т.д. Особенно интересного мало, я писал, впрочем, об Тюмени в «Русском вестнике». Она — город очень незамечательный по наружности, как и все сибирские города до сих пор. Но в мешанских плохоньких домиках живут очень порядочно, зажиточно, читают... и читают довольно много.

15 августа и 16-го.

Постройки часто двухэтажные, амбары большие, дворы хорошо огорожены. Крестьяне одеваются очень шеголевато, даже в будни. Но, рассказывала мне хозяйка в Ялуторовске, посмотрели бы вы на них в базарный или ярмарочный день: шубы дорогие, на женах платья шелковые, юбки пышные, тоже ваточные, а вот в городах пошли теперь кринолины, ну, и в деревнях тоже. Нет, куда уж расейским!».

Из дорожной корреспонденции князя Кропоткина в «Русском вестнике».

«...С самого детства все мы слышаны про эту страну, как про место ссылки, про какую-то низменную покатошь к Ледовитому океану, только на юге плодородную, а то всю покрытую болотами и тундрами, и привыкли представить ее себе чем-то диким, пустынным, страшным... А между тем всем нам так мало знакома та чудная Сибирь с ее богатыми, необозримыми лугами, где наметаны сотни стогов сена, да каких, каждый с порядочную избу с ее бесконечными башнями, где рослая пшеница так и гнется под тяжестью огромных колосьев, где чернозем так жирен, что пластами ложится на колесах, а навоз, как вещь бесполезная в хозяйстве, гниет в кучах позади деревни, эта благодатная страна, где природа-мать щедро вознаграждает за малейший труд, за малейшую заботливость».

Все сибирские дневники Кропоткина — величественная песнь, эпистолярный гимн. Из Сибири двадцатипятилетний Петр Кропоткин возвращался не только анархистом, но и замечательным патриотом России.

Сам юный князь Петр как влюбился в Сибирь с первых верст, так уже и не изменял первому своему взгляду никогда. 19 августа он еще находился в дороге за Ишимом. Петр пишет любимому брату Александру:

«Что, брат, сказать про то, какова показалась мне Сибирь? Обманула! Ведь с детства учат нас про сибирскую тайгу, про тундры, про степи... Везде довольство, скота много, корм дешев. И человеку также дешево жить. На постоянных дворах кормят чуть ли не даром, за бесценок. Чистота, опрятность в одежде. Лошади (кони, как их зовут) прекрасны, сытые, пузатые. Зато же и возят! Живя в России, не составишь себе понятия о такой езде. Вот, брат, какова Сибирь!.. Дивная страна!».

Про сибиряков несостоявшийся императорский паж добавляет: «Народ умный, веселый, смотрит тебе прямо в глаза, не дичится, работающий, славный народ».

Впрочем, полагал увлекающийся князь, дело Сибири еще впереди; теперь в ней лишь подготавливаются превосходные материалы для будущей жизни.



Обдорский сюжет Некрасова

Молодой Николай Некрасов вместе с тогдашней гражданской женой Авдотьей Панаевой написал приключенческий роман, такой захватывающе приключенческий, что его переиздают даже нынешние прожженные книгоиздатели — «Три страны света».

Главный герой «Трех стран», естественно, бедный, естественно, дворянин Григорий Каютин мало того, что путешествует, промышляет в русской Арктике, но и попадает в тогдашние русские владения в Америке.

В романе есть упоминание об Обдорске (нынешний Салехард). Правда, об этом городке главному герою рассказывает его бывалый спутник, мореход Антип Хребтов.

Приведу их короткий диалог.

«— Скажи, пожалуйста, что такое Обдорск? — спросил с особенным любопытством Каютин.

— А неважное место. Стоит у самой Оби, по правому берегу церковь в нем, амбаров до сотни да домов тридцать обывательских, жителей до ста человек наберется... и только у четырех домов в рамках стекла, а в остальных вместо стекол натянута налимья шкура. Вот тебе и Обдорск! Как я там был, так счетом велось всего шесть лошадей и до тридцати кур. А вот собак много там, они дело делают: тяжести перевозят, а зимой так голодают, что рвут и человека и все, даже жрут одна другую, хоть не показывайся на улицу!.. Невеселое место! Кроме оленины и рыбы, пищи никакой. В Полуе (река) летом водятся муксуны и сельди, да ловят их одни церковники.

— Отчего так?

— Да только им позволено.

— Ну, а остяки — хороший народ?

— Да ты про каких спрашиваешь: про крещеных или некрещеных?

— Ну, крещеные?

— Чего хорошего ждешь? Дичь! — отвечал Антип. — Живут так, что не приведи бог! Дети рождаются белые и здоровые, а вырос — черен, как цыган.

— Отчего так?

— А от дыму. Уж так у них жилья устроены. Подлинно дикий народец!.. Так вот, батюшка, спросишь иного, сколько лет. И не понимает, о чем спрашиваешь. Счета лет не ведут. Бабам вовсе имен не дают и на бабу так смотрят, как будто она вовсе и не человек. Вот и поди тут! А баба у них в тысячу раз лучше мужика: и работающая, и смышлена, и проворна... Да он, лежебок, отними ее у него, пропадет с голоду. Так нет, туда же, перед ней хорохорится...

— Да ведь уж не у них одних, Антип Савельич, обычай такой.

— И подлинно так!..».

В молодом романе Некрасова много интересных подробностей — это самый настоящий авантюрный роман. Наши учителя почему-то стыдились рассказывать о беллетристическом некрасовском творчестве, наверное, считалось социал-реалистически несерьезным, несолидным для автора бедняцкой хроники «Кому на Руси жить хорошо». А зря. Знали бы советские школьники приключенческие романы Некрасова, с большим бы пиететом штудировали и хрестоматийную литературу.

Но Некрасов в Сибири не бывал. Откуда же он знал об Обдорске? Ведь такие замечательные подробности приводит! Я грешным делом посчитал, что об Обдорске Некрасову рассказал сотрудник его журнала «Современник» тобольский судебный заседатель Константин Губарев, который в Обдорске бывал. Но, сравнив даты: 1848 год — время написания «Трех стран света» — и пребывание К. Губарева в Обдорске (1860), понял, что заблуждаюсь. Роман написан раньше. Некрасов, оказывается, когда писал роман, перечитал кучу тогдашней литературы о Сибири, об Арктике. Сведения об Обдорске он, скорее всего, почерпнул из разных источников, главным образом из дневника штурмана Ивана Иванова, опубликованного в «Записках гидрографического департамента Морского ведомства». Иван Иванов, кстати, со своей женой Татьяной исследовал ямальский берег в 1827 году, а отчет издал.

Возможно, Обдорском Некрасов заинтересовался и уже сам позже командировал туда Константина Губарева.

Что же писал некрасовский «Современник» о дальнем северном заштатном городке?

«Да, не позавидую я вам, живущим в Обдорске! С удовольствием прощаюсь с тобою, далекий, угрюмый, безжизненный край. Посетить тебя по своей воле во второй раз едва ли придет охота, а за неволю ручаться трудно».

Так заканчивает свой очерк «Обдорск» Константин Губарев. Некрасов напечатал его в 1863 году в сдвоенном, ноябрьско-декабрьском выпуске «Современника».

Губарев попал в заштатный городишко-деревеньку зимой в разгар знаменитой «ярмонки», потому большую часть очерка посвятил методам «купли-продажи», которые царили здесь.

«Наружный вид обдорской ярмарки чрезвычайно оригинален и нисколько не похож на торжище. На совершенно ровной тундре, у самого берега реки сгруппировано в углу до четырехсот и более выраженных в нарты оленей. Косматые костюмы самоедов, одетых с головы до ног в оленьи шкуры, длинные, воткнутые у каждой нарты шести с копьями вверху, придают этой стороне картины что-то дикое, воинственное».

Торги в Обдорске можно смело называть подпольными, потому что велись они из-под полы. «Скрытность и тайна» были на руку

купцам, потому что позволяли без широкой огласки обманывать тундровых аборигенов. «Торг дорогим, пушным зверем производится в домах нескольких купцов, — сообщает автор, которому пришлось даже прятаться, чтобы узнать об этом факте. — Редкий из самоедов не состоит в неоплатном долгу у этих монополистов. Иностранец и рад бы продать товар подороже на стороне, да боится, чтобы кредитор не взял его оленей за долг».

Автору пришлось отмечать в Обдорске празднование Нового года. Вот как он описывает обдорский бомонд.

«Здесь заседал и один из первых сановников края с превосходительным титулом, и губернский чиновник, штаб- и обер-офицерские эполеты, земские сюртуки, верблюжье пальто мелкого торговца, купеческий кафтан и поповская ряса. Барыни сгруппировались вокруг стола и уничтожали сласти».

В первый день нового года корреспондент «Современника» посетил мужскую и женскую школы, которые были организованы священником местной церкви. 23 мальчика и 14 девочек учились чтению, письму, арифметике, но в основном закону Божьему. Ученики были стеснены, под класс священник выделил собственный кабинет. Самого же энтузиаста стесняло губернское благочинное начальство, попрекая тем, что не было испрошено благословения и не предоставлены отчеты. Священник мог рассчитывать лишь на частные пожертвования весьма прижимистых местных обывателей.

Он подготовил двух ненецких мальчишек в уездное училище, мечтал отправить их в университет. Но «благочинные» в Тобольске посчитали эти мечты опасными.

Небезынтересна в очерке Константина Губарева и историческая часть. Обдорск в прежнее время «играл роль важнее Березова. Здесь была крепость с четырьмя чугунными пушками для охранения остяков и жителей березовского края от набегов самоедов, была стража казаков, хранился артиллерийский склад. С половины восемнадцатого столетия начали приезжать в Обдорск русские торговцы из Тобольска и Березова, устраивая временные амбары и лачужки, а в двадцатых годах переселилась на постоянное жительство большая часть нынешних обдорских граждан, стремившихся к обогащению».

Как и пристало автору демократичного «Современника», Губарев рисует неприглядную картину жизни «самого северного пункта в Западной Сибири». Иностранцы молчат, запуганные, купцы воруют и обманывают, начальство скучает.

Не завидую я вам, живущим в Обдорске!

Моя версия о том, что губаревский очерк попал в «Современник» самотеком, оказалась несостоятельной. В жизни все переплетено гораздо сложнее и прочнее. Тронь привычную ниточку — выплывет новая история, необычная судьба.

Тюменский историк Владимир Ретунский отыскал материалы для несколько иного комментария к истории появления губаревского очерка. Скорее всего, будем говорить так, история связана с именем революционного демократа Михаила Илларионовича Михайлова, который отбывал в самом начале шестидесятых ссылку в Тобольске. Доступ в михайловскую камеру, благодаря провинциальной либеральности местных жандармов, был почти свободен.

Однажды в доступную камеру к автору знаменитой революционной прокламации «К молодой России» и наведалься работник

тобольского губернского суда К.Г. Губарев. Он в долгой камерной беседе поделился и впечатлениями о недавней своей поездке по Иртышу и Оби. Тут настал черед заключенного Михайлова брать интервью — в нем проснулся этнограф.

«Расспрашивал о подробностях: особенностях климата, занятиях населения, хозяйственно-бытовом укладе аборигенов — остяков. И признал: все настолько интересно, что заслуживает публикации, предложил послать серию очерков о путешествии в «Современник». Губарев так и сделал. Через два года цикл путевых зарисовок был напечатан.

Ретунский предполагает, что Губарев приносил в камеру к Михайлову первые черновые наброски и не без его одобрения статьи вышли к читателю.

Среди них и очерк «Обдорск».

Вспомним еще, что Некрасов, хорошо проштудировавший литературу о Сибири, помнил и Тюмень.

Была суровая зима...

На каждой станции сама

Выходит путница: «Скорей

Перепрягайте лошадей!».

И сыплет щедрою рукой

Червонцы челяди ямской.

Но труден путь. В двадцатый день

Едва приехали в Тюмень.

Эта русская женщина, княжна Мария Волконская — героиня некрасовской поэмы «Русские женщины».

Столичные забавы

Как известно, петровская эпоха особой изысканностью чувств не отличалась. Грубоватый народ требовался для крутых реформ российского самодержавца. Да и сам он особой нравственностью не страдал.

На обширных окраинах империи проживали «инородцы», которых в ту пору каждый российский обыватель именовал не иначе как «дикарем». Понятно, что и отношение к этим «дикарям» было более чем дикое. Сохранился один из императорских указов, датированный 11 января 1717 года. Петр I в то время был в Амстердаме. И архангельский вице-губернатор, получив пакет из европейской столицы, подумал, что пишет ему любознательный амстердамский бургомистр Николас Витсен. Но подпись была петровской. Указ гласил: «Господин вице-губернатор. По получении сего указа сыщите двух человек самоедов молодых ребят, которые б были дурная рожием и смешное. Летами от пятнадцати до восемнадцати, в их платьях и уборах, как они ходят по своему обыкновению, которых надобно послать в подарок Грандуке Флоренскому, и как их сыщите, то немедленно отдайте их тому, кто вам сие наше письмо объявит».

Петр I, кажется, вообще питал слабость к своим северным «инородцам». Но если два парня из Большеземельских тундр ему понадобились для, так сказать, дипломатического «подарка», то еще раньше он приказал вывести с Кольского полуострова несколько семей самоедов прямо с оленями и чумами. На петровском острове, неподалеку от новоявленной столицы императорской, были по-

строены жилища. Просвещенная публика, включая дипломатический корпус, ходила любоваться этими «дикарями».

Петровские времена кончились. Но «дикие» забавы еще долго не выходили из моды. Николай Алексеевич Некрасов в стихотворении «Крещенские морозы» описывает одну из примет «северной Пальмиры» — самоеда, который катает по замерзшей Неве седоков на оленьей упряжке:

*Там, где строй заготовленных льдин
Возвышается синею клеткою,
Ходит он со своей самоедкой,
Песни родины дальней поет.
Седока-благодетеля ждет.*

А «Ведомости Санкт-Петербургской полиции» за 1848 год помещали объявление одного из предприимчивых обывателей Якова Окладникова: «Имею честь известить почтенную публику, что я, по примеру прежних лет, показываю в национальном виде кочевых жителей из полудикого народа: самоеда, самоедку и их дитя — на реке Неве против Главного Адмиралтейства, где произвожу катание и гонку на оленях, привезенных Архангельской губернии из Мезенского уезда, за самую умеренную плату».

Расторопный Окладников устроил небывалую забаву: он пустил оленью упряжку наперегонки с паровозом на единственной тогда в России железной дороге Петербург—Детское Село. Упряжка на три минуты опередила поезд. Публика, уплатившая «умеренную плату», чувствовала удовлетворение.

Один из первых студентов советского Института народов Севера Выучейский, проходя по Невскому проспекту, сказал: «Я слышал о Невском от своего дедушки. Он возил по нему на оленях знатных ездоков».

Иные времена, иные цели приезда в «северную Пальмиру», которая стала кузницей просвещенных кадров для просвещения Севера.



Загадка старинного мастера

В 1878 году академик Л.Н. Майков демонстрировал в Российском географическом обществе шесть сибирских «шторок», на которых изображались различные занятия инородцев, северные острожки, обдорские князья в жалованных Екатериной II кафтанах. По сообщению Майкова, эти шторки появились в Географическом обществе в 1849 году. Откуда они поступили, кто их прислал — сообщено не было. Но имя мастера росписей по миткалю установить не составило труда: он подписался на шторках витиеватым старинным росчерком — «рисовал Николай Шахов».

В 1939 году Академический музей этнографии в Ленинграде приобрел шесть шторок. Когда специалисты начали выяснять происхождение панно и личность создателя росписей, то вряд ли утешились. Только в библиотеке географического общества была обнаружена квадратная картина полтора метра на полтора — «Ярмарка в Березово». Подпись та же, что и на шторках — Николай Шахов. Автор поставил и дату — 1855 год. Дата очень смутила исследователей, ведь шесть шторок, как считал их первый исследователь Л.Н. Майков, были писаны при Екатерине II, то есть, как минимум, 63 года назад: императрица умерла в 1792-м. Заведующая отделом фондов музея этнографии К.А. Большева (она погибнет в ленинградскую блокаду), взявшаяся за художественный анализ шаховских панно, встала перед дилеммой: один ли это Шахов, или это разные Шаховы. Она сделала предположение: автор шести шторок — художник XVIII века — не оставил своей подписи, а Николай Шахов — просто копиист, который копировал с неизвестного старинного оригинала. Вторая версия этой исследовательницы учитывала тот факт, что в Тобольской губернии, в северных ее уездах фамилия Шахов была широко распространена — это ижемские зыряне, перебравшиеся на восточный склон Полярного Урала. Могло существовать двое Шаховых — старший и младший, отец работал во времена Екатерины, сын позже — уже во времена Николая I.

Что же изображали сибирские шторы? Автор всем им дал названия: «Обдорский князь», «Губа морская», «Обдорская крепость», «Казымский городок», «Река Казым», «Волости Сосьвинской промыслы». На шторах, приблизительно в полтора метра длиной и сантиметров восемьдесят шириной, сверху вниз автором разворачивалась картина занятий нижеобских обитателей: способы рыбной ловли, охоты на дикого оленя, медведя, добыча уток луками и перевесами, устройство жилищ и хозяйственных построек, одежды, занятия женщин.

Кира Большева, определяя стилевые основы «особенности» шаховских композиций, назвала истоки творчества автора «разнообразными»: здесь можно увидеть и следы влияния русской иконописи, китайской и русской живописи, бытовых гравюр и гравированных старинных карт, имевших хождение даже в самых отдаленных провинциальных селениях. На основе этого она и делала вывод: таким образом, стилистически панно эти могут быть отнесены только к последней четверти восемнадцатого века.

Задумываясь о личности автора, Кира Александровна писала: «Хотелось бы в лице автора панно видеть одного из тех графически достаточно грамотных чертежников-землемеров, которые работали в конце восемнадцатого века при губернских присутствиях по составлению местных планов и в связи с этим объездили и изучили местный край: в данном случае Николай Шахов обладал еще и незаурядной наблюдательностью и художественным чутьем, а главное — любовью к искусству, что и толкнуло его к созданию панно».

Другой точки зрения придерживался еще один исследователь шторок этнограф В.Н. Чернецов. Он считал, что панно были созданы Николаем Шаховым в середине XIX века — до 1849 года, когда они поступили в Российское географическое общество. «Ярмарка в Березово» создана им же чуть позже. Аргументировал свое мнение Чернецов тем, что исполнительские манеры как шторок, так и картины схожи. Он также отметил, что в подписях шрифт не везде соответствует написанию XVIII века. Весомым аргументом знатока сибирского края, каким являлся Чернецов, было и то, что на четвертой шторке изображена церковь в Сортынье, которая появилась во времена уже после Екатерины II.

Какой из версий отдать предпочтение? Пожалуй, каждая из них имеет сегодня право на существование, ибо фактов для доказательств исключительно одной из них очень мало.

Но ясно одно: в конце XVIII или в начале прошлого века на Тобольском Севере работал одаренный художник Николай Шахов, создавший запоминающуюся иллюстрацию жизни ханты, манси и ненцев. Шаховские шторы существенно дополняют описания таких путешественников, как Василий Зуев, Франц Белявский, Александр Кастрен, Александр Шренк. Пожалуй, это единственное столь полное изображение обычаев инородцев. Шесть шторок «стоят» доброго тома этнографических описаний. Чернецов, детально проанализировавший панно, писал: «Рисунки Шахова, несмотря на отдельные неточности и излишние обобщения, представляют собой чрезвычайно ценный материал».

На одном из шаховских панно, на высоком крутояре изображен Обдорск с двумя высокими колокольнями. Правда, Шахов в этой шторке изменил своей строго-реалистичной манере и на заднем плане поместил... пальмы. Зато на других панно мы видим

достоверные изображения ненецких старшин и их князя, еще на одной шторке можно в деталях рассмотреть промыслы ханты и ненцев в низовьях Оби и в Обской губе.

Один из краеведов назвал Шахова «загадочным обдорским живописцем». То, что Шахов бывал в Обдорске, несомненно, но то, что он работал здесь, вряд ли обоснованно. Судя по другим панно, местом его деятельности был либо уездный Березов, либо губернский Тобольск.



Самаровский меценат

В 1876 году по поручению Петербургской Академии наук в Приобье отправился ученый хранитель академического зоологического музея профессор Иван Семенович Поляков. В Тобольске, тогдашнем губернском центре, в его распоряжение выделили молодого служивого казака и лодку, настолько плохую, что в плавании по Иртышу при слабом ветерке приходилось часто останавливаться. Профессор с ужасом думал: как же они выйдут на этом «самоубийственном судне» на раздольные просторы Оби. На подъезде к Самарово его ожидала приятная неожиданность. Ему передали письмо. Неизвестный ученому «проживающий в селе Самарово крестьянин Рязанской губернии Земцов» писал Полякову:

«Милостивый государь Иван Семенович!

В прошлом апреле я узнал, что в настоящем мае через село Самарово должна будет следовать в Обдорск Бременская экспедиция, цель которой изучить все естественные и культурные произведения здешнего края. Видя и осознавая громадную пользу в таком труде и зная, что из села Самарово возможно попасть в Обдорск лишь только в лодке (если не нанять нарочно для этого пароход), желая по возможности чем-нибудь облегчить путь экспедиции, я изготовил под нее крытый восьмивесельный каюк и намерен был предоставить его лично в распоряжение господина Брема.

Назад же тому несколько дней получил я известие что и Вы, Иван Семенович, командированы сюда, на Север, от русской академии наук с тою же целью: исследовать нашу жизнь во всех отношениях. Поэтому, а также как русский к русскому я счел себя вправе изменить первое свое предположение насчет каюка, то есть, не имея времени выстроить для вас другого, вместе с тем движимый патриотическим чувством и не желая предоставить Вас на произвол открытого дождя, спасая в то же время иностранца, я решился предложить этот каюк в полную вашу, милостивый государь, собственность. Примите истинное почтение и уважение верящего в пользу и успех вашего труда».

Приехав в Самарово, Поляков поспешил встретиться с крестьянином-меценатом. Каюк представлял собой шедевр здешнего судо-

плотничьего искусства: просторен, вместителен, можно было даже вместить стол для письменных занятий. Суденышко поднимало до 250 пудов клади и, самое главное, укрывало своих пассажиров от всяческих северных непогод, а ведь профессор намеревался добраться до Тазовской губы. Мореходные качества каюка не внушали опасения. Не привыкший к подобным жестам, аскетичный Поляков посчитал каюк для себя слишком «роскошным» и попробовал отказаться, переубедив Земцова. Однако заметил, что «подобного рода система отказа могла бы отозваться слишком неблагоприятно на искреннем и душевном доброжелательстве г. Земцова, хорошо знакомого с краем, то я и почел за нужное немедленно вступить во владение прекрасною лодкою, озаботившись присвоить ей название «В. Земцов».

До Тазовской губы Поляков не добрался, он достиг только Надымского бара и поднялся вверх по Надыму до становища Харовая. В трудном заполярном плавании каюк оказал неоценимую услугу, и Поляков не однажды благодарил судьбу за неожиданный дар.

«Надым оказался фокусом, в котором сосредоточился весь свет обской рыбопромышленности. От самих рыбопромышленников я ничего не узнал существенного касательно их занятий; они сами, по собственным рассказам, народ страждущий, обиженный остяками, которые ими облагодетельствованы; все же их торговые обороты с остяками составляют «коммерческую тайну», неприкосновенность которой я и приму в настоящее время решимость нарушить с целью выяснить суть этой тайны. Первостатейный элемент, с которым рыбопромышленник пробирается к северу по Обской губе, это давно известный на Оби запретный плод, главная составная часть «коммерческой тайны» — водка».

Свои «Письма и отчеты о путешествии в долину реки Оби» профессор Поляков опубликовал в «Записках императорской Академии наук».

Зоолог был послан в Приобье не только для сбора материалов для академического зоологического музея. Инструкцией опытному исследователю — а за его плечами экспедиции на Алтай, Дальний Восток, о. Сахалин — вменялись в обязанность антропологические и этнографические исследования остяков (ханты), проживающих по берегам Оби и Обской губы, а также ознакомиться с их хозяйством, промыслами, бытом. Третья задача в его «Письмах» стала главной: весь отчет практически гневный протест ученого-гуманиста против безудержной эксплуатации обитателей и природы Крайнего Севера.

В пути Поляков не раз благодарил судьбу за благословенный дар, кстати, путь с ним делил «добросовестный фотограф» г-н Лютик из единственного губернского фотоателье. На всем многокилометровом маршруте Поляков встречал неприкрытые формы по-северному дикой эксплуатации. Страдали не только коренные северяне. В нечеловеческих условиях жили и трудились те рыбаки, которых промышленники нанимали на сезон в Тобольске. Один из его собеседников, крестьянин из деревни Дубровино, рассказывал: «По приезде на песок получил бродни, их хватает на полмесяца, потом делаются дырявыми, течет вода, ходишь, как босой, за заплатками нужно ходить к хозяину раз десять. Получаю по фунту табаку в месяц и рукавицы стоимостью в 30 копеек. Кормят только рыбой, той мелочью, которая остается от тони. Живем в избушке без печи, просушиться негде. Пологов на защиту от комаров не дают. Не только для пологов, а не дают холста, чтобы зачинить дыры на единственной рубашке. Вся одежда своя — нижнее белье в единственном экземпляре.

Если после тяжелой и трудной работы, особенно после непогод, рабочий утомится и расстроится здоровьем, если ему «заскучается», то хозяин все-таки нудит к работе, гонит и ругается. Бывает, что и бьет».

Поляков сам не раз видел, в каких условиях приходится жить наемным рыбакам.

Редкий здоровяк мог вынести эти бесчеловечные условия. Поэтому на каждом песке ученый встречал немало больных. Что такое врач, здесь никто не знал. Многие нашли на Севере свое последнее обиталище.

Если из русского пролетария тянули последние жилы, то ключ к коренному жителю Севера оборотистые промышленники нашли в другом. Хотя официально ввоз вина ниже Обдорска был запрещен, водка в остяцкие и самоедские юрты завозилась ведрами. Выгода была проста: купив в Тобольске за рубль, промышленник в Надыме продавал ее уже за пять рублей. Но и на этом не заканчивалась купеческая «сметливость».

Для начала продавец выставлял качественный товар, а уже подпоенному покупателю вручал продукцию, надвое разведенную водой, причем чем ниже была концентрация, тем выше поднималась цена. Когда кончались остяцкие деньги, продавцы не стеснялись брать у них меховую одежду, шкуры, часто последнюю малицу.

«Чем ниже по Оби, — замечает Поляков, — тем рубль становится дороже, а остяцкий товар дешевле».

Ученого удручал не столько суровый местный климат, сколь тяжелейшая атмосфера безудержного надругательства над достоинством и здоровьем человека.

Поляков собрал ценные зоологические и ихтиологические коллекции, изучал верования и культы нижеобских ханты, религиозные и бытовые обряды.

«Надымские остяки были крайне довольны тем, что я проводил у них в чумах целые дни и даже ночи, — с удовольствием констатирует ученый в своих «Письмах». — При этом они говорили, «что другие русские смотрят на них, как на собак, говорят, что остяки едят и спят с собаками, значит, и сами собаки».

Какую «В. Земцов» вскоре взял курс на юго-запад. Он прошел рыболовецкие становища Хэ, Ярцинги, Варкуту, Мохтанские и Нангинские острова и вошел в Обь. В Обдорске путешественник пересел на пароход «Сибиряк», который должен был довести его до Тобольска. В салоне парохода подобралась довольно солидная компания ученых, которые в 1876 году занимались изучением Ямала: члены Бременской северо-полярной экспедиции, знаменитый Брем и доктор Отто Финш, капитан парохода «Москва» Христиан Даль, участники Байдарацкой экспедиции общества для содействия промышленности и торговле Матвеев, Васильев и Орлов. Все были подавлены теми порядками, которые царили в этом суровом краю.

Свои надымские записи профессор Поляков, впрочем, заканчивает на оптимистической ноте: «На прощании с Обью и ее коренными обитателями — остяками я вспомнил, что остяки не всегда проводят время угрюмо и молчаливо, окруженные вечной нуждой. Они так или иначе умеют веселиться, на вечеринках поют и пляшут, устраивая маскарады».

«Проведя целое лето в исследованиях природы и обитателей долины Оби, — писал Иван Семенович, — я прихожу к заключению, что эта область представит еще много интересного для исследований

научных и практически важных сведений. Получивши каюк в дар от В.Т. Земцова, я в свою очередь предоставляю его в пользование всех тех лиц, которые явятся в долину Оби с научными целями, и, таким образом, прекрасная лодка пусть будет на суровом Севере рассадником идей человеколюбия, истины и справедливости».

Так что неприхотливый земцовский каюк выполнял две миссии: исследовательскую и гуманистическую.

Недавно мне в руки попал журнал общего собрания Императорского Русского географического общества (не могу оторваться от Полякова). Иван Семенович был одним из самых активных деятелей общества. На заседании общего собрания Иван Семенович докладывал о предварительных итогах своего нижеобского путешествия. Сообщение весьма любопытно.

«Результаты наблюдений над жизнью человека и животных в долине реки Оби... общая совокупность всех наблюдаемых факторов» привела Полякова к убеждению «о совершенной тождественности современного положения жителей Оби, с одной стороны, и населения Франции и вообще средней Европы в период северного оленя — с другой. В долинах бассейна реки Оби сохранились следы подобной эпохи как в природе, так и в человеке».

Одним словом, ученый считал, что северная природа законсервировалась в своем развитии, соответственно законсервировав и развитие живущего здесь человека. Таким образом, по мысли Полякова, долина нижней Оби явилась своеобразной природной лабораторией, в которой сохранялись доисторические условия.

«По отношению к человеку, — говорил зоолог собравшимся географам, — всего более можно сказать, что в долине Оби сохранился тот первобытный склад жизни, который переживала Европа в доисторические времена. Первобытная степень культурного развития выражается в их нравах и обычаях, во всей внешней обстановке их жизни».

Это «в высшей степени любопытное сообщение», как замечается в журнале, было выслушано с живейшим интересом и «покрыто единодушными рукоплесканиями».

...Владимир Белобородов, скромный человек и отчаянный краевед, ощутивший неотвратимость личной причастности времени, потихоньку собирает материалы о земляке. У него есть и повод: надо как-то отметить столетие создания в Самарове школы обработки рыбных продуктов, которую создал не кто иной, как «торгующий крестьянин» Василий Трофимович Земцов. Земцовская школа положила начало рыбоконсервному производству на Тобольском Севере. Специалисты земцовской школы потом ценились на вес золота, когда здешние воротилы Плотниковы стали создавать рыбноконсервные производства вплоть до Обского устья.

Да, это явно был интеллигентный крестьянин, ведь не зря же его избрали действительным членом Тобольского губернского музея, почетным членом губернского статкомитета. Старший Земцов приобщил к повседневному меценатству своих сыновей: Петра и Евстафия.

Конечно, его можно считать исключением. Но всякий талант — редкость.

Мы знаем: Россия стояла крепко. Она держалась в том числе и на таких торгующих крестьянах-меценатах, как сердобольный, тянувшийся к высокому и просвещенному Василий Трофимович Земцов.

Жаль, что память его никак не увековечена. Даже в Ханты-Мансийске.



Тайный ВОЯЖ Льва Толстого

Существовал в Томске замечательный мужской монастырь — Богородице-Алексеевский. Он и сейчас есть: томичи хотят возродить его былой лик.

Видно, был храм-красавец. Место первостроители выбрали красивейшее, на горе, которая тоже называется Алексеевской. Сдается мне, что ранешний русский мужик, который много трудился и, кроме женской и природной, других красот не видел, красивое место находил — отдавал предпочтение.

Знойный полдень раннего июля. Подымаешься в гору, постоянно поднимаешь голову к небу: там, в пронзительно-прозрачной синеве забавные игрушечные облака. У храма — он в строительных лесах — нешумно работает подъемник, полдесятка неторопливых мужиков носят раствор, штукатурят наружную стену.

Мне указывают на старшего, гвардейской стати пожилого мужика, который представился странным именем Василиск и описать которого можно забываемым словом — могутный. Мастеровой заметно устал и по-старчески приборматовывает:

— Ох, зверь-человек, зверюга.

Реставраторы ищут старые фундаменты, но самому страшному похабству разорения храм подвергся, когда начали разбойничать воинствующие безбожники, переделывавшие монастырь не то в склад, не то в гараж-конюшню, и логику этого передела не может уразуметь даже потомственный реставратор Василиск.

— Все испохабили.

— Ну а ампиатора-то как? — подступаю я к главной теме своего визита, — не раскопали ль?

— Так это ж не наше дело, мы строим, а не копаем, — поясняет старшой мастеровой. — Да и ково они раскопают? Кости-то давно увезли в Романовский склеп. Где старец мог быть похоронен? Да где хошь! Вот там, видишь, воронка, у нас туда в пустоту бульдозер провалился, два дня вошкались, покуда вытащили. Из-под той стенки тоже кости человечьи выгребали. Куда подевали? Да кто ж это знает.

Поздно спохватились, — резюмирует Василиск. — У русских всегда так: сначала сотрем, а потом плакать. Поздно, поздно, чего тут сыщешь, все перемешано.

Он пессимист, этот умудренно-угрюмый увалень-мастеровой. Никакой надежды не оставляет. Богородице-Алексеевский монастырь в Томске — наособицу среди церковных реликвий Сибири. В конце января 1864 года здесь у монастырских стен, как сообщается в церковной хронике, «на северо-восточной стороне в трех саженях от алтаря монастырской церкви» нашел упокое и был погребен знаменитый старец Феодор Кузьмич. В книге Московского Русского Товарищества 1911 года «Легенда о старце Феодоре Кузьмиче» опубликована фотография знаменитой могилы. Но разор монастыря, разные социалистические приделки-переделки не позволяют точно определить, где находился алтарь и в какую сторону отсчитывать три сажени.

Зачем это нужно?

Сначала о том, какими добродетелями был славен сибирский старец. Перепишу добросовестно несколько абзацев из упоминавшейся книги Г. Василича, который здраво, а не житийно, подвергая все сравнительному анализу, исследовал жизнь знаменитого томского упокойника.

«Объявившийся в Сибири весной 1837 года... переходя из деревни в деревню, Феодор Кузьмич делал все, что только может делать хорошо воспитанный и образованный человек, поставленный в необходимость жить в массе неразвитого крестьянского населения. Он учил крестьянских детей грамоте, знакомил со священным писанием, с географией и историей, и во всем этом не было ничего тенденциозного, преувеличенного. Взрослых он увлекал религиозными беседами, занимательными рассказами из событий отечественной истории, в особенности о военных походах и сражениях. Понимание человеческой природы и в особенности духовной стороны ее в связи с необыкновенным даром слова позволяли ему исцелять душевные раны, подмечать и указывать слабые стороны человека, угадывая иногда тайные намерения, что в связи с его образом жизни, умением обращаться с больными, облегчать их страдания, возвысило его в глазах простого народа и возбудило о нем впоследствии, как о великом угоднике Божьем, всевозможные толки далеко за пределами его местопребывания.

Частная жизнь Феодора Кузьмича отличалась особой строгостью, правильностью и воздержанностью».

Народник-просветитель, златоуст, проповедник праведности, божий человек, святой странник? Как еще можно охарактеризовать этого, несомненно, незаурядного человека? И нет ничего плохого, что добрая слава о нем сберегалась народом.

Но вряд ли бы она сберегалась, и вряд ли бы его жизни посвящали книги и исследования (один из исследователей великий князь Николай Михайлович), если бы не одна загадка жизни Феодора Кузьмича. Еще при его жизни возникла легенда, что божий странник не кто иной, как... император Александр I. Но император умер в Таганроге в 1825 и своей скоротечной кончиной вывел на Сенатскую площадь декабристов. Что за жизнь после смерти?

Последние годы Александра I отмечены некоторыми болезненными странностями, нечто таинственное можно обнаружить в его скорой смерти (он скончался в расцвете лет и всего 47 лет от роду).

Старец Феодор, по свидетельствам, поразительно похож на состарившегося императора, в его поведении, в его рассказах можно было обнаружить нечто такое, что заставляло искать некую связь между двумя личностями. Список эпизодов и сопоставлений (как в поступках Александра I, так и в поведении Феодора Кузьмича) немал, я обойдусь присловьем: дыма без огня не бывает. Правда, в данном случае много не только дыма, но и сознательного тумана, излишней мистики, и я бы не стал пересказывать давнюю житийную историю, если бы... не Лев Толстой.

Тот старший реставратор Василиск, конечно же, умелый мастеровой, но явно никудышный краевед, между прочим, убеждал меня:

— Как-то к нам сюда приходил полковник старый, 85 лет ему, принес с собой старую книгу. Так вот я сам читал, что Толстой тайно приезжал в Томск и встречался здесь с императором Александром I, который проживал в Томске под видом старца.

— Не может быть! — воскликнул я. — Не ездил Лев Толстой ни в Томск, ни вообще в Сибирь. Ни явно, ни тайно.

— Я что, вру? — обиделся мастеровой. — Я сам эту книгу в собственных руках держал. Да к этому старцу какие только вельможы не пёрли со всего свету.

Тайный визит Льва Толстого в Сибирь? Ну как этим не заинтересоваться! Не знаю, какую уж книгу показывал восьмидесятипятилетний полковник и держал в руках самолично Василиск, но при всем к нему уважении память его явно подвела. Не отыскал я ни одного свидетельства, которое бы явствовало, что тайком молодой бонвиван Толстой (в 1864 году ему исполнится 36 лет) ездил в Томск к потайному императору.

Но свойство народных легенд непреложно: и император Александр I воскреснет, и Лев Толстой к нему тайными тропами проберется: опять же дыма без огня не бывает.

Кто внимательно изучал наследие Льва Николаевича, обнаружит в разделе «Незаконченное, наброски» «Посмертные записки старца Феодора Кузьмича» с подзаголовком «умершего 20 января 1864 года в Сибири, близ Томска, на заимке купца Хромова». Этой темой непокорный классик заинтересовался в 1890 году, однако за письменный стол засел только в ноябре 1904 года, значит, подспудно держал тему в уме, она его не покидала. Написал великий Лев всего несколько страничек, что-то остановило 76-летнего писателя, он не закончил свой не то, как сам признавался «рассказ», не то повесть, хотя, судя по начатым страницам, «посмертные записки» могли бы потянуть и на роман. При жизни Толстого «записки» свет так и не увидели, а редактор «Русского богатства» Владимир Короленко, дерзнувший опубликовать эти странички Толстого, попал под суд.

Писатель Толстой, предуведомляя «посмертные записки», доказывает для себя однозначно, что старец Феодор Кузьмич и Александр I — одно лицо, и приводит пять, на его взгляд, бесспорных аргументов. Что же бесспорно для Льва Толстого? Поразительное сходство наружности, сложение, рост, характерная сутуловатость, возраст. Феодор Кузьмич знал иностранные языки и «всеми приемами своими величавой ласковости обличал человека, привыкшего к самому высокому положению, старец никогда никому не открыл своего имени и звания, а между тем невольно прорывающи-

мися выражениями выдавал себя за человека, когда-то стоявшего выше других людей». Перед смертью старец уничтожил бумаги, из которых остался один листок с шифрованными странными знаками и инициалами А и П. — Александр Павлович...

Исходя из этих доказательств, Толстой начинает описывать детство Феодора Кузьмича, как детство императора Александра I.

Любой исследователь оспорит доказательные посылы Толстого, но писателю прилична не научная, а художественная логика.

В прекрасной толстовской вещице я обнаружил только одну маленькую несуразность: от имени старца автор пишет: «Потухли яркие звезды в удивительном северном сиянии». Не бывавший в Сибири Толстой не знает, что на широте Томска — Ачинска «удивительных сияний» не отмечено, но классику это простительно: вся Сибирь считалась страной северных сияний, да, пожалуй, и сегодня считается.

Верю ли я в пришествие императора в Сибирь в облике мудрого и чудодейственного старца Феодора Кузьмича?

Конечно, нет! Нет — безусловно и безоговорочно. Непредставимо, что в случайном Таганроге можно было труп замордованного солдата (а именно такая версия прижилась) выдать за тело почившего в бозе императора. Для этого требовалось посвятить в тайну, как минимум, нескольких царедворцев. И чтобы все они жили и хранили тайну? В это не поверит никто и никогда. В любом случае эта тайна стала бы достоянием царствующего императора Николая I. И что? Можно предположить, что он-и поймет сумасбродную логику своего предшественника и не узрит в этом козни и угрозу своему царствованию? Трудно представимо.

То, что возможно, вероятно в авантюрных романах, не подчиняется логике живой жизни, где властвует только одно — реальные интересы реальных людей.

Но вот в чем вся заковыка: я, понятно, не верю в преобразование Александра I, но мне хочется верить, причем очень хочется. Почил в бозе, преставился, заурядно умер — ведь это так скучно. А рискнул, решился, радикально преобразился — это так возбуждает интерес!

Лев Толстой, полагаю, не излишне доверчивый человек, чтобы на склоне мудрых своих лет поверить в свято-житийные сказочки и торопиться взяться за перо. И не просто реальная канва гипотетического события, полагаю, привлекла его, а шанс человеческого преобразования. Ведь кто таков Александр I Павлович? По Пушкину — «властитель слабый и лукавый». Он, по существу, и отцеубийца, победитель Наполеона, из всех русских императоров рода Романовых в Европе не просто самый влиятельный, а могущественный, можно утверждать — некоторое время диктатор Европы. Но брэнна мирская слава, не к тому поприщу готовил Бог человека, вечно только простая, но праведная жизнь. И, полагаю, Толстому и мне тоже хотелось бы верить, что есть в жизни, в истории подобный владыка мира, который суетной славе жизни предпочтет скромное бытие по заветам Бога.

И легенда об Александре I—Феодоре будет долго жить, даже если все аргументы будут против, потому что мне, как многим другим, хочется верить, что простые наши жизни ближе к человеческому закону, чем обжигающее повеление судьбами людей и народов.

Неоконченный рассказ разгаданного старца занимает в томике Толстого всего 18 страниц. И хотя автор «Посмертных заметок» вроде бы однозначно принимает на веру преобразование императора Александра I, сам Лев Николаевич, как человек, такой доверчивостью не страдал.

Уже незадолго до кончины писателя, в июне 1910 года к нему в гости наведился сибирский скопец Григорьев, и вновь разговор зашел о Феодоре Кузьмиче.

Григорьев сообщил:

— У нас вполне в ходу, что Александр в виде старца Феодора Кузьмича продолжал жить в Сибири, а вы, Лев Николаевич, в это не верите.

И вот здесь примечательно, что в ответ сказал-спросил Толстой:

— А как же он подменился?

Скептический реалист Толстой в этой легенде самым уязвимым считал момент подмены: что там ни говори, трудно императору в России стать простым старцем и существовать в этом виде почти четыре десятка лет. Художник Толстой, несомненно, пофантазирует на эту тему, реальный человек Толстой понимает несостоятельность такого события.

Меня, когда я заинтересовался легендой о беглеце-императоре, привлекал в его гипотетическом поведении всего лишь один ход сюжета: что повлекло Александра I в Сибирь? Не куда-нибудь, а именно в Сибирь. И пока я не знал «легендарных» фактов, размышлял так, как и многие другие русские люди: странник искал в моей стране поприще для счастливо-праведной жизни, для таковой не годились иные отечественные и заморские пространия и земли, только и исключительно Сибирь. Не порченная. Чтящая человека. Соблазнительно было представить, что император, опережая своих оппонентов-декабристов, первым подался в Сибирь и таким образом явился как бы первым и добровольным в этом ряду «во глубине сибирских руд» противников бесчеловечной системы.

В легенде все оказалось не так и гораздо проще. Странник Феодор Кузьмич «вплывает» в историю только в 1836 году, и если брать на веру, что это бывший император, следовало бы спросить, где беглец пребывал 12 лет после 1825 года. Сие неведомо. В 1836 году странник оказывается в Перми, в Сибирь он вовсе не стремится, попадает туда не по своей воле. Феодор Кузьмич привлек внимание красноуфимского урядника, несмотря на все несоответствие своего все еще респектабельного вида, упорно отказывался называть свое подлинное имя, предлагая, чтобы его считали бродягой, не помнящим родства. За бродяжничество предполагаемый император получил 20 ударов плетей и этапом доставлен в деревню возле Ачинска. Сибирские скитания — деревеньки и заимки на пространстве от Красноярска до Томска, в последние годы под опекой томского купца Семена Феофантьевича Хромова, пожалуй, более других сделавшего для распространения легенд о великом благословенном старце.

Кстати, рационалист начала прагматичного XX века, автор книги «Легенда о старце Феодоре Кузьмиче» считает своего героя если не полностью сумасшедшим, то душевнобольным и находит в его поведении многие симптомы душевного расстройства: видения, склон-

ность к перемене места жительства, скрытность, преувеличенное мнение о себе, аллегорическую речь, упорство в нежелании назвать свое имя даже перед смертью. Правда, болезнь выражена не слишком резко.

Можно предложить также, что старец Феодор был неплохим актером. В любом случае загадка остается: кем же в действительности был этот незаурядный, явно «благородного» происхождения сибирский Монте-Кристо до 1836 года, когда в Перми, побитый розгами, он начинает свой путь в Сибирь? Эту загадку следовало бы поразгадывать, потому что такое расследование попутно раскрывает многие другие, историками незамеченные, пропущенные, туманом лет приоткрытые сибирские тайны.

Томичи не забывают загадочного старца. Они пригласили на Алексеевскую гору главного научного сотрудника Грузинской Академии наук, специалиста по биолокации, а если по обыденке — лозоходца Галиси Шонию. Используя свои грузинские виноградные лозы и «неопознанные» приборы, Шония вроде бы обнаружил могилу старца. Правда, я бывал в Томске уже после лозоисследований, но никто мне эту могилу показать не смог. Может, лозоисследователи ее засекретили?

Шония обещал, что если ему будут предоставлены вещи старца Феодора и вещи императора Александра I, то по этим «резонаторам» он определит, кто же лежит в могиле на Алексеевской горе.

Пока же в ограде Петропавловского собора томичи установили деревянную скульптуру — поминальный столб: Феодор Кузьмич, но «под Александра».

Но...

Чем больше сведений и доказательств того, что старец Феодор Кузьмич никакой не император я узнаю, тем меньше мне хочется в эти упрямые факты верить...



Сибирские фантазии Жюль Верна

Парадоксы, возможные только в советской России: мы «закрывали» собственную литературу, забывали отечественных классиков, где они казались идеологически невыдержанными и даже умудрялись «кастрировать» и классиков мировой литературы. Кто бы мог подумать, но даже добродушный фантазер, любимец читателей-подростков оказался «репрессированным».

Самый неизвестный в России роман Жюль Верна, естественно, о России, мало того, о Сибири.

Первоначально Жюль Верн назвал книгу «Курьер царя», но потом осторожный издатель попросил назвать ее более нейтрально, и в свете книга известна как роман «Мишель Строгофф», или, если на русский лад, «Михаил Строгов».

Во Франции роман издали в 1875 году. Иван Сытин в России — в 1900. После этого сибирский «Мишель» не попадал даже в полные собрания сочинений Жюль Верна на русском. Вполне respectable исследователи жюльверновского творчества делали вид, что такого романа их любимый автор как бы и не писал.

Что же приводило в запретительный трепет как поклонников, так и оппонентов жюльверновского романа?

Сюжет, понятно, невероятный, ничего общего с российской действительностью не имеющий, писатель искусно моделирует ситуацию, чтобы провести через испытания своих вымышленных друзей.

Что же намоделировал в Сибири Жюль Верн? Пышно и буйно. Близко к развесистой клюкве, но, пожалуй, на это не стоит обращать внимания. Итак, в Сибири восстание, точнее — на владения русского царя в Сибири напали войска эмира бухарского и успешно, не встречая особого сопротивления, занимают сибирские города Ишим, Омск, Томск, Колывань, Красноярск; главная их цель — захватить Иркутск, столицу Восточной Сибири, где в это время находится брат государя, великий князь. Царский курьер, капитан Михаил Строгов, урожденный сибиряк, омич родом, получает лично от царя задание пробраться через охваченную войной террито-

рию и доставить великому князю в Иркутск личное послание. Царь предупреждает брата о грозящей опасности от предателя Ивана Огарева, главного советника эмира бухарского. Изменник в свое время был справедливо наказан великим князем.

Михаил Строгов царское задание не выполнил. Или выполнил? В пространстве авантюрного романа Михаил попал в плен, естественно, прямо к предателю Ивану Огареву, в Омске он узнал матерью, естественно, расшифрован, у него отобрано государево послание, он подвергнут казни — ослеплен.

Что после этого можно сказать? Выполнил царский курьер задание? Если вы поторопитесь со своим «нет», глубоко ошибетесь. В последний момент Михаил Строгов и предупредит государя, и убьет изменника Ивана Огарева, и спасет Иркутск от штурма. И как часто бывает — вскоре тут же женится на своей верной спутнице Наде, которая, естественно, нашла в Иркутске ссыльного отца, которого, понятно, великий князь пожаловал вольностью, ибо все ссыльные доблестно защищали Иркутск и были дарованы свободой.

До последней главы Жюль Верн не раскроет того, что Михаил Строгов не ослеплен раскаленной саблей, его спасли собственные слезы, когда он глядел на терзаемую огаревскими пытками мать. Глаза его лишь сильно опалены. Но читатель долго в неведении, как это слепец сутками напролет стремительно движется к Иркутску, преодолевает страшнейшие препятствия и в честном поединке убивает мерзавца Огарева.

Что-что, а интригу Жюль Верн ведет честно. Думаешь, как все это можно переваривать, но читаешь взахлеб.

Задаюсь вопросом, почему Жюлем Верном избрана местом повествования Сибирь?

Для прошловекового европейца что американские прерии, что южно-африканские пампасы, что сибирские таежные дебри — одно. Хотя...

Жюль Верн, как известно, фантаст, однако все его сибирские фантазии явно строятся на документальных источниках, вероятнее всего, французских справочниках по России. Жюль Верн дотошно, с педантичностью, непривычной для фантаста, добросовестно даже не пересказывает, а цитирует эти справочники.

Вот что, к примеру, мы прочтем у него о Тюмени: «22 июля к ночи наши герои прибыли в Тюмень. Этот город, известный своими литейным и колокольным заводами, представлял тогда необычайное оживление».

Об Иртыше: «Иртыш, одна из главнейших рек Сибири, берет начало в Алтайских горах и, протекая по направлению к северо-западу около семи тысяч верст, впадает в Обь. Вода была в описываемое нами время очень высока благодаря обильным дождям. Переправа производилась посредством парома, но быстрое течение очень затрудняло ее».

Читатель его авантюрного романа, который серьезных исследований не штудирует, узнавал кое-что, хотя бы немного и о далекой Сибири. Будем признательны Жюлю Верну. Это попутное достоинство.

В сибирских деталях Жюль Верн очаровательный лгун, милый лжец. Но сам автор и не собирался доказывать, что он бывал в Сибири, знает ее.

Жюль Верн неважный стилист, никудышный.

Хотя, понятно, я говорю лишь о русском переводе сытинского издания.

Его герои не люди, но функции. Надя — нежно-верная подруга, Николай — простодушно верный друг, Иван Огарев — злодей-мерзавец, Михаил Строгов — воплощение долга, Марфа Строгова — гражданско-материнское подвижничество.

В «Михаиле Строгове» уйма несуразностей, но ровно столько, сколько мог допустить средний европеец, никогда, как и Жюль Верн, не бывавший в Сибири.

Эти несуразности говорят об уровне европейских знаний о Сибири.

Читая «Мишеля Строгоффа», убеждаешься, что Жюль Верн правоверный, отчаянный монархист. Его роман можно назвать, как оперу М. Глинки «Жизнь за царя».

Цари и великие князья у Жюль Верна вне критики, чтимы, почитаемы, и вся интрига строится на верности государю.

Плохо это или хорошо? Можно ли говорить исчерпывающе определенно?

Присяга. Конституция. Государство. Монарх. Символы. А верность долгу — неплохое человеческое качество. Можно выбирать между символом и нравственностью.

Все это так.

Но Жюль Верн написал блестящий роман.

Все дело в герое.

Читающая Европа, прежде всего, понятно, дети и подростки — самая впечатлительная публика — наконец-то получили художественный портрет сибиряка.

Кто его писал раньше? Откуда было французу, немцу, англичанину знать, каков он, сибиряк?

Это сделал Жюль Верн.

Михаил Строгов, его фантастически канонический сибиряк, представал перед читателем, как верный гражданин, человек исключительного долга, нежный брат, чуткий сын, отважный офицер, заботливый мужчина, терпеливый человек.

Он вообще, сибиряк Михаил Строгов являлся европейскому читателю как человек без недостатков. Людей без недостатков не бывает. Но бывает идеал.

Михаил Строгов — идеал для читающего подростка. И самое существенное — это идеал сибиряка.

Еще разок будем признательны популярному французу: он избрал в идеалы не папуаса, не английского джентльмена, не благородного соотечественника, а курьера русского царя, урожденного сибиряка.

Советские переводчики за сибирский роман Жюль Верна не брались, и понятно почему. Коллизии и идеи были четко антисоветскими: откровенный монархизм, жизнь за царя, выдуманное восстание бухарского эмира, которое Жюль Верн к тому же почему-то именовал «татарским».

Интересно, что отклик роман Жюль Верна недавно получил в Армении. Критик Александр Толчяян счел необходимым вернуться к забытому роману, чтобы сделать вот такое резюме:

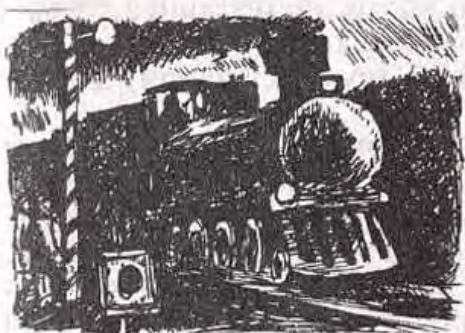
«Насколько этот сюжет «сказочен», можно судить, взглянув на нынешнюю карту России. Да разве только России? Как он будет

воспринят в этой политической обстановке? Ряд историков, в числе которых есть и армяне, утверждают, что «во внешней политике Турции партиоркизм уже долгое время не играет существенной роли. Как бы хотелось хотя бы нам, армянам, без оглядки поверить в эти слова! Но пора посмотреть правде в глаза. Тем более что предвидение великого фантаста — увы! — уже во многом сбылось. Чем все завершится? Сказать трудно. Многие могут со мной не согласиться. Даже после прочтения романа. Это их право. Но еще раз хочу напомнить, что сегодня в Турции в высококачественных типографиях размножаются и распространяются зеленые карты Великого Турана, где большая часть территории России — с запада на восток, с юга на север — окрашена в зеленый цвет. Карта раздается туристам... бесплатно, к сведению...».

Я полагаю, что мнение политически пристрастно, но не безынтересно.

И еще одна деталь. Я собираю высказывания русских классиков о Сибири, все, что они о ней говорили. С Тургеневым у меня выходил пробел, как бы о Сибири Иван Сергеевич так ничего и не говорил. Но он вспомнил Сибирь, как раз разбирая достоинства сибирского романа Жюль Верна. Оказывается, Жюль Верн действительно просил своего издателя показать роман именно Тургеневу. Тургенев «Мишеля» прочел. Помимо нескольких полезных советов, сделал существенное замечание: захват России тюрко-татарскими племенами более чем неправдоподобен. «Книга Верна, — пишет И.С. Тургенев издателю, — неправдоподобна, но это неважно: она занимательна. Неправдоподобие заключается в нашествии бухарского хана на Сибирь: в наши дни это все равно, как если бы я захотел изобразить захват Франции Голландией».

Известно, что Иван Сергеевич принадлежал школе реалистического письма и, наверное, политическо-художественные фантазии французского современника пришлись ему явно не по вкусу. Да и степень европейской цивилизации наш парижский барин явно преувеличивал: первая мировая война уже была не за горами.



Император-памятник в кондукторском мундире

Было это достаточно давно, но впечатление сохранилось зримо. В центре Ленинграда, тогда еще Ленинграда, но где-то на задворках каких-то немислимых знакомые показывали мне памятник императору Александру III — творение знаменитого немного русского итальянского скульптора Паоло Трубецкого. На лошади, на основательном таком битюге сидит еще один битюг-император, тяжелый, широкий, задастый и вовсе не в императорской форме, да и вряд ли в императорской позе. Советские официальные критики считали, что княжеский отпрыск Паоло Трубецкой проявил в памятнике-истукане революционный демократизм и якобы скульптурной формой сатирически изобразил самодержавие.

Впечатление вряд ли однозначное производил памятник, но вряд ли пылкого Трубецкого тянуло на сатиру. Да и почему советские власти это скульптурное изобличение самодержавия передвинули куда-то на задворки?

Не отвечало задачам дня — пустили бы на чугунные сковородки, отвечало — оставили бы на старом месте.

Нет, все неоднозначно. И отношение большевиков. И скульптор Трубецкой. Паоло. И, наверное, сам император.

А мне запомнился его чугунный мундир. Совершенно какой-то не императорский. Совершенно.

Недавно читаю воспоминания Василия Шульгина, крупного общественного деятеля времен свержения российского самодержавия и Февральской революции.

Шульгин мимоходом, вспоминая старого императора, замечает, что Александр III действительно на памятнике одет не в приличествующую порфиру, а в форму кондуктора железной дороги.

Отчего бы?

Оказывается, на памятнике, когда его устанавливали, имелась надпись, тоже неординарная: «Создателю Великого Сибирского Пути».

Мы-то считаем, что этот путь проложен в эпоху другого царя — Николая II, сына. Современники знали истинного автора, но Сибирь Александра III не помнит напрочь.

Репутацию ему большевистские историки создали одиозную: большого реакционера в российской истории вроде и не существовало. Александр Блок, вспоминая его эпоху, не преминул упомянуть про простертые над Россией «совиные крыла».

Но чем этот реакционный император нравился явному демократу Шульгину?

Слова из шульгинского письма: «Потомки наши поставят на могиле Александра Третьего глиняный горшок(!). В нем будет вода, чистая, как слеза дождя. И в той воде неумирающая красота скромной природы — трехцветная, как знамя России: белые ромашки, синие васильки и красные полевые маки. На той глиняной вазе надпись золотом — «Царю-миротворцу от русских матерей». Он никогда не воевал. Он гнул железные подковы и проложил путь от Балтийского моря до Тихого океана длиной в одиннадцать тысяч километров. Надо было ехать одиннадцать суток поездом, а пешком пути три года. И стоил билет за проезд одиннадцать рублей».

Вся-то и штука в том, что русский человек помнит и ценит своих безумных, грозных, воюющих владык, жизнь которых — сплошной подвиг крови. Пролитой русской крови. Этих мы не забудем и, к несчастью, любим и ценим.

Не воюющий, мирный царь — да какой же он, к черту император!

Но давайте вспомним хотя бы не императора даже, а создателя Великого Сибирского пути.

Нас учили плохо относиться ко всем царским министрам, в том числе к премьер-министрам. Ну кем они могли быть в нашем пролетарском сознании: царские сатрапы, клеветы, деспоты, недоумки, мало их постреляли отважные террористы — народные мстители — народники и эсеры.

Граф Витте в капитальную историческую ревизию не попал, возможно, из-за не вполне русской фамилии, возможно, по иным причинам. Но в российской истории он явно гигантская фигура в совокупности сделанного. Правда, граф старался не воевать, на его счету сугубо мирные дела и блестящие перемирия — качества, не особо ценимые в русской истории.

Великий Сибирский путь — дело жизни Сергея Юльевича Витте. Он был председателем Совета Министров, блестящим министром финансов, но начинал железнодорожным инженером, а крупную госслужбу начинал с министра путей сообщения.

Когда в 1913 году Россия стала мировой державой, по существу не имевшая сильных конкурентов, кто привел ее к этому взлету, естественно, помимо русского народа? Подвиг царского премьера не стоило бы забывать.

Народному телу всегда требуется не глупая — последняя история нас в этом убеждает, не правда ли? — весьма не глупая голова.

Отправленный в отставку, не оцененный современниками граф Витте в возрасте 62 лет сел за мемуары, которые составили три тома.

Из этих воспоминаний несколько фрагментов об императоре Александре III — создателе Великого Сибирского пути:

«Я не стану спорить о том, что император Александр III был человеком сравнительно небольшого образования, можно сказать, он был человеком ординарного образования. Но вот с чем я не

Гайнанова Людмила Николаевна
родилась в 1946 году в Чувашии. Окончила художественно-графический факультет Чувашского педагогического института.

Работы находятся в частных коллекциях США, Канады, Франции, Германии.

Живет и работает в г. Козьмодемьянске.



Торжество



Молитва о лужде



Единство

Бабье лето



Страж ночи



Плач белого волка



Весенний букет

Атосымтис



Первый снег

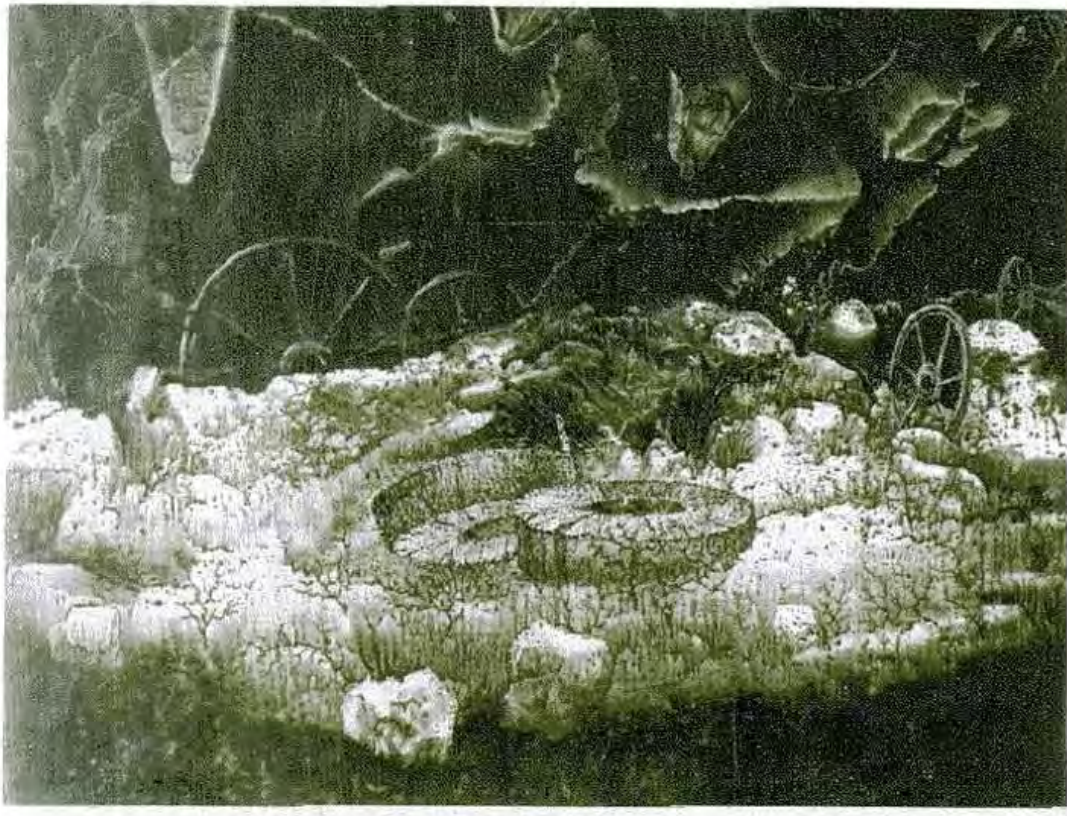


Светлой грусти ожидания



Миснэ

Колесницы времени



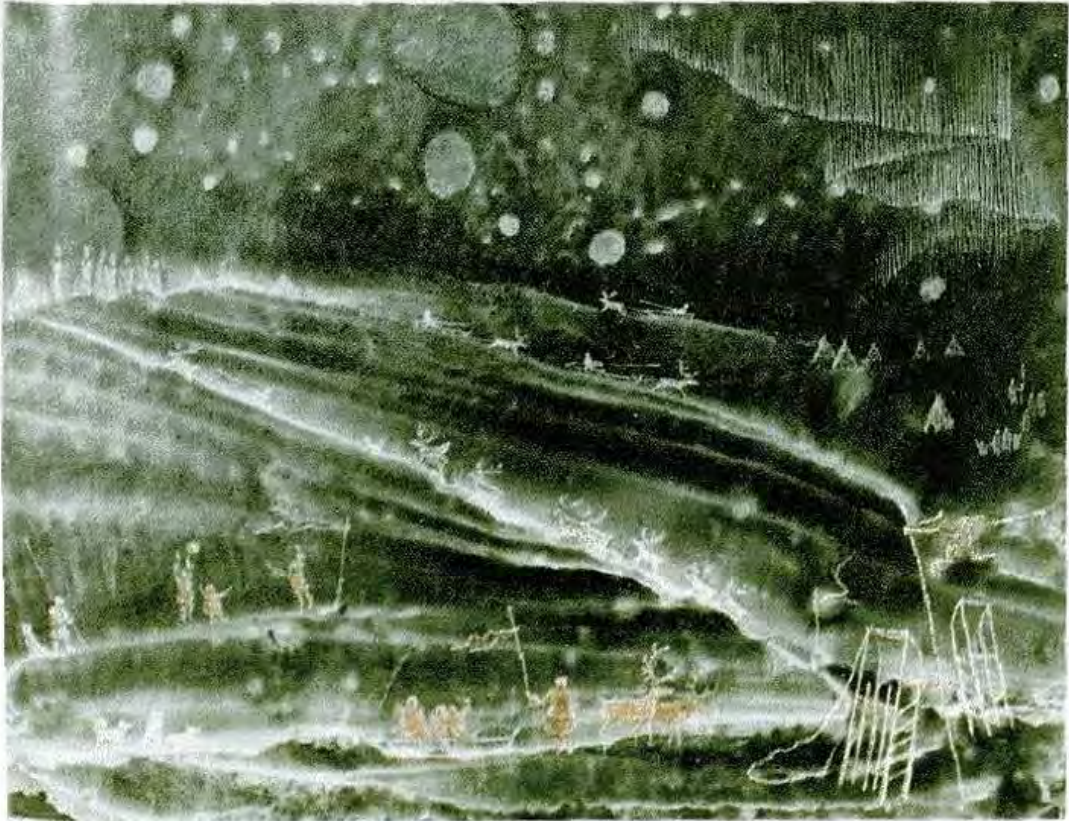
Короткое лето цветов

Пробуждение света



Поющие Югра древняя

Путь в горы. Пейзаж



Дорога вверх

Прощание с летом



Светлое сияние

Стоящее время



Старый сад и туман



Пробуждение

Белые камни



Сорни-най



Тайга зимняя

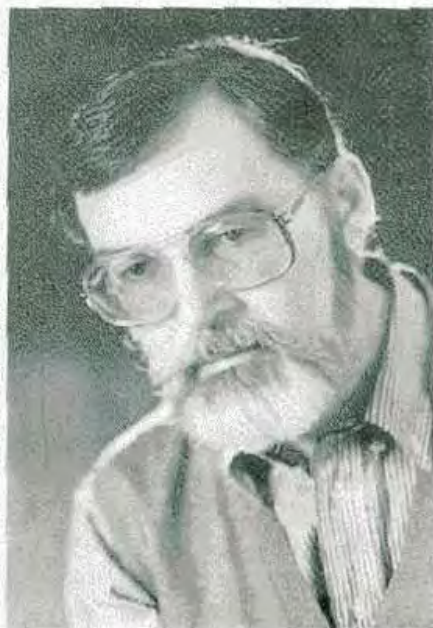


Хантыйская мадонна

Гайнанов Айрат Даянович родился в 1945 году в г. Уфе. Окончил художественно-графический факультет Чувашского педагогического института, затем ИТК в Московском высшем художественном промышленном училище (бывшем Строгановском).

Работы находятся в частных коллекциях США, Канады, Франции, Германии, Греции, Турции.

Живет и работает в г. Козьмодемьянске.



Над озером

Осень. Туман



Первый снег в Коголыме

могу согласиться и что часто мне приходилось слышать, это с тем, что император Александр III не был умным».

Сам миролюбивый политик, творец по натуре, человек, которому для дел, замыслов и задумок требовалось исключительно мирное время, граф Витте больше всего ценил эти качества и в своем патроне:

«Главнейшая заслуга императора Александра III в том, что он процарствовал 13 лет мирно, не имея ни одной войны, но он дал России эти 13 лет мира и спокойствия не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью».

Мемуарист Витте о заслугах императора Александра III в сооружении Транссиба:

«Когда я сделался министром путей сообщения в феврале 1892 г., то во время одного из моих первых докладов император Александр III высказал мне свое желание, свою мечту, чтобы была выстроена железная дорога из Европейской России до Владивостока. Поэтому когда я был министром путей сообщения и затем когда я сделался министром финансов, как во время царствования императора Александра III, так и после его царствования я усердно проводил эту мысль о сооружении Великого Сибирского пути и, насколько прежние министры задерживали это предприятие, настолько я, памятуя заветы императора Александра III, старался как можно быстрее осуществить этот путь.

К сожалению, его все-таки не удалось окончить в царствование императора Александра III, и соединение Владивостока с Москвою посредством этого Великого Сибирского пути совершилось уже в царствование императора Николая II».

Опытный царедворец императорский премьер Витте умел устроить так, что российские монархи увлекались его замыслами. Грандиозное дело Транссиба могло быть похерено после неожиданной смерти Александра III: гигантские инвестиции, масса хлопот. Но Витте своевременно сумел реализовать одну свою счастливую мысль. Она, право, стоила многого, и сам граф ею гордился. Александру III он предложил наследника Николая назначить главой строительства Транссиба. От личностей всегда многое, если не все, зависит.

«Я говорю, что эта моя мысль была чрезвычайно счастлива, потому что наследник цесаревич очень увлекся этим назначением, принял его близко к сердцу; когда он сделался императором, то сохранил за собою звание председателя Сибирского комитета и все время интересовался этим делом».

Витте писал свои мемуары в 1911 году, до Февральской революции и краха империи он не дожил, но, как ни парадоксально, многое предчувствовал и первым связал роковую роль Сибири в жизни Николая II.

«Наследник тем охотнее предался своей роли председателя Сибирского комитета, что вообще Дальний Восток как будто бы был судьбой связан с личностью цесаревича, а затем и императора Николая. Здесь какой-то фатум».

Исторический фатум в конце концов привел Николая II в Тобольск, а потом в расстрельный Екатеринбург.

Транссиб и сегодня много значит для сибиряков и дальневосточников. Второй Транссиб — БАМ — у большевиков не получился даже за 70 лет их режима. Будем помнить тех, у кого получилось, не будем кривить своей классовой душой — получилось блестяще.



Место поэта предопределено

В русской литературной классике все давно и прочно трудами неусыпных пиетистов ранжировано — раз и навсегда. Но все-таки существует понятие — великие второго ряда. Подвижки изредка происходят. Из второго ряда в классики отечественной литературы незаметно передвинулся, скажем, великий Федор Тютчев.

К великим второго ряда смело отношу Иннокентия Анненского. Единственного, кстати, сибиряка, среди признанных в Пантеоне русской классики. Анненский родился в Омске, но с Сибирью, к сожалению, не ассоциируется: прожил здесь всего четыре детских года. А еще потому, что жизненно связан с Царским Селом. Его почитатель и, наверное, ученик, тоже великий второго ряда, Николай Гумилев посвятил его памяти стихи, где точно определил географию почитания.

*К таким неожиданным и певучим бредням
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
Из царскосельских лебедей.*

Еще одна оценка: замечательный русский поэт Всеволод Рождественский таким запомнил царскосельского мэтра.

«Явление этого поэта чрезвычайно значительно для русской поэзии, не говоря уже о личном его очаровании.

А современники об этом и не подозревали. Был Иннокентий Федорович директором классической гимназии, выдающимся педагогом, тонким знатоком античной древности, переводчиком Эврипида, автором научных статей в «Журнале Министерства просвещения» — и только. В чиновничье-бюрократической среде того времени ему приходилось тщательно скрывать то, что он был поэтом. «Подумайте — директор классической гимназии, действительный статский советник и пишет декадентские стихи!..».

Несмотря на свой изысканно-стилизированный внешний облик (под поэтов пушкинской эпохи: длинный сюртук, мягкий галстук, небрежная прядь, спадающая на лоб, подчеркнутая изысканность

и точность всех движений). Ин. Ф. в сущности был очень добрым, сердечным и главное — простым в обиходе человеком, конечно, только в своей среде. Это мне говорила в свое время моя мать, с которой он дружил. Но в официальной обстановке И.Ф. был подчеркнута сух и официален, как и подобает директору, и мало кто знал его настоящую душу».

К сожалению, сибирское детство — «белое пятно» в биографии великого поэта. Хотя впоследствии юноша Анненский расскажет в автобиографии: «...Первые годы жизни оставили в памяти моей чрезвычайно слабое впечатление. С тех самых пор, как я ясно начинаю себя помнить, я рос слабым, болезненным ребенком. Учение давалось мне легко, и, выучившись читать, под руководством моей старшей сестры принялся я за чтение книг, доступных моему возрасту и развитию. Обстановка, среди которой я рос, вероятно, оказывала большое влияние на развитие во мне ранней охоты к чтению: я рос почти без товарищей, среди людей, которые были старше меня; надзор за мной тоже был преимущественно женский».

В Омске великого земляка не помнят почти.

Может, не время поэтов?

Может.

Доктор филологии, профессор местного университета, знаток литературной жизни Сергей Поварцов, который, солидно поколебавшись, согласился на разговор, разводит руками:

— Ну, мало, мало он здесь жил. Как и Врубель, несколько детских лет. Хотя, безусловно, каждый культурный омич имя Анненского знает. Я иногда шучу: Омск — родина русского модернизма. Ведь такие величины — Врубель—Анненский.

Поварцов пишет литературную часть «Омской Энциклопедии». Ему удалось разыскать метрическую книгу Соборо-Воскресенской церкви за 1855 год. Священник занес имена родителей: Наталья Петровна и главного управления Западной Сибири статский советник Федор Николаев Анненский.

— Мне жаль вас разочаровывать, — сокрушается Поварцов. — Но только место рождения. Что его еще связывает с Омском? Но, понятно, сибирское... отечественной классики.

Литературовед Александр Федоров считает, что сибирские воспоминания Иннокентия Анненского были затуманены опасной, длительной болезнью, которую поэт перенес в пятилетнем возрасте:

«Архивные находки последнего десятилетия показали отрочество и юность Анненского совсем не в том виде, — сообщает Федоров, — как это представляли себе на основании прежних сведений писавшие о жизни и творчестве поэта. Открывшаяся невеселая картина объясняет, почему Анненский (не писавший мемуаров и не ведший дневников) почти не возвращался к воспоминаниям ранней поры ни в стихах, ни в письмах и почему он, вполне возможно, не делился своими воспоминаниями с женой и сыном. В его лирике исключение составляют только мимолетная реминисценция в стихотворении «Далеко-далеко» («Давно под часами, усталый, Стихи выводил я отцу») и элегическое стихотворение «Сестре», обращенное к жене старшего брата Николая Федоровича Александре Никитичне Анненской. Эти двое — брат и его жена — на всю жизнь остались для поэта душевно близкими людьми.

...Этой женщине принадлежит сакраментальная фраза:

— А нам и без любви было хорошо!

Не согласимся. Категорически. Абсолютно.

Но примем к сведению, что были в истории России времена, когда женщины гордились, что им с мужчиной было хорошо и без любви.

Странная страна Россия. Идеология здесь часто довлела и душила естественные чувства.

Впрочем, пожалуй, это не особенность единственно России. Душевный и телесный аскетизм везде в чести и моде. Может быть, помянутая фраза просто шокирует своей откровенностью. Но в те времена, когда разночинная интеллигенция страстно обожала родной народ и только ему дарила свою любовь, подобное признание в отсутствии любви, пожалуй, было нормой.

Кто же эта женщина? Речь идет, да-да, об Александре Никитичне. Это она категорично безлюбовна.

Александра вышла замуж за старшего брата Анненского — Николая в 1866 году. Знакомец семьи Корней Чуковский подчеркивал: «Из-за житейских, бытовых мелочей у Анненских никогда не было никаких столкновений. Спорили они обо всяких идейных, главным образом социальных вопросах и, конечно, невзирая на все эти бурные распри, дня не могли прожить друг без друга».

«Робинзон Крузо», «Маленький оборвыш», «Приключения Гекльберри Финна» — Анненская пришла к юным читателям России сначала с этими переводами детской классики. Впрочем, она переводила и «Историю философии в биографиях» и «Историю крестьянской войны в Германии». Правоверная народница, она свято верила в преобразующую мощь просвещения. Потом были книги — биографии о Гоголе, Джордже Вашингтоне, Фритьофе Нансене, Диккенсе.

Николая Федоровича за либеральную деятельность сослали на родину младшего брата — в Сибирь. Как и положено страстной общественной деятельнице, Александра Никитична поехала вслед за мужем.

Мемуарным запискам «Из прошлых лет», которые в конце своей богатой жизни опубликовала Анненская, мы обязаны скуповатым, но интересным заметкам о Тюмени начала 80-х годов.

«В тюменской пересыльной тюрьме... свидание нам дали в канцелярии, большой грязной комнате, где сидели помощник смотрителя и несколько писцов. Муж, по-моему, похудел и побледнел, но был, как всегда, весел и оживлен. Он расспрашивал нас о нашем путешествии и сам с восторгом говорил о Волге, которую видел первый раз в жизни. Слушая его, никто не подумал бы, что он любовался живописными берегами и наслаждался пением соловьев из-за решетки арестантской баржи.

О своей жизни в Тюмени он говорил с добродушным юмором, хотя нетрудно было догадаться, что условия этой жизни ужасны.

— Пустяки, — уверял муж, — неужели человек, царь природы, может поддаться какой-нибудь блохе и не спать из-за того, что она кусается!

Ко всем этим неприятностям присоединилась еще одна, и немалая — голод. Денег на дорогу всем позволяли взять с собой очень мало, и то немногое, что у них осталось, они в Тюмени отдали товарищам, уже отправленным в Восточную Сибирь. Сами они принуждены были довольствоваться весьма скудным казенным пайком.

— Ты, конечно, привезла с собой денег? — спрашивал у меня муж на первом же свидании. — Вся камера ждет тебя! Мы завтра же у баб купим шанег и печенки. Закутим!

Я решила: ничего не говоря мужу, послать прошение губернатору. Я с волнением ждала ответ. Он пришел дней через десять. Губернатор отвечал отказом на мою просьбу, ссылаясь на то, что по закону административно-ссылные не имеют права жить в губернских городах, и в то же время сообщал, что назначает местожительством мужу город Тару.

Тара! С этим именем у меня не соединилось ровно никакого представления. Я посмотрела на карту. Слава богу, город лежал не севернее Тюмени».

Следует кратко сказать о невольном тюменском сидельце Николае Федоровиче. Старший брат великого поэта, как признавался сам Иннокентий, оказал на него не просто братское, но и нравственное, и мировоззренческое влияние. Николай Федорович оставил след не только в революционно-декабристском движении, видный публицист народнического толка, он создал солидные труды по экономике и статистике. Еще недавно старшего Анненского чаще поминали не как самостоятельную величину, а лишь потому, что на его труды обильно ссылались в своих революционных антикапиталистических изысканиях В.И. Ульянов, будущий Ленин.

И хотя большевики народников, мягко говоря, недолюбливали, если не презирали, Николаю Анненскому ленинская «Правда» посвятила вполне сочувственный некролог. Это был человек, которого нельзя было не уважать. Максим Горький посвятил ему красивый очерк. Николай Федорович был другом и публицистическим соратником, сотрудником другого великого русского писателя В.Г. Короленко. В короленковской «Истории моего современника» его имя поминается нередко. Вот встреча думающих интеллигентов того времени.

«... — Кого это бог нам дает, Ипполит Павлович? — спросили мы у зрителя.

— Привезут с поездом... надворного советника.

Этот надворный советник оказался Николаем Федоровичем Анненским.

В нашу камеру он вошел с улыбкой и шуткой на устах и сразу стал всем близким. Какая-то особая привлекательность, беззаботность веяла от этого замечательного человека, окружая его как бы светящейся и освещающей атмосферой».

Тюмень, точнее тюменская тюремная пересылка свела воедино этих незаурядных людей — чету Анненских и Владимира Короленко.

Хочу закончить эпизодом, где Александра Никитична вспоминает свой разговор с мужем:

«Мы с ним (с мужем Николаем) пожалели бедное «старое поколение», которое не знало между мужчиной и женщиной никаких отношений, кроме любовных. А нам без любви было хорошо!».

Мемуары Анненской изданы уже после смерти мужа — она пережила его на три года. Николай Федорович ничего уже не мог возразить. Зная, как они жили, как поддерживали друг друга, верили, были верны, можно утверждать, что хорошо им было именно поэтому, что все это и называется любовью. Только Александра Никитична в традициях своего времени, кажется, стеснялась самого слова «любовь». Эпоха была такая, время — и заблуждения не то временные, не то эпохальные. Но мы не будем заблуждаться, как истинные народники: если мужчине и женщине хорошо вместе целую жизнь, как же это и назвать, если не любовь.

Впрочем, любовь такое чувство, что словами всего не выскажешь. Сердца говорят... А это другой язык.

Детская писательница Анненская была старше Иннокентия на 16 лет. Все, кто знал об их отношениях, отмечали ее поистине материнскую нежность. Иннокентий считал ее сестрой.

Сестре (А.Н. Анненской)

*Вечер. Зеленая детская
С низким ее потолком.
Скучная книга немецкая.
Няня в очках и с чулком.
Желтый, в дешевом издании,
Будто я вижу роман...
Даже прочел бы название,
Если б не этот туман.*

*Вы еще были Алиною,
С розовой думой в очах.
В платье с большой пелериною,
С серым платком на плечах...*

*В стул утопая коленами,
Взора я с вас не сводил,
Нежные, с тонкими венами,
Руки я ваши любил.*

*Слов непонятных течение
Было мне музыкой сфер...
Где ожидал столкновения
Ваших особенных р...*

*В медном подсвечнике сальная
Свечка у няни плавает.
Милое, тихо-печальное,
Все это в сердце живет...*

Может, это не лучшее из поэтического классика — великого второго ряда Иннокентия Анненского, но в этих строках незримо, подспудно, но ощутимо присутствует и детская Сибирь.

Сибирские круги Дантова ада

В знаменитой Флоренции, в знаменитом антропологическом музее хранятся материалы, на которых помечен адресат, откуда они доставлены, — «село Мужы».

Когда и каким образом попали туда антропологические образцы из небольшой деревушки с берегов нижней Оби?

Проводить длительные поиски, чтобы ответить на этот вопрос, не придется: дотошные работники музея, понятно, сохранили имя того, кто привез во Флоренцию уникальный материал. Это итальянский ученый Стефано Соммье, первый итальянец, который добрался до северных ойкумен Тобольской губернии. Случилось это более века назад.

Любознательные иностранцы часто стремились в такие экзотические края, как Полярный Урал. Скромные русские путешествен-

ники обходились небольшими путевыми заметочками в малоизвестных «вестниках», заморские гости чаще всего раздражались пухлыми томами. Найти их книги нетрудно: в лучших российских книгохранилищах, пожалуй, есть все, что посвящено нашей стране, даже если и издано далеко — русские ученые всегда внимательно следили за тем, что о любимой России пишут их зарубежные коллеги. Иначе обстоит дело с книгой Соммье. Из всех известных мне библиотек приходил отказ — книги не имелось. Редкие же замечания, оброненные русскими современниками Соммье, только возбуждали любопытство.

«В 1880 году итальянец Соммье пытался пробраться по Войкару до Урала, но отказался от своего намерения, встретив трудности, которые показались ему непреодолимыми».

Еще один историк Сибири отмечает, что Соммье сделал ценные флористические и ботанико-географические исследования в низовьях Оби и на приобской низменности у деревни Лабытнанги:

«Для развлечения Баянус стал показывать остякам рисунки из путешествий Соммье, побывавшего в этих местах. Невозможно описать их восторг, когда они узнавали в картинках лица своих соплеменников, или предметы своего быта.

— О, йемас, йемас! (хорошо, хорошо!); саходлабот! (тальник) — и тому подобные восклицания исходили из их уст, когда они узнавали знакомый предмет».

Цитата приведена из опубликованного отчета экспедиции тобольского золотопромышленника Сыромятникова.

Упомянувшийся Баянус — один из спутников сыромятниковского горного штейгера Кольштедта, но в данном случае он интересовал меня как обладатель книги Соммье. Это было пока единственное упоминание о том, что итальянец издал сибирские путевые записки, мало того — с иллюстрациями. Но где и когда? Да и в том, что он итальянец, еще предстояло убедиться, единственное подтверждение: остячек он называет «доннами», как это принято у жителей Аппенинского полуострова. Кольштедт столкнулся с двумя людьми: самаровский крестьянин Василий Трофимович Земцов помогал итальянцу, а мужевский обыватель Петр Филиппов сопровождал его в путешествии, как выясняется, не совсем удачно, к отрогам Полярного Урала. Книга, судя по репликам Баянуса, носит этнографический характер, но и дореволюционные и советские этнографы, которые дотошно не пропускают ни одного письменного свидетельства об аборигенах Сибири, почему-то не ссылаются на Соммье. Но книга несомненно существует, и, надо полагать, Баянус был не единственным ее обладателем.

В таких случаях всегда начинает казаться, что именно в недоступном таинственном фолианте написано то, что не найдешь ни у кого другого. Хотя логика подсказывает, что за прошедшее-то столетие, наверное, были не менее любопытные люди, которые интересовались тем же самым и имели больше возможностей выйти на «таинственного Соммье». Привлекало и то, что он, скорее всего, был первым итальянцем на Полярном Урале. Поздновато добрались латиняне до Рифейских гор, но все-таки добрались.

Случай помогает тем, кто ищет. Следы книги Соммье обнаружили совершенно неожиданно. Елена Александровна Селиванова-Городкова, вдова известного советского геоботаника, уроженного тоболяка Городкова, как-то в разговоре упомянула, что

ее муж Борис Николаевич в голодные послереволюционные годы выменял на продукты у старого петроградского профессора увесистый том, и это было именно «Соммье». Интерес Городкова к книге понятен: он как раз собирался в экспедицию на Полярный Урал и в книге искал «ценные флористические и ботанико-географические» описания. Но позднее щедрой души человек Городков передал уникальную книгу в библиотеку Ботанического института Академии наук, считая, что редким изданием должен пользоваться не только один он, но все, кто занимается изучением Урала. Позднее книга оказалась в Ленинградской библиотеке Академии наук. И вот я держу действительно увесистый том, волнуясь при мысли, что он единственный в нашей стране. Книга Стефано Соммье «Путешествие в Сибирь к остякам, самоедам, зырянам, татарам, киргизам и башкирам» издана Эрманом Лохером в Турине в 1885 году и действительно хорошо иллюстрирована репродукциями с картин тобольского художника Михаила Знаменского и фотографиями Маззанти. Итальянский читатель из книги узнал много нового для себя и о сибирском Севере, и о Северном Урале. Однако все, что касается горно-полярных краев, здесь эрудированный итальянец обошелся цитатами: он ссылается на венгра Антала Регули, финна Александра Кастрена, русских исследователей Эрнста Гофмана, Александра Шренка, Мариана Ковальского, практически не сообщая ничего нового от себя. Но понимая, что открывает для земляков новую страну, дает экономические справки, этнографические описания народов Северного Приобья, исторические выкладки по древностям Тюменского Севера и даже предлагает реестр метеорологических сводок. Итак, ничего сенсационного «загадочный» Соммье не сообщает, однако значение его труда понятно — ведь это еще одно достоверное свидетельство любознательного путешественника, расширявшего границы известного мира. Пусть не особо, как выясняется, загадочный — Соммье открывал северную Сибирь только для итальянцев, но в истории культуры первые очевидческие свидетельства ценятся особо.

Для меня же Соммье навсегда остался фигурой привлекательной, и когда, впрочем, редко, я встречаю его имя, всегда делаю выписки. После знакомства с его книгой сведений добавилось немного, но кое-что они в личности исследователя сибирского края проясняют.

Постоянно упоминает имя итальянца автор брошюры об Обдорске священник Василий Герасимов. Сдается, что он с Соммье встречался именно в Обдорске. Книга Герасимова издана в Тюмени в 1909 году. Автор-священник очень точно определяет время нахождения ученого гостя: «В 1880 году, 10 августа и 29 июля, посетил Обдорск итальянский антрополог Ст. Соммье».

Герасимов в той же брошюрке опровергает ученого оппонента: «Итальянец Стефано Соммье, посетивший Сибирь и Обдорск в 1880 году, уверяет (однако), что Обдорск основан был еще при Иоанне III и именно во время великого похода 1499 года, когда воевода Курбский взял 32 городка, одним из которых был будто бы Обдорск».

Герасимов комментирует: «Экспедиция кн. Курбского не достигла Обдории и, следовательно, мнение Соммье ошибочно».

Действительно, Обдорск основан, как минимум, на век позднее, может, в 1593 году, а точнее — 1595-м.

Откуда у Соммье такие сенсационные сведения — Герасимов не определил. Скорее всего, такие сенсации от скоротечности экскурсий и незнания российских исторических условий.

А теперь время вспомнить одну памятную для меня встречу в Сыктывкаре.

Каких только встреч не бывает на конгрессах!

Оказалось, что на финно-угорский конгресс в Сыктывкар приехал его соотечественник, молодой лингвист Данило Генно, причем приехал с докладом именно о Соммье, о его вкладе в изучение финно-угорских народов.

И тогда меня заинтересовал сам веселый, приземистый бородач Данило Генно. Оказалось, что он в Падуанском университете начинал как русист, но потом из Венгрии в Падую приехал профессор, так началось увлечение венгерским языком, потом финский, потом «немножко», как говорит Данило, мордовский, мансийский, коми, марийский. Сегодня он — профессор философского факультета университета во Флоренции, правоверный финно-угровед.

Что его привело в финно-угристику? «Любовь к далеким странам, — отвечает Данило, — думаю, что у каждого итальянца в крови эта немножко романтическая любовь к далеким странам».

— Интересной личностью был Стефано Соммье? — поинтересовался я у ученого бородача.

— Соммье родился во Флоренции, но во французской семье, впрочем, чувствовал себя всегда итальянцем. Он прожил во Флоренции до самой смерти. Ботаник он очень известный в Италии, коллеги посвятили ему название двух растений — соммьера и соммьерелла.

Кстати, как всякий человек, близкий к природе, он прожил долгую жизнь, чуть-чуть не дожид до 75 лет.

— А что побудило его пробираться в край суровый, холодный, за Полярный круг?

— Полагаю, что он знал — не такая уж и дикая Сибирь. Простое любопытство: он ведь не просто ботаник, показал себя и как лингвист, антрополог, этнолог. В молодости он прочел книги Кастрена и Регули. Он из этой породы подвижников, романтиков, влекомых Полярной звездой. Соммье очень любил северные районы, хотел увидеть своими глазами, что действительно есть там.

— Романтичность натуры сочеталась у него, насколько я понимаю, с капитальной основательностью исследователя.

— Хотя он ведь родился в 1848 году, и к сибирскому путешествию ему исполнилось 32 года. Очень еще молодой.

— Только в молодости и предпринимать сибирские путешествия.

— Да, только в молодости. Но он путешествовал не только по Сибири, бывал в Финляндии, Лапландии.

— Сеньор Генно, последний вопрос: не хочется ли вам повторить маршрут вашего земляка Стефано Соммье? Как я понял, у каждого итальянца есть некоторая романтическая любовь к дальним странам.

Данило раскатисто рассмеялся:

— Я бы очень хотел посмотреть эти прекрасные страны в Сибири, надеюсь, что однажды я тоже буду там, очень надеюсь.

Это было давно, когда Россия еще не так широко открывала двери ученому миру.

Правда, симпатичного бородатого итальянца Данило Генно я в наших краях так и не встретил. Что-то помешало? Пропала охота? Повзрослел и уже не тянет в «страны Сибири», как он с милым акцентом, ошибаясь, говорил?

Но, полагаю, еще одна фигура из нашего общего прошлого — Стефано Соммье — стала понятнее, а значит, ближе. Ничто так не сближает, как общее изучение общей нашей планеты, и нам всегда интересны те, кого влекут наши родные любимые места.

Казалось бы, точка поставлена. Но...

Ты чувствуешь себя первооткрывателем, может быть, первооткрывателем, да вдруг открывается, что твердая почва под твоими ногами — это дорога, давно найденная другими.

Может быть, надо начинать с ответа на вопрос — где?

У краеведов много добрых друзей. Хорошо осведомленная о моих поисках библиотекарь Надежда Коновалова разыскала «Сибирский сборник», изданный в начале века.

Предчувствовало же мое сердце!

Русские ученые старались все, что писалось о родине, доносить до читающего россиянина. Тюменский приват-профессор М.П. Головачев опубликовал в этом «Сибирском сборнике», по-современному говоря, дайджест книги Соммье, коротко обозначив его «Путешествие итальянца Соммье по Сибири».

Если бы знать...

А, впрочем, может, и к лучшему: когда не все и сразу, а по крохам, по крупичкам... Из тьмы былого, из мрака забвенья прорисовывается незаурядная личность.

Головачев прослеживает сибирские версты Соммье от Тюмени через Тобольск, Самарово и Березово к Обдорску и Полярному Уралу.

О чем только не рассказывает любопытный флорентиец своим итальянским читателям: это и раскопки Искера, мостовые Тобольска, гостеприимство сибирских рыбопромышленников, берега Оби, фауна и флора окрестностей Самарова, остяцкие кладбища и идолы, «объинородчивание» русских на Севере, древние чудские городки, посещение остяцкого князя, похищение черепов и даже приветствие путника собакам по-обдорски. Благодаря переводу профессора Головачева я могу познакомить вас с фрагментами этого давнего путешествия — итальянский взгляд на Сибирь конца XIX века.

«Вежливость властей относительно иностранцев, — замечает Соммье, — засвидетельствована всеми, путешествовавшими в отдаленных частях империи». К сожалению, Соммье не испытал вдобавок «блестящего гостеприимства богатых сибирских купцов», зато впоследствии он почти ежедневно пользовался гостеприимством обских рыбопромышленников, «и почти всегда находил среди них сердечный прием, сопровождаемый той любезностью и тем неизменным добродушием, которое свойственно русским всех классов и которое делает из них один из наиболее общительных и приятных народов, какие только существуют».

Приятно, что итальянский читатель уже с конца прошлого века знал, что сибиряки столь приятный народ.

Чего не скажешь о доброжелательстве других сибирских обитателей.

«Во время плавания комары, о которых итальянские комары не могут дать никакого понятия», составляли для Соммье положи-

тельно бич Божий; немало места посвящает он описанию страданий, которые они причиняли ему: никак нельзя было от них скрыться — неумолимый враг всегда находил какое-нибудь проницаемое место на всяких покрывалах, чтобы достигнуть своим жалом до самой кожи. «Наверное, — замечает путешественник, — если бы Данте путешествовал по Сибири, то из комаров он сделал бы новую казнь для своих преступников». Комары сильно препятствовали ботаническим экскурсиям: от них Соммье впадал «в какое-то бешенство и более ничего не видел и не понимал и стремглав бежал к лодке».

К чести Соммье добавим, что он с достоинством своего земляка Данте прошел сибирское чистилище и все круги комариного ада.

Соммье составил описание уникального праздника северных народов, ведь на Медвежий праздник мог попасть не каждый, тем более заморский путешественник.

Старинные книги можно цитировать бесконечно — нить времен ощущается всем человеческим нутром.

Труды итальянца, хотя они и были опубликованы только на родном языке исследователя, не прошли мимо внимания русских ученых. В ноябрьском выпуске за 1885 год большую рецензию на книгу «Путешествие в Сибирь к остякам, самоедам, зырянам, татарам, киргизам и башкирам» опубликовал «Журнал Министерства народного просвещения». «Что касается содержания книги, — писал рецензент, скрывшийся под странным псевдонимом И.В-в, — то смело можно сказать: немного найдется описаний путешествий, в которых, как в сочинении Соммье, наряду с живой передачей полученных впечатлений не только затрагивалось бы, но и с основательностью рассматривалось столько научных вопросов серьезных, и последнее обстоятельство представляется тем более важным, что... здесь писатель является с вполне солидной подготовкой».

«Из сведений, сообщаемых итальянским путешественником о бытовых явлениях в жизни сибирских инородцев, бывших предметом его наблюдений, укажем еще на рассказ об интересном обычае насильственного умыкания жен, практикующемся даже между крещеными остяками, и на описание виденного им крайне забавного в его своеобразии бала-маскарада у остяков».

Как мы помним, во времена Соммье у Салехарда официальное имя было Обдорск. Одну из страниц своего труда Соммье посвятил расшифровке этого названия. Разбирая происхождение имени города, он приводит и ненецкое название Обдорска, правда, по-итальянски это звучало несколько приблизительно — Солиа-Карн. По крайней мере его итальянские читатели могли искать на тогдашней карте не только Обдорск, но и загадочный Солиа-Карн — будущий Салехард.

А неправда ли, звучит-то как красиво: Солиа-Карн — почти солнечный город. А что? Ведь Соммье находился в Обдорске летом, а там тогда незакатное полярное и даже теплое солнышко, такого даже в солнечной Италии не случается.

Конечно, приедь он полярной зимой, впечатления у него, наверняка, получились бы другие.

И еще один любопытный штрих из путешествия итальянца. Вернемся в село Мужы.

Соммье пробыл на нижней Оби около трех месяцев — с июля по конец сентября. За это время он успел добраться до мыса Ям-

сале у входа в Обскую губу, посетил на полуострове Ямал два населенных пункта — Нипте и Гаротундо (к сожалению, итальянская транскрипция настолько исказила названия ненецких стойбищ, что их трудно сопоставить с действительно существовавшими тогда поселениями на полуострове Ямал). Соммье успел заехать также на реку Надым и побывал в княжеских юртах — нынешний поселок Горнокнязевск, где был принят тогдашним инородческим старшиной князем Василием Тайшиным. Предприняв небольшую экскурсию на Полярный Урал, итальянец долго работал в селе Мужы. Он считал, что зыряне, нынешние коми, это «германизированные финны», и находил в них большое сходство со скандинавами. «Сначала и мне самому это представлялось не менее удивительным, — писал Соммье в своих капитальных записках, — так как я не умел объяснить себе причину такого сходства между двумя народами, до такой степени удаленными друг от друга и различными по своему происхождению. Но впоследствии изучив, насколько позволяют имеющиеся данные, историю зырян, я убедился, что в старину действительно должен был совершиться процесс скрещивания зырян с норманнами».

Соммье предполагал, что этот процесс протекал довольно долго — с девятого по тринадцатый век, когда скандинавские варяги с военно-грабительскими целями проникали не только к Новгороду и на берега Белого моря, но и доходили до легендарной Биармии, которая славилась у них своими сокровищами и драгоценными мехами. Биармия — это Великая Парма, нынешняя Пермь, пермские земли. Норманские викинги грабили не только побережье, но и проникали в глубь страны. «Эти несколько веков длившиеся сношения зырян с норманнами должны были привести в результате к скрещиванию двух рас, следы которого, на мой взгляд, — делает вывод Соммье, — заметны еще и поныне».

В Мужах итальянский исследователь специально обследовал пятьдесят местных жителей-коми на цвет волос и глаз. Результаты можно в какой-то мере сопоставить с антропологическим типом скандинавов, но этих данных было не настолько много, чтобы делать такие глобальные выводы, какие делал Соммье. Для этого требовались более комплексные, более детальные и тщательные исследования.



Зимнее исследование сургутских тундр

«Вечером выбрали ночлег на болоте около леса, укрываясь от сильного ветра. Едва я успел выпить чаю, как остячка Сеу-ко начала просить, чтобы все мы вышли из чума. Она почувствовала приближение родов. Я давно заметил ее беременность, однако не думал, чтобы роды случились на пути в Сургут, так как она все время усиленно работала, распрягая оленей, устанавливая чум, приготавливая всем постели, набирая топливо, занимаясь стряпнею. Мы поспешили уйти и расположились в нартах. Остяк Хы-ню, выслушав исповедь жены, присоединился к нам. Подле страждущей остались в чуме самоедка Сармик-а-не и маленькая Ня-я. Ребенок родился скоро. Хы-ню убил оленя, вошел в чум и помазал оленьей кровью лоб жены. Это означало, что дитя рождено от него. Сеу-ко лежала с осунувшимся бледным лицом, очень ослабевшая. Появившаяся на свет 18 марта 1879 года крошечная девочка помещалась в ногах у матери, завернутая в оленью шкуру. Оставив Сеу-ко с детьми, самоедкой, самоедом, остяком и несколькими оленями мы отправились в путь без чума».

Этот эпизод приводит в описании своего путешествия Никанор Капитонович Хондажевский, «классный топограф», чиновник военно-топографического корпуса, член-сотрудник Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, которому принадлежит честь первого научного путешествия по району в междуречье Оби и Пура, между мысом Ныда на севере и Сургутом на юге. Военно-топографическим корпусом на него была возложена задача исследовать возможности прокладки колесной дороги от Тобольска до Самарова (это и сегодня актуально!), а также линии телеграфа по этому маршруту. Географический отдел, узнав о поездке своего члена-сотрудника, выразил желание, чтобы Хондажевский продолжил свое путешествие на север, до Обской губы. Интерес географов был естествен: к концу XIX века огромное пространство к северу от Сургута на картах рисовалось «белым пятном». Одни слухи (точных данных не имелось) утверждали, что вся эта территория занята

сплошным болотом, другие — что здесь непроходимые лесные дебри. В этих местах практически не ступала нога ни одного ученого, даже купцы и их приказчики обходили стороной этот район, хотя богатством Бог труднодоступный край не обидел. Хондажевскому необходимо было выяснить, «удобно ли, проходимо» это пространство, где расположены селения аборигенов, каково положение самих аборигенов.

В Обдорске путешественнику повезло с проводником. Ему удалось быстро найти хорошего спутника. Большой знаток родных краев, приказчик рыбопромышленника Трофимова Мамеев (его имя, к сожалению, неизвестно) согласился за сто рублей серебром сопровождать «классного топографа». Вместе с собой он прихватил четырнадцатилетнего племянника Алешку. В стойбище к инородцам ученых подрядился доставить олений казак, взяв за это десять рублей — крупную по тем временам сумму. 15 февраля небольшой аргиш из четырех ездовых и четырех грузовых нарт двинулся на восток по Полую. В грузовых нартах каравана Хондажевского, кроме хлеба, чая, сухарей, сахара и тогдашнего дорожного деликатеса — мороженых щей, находились «подарки», которыми путешественник намеревался рассчитываться с каюрами, которые будут доставлять его от одного становища до другого. Руководствуясь указаниями бывалых людей, прежде всего Мамаева, путешественник взял самое ходовое в тундре: порох, свинец, кремни, бусы, кольца, листовой табак, десяток недорогих винтовок и, естественно, спирт. Немного — всего пять ведер. Купцы брали куда больше. На дорогу до Ныды, где тогда находилось большое оленеводческое стойбище, путешественникам потребовалось восемь суток. На этом маршруте они встретили всего два жилья: пустые избы на рыбных промыслах тобольских купцов Корнилова на Ален-Югане и Корякина на Харовой. Редки были встречи и с местными жителями. В еловом лесу на Полуе Хондажевский встретил три чума тазовских оленеводов и четыре, прикочевавших из-за Полярного Урала. На Надыме он насчитал всего 22 остяцких семейства, осевших на рыбных промыслах. Зато низовья Ныды были заселены погуще. Самоедские чумы «располагались отдельными стойбищами на расстоянии нескольких верст одно от другого. Между ними наезжены были дороги, и паслись олени стада. В каждом стойбище было по 3, по 4 и по 6 чумов. Здесь, чтобы вернуться в Сургут, Хондажевский и нанял оленей остяка Хы-ню, который прихватил в дальнее кочевье всю свою семью вместе с Сеу-ко, которой и предстояло на исследовательской стезе благополучно разродиться. Обоз путешественника увеличился до 24 нарт, в упряжку запрягали более двух сотен езжалых быков. На оплату Никанор Капитонович выделил шесть ведер спирта, но обещал отдать их лишь в Сургуте, присовокупив к этому 70 рублей. Каюры сразу предупредили, что поедут не по реке Надым, а по тундре: надо было сообразываться с кормовыми манерами оленей, которые держались на подножном корме. Тундра вскоре сменилась тайгой, а в той глухомани не мудрено заблудиться.

«Компас не мог облегчить наших недоумений относительно дорог, — вспоминал Хондажевский самый трудный участок пути. — Прорубать просеки по его указанию было бы невыполнимой работой при одной пиле и двух топорах, при небольшом числе сопровождавших меня инородцев. Напрасные разъезды по глубокому снегу утомляли оленей и наводили скуку на людей. В самом деле

невесело было смотреть, как длинная вереница нарт или едва тащилась вперед, или совсем останавливалась, выжидая, чем кончатся поиски вожаков. Только маленькая остячка Ня-я, шестилетняя дочь Хы-ню, и Алешка не унывали».

Медленно, но неуклонно аргиш двигался на юг. 20 марта Хондажевский услышал возгласы своих каюров: «Церковь! Церковь!».

Это был Сургут. 33-дневное путешествие по малоисследованному краю было завершено. Из Сургута топограф направился в Тобольск, а оттуда в Омск. Он вез в музей географического общества образцы надымской растительности, оленью сбрую, самоедские украшения, курительную трубку из мамонтовой кости, образцы крапивной пряжи и даже платье остячки из крапивного холста. А предмет особой гордости — снимок самого Хондажевского в оленьей малице — документальное подтверждение поездки по дальним тундрам.

В отчете Западно-Сибирского отдела географического общества результаты его путешествия были оценены объективно, но достаточно высоко: «Быстрота езды, холод, глубина снега и множество других неудобств, встреченных путешественником на его пути, конечно, не дали ему возможности провести строгие исследования пройденного им пути. Нужно тем не менее сознаться, что он дал гораздо более того, что можно было от него ожидать, при тех затруднениях, которые ему пришлось встретить». Составленная им карта несет большой вклад в географическую науку и хотя отчасти заполнит то пустое пространство, которое мы до сих пор встречали на картах, начиная почти от Обдорска до Ныды и на юг от нее до Оби».

На карту, которая действительно стирала многие белые пятна, сегодня смотреть очень интересно. Чаще всего здесь встречается слово «тундра», которое Хондажевский уважительно писал с заглавной буквы и обозначал им все пространства, которые остались вне его маршрута. Но Полуй, надымское устье, Ныда, междуречье Ныды и Агана, включая левобережные притоки Пура и Сибирские Увалы, нанесены на карту достаточно подробно. На Надыме обозначены только два населенных пункта: избы Корнилова и Корякина. Хорош населенный пункт — изба!

Большой интерес в «Зимнем исследовании северных тундр между Обскою губою и Сургутом» (так Хондажевский назвал свое первое описание) представляют его заметки, посвященные быту инородцев Надыма. Автор внимательно рассмотрел взаимоотношения аборигенов между собой, их отношения к местной власти. Он отмечал, что тундровики страдают от многих болезней, в особенности от оспы и сифилиса. Часто случались в тундре эпидемии среди оленей. «Возможно ли в дальних пустынях отвращать это бедствие посредством ветеринарных пособий, — задавался вопросом «классный топограф», — когда там мудрено лечить людей, я не берусь».

Говоря о непривлекательной жизни инородцев и их непроходимой бедности, Хондажевский указывает, что им «не по карману» покупать даже порох и ружья, хотя сузгунская винтовка стоила чуть больше трех рублей. В ходу в основном были луки со стрелами, кустарного производства примитивные копья, ножи, топоры.

Да купцы и не старались везти хорошие товары в тундру, хотя оплачивали их полноценными мехами песца, лисицы, белки, медведя. Тундровые продавцы знали, что прямую выгоду, причем мо-

ментальную, здесь приносит единственный товар, ибо здесь «водку пьют все без изъятия».

Вдуматься только, после покорения Сибири Ермаком в местах, где сейчас разведены крупнейшие подземные кладовые газа и газового конденсата, почти в течение трех столетий так и не удосужился побывать ни один сколько-нибудь образованный представитель царского режима. Надо ли говорить, что этот глухой и казавшийся ранее забытым всеми край был пробужден к жизни только во второй половине XX века, и наши современники создали ему славу одного из самых ключевых регионов страны. Раньше здесь дни тянулись как года. Сегодня, понятно, совершенно другие темпы и ритмы.



«...И я слышу
чутким
сердцем»

Недавно исполнилось сто лет, как умер один замечательнейший сибиряк, может быть, сделавший для осознания достоинства Сибири больше, чем кто-либо другой.

«Круглую» дату отметили более чем скромно.

«Сто лет назад, приняв дозу болеутоляющего, скончался один из ведущих идеологов сибирского областничества Н.М. Ядринцев — публицист, этнограф, поэт, автор энциклопедической работы «Сибирь как колония», первооткрыватель памятника древнетюркского письма VIII века «Кюль-Темп».

Если даже по нынешним временам круглые даты чтут не особо, такой убогой скромности удостоен только этот замечательный сибиряк. Симптоматично.

Ядринцев не просто великий патриот Сибири, но и России, однако он всегда был не ко двору Москве. Почему? Потому что одним из первых сказал, а потом постоянно напоминал о великом достоинстве российской Сибири.

Когда они — те, кого окрестили несуразно-унизительным словом «областники», — а случилось это в середине прошлого века, впервые высказали мысль о том, что у Сибири может быть собственное достоинство, мысль эта показалась настолько крамольной, что власти постарались объявить их сепаратистами, подвергли гонениям, казням и ссылкам. Тому же Ядринцеву его идеи о достоинстве родной Сибири обошлись годами омской тюрьмы и шенкурской ссылки.

Областники сделали главное: до них Сибирь была прилагательное к России, это они заставили всех понять, уразуметь, осознать, что Сибирь — существительное, существенное существительное.

Россия поняла, но до сих пор сибирских мудрецов не простила.

Сами же сибиряки своих героев любить не научились.

...Бывая в Барнауле, всегда люблю посидеть на могиле Н.М. Ядринцева. Место здесь особое, аура у него особенная, возвышенная, возвышающая. Город перед тобой, за тобой привольная Обь. Если пройти рощицу, окажешься на самом высоком обском круто-

яре. Другого столь высокого берега у Оби нигде нет, вплоть до Северного Ледовитого океана.

Здесь нашел свой последний приют сибирский разумник и благодетель Николай Ядринцев.

Ядринцев любил Сибирь, и это была деятельная, преображающая любовь, он знал все ее слабости, но верил в силы.

Валентин Распутин назвал Ядринцева «замечательным патриотом Сибири». Я бы сказал больше — в русской истории сибирского края мы не найдем фигуры более прекрасной. Это был яростный и ревностный радатель Сибири, бескорыстнейший ее патриот и энтузиаст. Он прожил жизнь короткую, но яркую и ясную, он сторел (а может быть, точнее сжигал себя?) в огне недооцененной и недопонятой любви к сибирской родине, и чистый пламень его благородных замыслов и помыслов — очень хотелось бы! — должен светить и нам.

Он прекрасно понимал трагичность своей любви и писал в раннем стихотворении:

*Не признанный никем в земле моей родимой,
Я в дальний путь изгнания пошел.
Но все же край благословил свой милый,
И имя прощептал любви своей постылой,
В которой голос мой ответа не нашел.*

Царское правительство осудило Николая Ядринцева и его друзей Григория Потанина, Серафима Шашкова, Николая Шукина, Федора и Григория Усовых, Николая Ушарова и Евгения Колосова как «сепаратистов», инкриминировав кружку сибирских студентов в Петербурге непозволительно-крамольное желание отделить Сибирь от России. Это была злая и провокационная выдумка царских жандармов — никогда и никто из «сепаратистов» не договаривался до того, чтобы Сибирь получила политическую самостоятельность. «Сепаратисты» вели речь совершенно о другом. Григорий Потанин писал об этих целях:

«Сибирь — самая отсталая из провинций русского государства, у нее почти нет своей прирожденной интеллигенции, ее нужда в интеллигенции пополняется из-за Урала, из Европейской России. У нее почти нет местных патриотов. Центр должен был щадить эту страну, бедную своими патриотами, — и добавлял: — У нас вошло в обыкновение всех разделяющих чувство сибирского патриотизма называть сепаратистами, хотя бы они и в мыслях не имели отделения Сибири от России».

Жандармское же дело озаглавливалось: «О злоумышленниках, имевших целью отделить Сибирь от России и основать в ней республику по образцу Северо-Американских Соединенных Штатов».

Отголоски жандармской провокации оказались живучи и, пожалуй, до сих пор с первой когорты сибирских патриотов не смыто клеймо крамольного сепаратного интереса.

Все сибирские «областники» — под таким общим термином они фигурируют в истории науки и литературоведении — своей жизнью, своими делами и трудами доказали, как они преданы родному краю. Первую струну в этом сообществе играл Ядринцев — яростный агитатор за первый сибирский университет, ученый, даровитый писатель, публицист, бичующий язвы сибирской жизни, создатель первой независимой сибирской газеты «Восточное обозрение».

Трудно представить себе страдания и мучения провинциального сибирского газетчика, который принужден начинать на духовном пустыре. Ведь до «Восточного обозрения» по существу Сибирь не имела независи-

мой, с собственной демократической тенденцией газеты. Блестящий сотрудник многих петербургских газет и журналов, когда пришло время выбора, Николай Михайлович сказал друзьям, не колеблясь:

— Стоя на распутье между шикарной дорогой петербургского журналиста и скромной провинциальной деятельностью, я никогда не задумаюсь, что мне предпочесть.

Он восклицал:

— Провинция — будущее!

Россия — суперцентрализована, Москва часть забот своих сограждан не просто не знает — не понимает. Признак развитой страны — в любом ее месте гражданин не чувствует провинциальной ущербности.

Первый номер «Восточного обозрения» вышел 1 апреля 1882 года. Ядринцеву удалось сплотить вокруг своего еженедельника демократический цвет России, тех людей, которые многое сделали для Сибири: Д. Анучин, С. Максимов, Д. Завалишин, В. Радлов, Н. Наумов, М. Знаменский, И. Поляков, И. Федоров-Омулевский, Д. Клеменц.

Независимость нового издания пришлось не по вкусу петербургскому начальству — уже на первых месяцах существования издатель-редактор Николай Ядринцев получил первое предупреждение. Однако газета вела свою линию: громила сибирских крезов-угнетателей и бюрократов, спланивала местную интеллигенцию, возбуждала интерес к исторической и экономической жизни Сибири. Такой «подрыв» административного авторитета не мог пройти бесследно. После третьего предупреждения газета попала в цепкие лапы цензоров.

Редактор-издатель посчитал, что лучше из столицы перебраться поближе к месту действия — в Сибирь. «Восточное обозрение» переехало в Иркутск. Битва за подписчиков, а жизнь газете обеспечивали только их скудные приношения, затяжные бои с ретивой губернской администрацией, боявшейся любого критического слова, катастрофическая нехватка квалифицированных журналистов, общая атмосфера духовного застоя — все это вряд ли могло благоприятствовать независимой газете. Но «Восточное обозрение» окончательно подкосила смерть верной помощницы Ядринцева Аделаиды Федоровны. «Испытание было так жестоко, что одно время я боялся, — сообщал друг Николая Михайловича, — что этот железный человек не выдержит».

По инерции Ядринцев некоторое время еще редактировал еженедельник, но потом вынужден был отойти от него, понимая, что изнуряющая борьба за газетное существование прямоком ведет к могиле.

Семь лет его редакторства — эпоха в развитии сибирской журналистики. Это он закладывал стиль политической независимости, смело анализировал беды своего времени, самоуправство чиновников, вымирание инородцев, ханжество, дикость и другие драмы сибирской жизни, высокомерное равнодушие метрополии к этим далеким драмам.

Бережно и нежно он поддерживал всякий росток духовной жизни сибиряков, повторяя, что только любовью к роду человеческому, женщине и родной земле движется жизнь.

Он высказывал в своих фельетонах неочевидные мысли, над которыми не грех порой задуматься сегодня и нам: «Чтобы усвоить себе историю, жизнь и права провинции, надо следить за нею в тех государствах, где провинциальная жизнь достигла высшего развития, где она представляет разнообразие, кипучую деятельность, где выяснены формулировки ее принципов, ее местные интересы и отношения к общим».

Не стесняются ли многие из нас, что живут вдалеке от столиц, ощущая некоторую второстепенность своего провинциального бы-

тия? Читая рассказы Ядринцева, заражаешься чувством глубочайшей уверенности, что свое предназначение в жизни человек обязан выполнить в любом месте земли. Современников-интеллигентов он призывал отдать энергию и силы расцвету родной Сибири — это и корень, и пафос его творчества.

Газетный фельетонист, журнальный публицист, автор трех честных аналитических книг, Ядринцев оставил заметное литературное наследие. Конечно, его стихи, пожалуй, не пережили свой век, но рассказы и сегодня читаются с интересом.

С Тюменью, с Тобольском связаны многие страницы бурной ядринцевской жизни. В Тобольск он попал на десятом месяце своей жизни, а еще через четыре года — его отцу-купцу приходилось много странствовать и часто менять местожительство — в Тюмень.

«В Тюмени меня отдали в пансион, который временно открывала приезжая француженка Амалия Карловна. В пансион отдавали преимущественно барышень, но почему попал в число их и я — не знаю. Я научился здесь немного читать по-французски».

В Тюмени маленький Коля прожил пять лет. Позже он часто наезжал сюда, а в 1891 году принял активное участие в борьбе против эпидемии холеры.

«И живет наша Тюмень целые годы такую своеобразной жизнью, ничем не тронутой, не возмущаемой и излюбленной (если тебе славянофил скажет про излюбленный город, знай, это наша Тюмень), где жизнь кипит, где совершаются события за событием, где борются мысли, а Тюмень все по-прежнему живет и благодушествует». Таким увидел Николай Михайлович купеческий и торговый город на излете прошлого века.

Пожалуй, никто из русских публицистов столь остро, как это сделал Ядринцев, не ставил вопрос о положении сибирских инородцев. В 1891 году увидел свет его большой труд «Сибирские инородцы, их быт и современное положение». Эта книга — научное исследование, плод многочисленных и многотрудных путешествий Николая Михайловича по сибирским окраинам, эта книга — крик боли страдающего русского интеллигента, который видел, как угнетен остяк и тунгус, самоед и алтаец, вогул и бурят.

«Мы не можем прикрываться неизбежностью гибели указанных племен! — восклицал автор. — Но должны каждый раз испытывать муки совести об их бедственном положении и поставить вопрос накануне наступающего XX столетия о сохранении тех остатков и потомков инородческих племен, которые сохранило еще время, человеческие бури и человеческое жестокосердие».

Нечаянно довелось попасть Николаю Михайловичу в археологические анналы — почти случайно он открыл легендарный монгольский Каракорум. Путешествовал он вообще-то очень много, знал Сибирь не с парадного хода, а с изнанки, часто бывал на Алтае, в казахских степях, на Урале, на Амуре, в Саянах, на Енисее, на Байкале, изучал общественные отношения и статистику, нравы и обычаи, климат, каторгу и ссылку, религиозные проблемы, древние письмена и памятники сибирских курганов.

Конечно, он не был крупным специалистом по древности Монголии, но всегда и целеустремленно интересовался историей азиатских культур.

Пять веков искали пытливые ученые развалины Каракорума, легендарного центра могучей монгольской империи. Поиски оказались столь

безуспешны, что многие исследователи предпочитали сомневаться — да не миф ли, не сказочное ли предание эта пресловутая первая столица.

Николай Михайлович решил возглавить очередную экспедицию географического общества в поисках Каракорума, чтобы несколько отвлечься после потери любимой жены. И трудное путешествие на берега Орхона подарило замечательное открытие: под песками пустыни были обнаружены развалины двух крупных городов, каменные бабы, памятники из мрамора и гранита — следы развитой древней цивилизации.

Открытие Каракорума произвело сенсацию в ученом мире, а сам первооткрыватель в это время, измученный, обессиленный, истомленный жарой, жаждой и долгой дорогой в песках, вывозил драгоценные находки в Кяхту.

Многие современники считали, что Николай Михайлович закопал в себе талант крупного исследователя, что он зря разменивался на злобу дня, на еженедельную публицистику, на сиюминутные проблемы.

Но этот человек имел и иной, наверное, не менее важный талант — быть современником, волноваться тем, что волновало его сограждан, в этом его пылкое сердце находило свое жизненное предназначение.

В его судьбе, пожалуй, было все — пылкая юность с благородными помыслами и идеями, пронесенными через всю жизнь, тюрьма и ссылка, верная спутница, единомышленники и надежные друзья, неистовая работа, открытия, книги, взлеты, неизбежные падения, привычная трагедия интеллигента, путешествия и снова сжигающая самоотдача.

Это была неровная, живая, грешная, но страстная жизнь, подчиненная единственной цели, выражаясь старомодным языком его времени, — служению народу.

Мы беспамятливы.

Сколько в наших городах, скажем, улиц, площадей, носящих имена людей, которые ничем с нашим краем не связаны, которые порой и не знали точно, где на карте находятся эти заштатные городки. А вот имя Ядринцева сегодня мы на карте Сибири и на схемах городов не найдем, а ведь он оставил заметный след в истории Томска, Тобольска, Иркутска, Тюмени, Омска, Барнаула.

...Не так давно мне снова довелось побывать на могиле Николая Михайловича. В Барнауле он закончил в 1894 году свой многотрудный сибирский путь. Похоронили его на нагорном кладбище, он как бы в последний раз взобрался на высокий речной крутояр, чтобы взглянуть на до боли родимую сторону. Памятник на могиле давний, его поставили всенародно — на рубли и гривенники земских врачей и учителей, студентов и гимназистов. Золотом высвечены пророческие ядринцевские слова: «Если на заре своей истории Сибирь не видела радостных дней, то вера в ее лучшую будущность, вера в счастье и благоденствие, доступное всем народам, должна воодушевить и поддержать тех, кто отдал свои силы и труд на ее обновление».

И здесь, на этой могиле, у бюста этого целеустремленного, целенаправленного человека как-то особенно ясно осознавалось: наверное, многим из нас, сибиряков, не хватает столь присущей Ядринцеву, поистине неистовой, сжигающей, яростной любви к Сибири. И если мы сумеем сберечь, сбережем Сибирь: ее великую тайгу, полноводные реки, нежные тундры, чистопородный Алтай, уникальный Байкал — это будет наш лучший дар России, Родине, наш человеческий, наш исторический подвиг.



Досточтимый крамольник

Его записали по разряду революционеров, с придыханием и пиететом называют «сибирским Радищевым», слава крамольника и устойчивого противника самодержавного режима несмываемо тянется за ним. Уже не первый век...

Он был человеком независимого мышления, свободного строя ума, традиционно-осмысленных взглядов — это да, но в революционеры не рвался, не был им по складу характера. Разрушение — привилегия революционера. Человек делающий, созидающий не умеет, да и не может разрушать. Петр Андреевич Словцов всю свою жизнь созидал. Но навязанная репутация довлеет. Приписанные схемы долгостойки.

Чем, по существу, сейчас занимаюсь я? Опровергаю то, чего не существовало в действительности. Словцов сам не ощущал себя революционером, вольнодумцем, вольтерьянцем. Его самоощущение — «человек размышляющий» (это термин из его крамольной проповеди), гражданин размышляющий. Он себя не противопоставлял системе, империи, самодержавию! В его знаменитой проповеди не услышаны другие слова:

«Да!.. Вольнодумец хвалится быть наилучшим подданным, выставляет свою любовь к Отечеству и верность государю. Но вольнодумец — человек: как запечатлеет оные чувства, часто сомнительные? Носит ли он в сердце своем залого христианства? блюдет ли клятву — сие свидетельство от Веры? Простим сему, подделывающемуся патриоту, и поставим на место его Христианина. Сей научен высоким и благоговейным мыслям о властях, лучше всех знает счастливую науку повиноваться. Вместо того, чтоб назначать себя между народом и государем, он назначает государя между народом и Божеством. Закон верховный для него есть слово вышнего, издревле вещающего при алтарях монарших. Его собственность есть собственность отечества, и жизнь его есть дань престолу».

Вне всякого сомнения молодой Словцов в дилемме: вольнодумец-христианин предпочитает христианина. Правовежного христи-

анина. Каким хотел быть, каким сам был. Но как подлинный христианин, он хотел, чтобы и монархи блюли залоги христианства. Не больше. Но и не меньше.

Вся его крамола в том, что он помнит все христианские заповеди, а не выборочно, как позволяет себе, скажем, имперский наместник в Тобольске А. Алябьев. Да, крамольником и революционером Словцова, пожалуй, сделал тогдашний тобольский правитель Алябьев. В отличие от своего гениального сына с абсолютным слухом, старый вояка был глуховат, наверное, в словцовой проповеди чего-то не понял, что-то не дослышал, но бдительность проявил: текст словцовой проповеди губернские писцы скопировали, и она пошла гулять по столичным светским и церковным инстанциям. Властям обязательно требуется крамола, особенно там, где ее в действительности нет.

Словцова увезли в Санкт-Петербург почти под конвоем, с ним вели душеспасительные беседы серьезные сановники империи. Молодой проповедник сумел доказать свою благонамеренность даже такому патологически недоверчивому господину, как начальник Тайной экспедиции, знаменитый С.И. Шишковский. Этот бы случай не упустил... Но повода Словцов не дал, не давал. Как бы там ни было, Словцова в Тобольск назад не отпустили, отправили на Валаам. Поклонники словцовой революционности пишут: «сослали». Но сибирский Тобольск, по столичным понятиям, куда страшнее «кузницы кадров» православной церкви — Валаамского мужского монастыря.

Куда, кстати, из «Валаамской ссылки» попадает гонимый проповедник? Ничего не произошло, даже царь не сменился, а опальный духовник будет учить искусству красноречия студентов престижнейшей столичной Александро-Невской высшей духовной семинарии, которую сам в свое время блестяще заканчивал и с аттестатом которой ехал просвещать в Тобольске сибирскую паству.

Стремительной карьеры Петр Андреевич в своей жизни не сделал: ни церковной, ни светской. Но возблагодарим судьбу: вполне возможная карьера явно помешала бы ему свершить то, чему он был судьбой предназначен, и в чем видел свой долг христианина.

Благосклонность судьбы...

В чем она?

Его однокашник по духовной семинарии, можно утверждать друг — Михаил Сперанский достиг высших должностей в Российской империи. Явно Словцов в силу своего характера таких бы должностей не достиг. Но они оба остались в российской истории: один как великий либеральный реформатор, другой как выдающийся историк Отечества.

Судьба была благосклонна к Петру Андреевичу: она перекрыла ему карьерные пути, была последовательна: вслед за каким-то служебным повышением обязательно устраивала каверзу. Выше должности директора Иркутской гимназии и визитатора всех (в том числе всех сибирских) училищ Казанского учебного округа Петр Андреевич не поднялся. Но это дало ему, уральскому уроженцу, возможность посмотреть и изучить всю Сибирь: от Уральских гор до Охотского побережья. Посмотреть. Безоглядно влюбиться и понять: у этого великого края нет полноценной писаной истории. Это может сделать только он, Словцов.

Войска Александра I входили в поверженный наполеоновский Париж, а пятидесятилетний директор Иркутской гимназии определял для себя свой главный христианский долг: он напишет «Историческое обозрение Сибири».

Словцов смиренно посвятил свой поистине великий труд Герарду Миллеру, «отцу сибирской истории», как называли этого академического немца. Впрочем, почтение и горделивое высокомерие знающего себе цену человека в этом посвящении, действительного статского советника на пенсии.

«Праздный в старости и свободный от сует, я решился собрать твои сказания о Сибири в один состав и в радости перекрещусь, когда кончу работу без хулы соотечественников. Но прости, достопамятное имя, сократителю, столь же беспристрастному, сколь и почтительному, что он перекопь Ермакову давно засыпал, как небылицу; что бессмертие, каким ты наделил казака Дежнева, он прекращает по недоказанности права; что селенгинские хлопоты, приписываемые тобою хитрости маньчжу-китайцев, он относит к смутным обстоятельствам халхаев.

В пополнение очерка твоей сибирской истории я удовольствуюсь прикинуть несколько вставок для наполнения пробелов, часто оказывающихся в пустоте сибирского быта, несмотря на многое множество, писанное о Сибири урывками, без связи, и даже с противоречиями, поставить известное на своем месте, устранить мелочи, ничего не сказывающие, обойти противоречия и протянуть через данное пространство времени нить историческую, вот моя работа! А выйдет ли целое или торс, не я в ответе.

В Тобольске 1837 года.

Петр Словцов».

«Ни одного дня в жизни своей не бросил я в жертву праздности». Словцов этим гордился.

Он был системным человеком, и его книга — плод его последовательного характера. Хорошо знающий его родственник отмечал:

«Вставал он утром часов в шесть, около часу молился Богу и читал Евангелие, потом, напившись чаю, садился за свой труд. В час пополудни, выпив рюмку красного столового вина, обедал за весьма неприхотливым столом. Затем, после короткого отдыха, работа продолжалась часов до 10 вечера».

И так — 20 с небольшим лет...

Лучшие истории Отечества пишут дилетанты. Влюбленность — это не профессия. Страстно любящий родину — это не профессионал. Главный подвиг дилетанта-историографа Петра Словцова: впервые он вписал сибирскую историю в сибирский ландшафт. И это не просто история с географией, это подлинное научное озарение, которое позволило дилетанту осмыслить естественный, в природных условиях ход исторических процессов. Даже столетия спустя профессиональные историки стесняются сделать подобное: для них история происходит только во времени, а не в пространстве, не в «пространстве времени», как мудро сформулировал сам Словцов.

Как все же важно вписать историю любимой земли, скажем, в сибирские глиноземы:

«В уезде Тюменском почва черноземна, глиниста, более беловата-песчаниста; есть и синяя, железняком проникнутая, и отлично способная к выделке лоснящих горшков. Сверх посевов туринских начали сеять (неизвестно с какого времени) пшеницу-полбу.

По Тавде, в раме здешнего уезда, родится всякий хлеб, кроме полбы. Кроме леса строевого и дровяного, здесь также липняк».

«Тура, омывающая город, течет по Туринскому уезду (в настоящем разграничении) 306 в. по грунту песчано-глинистому. Средняя глубина ее — 4 аршина. Течение извилистое, как и у всех средней величины рек, по жесткому грунту падающих в Тобол, Иртыш и Обь, кроме северных, начиная с Конды.

Тюмень, старейший в Сибири город, был основан при устье крутобереговой речки Тюменки, падающей в Туру. Она протекает по уезду в суглинистых берегах 200 в. с шириною 70—130 саж. Правый берег Туры, как нагорный, замечателен по высоким курганам, которые показали Лепехину очень похожими на волжские, и это первая достопримечательность, намекающая о тождестве племени, так и здесь кочевавшего около IV христианского века. Не на Туре ли оканчивалась большая Угрия (magna Hungaria)?»

А вот среди каких болот протекала, к примеру, история Ишимского уезда:

«Балахлейское, на юге соединяющееся с Иковским. По нем кочки и зыбуны. Местами растет ерник и ельник. Никогда не высыхает.

Карасульское, соединяющееся с Марковским. По нем зыбуны, озерки и хвойный лозник. Не высыхает.

Тихонское, в жары просыхающее. По нем зыбуны, поросшие камышом и лозником».

Все эти болота Поишимья живы и сегодня вписываются в современность. Можно сравнивать.

Словцова относят к предтечам областников — наиболее последовательных сибирских интеллигентов, боровшихся за достоинство Сибири.

Но Словцов не только предшествовал в защите достоинства Сибири, он чаще шел впереди и дальше своих последователей. Впрочем, свято чтя достоинство России. Но ему принадлежит первенство термина «сибирская нация», и он — первый автор областной истории. Областники прорастали на хорошей и надежной почве.

Всегда, когда есть возможность сказать доброе слово о сибиряке, Словцов говорит его. Но он постоянно помнит, что доброе слово — честное слово правды.

«Сибирский крестьянин и горожанин по затверженному навыку к состраданию без крайности не расспрашивает прищельца, что им сделано на родине».

«Хлебосольство сибирских селений — похвала старинная, хлебосольство городское между родными и приятелями — также черта историческая; но нарядное, угостительное хлебосольство купеческих домов Западной Сибири начиналось было с первым открытием магистрата в Тобольске».

Безупречное достоинство словцовского труда: он пишет историю народа, точнее: именно народ у него делает историю Сибири, а не только государи, воеводы, владыки, ханы, князья и губернаторы. По существу, это было внове для российской историографии, исходившей из культа высокопородных личностей. Уже позже Словцова другой сибиряк Николай Полевой пишет «Историю русского народа».

Но Словцов никогда не умалял и роли личности. Лучшим тобольским губернатором он считал Дениса Чичерина.

«Хотят ли понять Чичерина, вот черты его! Требуя от городов порядка, от купцов честного торга, от посадских ремесленности, от крестьян расчистки земель и доброй распашки, от чиновников исполнительности, он неослабно преследовал противные тому нарушения. Оказывал благосклонность значащему купечеству, принуждал скудных горожан к искусствам, крестьян и поселенцев к пашне, к домостроительству, строго наблюдал за поведением служащих. По крутости характера праводушный начальник легко выходил за пределы власти, но при самоуправстве, которое делало его страшным в народной молве страны, он скоро смягчался, в беседе любезничал, любил веселое препровождение времени, давал бальные вечера, ездил на охоту, как дворянин своего времени, и сообразно требованию времени отправлял торжественные дни с великолепием и пышностью. По живому и деятельному участию Чичерина во всех обстоятельствах губернии и в случаях частных имя его, как классическое, сохраняется в памяти Сибири».

Словцов — правоверный монархист, благонамеренный — и не стыдится этого! — подданный Российской империи.

Но в своем труде он не связан, свободен как всякий человек в творчестве, и он видит историю любимой Сибири во всем разнообразии, многоцветии и противоречивости.

«При сближении с следствиями, происходящими от управления и нового быта, нельзя не оглянуться на зады Сибири, которая с тех пор, как мы ушли из нее далеко на восток, продолжала нередко терпеть по границе тревоги и даже разорения, несмотря на укрепления, строившиеся по линии Южной. В 1640 г. Давке-Кирей, кучумовец, ограбив и разорив деревни около Тахранского острога, не смог только повредить самому острогу. Толь близкая к Тобольску дерзость была огорчительна, тем более что этот город с окружными деревнями в 1636 г. понес от великого наводнения несметные убытки в строениях, запасах, скоте и во всей почти собственности. В 1641 г. калмыки торготского поколения в числе 700 бились с казаками, принужденными спасаться в том же укреплении. В 1646 г. по большому движению, какое замечено у калмыков, кочевавших по Ишиму и Тоболу, тобольское начальство, не полагаясь на защиту южной линии, как ослабленной в числе ратников, часто удаляемых за Енисей, опасалось осады для самого Тобольска, но пополох миновал без всякой беды, в 1651 г. разорен и выжжен кучумовцами монастырь Далматов».

Словцов написал не только «Историческое обозрение». Его произведения публиковали тобольские газеты, столичные журналы, издавались его книги. Но «Обозрение» — его главная книга, и он без всякого стеснения говорит то, что хотел бы сказать, что хотел бы оставить. Иногда кажется, что это обо всем, но потом непременно осознаешь — только о главном:

«Сибирский говор есть говор устюжский, подражатель новгородского. Сибирь обыскана, добыта, намелена, обстроена, образована все устюжанами и их собратией, говорившею тем же наречием. Устюжане дали нам земледельцев, ямщиков, посадских, соорудили нам храмы и колокольни, завели ярмарки... Как бы то ни было, нельзя, однако ж, не видеть причины, для чего московский говор, легкий и приятный, как счастливый баловень, не успел в Сибири взять поверхности».

Понятно, написать это мог только устюжский потомок.

«Историческое обозрение» — это и страстная проза, и сухой справочник, и энциклопедия нравов, это и христианское осмысление мира, имя которому Сибирь. Читатели словцовского труда осознают: он исполнил свое христианское предназначение, истинно-человеческий долг.

Неоднозначно отношение Словцова к северным инородцам. Он замечал, когда угнетают их вороватые российские бюрократы, но и не отрицал внутренних противоречий.

«По указу Сибирской губернской канцелярии от 29 августа 1753 г. велено допросить в Березове сборщиков ясачных, по скольку рухляди брали они с самоедов для поклона воеводам и приказным людям? С каждого самоеда, как показано в ответах, брали по 10 белок или по 2 горностая. Если бы архивы прочих острогов и городов сохранили в целости, не везде ли бы читали мы подобные счета? Огонь и время положили печать на уста правды».

«Самоеды, ныне представляющиеся праводушными и умеренными, тогда не только грабили соседних остяков за принятие христианства, но и убивали их».

В «Обозрении» мы отыщем свидетельство, что Самарово давно претендовало быть столицей Югры, хотя сам Словцов этого намерения не приветствовал:

«Г. сенатор Корнилов в «Замечаниях на Сибирь» на 70-й странице думает перенести город из Березова в Самаров. Это значило бы вовсе скрыть от глаз самоедско-остяцких присутствие власти. Если тишина и повиновение инородцев держались до начала 1841 г. старинным уважением к Березову, грозному по памяти мужества казачьих дружин, то с уничтожением заслуженного имени города понадобилось бы изготовить силу материальную в другом месте, чтобы заменить нравственность древнюю».

Читая Словцова, еще раз убеждаешься, какой энергичный, деловой, разворотливый народ селился в Сибири, что эта великая страна медленно шла к процветанию, а не погружалась в пучину нищеты, как нам позднее излагали другие историки классово-социалистического закваса: «Посмотрим, где оказались ранние, так сказать, ростки рукодельности. В Исетском дистрикте явились на реч. Юзе и Духовке два завода стекольных, как прародители размножающихся донныне около р. Исети. Там же, на Бозкеке, шляпная фабрика. В Ялуторовском дистрикте на реч. Рогалихе, в Тобол впадающей, завелась в 1751 г. у купцов Медведевых фабрика для писчей бумаги. В 1764 г. на р. Уке построен Походяшиным винокурный завод. Верхотурского уезда сл. Нижненьевьянской, при конце периода, основалась ткацкая парусинного полотна при ключе, где после была винокурня. В Тобольском уезде, на реч. Ремзянке, основана купцом Корнильевым фабрика стеклодельная... В имении духовном, на реч. Серебрянке, была крупчатка архиерейского дома. На той же речке, ближе к Междугорскому монастырю, ходила пильная мельница, и горела печь стеклодельная. В самом Тобольске, пониже Захарьевской церкви и рыбных рядов, была построена Ф.И. Соймоновым конная лесопильня, на которой действие трех пил производилось силою 6-ти лошадей. В Тюмени в то же время делались по разным домам кушаки из китайского шелка. Замечательно, что мастерство фабричное издавна развивалось руками раскольниц, и другой пример виден в селе Каменке, где старообрядки также ткали ковры из верблюжьей и другой шерсти. Не оттого ли это

досужество, что у них не бывает шумных вечеринок и резвых игрищ! Не удостоверяя, что будто только и было заведений по всем городам обширной Сибири, сколько по дошедшим сведениям нами показано. Мы склоняемся к той мысли, что их было бы более, если бы предприятия частные не сталкивались с бесчисленными преградами. Недостаток капиталов и недостаток рук дельных были главными препятствиями для начинаний, сколько-нибудь значащих».

И спустя два века, остаются те же причины: «недостаток капиталов и недостаток рук дельных».

...Пятнадцатилетний Петя Словцов по просьбе ректора Тобольской духовной семинарии отца Геннадия написал торжественные стихи «К Сибири». Там есть такие не юношеские строки:

*Страна моя! Тебя я не забуду,
Когда и под сырой землю буду;
Велю, чтоб друг на гробе начертил
Пол-линии: и я в Сибири жил.*

Казалось бы, благодарные современники могли выполнить это юношеское завещание. Но на чугунной плите на тобольском Завальном кладбище сухие строчки: «Здесь покоится тело действительного статского советника П.А. Словцова, скончавшегося в 1843 г.».

Но он в Сибири жил.

Хотя благодарной памяти у тоболяков — а ведь Петр Андреевич в конце своей жизни именно Тобольск предпочел Санкт-Петербургу! — не хватило даже на скромную мемориальную доску.

Он здесь жил и невольно, и по своей воле. Видимо, если по своей воле, «сибирскому Карамзину» не засчитывается.

Суровый, прагматичный, почти циничный правитель назвал Сибирь «отчизной Дон Кихотов». Это словцовский друг Михаил Сперанский.

Дон Кихот — фигура неоднозначная. Но если воспринимать ее как символ бескорыстного служения Добру, то эти слова можно прямо отнести к Петру Словцову.



**«Сибирский
Ломоносов»:
попытка завешания**

Чтобы кануть в безвестность великому человеку в России, надо из столицы перебраться в провинцию. Безвестность провинция гарантирует.

Между тем... Михаил Бакунин называл его «Сибирским Ломоносовым».

Близкий его друг Николай Ядринцев не сомневался: «Многие отделы из сибирской этнографии, истории и различных общественных вопросов обязаны исключительно ему. В литературе и общественной жизни он занимает весьма видную роль. За что ни брался, он изучал с величайшей добросовестностью и терпением».

Поклонник моря и Сибири Константин Станюкевич не собирался кривить душой: «Такие люди составляют гордость своей родины. Необыкновенно скромный и не сознающий, казалось, сам своего значения как деятеля науки, он с необыкновенной теплотой и участием относится к другим деятелям на том же поприще».

«Большим сибирским дедушкой» почтительно звал его гениальный сибирский писатель Георгий Гребенщиков и воскликнул: «Да хранит его провидение еще на долгие годы святой подвижнической жизни!»

Побывавши у Льва Толстого, Гребенщиков поторопился поделиться свои отношения: «Я очень часто позволяю себе сравнивать этих двух российских старцев и, преклоняясь перед величавою фигурой Толстого, я не находил в нем той цельности и той неподдельной простоты, каким обладает скромный, по сравнению с Толстым, сибирский дедушка».

Академик Владимир Обручев написал книгу о его многочисленных путешествиях, где отмечал: «Путешествия дали богатые и разнообразные результаты благодаря самоотверженной работе самого Потанина».

Да, все что произнесено, сказано о Григории Николаевиче Потанине.

Можно отыскать немало других восторженных отзывов об этом человеке, которого при жизни называли «святым», «божьем человеком».

Между тем Советский энциклопедический словарь сообщает о нем кратко и невразумительно: «Русский исследователь Центральной Азии и Сибири» и видит за ним единственное достоинство: «собрал ценный этнографический материал».

За скупыми строками не уразумеешь, что этот человек, прошедший царскую каторгу, добровольно обрекший себя на полунищенское существование ради научных изысканий и путешествий, пожалуй, не одно десятилетие был честью и совестью Сибири.

Да, с точки зрения тех, кто писал отечественную историю или, точнее, обкрадывал ее, у Григория Николаевича Потанина имелся великий грех: он любил свою родину, свою Сибирь, боролся за ее достоинство и много сделал для его укрепления.

Может быть, поэтому, когда в октябре 1917 года в Томске открылся первый сибирский областной съезд, на нем почти единодушно председателем исполнительного комитета избрали 82-летнего Потанина. Съезд, избравший Григория Николаевича председателем Временного сибирского областного совета, не признал советскую власть.

Даже доброжелательно настроенные к Потанину советские историки считали его позицию либо неверной, либо противоречивой, отмечали «отсутствие понимания реальной обстановки в России после Октября».

Ныне появилась возможность осмыслить, кто реальнее представлял обстановку в «России после Октября» — главный сибирский дедушка «с прекрасными глазами, полными ума и доброты», или его большевистствующие оппоненты. Нам бы досконально разобраться: возможно, верный путь предлагали в 1917 сибирские областники, смело противопоставившие себя махине пролетарствующего большевизма.

Николай Николаевич Яновский, мэтр сибирского литературоведения, большой патриот Сибири и почти единственный специалист, кто последовательно выводил из «тьмы былого», из мрака забвения литературное наследие сибирских областников, в том числе и Григория Потанина, подарил мне шесть страничек: не публиковавшуюся в советское время потанинскую статью «Областничество и диктатура пролетариата». К сожалению, Николай Николаевич не отыскал последнюю, седьмую, страницу, обещал непременно найти и прислать. Вместо этого из Новосибирска пришла скорбная весть — Яновский умер. Наверняка мне уже не отыскать заключительную страницу. Но, полагаю, и без заключительных абзацев эта провидческая статья дает представление о позиции сибирского демократического патриарха Григория Потанина еще в 1917 году.

«Областничество и диктатура пролетариата»

Партию большевиков от остальных социалистических партий резко отграничивают два пункта их программы, проведенные Лениным на съездах социал-демократической партии. Первый пункт был вызван рассуждениями по вопросу, нужно ли установить какие-нибудь ограничения при поступлении новых членов в партию, или наоборот — облегчить, насколько возможно, доступ в партию.

Ленин высказался за первое предложение. Его выступление разделило партию на два лагеря. Его противникам хотелось сделать партию многочисленной, и поэтому они стояли за то, чтобы при поступлении в партию было поменьше стеснений. Ленин же настаивал, что пусть лучше партия будет состоять из немногих людей, но хорошо отобранных и связанных единомыслием и единопдушием. Такая партия будет могущественнее и влиятельнее, чем партия расплывчатая, хотя и громадная.

Второй пункт вызван тем же стремлением Ленина к созданию сильной власти в партии. Возник вопрос об установлении отношения провинциальных отделов партии к центральному ее органу — предоставить ли провинциальным некоторую самостоятельность. Ленин провел положение, что провинциальные отделы должны находиться в строгом подчинении у центрального органа. Это центростремительное начало должно было, конечно, вести к установлению в центре партии сильной власти. Самостоятельность провинциальных отделов была подавлена. Ленин — это русский Игнатий Лайола. Творец конституции партии большевиков стремится генерала партии облечь полнотою власти.

При поступлении в партию нового члена главное требование, которое ему предъявлялось, это преданность партии, или, то же — преданность генералу партии. Это правило то же самое, которого держались атаманы поволжской вольницы, организуя свои погромные шайки. Главное — беспрекословное повиновение воле атамана, а остальные статьи нравственного аттестата вступающего в организацию существенного значения не имеют. Известно, что ни в одной из наших политических партий нет столько провокаторов, как в партии большевиков, которую украшают имена Малиновского, Ганецкого, Черномазова и других, и это естественно. Такое последствие прямо вытекает из той системы, которую партия применяет при пополнении себя новыми рядами. Естественно ожидать, что большевики свою схему отношений центра партии к ее периферии перенесут и на устройство государства.

И в самом деле, их программа обходит молчанием идею о федерации, и, когда большевикам приходится поневоле высказаться, они заявляют себя противниками федерации. Идея о сибирской областной думе неприемлема для местных большевиков, т.е. для большевиков, которые живут в Сибири.

Сибирским областникам предстоит борьба с большевиками. Деспотическая власть генерала партии еще не так вредна, если она не выходит за пределы партии, но распространение этой схемы на государство означает, что целые области, находящиеся на периферии государства, будут лишены участия в его законодательной жизни, другими словами, целые миллионы населения будут лишены этого благодетельного права.

Другие политические партии стремятся к тому, чтобы приблизить законодательную власть к обывателю, чтобы каждого обывателя обратить в гражданина, облеченного законодательной властью. Не к тому клонится конституция большевиков. Она допускает только одну законодательную Думу на все государство: будет в столице одна палата из 600 членов (конечно, большевиков), которая и будет править государственным кораблем, а нам, как обладающим несовершенным умом, большевики скажут: ваша автономия не простирается дальше тротуаров и уличных фонарей.

Но кто же поверит, что большевикам удастся набросить оковы на Русское государство? Кто же поверит, что какая-нибудь доктрина была способна заглушить человеческую жизнь!

Большевики хотят подчинить нашу жизнь своей воле. Они создают организацию с сильной центральной властью, под нож которой хотят бросить нас. Они стремятся к захвату власти, чтобы воцарить над жизнью свою доктрину. Строй, который нам готовят большевики, не на тех же ли началах построен, как и только что низвергнутый монархический строй? Если бы проекты Ленина осуществились, русская жизнь снова очутилась бы в железных тисках, в ней не нашлось бы места для самостоятельности отдельных личностей, ни для самостоятельности общественных организаций. Опять не мы бы начали строить жизнь своего Отечества, а кто-то другой думал бы за нас, сочинял для нас законы и опекал бы нашу жизнь.

Но наперекор Ленину люди анархисты. Все они хотят пользоваться полнотой жизни. Все хотят жить, чувствовать, реагировать на явления природы; осмеивать и рисовать карикатуры; они хотят заниматься политикой, обсуждать общественные вопросы, сочинять законопроекты и даже осуществлять их. Но тут перед инфантом, мечтающим о полной свободе развития индивидуальностей, личных и областных, вырастает фигура властного доктринера и говорит: «Это тебе запрещено уставом нашей партии».

Из вышеизложенного, мне кажется, ясно, какое основное противоречие существует между большевиками и областниками. Большевики ставят доктрину, выработанную человеческим умом, выше жизни. Большевики не доверяют анархии жизни. Они думают, что ум человеческий должен захватить жизнь в свои властные руки и направить в определенное русло по своему усмотрению. Какой же географ-философ предсказывал, что в отдаленном будущем человечество уничтожит естественные реки, оно оденет их каменными набережными, выправит их направление и берега и превратит их в прямолинейные каналы. То же самое большевики хотели бы сделать и с человеческой жизнью.

Совершенно иные вкусы у областников. Как у партии, стремящейся к политической революции, программа областников исходит из положения философа Канта: человек сам себе цель, он не может служить средством для посторонних ему целей. Человек создан для того, чтобы жить, и никто, даже государство не может лишить его права на жизнь. Государственный строй должен облегчить каждой личности в государстве возможность не только благополучно провести свой жизненный срок, но и свободно, без стеснений развить свою индивидуальность, удовлетворить свою потребность в самоопределении — «совершить на земле все земное». Идеал государственного строя заключается в том, чтобы все личности в государстве являлись вполне развитыми индивидуальностями. Из этого же положения Канта вытекает многочисленный ряд свобод: свобода печати, свобода организации и общественных группировок, свобода органов самоуправления; отсюда же вытекает автономия волостей, уездных и губернских собраний, автономия областей. Все эти ячейки или клеточки государственного организма должны развиваться свободно, подчиняясь только внутренним влечениям. Никакая внешняя власть не должна ставить пределы в самоопределении этих составных частей государства. Никакая власть не имеет права какую-то бы ни было составную часть государ-

ства обращать в средство для достижения посторонних этой части целей, для выполнения каких-нибудь экспериментов. Государственная власть не имеет права одну из частей государства превращать в отвал нечистот и отбросов, накопившихся в другой части государства. Человека, убежденного в благе политической свободы личности, возмущает взгляд на человека как на пушечное мясо, все равно, кому бы этот взгляд ни принадлежал — полководцу ли, ведущему в бой армию, агитатору ли, гонящему толпу на баррикады; его коробит взгляд на народную массу, как на тесто, как на какую-то мастику, из которой экспериментатор готовится лепить свои фантазии».



Заказная провокация искреннего экстремиста

Жил-был купец и сын купецкий Попов Степан.

Впрочем, начну с цитат, предварительно предупредив читателя, что публикуются они впервые: ни в дореволюционное, ни в советское время этот документ не цитировался, в Центральном госархиве Октябрьской революции он лежит среди бумаг знаменитого Третьего жандармского отделения, к таким документам «посторонних» старались не подпускать. Мне архивные выписки любезно предоставил новосибирский историк Михаил Шиловский.

«Чего ожидать Сибири от этого идеального правительства, когда оно смотрит на нее как только на золотую яму, сокровища которой оно может только проматывать... Это правительство, позорящее своим существованием русское имя, его агенты, чиновники, да и сам-то народ российский смотрит на Сибирь как на свою данницу, как на рабыню, обязанную пропитывать и обогащать своих тупоумных и развратных владык... Взгляните, сибиряки, на свою бедную родину, страдающую под игом навозных кровопийц... Такое положение Сибири и долго еще будет таким же, если сами сибиряки не употребят всех усилий, чтобы освободиться от этого ига...

Вспомните, что Сибири, быть может, выпадает на долю первой из славянских племен осуществить великое народное дело, великую идею демократической республики. Да здравствует Республика Сибирских Соединенных Штатов!».

В начале 60-х годов прошлого века мыслящая сибирская молодежь, обучавшаяся в Санкт-Петербурге, составила кружок, деятели которого осмысливали особую роль Сибири, доказывали, что Сибирь — явная колония России, и искали демократические пути освобождения от колониального ярма. Говоря об «областниках», мы подразумеваем в первую очередь Григория Потанина, Николая Ядринцева, Серафима Шашкова, Николая Наумова, Николая Шукина, Федора Усова — гордость и цвет, элиту мыслящей сибирской публики тех времен. В 1865 году царская охранка добралась до сибирских патриотов. По результатам дела главные герои областнического движения отси-

дели в крепостных замках, военных казематах, побывали в северной ссылке. Для меня эти люди, начавшие осмысление сибирской роли, не просто подвижники. До них сибирское пространство было духовно пустынно, неодушевленно, они начали поиск души Сибири, внесли тепло сердечной мысли в холодную страну, утвердили — это наш дом, мы едины, мы — сибиряки, будем гордиться этим.

Поводом для возбуждения дела явилась отобранная у кадет Омского военного училища прокламация «Сибирским патриотам». Кто был ее автором, охранка выяснить не сумела. Не захотела или не смогла — исследователи пока точно не определили. Редактировали прокламацию Потанин и Ядринцев. А авторство черновика принадлежит иркутскому купцу Степану Попову. Отредактированный текст несколько мягче, взвешенней, в нем нет провокационных выпадов против России и русского народа. Попов выражался прямее, откровеннее, грубее и, как считает Михаил Шиловский, «вульгарнее». Например, Россию, не стесняясь, называл «лихоимчихой».

Кто такой Степан Попов?

На восьмом десятке лет лидер и патриарх сибирских областников Г.Н. Потанин принялся за мемуары. Вот что вспоминал о Попове мудрый старик в начале XX века: «Этот Степан Попов был эксцентричный человек, принадлежавший к либеральному кружку купца Андрея Белоголового. Про него рассказывали, что он в своей квартире в переднем углу вместо православных икон устроил буддийскую божницу с буддийскими идолами. В то время, как Ядринцев и Шашков находились в Петербурге, он жил там же и, увлекшись тогдашним движением, составил, может быть, самую циничную прокламацию в свете. Потом он жил в Иркутске очень бедно и писал либеральные статьи в газете «Сибирь» под псевдонимом Коренной Сибири».

Известны и такие сведения о Попове:

«Он родился в семье среднего иркутского купечества, в среде и теперь еще невежественной, глухой и грубой... Каким чудом мог он вынести из этой среды, всю жизнь его освещавшие гуманные чувства и любовь к науке, — остается неизвестным, но несомненно, что образование он получил ничтожное, а занятие торговлей его тяготило.

Получивши по смерти отца небольшой капитал, он немедленно уехал в Петербург, где некоторое время изучал науки в университете и с головой окунулся в веселую петербургскую жизнь. Вернувшись в Иркутск, он попал в среду ссыльных поляков, пользовался у них большим уважением, основал газету «Амур», завел общественную библиотеку, но последняя не пошла у него удачно. Затем, когда возникла мысль об основании географического отдела, он выступил деятельным сторонником отдела и передал ему свою библиотеку. В это время разорился и вплоть до смерти непрерывно боролся с нуждой».

Так как арестованные областники не выдали автора прокламации, а полицейские чины прямо-таки с нежандармской наивностью особо не доискивались, камеры и ссылки миновали Степана Попова. После трагических для сибирского движения событий он жил еще более тридцати лет. И если другие герои областничества именно после тюрем и ссылок смогли реализовать и прославить себя, он ушел в тень, стушеввался, исчез со страниц сибирской истории.

То немногое, что удалось узнать об авторе прокламации «Сибирским патриотам», дает повод считать, что в среде сибирской интеллигенции он пользовался приятелью, современники простились с ним как с человеком, хотя и экстравагантным, но либераль-

ных демократических убеждений. К уважению, правда, примешивается некая жалость, впрочем, русский человек всегда соболезнует разорившемуся неудачнику.

Однако...

Я должен процитировать еще один документ, недавно обнаруженный Михаилом Шиловским и также нигде не цитированный. Вот что 24 августа 1864 года «совершенно секретно» писал западно-сибирскому губернатору М.С. Корсакову шеф российских жандармов Николай Мезенцев:

«Милостивый государь, Михаил Семенович!

Представитель настоящего письма купец Попов, находившийся временно в Санкт-Петербурге, возвращается опять в Восточную Сибирь. По частным сведениям оказалось, что он... человек очень способный для секретных разведований. На этом основании Попов несколько раз употребляем по секретным делам 3 отделения Собственной его Величества канцелярии и в этих случаях действительно доказал способность на подобные поручения, так и усердие свое. Не изволите ли и вы, Милостивый Государь, воспользоваться трудами его по секретной части».

Да, сегодня почти стопроцентно доказано, что Степан Попов — секретный агент и довольно крупная фигура в Третьем отделении жандармской службы.

Итак, перед нами очередная драма демократического движения с еще заурядным провокатором? Видимо, так. Хотя, конечно, добросовестным историкам придется ответить на много неясных вопросов. После ссылки Потанин и Ядринцев имели многократную возможность встречаться с Поповым в Иркутске, однако свидетельств таких встреч не сохранилось. Не доверяли? Вряд ли. Ведь старый Потанин сохранил к Попову до конца своих дней вполне приятное чувство.

Я вовсе не намерен защищать давнего провокатора из иркутских купцов. Но хотелось если уж не до конца понять, то хотя бы разобраться в главном поступке Степана Степановича. Должны ли мы видеть в провокаторской прокламации Степана Попова только результат жандармских усилий? Задаю этот вопрос, чтобы выпуклее высветить одну особенность роли провокатора. Явно Степан Попов писал свою прокламацию не под жандармскую диктовку. Редкий чин прошлого века набрался бы смелости диктовать: «Неспособность петербургского правительства разумно и либерально управлять подвластными ему народами, его тупоумие и недобросовестность признаются всеми честными людьми». Нет сомнений, что Степан Попов чистосердечно выражал только свои мысли, он писал, как считал, и подсказывать ему не требовалось. Вот ведь в чем «привилегия» провокатора: во времена жесточайших запретов, в любое подлое время такой человек может безбоязненно говорить правду, говорить то, что думает. Он может быть смелым, он позволяет себе быть вольнодумцем. Революционер-конспиратор будет таиться, скрывать мысли, говорить эзоповым языком, ибо чем он смелее, тем строже наказание. Провокатор прикрыт, у него, что называется, «плотная спина», его оберегает и подстраховывает система, поощряя быть неконтролируемо смелым. Вот строчит Попов свою прокламацию. Он что, выдумывает? Но почему тогда столь правдоподобен? Может быть, он искренен и правдив, потому что дерзкие мысли давно приходили в его купеческую голову, он все это передумал, пережил. Именно пережил, то есть отжил, для него это уже пройдено, несущественно, но долго составляло предмет размышлений, мучительных сомнений. Да, для других он будет подлец, лицемер, мерзавец, предатель, но для себя — нет, он ведь пишет то, что

думал. Он не кривит душой перед собой, подстрахованный жандармской поддержкой, он как бы имеет право высказать все, что думалось, не таясь. Провокатор может быть честным, как честным бывает смертник в последнем слове: ему терять нечего.

В своей прокламации от имени купеческого сословия Степан Попов говорил свою честную правду. И, читая давний спецхрановский документ, думаешь только о том, что в середине прошлого века, когда начала нарождаться своя, сибирская купеческая буржуазия, уже тогда ее интересы столкнулись с интересами петербургского правительства, которое больше покровительствовало «своим» — столичным чиновникам и воротилам.

Меня в прокламации «Сибирским патриотам» остановило одно место. Помните, шеф жандармов Николай Мезенцев «рекомендовал» секретного агента Степана Попова западносибирскому губернатору Михаилу Корсакову?

А между тем Попов в своей прокламации, перечисляя угнетателей Сибири, не стеснялся в словах: «Достаточно припомнить имена Чичерина, Пестеля-отца, Трескина, Гончарова, Озерского, Муравьева-Амурского, дурачка Корсакова, чтобы понять, каким варнакам правительство поручает власть над несчастной страной».

Ох, не дурак был иркутский купец, не дурак, с огнем играл. Ведь, наверное, есть вещи, которые не позволяют даже провокатору!

Не гнездится ли в глухом закоулке души всякого думающего сибиряка свой Степан Попов и не задает ли себе ненужные, мешающие жить вопросы? Лихо было Николаю Ядринцеву написать: «Сибирь как колония». Но ведь предложение не закончено: чья? Чья колония? И тут дрожь в коленках — какое слово ни поставишь, обязательно обидишь. Москвы? России? Союза? Есть спасительный эвфемизм — центр.

Но что за ним? Индия или бывшие Американские Штаты были колонией Британской империи. Четко и недвусмысленно. Сибирь — Российской империи? Но империя сошла в небытие, однако колониальная судьба на этом, сдается, вовсе не прекратилась.

По сегодняшней ситуации проще всего написать «Союза». Конечно, Сибирь трудилась на весь Союз, но зачем обижать трудолюбивого узбека, белоруса, латыша или украинца — разве кому-то из них что-то перепало на дармовщинку?

Сибирь — колония России? Но разве может нищая метрополия обирать богатую колонию? Бывают ли нищие метрополии? Еще в 1926 году Георгий Федотов вполне справедливо писал: «Великороссия хирела, отдавая свою кровь окраинам, которые воображают теперь, что она их эксплуатировала...». Зачем уподобляться этим воображалам?

Колония Москвы? Но миллионы москвичей резонно обидятся: редко кто из них ложками ест икру обских осетров, ходит в соболях енисейского кряжа, наряжает жен в якутские бриллианты, держит нефтедоллары сибирского достоинства в швейцарских банках. Москва простолюдинов не стрижет купоны с колониальных богатств. Но ведь именно Москва — столица социалистической крепостной системы и недавняя (?) цитадель административно-командных структур! Ни в одной другой стране так не подавляется провинция, как в Стране Советов. Как не сослаться на великий авторитет Александра Солженицына:

«Москва уже 60 лет кормится за счет голодной страны, с начала 30-х годов она молчаливо пошла на подкуп от власти, разделить

имущества, и оттого стала как бы льготным островком с другими материальными и культурными условиями, нежели остальная коренная Россия... Оттого и переменялась психология московской, имеющей голос публики — она десятилетиями не выражала истинных болей страны».

Чья же Сибирь колония? Ведь мало кто, даже самый замшелый социалистический империалист, возьмется-соберется отрицать, что все свои 400 российских лет пребывала великая Сибирь в постоянном и чудовищном колониальном состоянии.

Нужна ли России сильная Сибирь? Любой здравомыслящий человек ответит: несомненно. Сделает ли Россия когда-либо сильной Сибирь? 400 лет совместной истории доказали, что нет, это ей пока не по силам. Хочешь не хочешь, сибирская нищета, особо обидная на фоне ее несметных богатств — итог четырехсотлетнего российского владения. Ни самодержавные государи не особо оглядывались на свои «задворки», ни социалистические владыки.

Как нам избежать неизбежного вопроса: нравственно ли быть колонией? Любой честный и ответственный человек, живущий в Сибири, рано или поздно должен задать его себе и по возможности честно ответить. Это главное. Ведь это осознание — нравственно ли рабство? Ответ для сибиряков, к сожалению, однозначен: да, мы живем в колонии, это безнравственное состояние, и мы ничего не сделали, чтобы исправить его. От колониализма пострадала не только природа Сибири и ее недра, но и сознание сибиряка. Он перестал быть хозяином своей великой земли, не чувствует и не осознает ее своей родиной. Чиновная метрополия маскирует свои намерения под любовь и патриотизм. Да, я люблю Россию, Москву, но почему моя любовь не позволяет замечать, что наша любовь односторонняя.

Восемь веков московского «сбирания» не прошли для столицы бесследно. Занимаясь великим государственным делом, попутно Москва разучилась уважать те веси, которые и делают великим стольный город. Величие столицы — в величии ее провинций, а не в собственной помпезности.

И вот что еще: меняются системы, режимы, личности, государи, вожди — в нашем государстве все остается без изменений по отношению к Сибири.

Раб — это не вина. Это беда. Но ведь когда научишь себя не осознавать рабства, это дает ощущение обычности жизни.

Прецеденты есть. Великое княжество Финляндское бывшей Российской империи процветает под самостоятельным флагом. Земля Аляска, пребывая она в российском владении, была бы такой же зачуханной, как Колыма или Чукотка, а вот как штат — процветает благословенно.

Резать по-живому?.. В мои намерения это не входит. Я хочу обсуждать единственное, цивилизованное — Сибирь достойна лучшей доли, и как ей этой участи добиться в естественном сродстве с Россией.

...Жандармы сделали свое всегдашнее черное дело: благородная идея наивных юношей о процветающей Сибири была умело вывалена в «сепаратистской» грязи. Их не клевали, не опровергали, их забывали. Да, вроде их помыслы не только наивны, но и чисты, но если за процветающую Сибирь — это как бы непременно и против России. Лучше запомнить...



Наблюдательный ботаник

Если я назову имя — Николай Кузнецов, полагаю, большинство сразу определят, что имеется в виду легендарный наш земляк, человек большого мужества, ибо работал в логове врага, Герой Советского Союза.

Наше сознание милитаризовано: мы долго помним ратно-военные подвиги и забываем мужество, скажем, людей науки. Сегодня мне захотелось вспомнить скромного ботаника, поневоле ставшего этнографом, тоже Николая Кузнецова.

Мне посчастливилось недавно полетать над самыми красивыми тюменскими местами — это восточные склоны Северного Урала, Березовский и Советский районы, их запад, красивые горы, твердая возвышенность, почти неистребимая тайга, истоки горных рек, множество озер и «туманов». Праздник, когда это видишь. Но красивейшие места долгое время считались самыми труднодоступными. Даже хозяева этих мест — манси и ханты — не всегда смели поискать тропу. Известен случай, когда этнограф Валерий Чернецов вынужден был уже в советские годы, в одиночку, без проводника одолевать таежные буреломы в междуречье Сосьвы и Конды: среди местных проводника не сыскалось.

Когда я летал над Пятиречьем, над Турсунтским туманом, над озером Арантур, я почему-то и вспомнил незнаменитого Николая Кузнецова, который не побоялся сто лет назад рискнуть попутешествовать в почти нехоженных местах.

По нынешним временам не всякий примется за такую роскошь, как рыться, копаться в старинных, ведомственных, профессиональных журналах типа «Горное дело», «Вестник естествознания» или «Журнал МВД». А там попадается масса интересного. Рассказы об экспедиции ботаника Кузнецова рассыпаны по изданиям и бюллетеням Русского императорского географического общества конца прошлого века.

«Я провел минувшее лето в тех трущобах и дебрях восточного склона Северного Урала, которые... не только никогда не вкушали

от плодов цивилизации, но даже почти совсем не населены, так как трудно признать за население какие-нибудь два—три десятка вогульских семей, занявших обширные болотистые леса верховьев Лозьвы и Сосьвы и, можно сказать, доживающих здесь последние дни своего существования».

Так чуть-чуть напыщенно, а в общем-то горько начинал свой отчет в общем собрании Императорского географического общества на заседании в октябре 1887 года член-сотрудник общества Н.И. Кузнецов. Ботаник по специальности, он был командирован по ходатайству общества к Северной экспедиции Горного департамента. Вместе с начальником экспедиции, горным инженером Л.А. Лебедзинским, и знаменитым уральским геологом А.С. Федоровым Кузнецов в 1886 г. проделал большой маршрут от Никито-Ивделя до Няксимволя. Он поднимался на Яльпинг-Нер, исследовал вершины рек Печоры и Сосьвы, пересек Уральский водораздел, спускался на Западно-Сибирскую низменность. Флористические исследования, сборы и гербарии существенно дополняли и уточняли ботаническую картину этого района.

«Вы вздумали пробраться в глубь страны, — живописал свои экскурсии член-сотрудник РГО, — разнообразна флора увалистой полосы, это, пожалуй, самая интересная часть во всем Урале».

Результаты ботанических исследований Кузнецова оказались обширны. Ему удалось доказать, что границы многих растений уходят гораздо дальше на север, нежели это считалось ранее. На Урале как бы «сталкиваются» две флоры — европейская и сибирская. Кузнецов подтвердил основное утверждение академика, своего предшественника Франца Рупрехта, который считал, что флора Урала сравнительно молода. «Флора Северного Урала, — писал Кузнецов, — еще далеко не выработалась; отношение одних форм к другим не установились».

Опубликованные материалы Кузнецова «умерили преувеличенное мнение о чрезвычайной бедности флоры Урала».

Однако не только ботаническими исследованиями ограничился деятельный член-сотрудник Географического общества. Его заметки, понятно, не могут претендовать на полноту и фундаментальность, но все же весьма интересны, так как описывают и население горного, труднодоступного края, где всякий ученый был редчайшим гостем. Берега Лозьвы, Большой и Малой Сосьвы, верховья Печоры и Малой Путырны населяли манси.

Заметки дают наглядное представление о быте коренного населения Северного Урала. Самыми большими в бассейне Сосьвы были Искарские юрты (Яна-пауль).

«В этом поселке есть некоторая претензия на улицу, — рассказывает ботаник, — хотя сами юрты расположены беспорядочно и фасадами обращены во все стороны. Дикий и печальный вид представляла летом эта вогульская деревня. Летом вогулы редко живут в своих зимних хоромах; они или переселяются в летние юрты, построенные на самом берегу реки, или отправляются кочевать. Когда я пришел в эти Искарские юрты, расположенные среди болотистого леса в версте от речки, то я почувствовал себя точно в царстве мертвых».

Ни лай собак, ни пение петуха, ни даже приветливый дымок, ничто не встретило утомленного путника...

На основе своих наблюдений Кузнецов пришел к выводу, «что вогулы в их первобытной простоте исчезают», — для него факт очевидный: «на Лозье есть несколько юрт, ныне пустых, в которых еще недавно жили люди».

Как и положено ботанику, Кузнецов был наблюдательным человеком. Одним из первых он отмечает зачатки письменности у народа, на землях которого ему пришлось путешествовать.

«Раз я ехал на двух лодках по реке. Со мной было пять работников, из которых двое — вогулы. Мы остановились ночевать, и я попросил вогула написать на дереве, что мы здесь ночевали; и что же — он сумел и это событие передать письменно: он начертил на первом месте 6 горизонтальных черточек, что означает 6 мужчин, 3 косых черты сбоку — 3 собаки и две больших косых черты — 2 лодки. Все это значило: 6 человек с тремя собаками приехали на двух лодках и ночевали в этом месте».

До этого случая Кузнецову приходилось встречать на деревьях различные засечки, смысл которых разъяснили местные проводники: обычно зарубки рассказывали о том, что на этом месте охотник убил лося, медведя, соболя, росомуху. У каждого зверя было свое символическое изображение, так что любой вогул мог читать таежную топорную «грамоту», таежную летопись.

Кузнецов добросовестно перерисовал лесные письма и продемонстрировал их на заседании Географического общества.

Вывод ученого был безрадостен: он считал, что манси доживают «последние дни своего существования».

Этого, к счастью, не произошло. Но если сегодняшние ботаники столь же дотошно, как их дореволюционный коллега, начнут наблюдать жизнь сибирских аборигенов, они найдут немало горького и противоестественного в жизни этих «детей природы».



Гнетущее впечатление российского разночинца

В конце прошлого века Сибирь поманила русских пишущих разночинцев. Возникла волна непонятно жадного интереса. В Сибирь шел писатель приличного калибра. Глеб Успенский. Николай Телешов. Сергей Елпатьевский. Для тогдашней читающей публики — не последние фигуры. Чем продиктован интерес? Сибирь становилась местом ссылки народников, народовольцев, землевольцев, и пишущие единомышленники-коллеги устремились вослед.

Пользу для российского общества эта волна, несомненно, имела: демократическая общественность узнавала азиатскую часть России, о которой была, в общем-то, в большом неведении. Народники подготавливали и сахалинский визит Антона Павловича Чехова, по крайней мере их публикации возбуждали его сибирский интерес.

Среди тех, кто рискнул на сибирское путешествие, профессиональный врач и разночинный очеркист Сергей Яковлевич Елпатьевский. Он сначала опубликовал в журнале «Русское богатство», а потом издал отдельно книгой «Очерки Сибири».

Демократические разночинцы, которые смотрели на Россию, как на исключительную страну слез, уныний и недоумений, самой Сибири не заметили, ибо искали одного — обличения царского режима. Однако очередная наблюдательность не позволяла пройти мимо увиденного. Хотя...

Елпатьевский признавался: «Как ни любопытно всматриваться в сибирскую деревню, она все-таки скучна и тосклива. Чужая земля, чужой воздух, чужие люди, чужие речи...».

Проплываем вместе с писателем Сергеем Елпатьевским по его маршруту.

«В Тюмени мы сели на пароход и двинулись по Туре. Ни Туры, ни Тобола, ни Иртыша я описывать не буду. Пусто, диковато, безлюдно — вот и все. Я, впрочем, не особенно занимался ими — я ждал Оби. Меня чрезвычайно интересовала эта безбрежная река, эта русская Амазонка, где бывают настоящие бури, разбивающие большие суда.

Мне пришлось жестоко обмануться. Ничего печальнее, пустынное и бесприютнее нельзя себе представить. Даже громадная масса воды не поражает. Некрасива эта сибирская Амазонка с вечно мутным небом, с однообразными унылыми лесами, с восьмьюмесячною зимой, с тусклым лесом.

Чем выше поднимались мы к северу, тем пустынное и тоскливее казалась река, тем ниже становились леса, тем унылее берега. Изредка вырвется крутой пригорок с приютившеюся на нем деревушкой, светлую точкой промелькнет крест церкви, и опять безлюдье, опять пустыня, опять едешь двенадцать—двадцать часов и не встретишь признаков человеческого жилья. Подойдет к пристани, посвищет пароход каким-то пустым звуком, который тотчас же и замрет на этих пустынных берегах; явятся откуда-то из леса 3—4 человека таскать дрова, подплывут 2—3 лодки с остяками; опять печально посвищет пароход, и опять режет он мутные волны широкой реки.

Гнетущее впечатление производят эти остяки».

Ничто не могло поднять настроение разночинного писателя; безотрадность — вот ключевое чувство, которое владело ими и которое они прививали читающей России.

Может, тогдашняя Сибирь была исключительно страной кандалов, но всякий добирающийся досюда писатель разночинного толка, старался побывать у арестантов. Не минул этого и Елпатьевский.

«Мне давно хотелось поближе взглянуть на арестантов; я воспользовался случаем и выпросил у конвойного офицера позволения взойти на арестантскую баржу.

Представьте себе длинную и узкую баржу, два конца которой заняты больницей и помещением конвойного офицера, стены палубы огорожены проволочною решеткой и такими же дверями с висячим замком, у которого постоянно стоит часовая.

Вся эта палуба в данную минуту была занята ходившими и лежавшими на полу арестантами. Единственный фонарь с салюною свечкой спускался с потолка и тусклым, расплывающимся в тумане кольцом освещал всю эту огромную массу людей.

Арестанты пели, песня оборвалась.

— Лисицу! — раздались голоса. — И Ганьку нужно позвать, без них не выйдет.

Притащили из камеры, помещавшейся под палубой, Лисицу — громадного рыжего еврея с всклокоченной бородой и острым, круто загибавшимся носом; привели Ганьку — тшедушного, совсем еще юного арестанта с длиною, тонкою шеей; по требованию их разыскали Махмедку-черкеса и бродягу «Царя Македонского»; бразды правления вручили «Дьякону», как называли этого регента арестанты.

Пошли большие споры, что петь. В конце концов запели «Гвадалквивир». И вот стройная песня полилась по огромной реке.

«Гвадалквивир» был настоящий, как следует: было здесь и «скинь мантилью, ангел милый», и все, что полагается, хотя тут же было и «Ока не широка», «Москва не глубока». Еврей тянул высокою фистулой, Ганька пел нежным девичьим альтом, «Царь Македонский» гремел октавой, Дьякон энергетически встряхивал длинными космами русых волос и высоким тенором, подымаясь на носках, выводил верхние ноты.

Этот «Гвадалквивир», льющийся с арестантской баржи около Сургута, этот Лисица, этот Махмедка-черкес со страшными (я не иронизирую) глубокими глазами, этот «Царь Македонский» с бронзовым лицом, перерезанным шрамом, а кругом бритые головы, серые халаты, громыхающие кандалы — все это представляло такую картину, что мне сделалось жутко.

И потом все замерло. И опять пополз холодный туман через железную решетку, окутал светлое пятно фонаря и пополз в арестантские души... Побледнели и осунулись лица, потемнело смуглое лицо цыгана, сгорбился плясавший каторжник, сырые халаты слились с серым туманом, несшимся с реки.

Я вернулся на пароход».

И еще одно небезынтересное наблюдение разночинного публициста Сергея Елпатьевского: «Зверолов поживет известное время дома, снова привыкнет к людям и потом опять уйдет в тайгу. И каждый раз все больший и больший отпечаток будет класть тайга на человека. А пройдет пять, десять лет, его уже будет тянуть в тайгу, тайга заполонит его, он почувствует на себе ту странную и могучую власть ее над человеком, которую я наблюдал здесь, в Сибири, на бродягах, на стариках-крестьянах, по году не выезжающих из тайги даже к родным в деревню. Я знаю культурного человека, выдавшего виды, который искренно говорил мне, что не понимает жизни без тайги.

Сын того зверолова, о котором я говорил, уж только услышит про старые места и русскую жизнь. Он юношей начинает ходить с отцом «белковать» и «соболевать», и на него, еще юношу, тайга налагает свою неизгладимую печать. А дети и внуки этого сына потеряют уже всякую связь с Россией, позабудут склад ее жизни, ее верования, песни, легенды и будут думать, как думают крестьяне в Забайкалье, что Ермак завоевал их предков, всегда живших в Сибири, — они превратятся в сибиряков».



Покорение Сибири атаманом Ермаком и художником Суриковым

В одну из своих многочисленных поездок разыскал я в почтенном городе Красноярске на тихой улочке, если память не изменяет, тротуарно-деревянной, не тронутой шлакоблочной цивилизацией двухэтажный добротный дом. Постояв на деревянном крыльце, я побродил по его тихим комнаткам-залам с сохраненным ароматом старины и давней — добротной, основательной — жизнью. Скрипели деревянные половицы, пахло свежей известкой недавно побеленных стен, и создавалось ощущение очень опрятной, устойчивой, нравственной жизни, которая протекала в этих стенах по красивым давним канонам. Это был музей В.И. Сурикова, но не просто музей, а дом-музей, музей, организованный в семейном доме красноярских казаков Суриковых. Я люблю этого художника. Стоя на деревянном крыльце, подумал, что гениальному сибиряку повезло: ведь талант — от Бога, а правила жизни — из нравственности отчего дома.

В музее имелось немного работ Василия Ивановича, и это понятно: он весь, еще при жизни, был разобран, раскуплен. Здесь не только этюды. И среди них два, мне особо родных — «Река Обь» и «На пароходе по Оби». Хмурые денечки, непритязательные пейзажи, темноватый колорит, и остро схваченное характерное состояние суровой сибирской природы. Хотя, казалось бы, этюды скоротечны. Суриков — укорененный енисеец, и я дал себе задание непременно выяснить поподробнее, когда же он плывал по рекам Тобольской губернии.

Вспомним попутно, что красноярский уроженец и казачий потомок очень любил свою родину.

Вот несколько его высказываний о Сибири.

«В Сибири народ другой, чем в России: вольный, смелый».

«Я не могу долго быть вне Сибири».

«Греческую красоту можно и в остяке найти».

«Сибирь под Енисеем — страна, полная большой и своеобразной красоты».

Почему Суриков берется, скажем, за «Покорение Сибири Ермаком», долго раздумывать не приходится: доказано, что донские суриковские предки шли в Сибирь с Ермаком. Суриков часто ездил и в Сибирь, и из Сибири, понятно, не минуя при этом Тюмень и Тобольск, ибо только через них и лежал путь в родной Красноярск. Например, из Сибирской поездки 1887 года Суриков привез великолепный этюд «Тобол» и три ковра, купленных в Тюмени по пять рублей за штуку. Бережливый сибиряк Василий Иванович сообщал матери не без некоторой экономической гордости: «Такие в Москве стоят гораздо дороже». Картина о Ермаке заставила Сурикова специально заехать в Тобольск, спуститься вниз по Иртышу до Самарово. Этюдами для картины он занимался летом 1892 года, тогда и доехал до Самаровского яма, а позднее осенью года 1894-го также бродил с мольбертом по диким иртышским берегам, на которых в свое время саживал великий вольный атаман.

«Покорение Сибири Ермаком» было выставлено на 23-й передвижной выставке в феврале 95-го. Случайно или не случайно, но в марте, буквально через месяц Сурикову присуждают звание академика. Он первый сибиряк, ставший художественным академиком России.

Работа над этюдами в наших краях оставила в эпистолярном наследии Василия Ивановича несколько драгоценных конвертов, помеченных адресами: Тобольск, Тюмень.

Вот, к примеру, суриковское письмо из Тюмени, писанное 21 мая 1891 года и адресованное матери и младшему брату Александру.

«Здравствуйте, милые мама и Саша!

Вот, брат, застряли мы здесь до отхода следующего парохода на неделю. Грязь ужасная. Перспективы пребывания очень скучные. Мы все, слава Богу, здоровы. Выедет пароход 29 мая в Томск, билеты я взял на него.

Следовательно, к 15 июня буду в Красноярске, если Бог велит.

Твой брат В. Суриков».

Тобольский конверт датирован 1 июня 1892 года.

«Здравствуйте, милые мамочка и Саша!

Я живу теперь в Тобольске. Пишу этюды в музее и татар здешних и еще виды Иртыша. Губернатор здесь очень любезен, оказал мне содействие по музею. Сегодня был он у меня в гостинице. Время у меня здесь проходит с пользой. Дня через два уезжаем в Самарово или Сургут остояков в картину писать. Если Бог велит, более 3 и 4 дней там жить не думаю. А потом скорее к вам, дорогие мои. Что делать! Этюды нужны. Целуем вас.

В. Суриков».

«Тобольские губернские ведомости» (№ 23 от 6 июня 1892 года) сообщали, что художник работает в окрестностях Тобольска, выехал на место, где, как предполагал, произошла решающая битва ермаковой дружины с кучумовыми воинами. В Тобольском музее Суриков делал этнографические зарисовки. Из этой поездки Василий Иванович привез пейзажные виды «Лодка на воде» и «В лодке на реке».

Любопытная история, описанная Суриковым в письме родственникам в августе 1894 года.

«Теперь опишу мои похождения насчет маминых ичигов (сапожек). Приезжаю в Томск, смотрел по лавкам: все татарские, вышитые переда и задки. В Тюмень опоздали пароходом и пришли вече-

ром, когда лавки были закрыты; но я с Леной обходил всех, которые торгуют сапогами со двора, и где были приказчики, то показали, и все татарские без каблуков. Но главная торговля их была в простых лавках на площади. Но они были заперты, и приказчиков нету.

Татарин встретился и сказал, что все ичиги из Казани привезли в Тюмень».

Суриков признавался своему биографу, поэту Максимилиану Волошину: «В 1891 году начал я «Покорение Сибири» писать. По всей Сибири ездил материалы собирал. По Оби этюды делал. К 95-му году кончил и выставил».

Любопытные воспоминания оставила иркутская учительница истории Калерия Александровна Яковлева-Козьмина, которая встретила Сурикова на пароходе «Казанец» по дороге из Томска в Тюмень в 1891 году, когда как раз и был задуман «Ермак».

«Василий Иванович охотно и много разговаривал с молодежью, он любил Сибирь и понимал ее особенности и красоты. Когда мы жаловались на скуку и монотонность путешествия, он указывал на окружающую природу, заставлял вглядываться, уметь ценить и беспредельную ширь Оби, и мрачный пустынный характер ее берегов, понимать величие природы, которое создавалось этой беспредельностью. Редким оживляющим диссонансом являлись немногие раскиданные по берегам деревни с их длинными улицами и крепко сплоченными деревянными домиками. «Вот, — говорил Василий Иванович, — борьба человека с природой, борьба за жизнь, жесткая борьба... Здесь выковываются стойкие сибирские характеры». При остановке парохода остяки с обласков забирались на борт, предлагали рыбу, просили табаку и водки. Матросы их гнали. А Василий Иванович спешно делал наброски в своих книжках.

...Особенно красивы были берега в праздничный день — 15 августа. На берегах виднелись живописные группы по-праздничному пестро разодетых крестьян, слышалась гармоника, кое-где пели песни. Бегали и играли ребятишки. Василий Иванович приходил в восторг от этих картин, почти не отходил от борта парохода. Он рассказывал о задуманной им картине из сибирской истории, где должен был фигурировать Ермак, и, наблюдая окружающее, он, очевидно, подбирал подходящие мотивы».

Картина сразу получила полное признание. Всякое. Официальное. Дружеское. Критическое.

Сам художник не скрывал радости и торопился поделиться ею со своими родными.

«Петербург. 24 февраля, 1896 год.

Здравствуйте, дорогие мамочка и Саша!

Спешу уведомить вас, что картину мою «Покорение Сибири Ермаком» приобрел государь. Назначил я за нее 40 тысяч. Раньше ее торговал Третьяков и давал за нее 30 тысяч, по обыкновению своему страшно торговался из назначенной мной суммы, но государь, к счастью моему, оставил ее за собой.

Я был представлен великому князю Павлу Александровичу. Был приглашен несколько раз к вице-президенту Академии графу Толстому, и на обеде там пили за мою картину. Когда я зашел на обед передвижников, все мне аплодировали. Был также устроен вечер в мастерской Репина, и он с учениками своими при входе моем тоже из партийности мне подгаживают; но меня это уже не интересует... Слава господу, труд мой окончен с успехом! По желанию моему

главнокомандующий великий князь Владимир Александрович разрешил видеть мою картину казакам лейб-гвардии. Были при мне уральские казаки, и все они в восторге, а потом придут донские, Атаманского полка, и прочие уж без меня, а я всем им объяснял картину, а в Москве я ее показывал донцам».

Коллеги были единодушны в признании суриковского шедевра. И даже «подгаживавший по партийности» Илья Ефимович Репин не стесняется в эпитетах:

«Да, Суриков яркий пример самобытности. Вот его «Ермак, покоритель Сибири»...

...Впечатление от картины так неожиданно и могуче, что даже не приходит на ум разбирать эту копошащуюся массу со стороны техники, красок, рисунка. Все это уходит как никчемное, и зритель ошеломлен этой невидальщиной. Воображение его потрясено, и чем дальше, тем подвижнее становится живая каша существа, давящая друг друга.

После и казаков, и Ермака отыщет зритель, начнет удивляться, на каких каюках-душегубках стоят и лежат эти молодцы; даже серьги в ушах некоторых героев заметны... И уж никогда не забудет этой живой были в этих рамках небылиц».

Коллега Сурикова, молодой тогда Михаил Васильевич Нестеров, оставил колоритные заметки о посещении мастерской художника в канун его триумфа.

«Помню, он повел меня смотреть «Ермака». Слухи о том, что пишет Суриков, ходили давно, года два—три, говорили разное, называли разные темы и только в самое последнее время стали уверенно называть «Ермака»... И вот завтра я увижу его... Стучусь в дощатую дверь. «Войдите». — Вхожу и вижу что-то длинное, узкое... Меня направляет Василий Иванович в угол, и когда место найдено, мне разрешается смотреть. Сам стоит слева, замер, ни слова, ни звука.

Чем больше я смотрел на Ермака, тем значительней он мне казался как в живописи, так и по трагическому смыслу своему. Он охватывал все мои душевные силы, отвечал на все чувства. Суриков это видел и спросил: «Ну что, как?». Я обернулся на него, увидел бледное, взволнованное, вопрошающее лицо его. Из первых же слов моих он понял, почувал, что нашел во мне, в моем восприятии его творчества то, что ожидал. Своими словами я попадал туда, куда нужно. Повеселел мой Василий Иванович, покоровивший эту тему, и начал сам говорить, как говорил бы Ермак — покоритель Сибири».

И еще одно драгоценное свидетельство. Максимилиан Волошин сохранил в пересказе Василия Ивановича мнение о картине «Покорение Сибири Ермаком» еще одного их великого современника — Льва Николаевича Толстого: «Когда «Ермака» увидел, говорил: «Это потому, что вы поверили, оно и производит впечатление».

Суриков комментировал эти слова великого Льва: «В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так, а чтобы возможность была, чтобы похоже было. Суть-то исторической картины — угадывание».

Еще одна история, рассказанная Василием Ивановичем Максимилиану Волошину.

«В восемьдесят первом поехал я жить в деревню — в Перерву. В избушке нищенской. И жена с детьми. В избушке тесно было. И выйти нельзя — дожди.

Здесь вот все мне и думалось: кто же это так вот в низкой избе сидел. И поехал я это раз в Москву за холстами. Иду по Красной площади. И вдруг... Меншиков! Сразу всю картину увидел. Весь узел композиции. Я и о покупках забыл. Сейчас кинулся назад в Перерву.

А потом нашел еще учителя-старика Невенгловского, он мне позировал. Раз по Пречистенскому бульвару идет, вижу — Меншиков. Я за ним: квартиру запомнить. Учителем был математики первой гимназии. В отставке. В первый раз и не пустил меня совсем. А во второй раз пустил. Позволил рисовать. На антресолях у него писал. В халате, перстень у него на руке, небритый — совсем Меншиков. «Кого вы с меня писать будете?» — спрашивает. Думаю, еще обидится, говорю: «Суворова с вас рисовать буду». Писатель Михеев потом из этого целый роман сделал. А Меншикову я с жены своей покойной писал».

О работе Сурикова над «березовским Меншиковым» — еще одной, связанной с Тобольской губернией картиной, — можно рассказать не меньше, чем о «Ермаке». Но это другая история.



Очевидный Чехов

«Тюмень склоняет к черным запоям». Эту выписку я сделал лет 20, а может, все 25 тому назад. Помню, в домашней библиотеке поэтессы Любови Вагановой, которая тогда жила в Тюмени, листал старинный томик, дореволюционное издание — это были письма и дневники Антона Павловича Чехова — и наткнулся на эту изумляющую фразу:

«Тюмень склоняет к черным запоям».

Дальше следовало что-то о климате болотистых низменных мест, о плохом настроении. Но я выписал только этот экстракт, но — вот незадача! — по молодости лет не догадался поставить на выписке ни год, ни место издания.

И вот чтобы отыскать сакраментальные строчки, я перечитал все сибирские заметки, письма и очерки Антона Чехова в полном советском издании. И, к сожалению, не отыскал, но, понятно, не зря потратил время. Что же писал великий Чехов о наших краях, когда весной 1890 года добирался до Сахалина?

Во-первых, сразу о «черных запоях». Конечно, это не более чем яркий образ — образ тоски, безвыходности и плохого настроения. Антон Павлович не стеснялся того, что он не трезвенник и позволяет себе рюмку-другую, но в сибирском путешествии для этого у него не было условий. В письме из Томска к своему издателю А. Суворину он признается: «Еще одно замечание: в дороге совсем не хочется спиртного. Я не могу пить».

Хотя, надо сказать, чеховское воздержание постоянно подвергалось испытаниям. Попутно выясняется и отношение, не вполне благоприятное, Антона Павловича к сибирской интеллигенции:

«Не помню ни одного сибирского интеллигента, который, придя ко мне, не попросил бы водки».

В том же очерке «Из Сибири», опубликованном в суворинском «Новом времени»: «Местная интеллигенция, мыслящая и не мыслящая, с утра до ночи пьет водку, не зная меры и не пьянея, после первых же двух фраз местный интеллигент непременно уж задаст вам вопрос: «А не выпить ли нам водки?»».

Вообще, если подойти предвзято, Чехова можно выставить сибирененавистником: «Сибирский тракт — самая большая и, кажется, самая безобразная дорога во всем мире».

Что ни предложение, то приговор.

«Сибирь есть страна холодная и длинная».

Дорога вымотала неприхотливого, спокойно-мужественного и всегда сдержанного путешественника.

Из письма А. Суворину:

«Только от неспанья и постоянной возни с багажом, от прыганья и голодовки было кровохарканье, которое портило мне настроение, и более того неважное».

Из письма Н. Лейкину:

«От Красноярска до Иркутска страшнейшая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте голодуху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы глаза, вечный страх, что у повозки что-нибудь сломается, и скуку. Что же касается разливов, то это казнь египетская».

«Хомо Сахалиниенсис» не без иронического содрогания восклицает: «А какой я грязный, какое у меня ерническое рыло!».

Из письма А. Плещееву:

«В дороге одет я был таким сукиным сыном, что даже бродяги косо на меня посматривали, а тут еще, точно нарочно, от холодных ветров и дождей рожа моя потрескалась и покрылась рыбьей чешуей... Знаете, что значит мокрые валенки? Это сапоги из студня».

Особая чеховская неприязнь пришлась на губернский город Томск.

«Томск скучнейший город». «Томск город скучный, нетрезвый, красивых женщин совсем нет, бесправие азиатское». «Красноярск красивый интеллигентный город, в сравнении перед ним Томск свинья в ермолке и моветон». «Из всех сибирских городов самый лучший Иркутск. Томск гроша медного не стоит».

Перепало от Чехова и Тюмени:

«В Тюмени я купил себе на дорогу колбасы, но что за колбаса! Когда берешь кусок в рот, то во рту такой запах, как будто вошел в конюшню в тот самый момент, когда кучера снимают портянки; когда же начинаешь жевать, то такое чувство, как будто вцепился зубами в собачий хвост, опачканный в деготь. Тьфу».

Думаю, что в прошедшие сто лет с небольшим лишком колбасоделание в Тюмени прогрессировало, хотя чеховское «тьфу», понятно же, остается вполне актуальным и для советского колбасоеда.

Кстати, жизнь Чехова могла закончиться 6 мая 1890 года, и могло произойти это в пределах тогдашней Тобольской губернии: недалеко от села Абатского столкнулись две мчащиеся навстречу друг другу повозки со спящими кучерами.

«6 мая, село Абатское. Если бы я спал в тарантасе, или если бы третья тройка бежала тотчас же за второй, то, конечно, дело не обошлось бы для меня так благополучно».

В письме М. Киселевой Антон Павлович с присущей ему сдержанностью сообщал:

«Должно быть, накануне за меня молилась мать. Если бы я спал, или если бы третья тройка ехала тотчас же за второй, то я был бы изломан насмерть или изувечен».

И в этом письме столь присущая ему чеховская пронзительность.

«Ночью в этой ругающей, бурной орде я чувствую такое круглое одиночество, какого раньше никогда не знал».

Из всего цитируемого нетрудно сделать вывод, что Чехов мог проникнуться стойкой ненавистью к Сибири. Но не таков тридцатилетний классик.

«Европейскому» брату, своему старшему брату Александру, он признается:

«Конечно, неприятно жить в Сибири, но лучше быть в Сибири и чувствовать себя благополучным человеком, чем жить в Петербурге».

Чуть позже пишет родственникам:

«Горы и Енисей подарили меня такими ощущениями, которые сторицею вознаградили меня за все пережитые кувыр-коллегии, которые заставили меня обругать Левитана болваном за то, что он имел глупость не поехать со мной».

Объективный бытописатель, Чехов особенно внимателен к подробностям и высочайше оценивает культуру быта и жизни сибиряков. С его точки зрения, Сибирь стоит гораздо выше Европейской России.

«Вообще, в разбойничьем отношении езда здесь совершенно безопасна. От Тюмени до Томска ни почтовые, ни вольные ящики не помнят, чтобы у проезжающего украли что-нибудь; когда идешь на станцию, вещи оставляешь на дворе; на вопрос, не украдут ли, отвечают улыбкой. О грабежах и убийствах по дороге не принято даже говорить. Мне кажется, потерей я свои деньги на станции или в возке, нашедший ящик непременно возвратил бы мне их и не хвастался бы этим. Вообще, народ здесь хороший, добрый и с прекрасными традициями. Комнаты у них убраны просто, но чисто, с претензией на роскошь. Правда, одна старуха, подавая мне чайную ложку, вытерла ее о задницу, но зато вас не посадят пить чай без скатерти, при вас не отрыгивают, не ищут в голове; когда подают воду или молоко, не держат пальцы в стакане, посуда чистая, квас прозрачен, как пиво, вообще, чистоплотность, о которой наши хохлы могут только мечтать, а ведь хохлы куда чистоплотнее кацапов».

В другом месте читаем:

«Горница — это светлая, просторная комната, с обстановкой, о какой нашему курскому или московскому мужику можно только мечтать. Чистота удивительная... Сибиряки любят мягко поспать».

Но не только...

«Девять месяцев (здешний крестьянин) не снимает рукавиц и не распрямляет пальцев: то мороз в сорок градусов, то луга на 20 верст затопило, а придет короткое лето — спина болит от работы и тянутся жилы».

Многие страницы очерков и, что особенно интересно, личных писем Чехова посвящены сибирякам, добрым, трудящимся людям, разным, но почти всегда симпатичным.

Чехов замечает их несовершенства, но действует согласно старой мудрости: «Понять — простить». Он их понимает и прощает.

Отмечена им и межнациональная сибирская гармония.

«Кстати об евреях. Здесь они пашут, ямщикуют, держат перевозы, торгуют и называются крестьянами, потому что они в самом деле и де-юре и де-факто крестьяне. Пользуются они всеобщим уважением и, по словам заседателя, нередко их выбирают в старосты. Я видел жида высокого и тонкого, который брезгливо морщился и плевался, когда заседатель рассказывал скабрезные анекдоты; чис-

топлотная душа; его жена сварила прекрасную уху. Жена того жида, что болен раком, угощала меня щучьей икрой и вкуснейшим белым хлебом. О жидовской эксплоатации не слышно».

Чуть дальше:

«Выкрест Илья Маркович, которого мужики боготворят (Чехов выделяет это слово) здесь, так мне говорили, дал мне лошадей до Томска».

«...Быть может, и про татар написать вам? — Это из того же письма. — Извольте. Их здесь немного. Люди хорошие. В Казанской губернии о них хорошо говорят даже священники, а в Сибири они «лучше русских», — так сказал мне заседатель при русских, которые подтвердили это молчанием». И вот вывод, который можно поставить в эпилог всей сибирской поездки Чехова. «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми. Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей».

Нравится — не нравится, что писал Чехов (не всем сибирякам, его современникам, кстати, нравилось), но следует признать, что это и документ времени, очень достоверный, и страница русской литературной классики. Но с чем следует не согласиться, что следует считать величайшим чеховским заблуждением — это его ремарки по отношению к сибирячке.

Позвольте, и сто лет спустя у меня вызывает величайшее недоумение, как наш классик, для меня самый симпатичный русский прозаик и душевед, мог написать такое?

«Женщина здесь так же скучна, как сибирская природа: она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет, не смеется, не миловидна и, как выразился один старожил в разговоре со мной, «жестка на ощупь».

Это не случайная чеховская оговорка, это линия поведения, и мотив повторяется постоянно:

«Сибирские барышни и женщины — это замороженная рыба. Надо быть моржом или тюленем, чтобы разводить с ними шпаков».

Я, честное слово, ничем не могу объяснить этой вопиющей чеховской несправедливости. Может быть, следует вспомнить его же слова: «Мозг мой не мыслил, а только ругался».

Но он же знал и прекрасные минуты радости и восторга. Нет, что-то затмило этот светлый ум, эту великую душу. Затмение, не иначе. Хотя в его сибирских писаниях мы отыщем более справедливые слова, посвященные прекрасной сибирячке:

«Пьешь чай и разговариваешь с бабами, которые здесь толковы, чадолюбивы, сердобольны и трудолюбивы, и свободнее, чем в Европе: мужья не бранят и не бьют их, потому они так же высоки и сильны, и умны, как их повелители: они, когда мужей нет дома, ямщикуют, любят каламбурить. Детей не держат в строгости, их балуют».

Скажем так: Антону Павловичу не повезло — что-то помешало ему по достоинству оценить величие и красоту сибирской женщины. Ну что ж, во всяком великом деле бывают издержки и накладки. Не повезло... Пойдем. Простим.

Но не забудем, сколько сильных, прекрасных честных слов написал он о Сибири. Больше, чем любой другой русский классик.



Сибиряк покоряет Америку

В нашей истории не так много урожденных тюменцев, знаменитых на весь мир. Может быть, самого знаменитого на родине если не вполне забыли, то долго не вспоминали, да и сейчас им гордятся слабо.

Его имя Ирвинг Берлин (с ударением на первом слоге).

Петербургский музыковед Владимир Фейертаг — большой поклонник джаза, изредка наведывается в Тюмень, ибо здесь традиции отечественного джаза не умерли окончательно, поддерживаются последними энтузиастами.

Как оказалось, Владимир Борисович, возможно, единственный знаток биографии Ирвинга Берлина. Грех было не воспользоваться возможностью, когда Фейертаг появился в Тюмени на редком, но очередном празднике джаза.

Омельчук: В.Б., я ничего не знаю о Берлине, кроме того, что он родился в Тюмени в 1888 году, прожил здесь всего первые свои 4 года, потом его родители уехали из Сибири. В Тюмени родился мальчик с американским именем Ирвинг?

Фейертаг: Нет. Его звали Израиль Бейлин. Но когда он писал свою фамилию на обложке первой песни, то вместо Бейлин написали Берлин и оставили это как псевдоним. Еврейское имя Израиль он заменил на красивое Ирвинг. Он знал о знаменитом писателе Ирвинге Вашингтоне, видимо, увлекался им, и решил воспользоваться красивым именем, ведь американцы любят менять имена на короткие и более звучные. Практически все эмигранты стремились брать англосаксонские имена. Это — тенденция. Кстати, место его рождения писали не Тюмень, а Темун. Тогда Тюмень еще не звучала на весь мир.

Омельчук: О его родителях что-то известно?

Фейертаг: Ирвинг Берлин сам ничего не рассказывал о родителях. В его подробных биографиях указано, что отец работал в синагоге, был раздатчиком кашерной пищи — это специальная пища,

которая готовится для пасхи и других религиозных праздников. Видимо, старый Бейлин был слугой при синагоге. Семья многодетная, боюсь ошибиться, Израиль был пятым или шестым ребенком в семье и не самым младшим. С огромным скарбом большая семья, неизвестно даже точно, то ли через Санкт-Петербург, то ли через Одессу выехала в чужую страну, далеко-далеко, неизвестно почему.

Я пытался узнать, были ли в это время в Тюмени еврейские погромы. Но в Сибири было очень мало евреев, их здесь уважали. Маловероятно, что кому-то мешала одна синагога, один-другой торговец-еврей. Поэтому мне трудно найти причину поведения старого Бейлина. Может быть, родственники за границами России. Может быть, в поисках лучшей доли для детей. Сведения скудные, их практически нет.

Омельчук: Когда Чехов приезжал в Тюмень, в 1890 году, он специально оговаривался, что взаимопонимание, взаимоотношения сибиряков и евреев — гармоничные, вспоминал одного еврея-трактирщика, которого русские просто боготворили. Вопрос о сибирских погромах надо было бы снять сразу.

Фейертаг: Надо снять. Я ни разу не слышал о сибирских погромах.

Омельчук: Как сибирский эмигрант стал знаменитым?

Фейертаг: У Ирвинга был шанс. Мальчик музыкальный, но, понятно, никаких денег на образование. Он с детства работал: с 11 лет подметал улицы, был слугой в трактире, наконец, стал поющим официантом, приблизился к музыке кабаре, ресторана, дансинга. Понятно — низкий жанр. Молодой Ирвинг принял участие в становлении легкого жанра на Тимпак-Элли, как принято говорить в Нью-Йорке, на улице «жестяных сковородок», где таперы играли на рояле, еще не было грамзаписи, песни надо было демонстрировать самому. Кстати, здесь же размещались музыкальные издательства. Берлин чем интересен американцам? Он первый эмигрант, добившийся успеха на американской эстраде, по существу ставший национальным героем. Уже после него появился Гершвин — выходец из российских, вильнюсских евреев, Зигмунд Ромберг из Польши, Виктор Херберт из Германии. Они, европейцы по воспитанию, везли с собой свою культуру. Северо-американские штаты страдали комплексом музыкальной неполноценности, культурной неполноценности, ведь не существовало тогда американской архитектуры, живописи, поздно появилась собственная литература. В музыке — провал. Пока не появились Берлин, Гершвин, Кейт с новой музыкой, пока не появились люди, которые открыли для себя музыку индейцев и негров, смешали все это в разноцветное такое варево. Так появилась американская музыка. Первые признаки ее — в блюзе, в американских балладах. Интересная история. Но именно Ирвинг Берлин был первым, кто сумел это обобщить и сделать достоянием белой расы. В белую расу я включаю не только Европу и белую Америку, но и Америку черную, ибо черные американцы — это уже не африканцы.

Омельчук: Чем все же взял Америку Берлин, чем покорила, чем подкупил?

Фейертаг: Прежде всего огромным талантом мелодиста. Тогда не требовалось здорово писать, искусно сочинять, надо, чтобы из тебя лились эти замечательные мелодии, которые публика могла бы подхватить. Написание популярной песни — дар судьбы. Публика ждет банальностей. Надо уметь эту народную банальность

уловить в воздухе, подать ее так по-новому, чтобы все ее подхватили. Это трудно. Гораздо легче создать — кощунственно так говорить, но это истинно так — тему для симфонического произведения. Песня обязывает к такой образности, которая захватит миллионы. Сразу. Я считаю, композиторы-песенники и Берлин, один из лучших, — это одаренные локаторы. Они ловят носящиеся в воздухе жизни музыкальные идеи и воплощают их. Берлин обладал не просто идеальным музыкальным, но и хорошим социальным слухом.

Омельчук: Итак, молодому Берлину 18 лет, он ловко разносит бифштексы в ресторане, напевает и поет, а что дальше?

Фейертаг: Дальше он сам стал сочинять песни, сначала тексты, а потом музыку, смолоду был требователен и разборчив, ему не всегда нравилось, что предлагали. Дело пошло. Достаточно быстро он написал знаменитый шлягер, и этого было достаточно, чтобы в Америке он стал богатым.

Омельчук: Что за шлягер?

Фейертаг: «Александр-Рег-Тайм-бэнд». Это 1911 год. Ему всего 23 года. Но это чуть ли не гимн американский. Потом даже появился кинофильм «Александр-Рег-Тайм-Бэнд» о том, как создавалась эта мелодия. Мелодию можно приравнять по аналогии, ну не знаю, наверное, к нашей «Катюше»... Это такое, что пели все. В Америке все пели «АРБ».

Омельчук: А правда ли, что похоронную песню, посвященную памяти рано умершей жены, он написал в мажоре?

Фейертаг: Да. Он действительно мажорный композитор, он передал свое чувство в светлых тонах. Свою грусть он не сделал минорно-траурной. Он выплеснул свои чувства, переживания, но они очень светлые, как воспоминание о дорогом, хорошем человеке.

Омельчук: Есть какие-то свидетельства, что он помнил о своей родине, думал о России, о Сибири, я уже не говорю о Тюмени. Или забыл напрочь?

Фейертаг: Нет. Думаю, забыл напрочь. Если ребенка увезли в четыре года, он вряд ли что-то помнит. Может быть, неясные воспоминания детства, но затем жестокая действительность, в которой он оказался, наверняка стерла все в его памяти. Думаю, он плохо знал русский язык, или даже вообще мог его забыть. Может быть, отец его знал, но мне ничего неизвестно о судьбе его отца. Известно, что отец рано вытаскивал детей на улицу в поисках заработка — в Америке это нормально, иначе не прожить.

Омельчук: Но Ирвинг прожил благополучную жизнь?

Фейертаг: Он прожил благополучную жизнь, он дожил до своего столетия — он прожил 101 год. Столетие Берлина американцы отмечали как большой праздник, но он откликнулся только письмом, даже не показавшись из дому, был очень стар. Знаете, в Америке принято уходить со сцены раз и навсегда, тебя уже никто не видит. Он жил в своем поместье, в восточном штате, нигде не показывался. Огромное число правнуков при нем. Почтенный, почетный дед.

Омельчук: В каком возрасте он решил покинуть сцену?

Фейертаг: Он покинул не сцену, а, так скажем, творчество. Это случилось где-то в начале семидесятых годов нашего века. Перестал показываться на людях. Но когда ему исполнилось 85 лет — это отмечалось на уровне президентского приема в Белом доме, — ему вручали награду. Боюсь точно сказать, при каком президенте

это происходило, но это был национальный праздник — он очень почитаемый в США композитор.

Омельчук: Он прославил свое имя только песенками массового жанра?

Фейертаг: Массово-лирической песней, скажем так. Он прославил себя исключительно в этой области. Но писал песни для фильмов, музыку для ревю, но все ограничивалось песенно-танцевальными формами. Крупной формой он не владел. Не стремился, не умел.

Омельчук: Другого такого знаменитого сибиряка мы в Америке не найдем?

Фейертаг: Сибиряка? Есть Сикорский, Заварыкин, Аванесов. Но сибиряка, нет, пожалуй, в Америке не найду.

Омельчук: Давайте пофантазируем: если бы в 1892 году отец Израйля Бейлина не рискнул на дальний путь в дальнюю чужую страну, остался в Тюмени... Состоялся бы в Сибири мажорный композитор Ирвинг Берлин?

Фейертаг: Не знаю. Не знаю. Трудно сказать. Трудно предположить. Но зная Сибирь, зная условия тогдашней Сибири, думаю, что, скорее всего, мальчик пошел бы по коммерческой линии. Думаю так. Может быть, его музыкальности хватило на то, чтобы петь в синагоге, в хоре, а если сочинять, то стать музыкантом при синагоге.

Но вряд ли это был бы такой взлет-мажор. Вряд ли. Страна, наверное, не дала бы ему этого.

Ни царская Россия, наверное, не дала бы такой возможности, ни Россия при Советах.

Ведь понимаете, в Америке никто не интересовался, откуда мальчик, что за мальчик. Тебе удалось — ты герой! Кто ты? — неважно совершенно. У тебя сегодня ничего нет — завтра у тебя есть. Или наоборот: сегодня у тебя миллион, завтра ты все потерял.

Такая жизнь, этот уклад жизненный, он предоставляет каждому... накал борьбы, оптимизм борьбы. То, к чему мы не привыкли. Ведь мы сегодня, давайте честно говорить, преимущественно в массе своей, мы — иждивенцы. В России интеллигент всегда нытик. Мыслящий человек, из Обломова превратившийся в Вассисуалия Лоханкина, который ничего не может, только ныть и сокрушаться.

Америка полностью лишена Обломовых, нытиков, здесь нужен мажор, бодрое искусство. Берлин пришелся ко времени. Но — к американскому времени. Его судьба сложилась. Можно искать варианты несложившейся судьбы. А ему можно только завидовать. Он исполнил предназначение.

Не знаю, как бы наше время отразил в своей музыке земляк тюменцев Ирвинг Берлин, но вот загадка — он не умел писать в миноре. У него и печаль мажорна. Может быть, ему не следует подражать, но помнить об этом надо.

В последние годы Тюмень стала чаще вспоминать своего американского земляка. На один из фестивалей, посвященных памяти Ирвинга Берлина, «прорвалась», как она считает, из Парижа его дочь, средняя из трех, актриса Линда Эмет. Линда Эмет кое-что уточнила, кое-что добавила к биографии отца.

Израиль был восьмым ребенком в семье, а его отец не просто раздатчик кашерной пищи, а кантор тюменской синагоги и контролер раздачи.

Первый раз Ирвинг женился в 25 лет, молодожены поехали на Кубу, но через 5 месяцев его возлюбленная умерла. Светло-грустный шедевр называется «Когда я потерял тебя».

Со второй женой Элисс Маккей они прожили три четверти века. У них было четверо детей, но первый мальчик умер в младенчестве.

По словам дочери, отец был очень любознательным, добрым, но, впрочем, мог проявить и строгость.

О России вспоминал. Поэтому Линда всегда рвалась сюда, но это было невозможно при советских порядках.

Она счастлива, что все-таки увидела родину отца, что здесь его помнят, играют его музыку. Отец тоже был бы невероятно счастлив. Наверное, он бы не поверил.



Гыданский мамонт

Давно, в непростительно двадцатилетней молодости, занесла меня журналистская судьба в районный центр с запоминающимся именем — Караул. Официально он именовался Усть-Караул, но никто на два слова не тратился: Караул.

Да и впечатление он производил: Караул!

Дальний. Северный. Забытый. Зброшенный.

Понятно, оптимисты — предки-первопроходцы, не испытывавшие ненужного ужаса от превратностей судьбы, без лишних эмоций назвали новое заполярное поселение исключительно потому, что здесь размещался караульный пост.

Но остался на российской карте поселок, что, не переставая, вопиет о своей нескладной судьбе: Караул!

Поищите на карте — это в самых низовьях Енисея.

Караульная командировка была столь необычной, так там было много безнадежно-полярного, что я всегда, когда встречаю взывающее о помощи имя райцентра, ударяюсь в сентиментальность, как будто вспомнил первую свою возлюбленную.

В этом очерке встретится имя Караул, и я представляю, каково было исследователям в этих Богом не призренных местах больше чем сто лет назад.

Далек и труднодоступен Таймыр, но русские исследователи не забывали северный край. Первые геологи начали исследования на Таймыре уже во второй половине прошлого века. Экспедицию, которую возглавил горный инженер Иннокентий Лопатин, снарядило Сибирское отделение Российского императорского географического общества. Отделение было не богато средствами, поэтому ему пришлось прибегнуть к помощи красноярских воротил — золотопромышленников. С неохотой, но все же раскошелились купцы Петр Иванович Кузнецов, Иван Алексеевич Рябиков, Николай Петрович Токарев, дворянин Иван Александрович Григоров. Местный судовладелец Алексей Софронович Баландин рискнул безвозмездно доставить группу исследователей до Бреховских остро-

вов в Енисейской дельте. Так и были набраны необходимые две с половиной тысячи рублей.

Лопатин подобрал хороший отряд. Этнографом в экспедицию включил замечательного сибирского историка и статиста, неистового областника Афанасия Прокопьевича Шапова. Метеорологом руководителем экспедиции рискнул принять ссыльного польского дворянина Феликса Павловича Мерло, которому участие в восстании 1863 года обошлось не только лишением диплома Киевского университета, но и некоротким сроком ссылки в Сибирь. Ссылный поляк не только провел летний полевой сезон, но и остался на зиму в селении Толстый Нос (напротив мыса Караульного), чтобы проводить регулярные метеонаблюдения. Лопатин писал о Мерло: «Он провел всю зиму в жалком селении, далеко за Полярным кругом, при очень скудной обстановке, подвергаясь многим лишениям, единственно с целью принести пользу науке. Никто из нас, членов Туруханской экспедиции, не понес тогда столько трудов, как многоуважаемый Феликс Павлович, получавший из сумм экспедиции только по 15 рублей в месяц на содержание».

Не забудем — эти слова благодарности относились к политическому ссыльному. Результаты наблюдений Мерло опубликовал в «Известиях Сибирского отдела географического общества». Правда, автором статьи «Зависимость между направлением ветра и числа дней с водными осадками в селении Толстый Нос в Туруханском округе» значится некто Калиновский. Сам Мерло не мог выступать в открытой печати. Возможно, Калиновский — это его псевдоним.

Геодезическую, «глазомерную» съемку вел топограф Иркутского отдела Генерального штаба Иннокентий Андреев. В качестве фотографа выступал брат руководителя экспедиции Петр, кандидат физико-математического факультета Московского университета.

Подключилась к таймырскому предприятию и Петербургская Академия наук, которая для проверки сведений об ископаемых мамонтах на Гыданском полуострове отрядила в распоряжение экспедиции зоолога, магистра (в будущем академика) Фридриха Богдановича Шмидта.

Судно, которое для доставки экспедиции выделил меценат Баландин, представляло из себя полутемную, дурно пахнущую баржу. Она же являлась и плавучей торговой лавкой. Буксирный пароход надолго останавливался везде, где только могли быть покупатели, или бесхитростные продавцы рыбы и мехов. Затяжные стоянки исследователи старались проводить с пользой для дела, проводя маршруты по берегам.

Все вздохнули свободнее, когда, дойдя до Бреховских островов, перебрались в лодки. Лопатин-старший с топографом Андреевым отправились до Гольчихи. Водные маршруты они чередовали с сухопутными, меняя лодку на оленье нарты. На упряжке исследователи добрались даже севернее Сопочной Карги, по пути ведя описания встречаемых горных пород и проводя съемку. В первый день июля 1866 года они повернули назад, к селу Дудинскому.

В это время Шмидт с Лопатиным-младшим по суше на нартах добирались до Гыданского залива, где на берегу озера Ямбуто здешние оленеводы нашли бивни мамонта. Первый маршрут оказался не особо удачным: снег еще не стаял. Вернувшись сюда уже в июле,

Шмидт не пожалел: довольно быстро в слое ила были раскопаны крупные кости, куски сохранившейся шкуры. Эти находки, позднее по частям доставленные в столицу, заняли почетное место в экспозиции зоологического музея. Осматривая место находки, Шмидт сделал два вывода: мамонт молодой, и попал он на Гыдан вовсе не собственным ходом, сюда принесло его труп. Опубликованные Шмидтом результаты Енисейской экспедиции в «Известиях Академии наук» об останках гыданского «мамутта» произвели в мире европейских зоологов настоящую сенсацию.

Результатами исследований Лопатина сразу же по приезде его в столицу заинтересовался выдающийся русский геолог, профессор Иван Васильевич Мушкетов, который подключил к обработке полученных данных брата знаменитого Миклухо-Маклая, горного инженера Михаила Николаевича. Они высоко оценили не только собранные образцы горных пород, но и метод работы руководителя экспедиции. Миклухо-Маклай, подготавливая к печати лопатинский дневник, замечал: «Лопатин И.А. каждый день записывал свои наблюдения и при его большой наблюдательности чрезвычайно тонко и подробно описывал обнажения и другие геологические явления».

...Передо мной карта, точнее она названа «Эскиз маршрутной геологической карты Туруханской экспедиции, составленный по дневнику горного инженера Лопатина».

Конечно, это была только первая пристрелка, но стирание геологических пятен всегда начинается с этого.

Итак, Тюменский Север — земля мамонтов, а главная мамонтовая территория — Гыдан, на северном побережье которого даже обозначен полуостров Мамонта.



Ласточка, весны не сделавшая

Приобщение коренных северян — ненцев, ханты, селькупов — к грамотности и просвещению мы целиком считали завоеванием советской власти. Но ведь и в России царской предпринимались серьезные и небезуспешные попытки по распространению грамоты среди инородцев — сохранились имена ревностных энтузиастов этого дела.

История первой инородческой школы на Обском Севере — наглядное тому подтверждение.

В 1904 году известный северный просветитель Иван Семенович Шимановский, который, как известно, под именем отца Иринарха был настоятелем Обдорской миссии, писал: «Миссия еще и теперь, через пятьдесят лет своего существования, не достигла в школьном деле своей цели по существу. Функционирующие у нас учебно-воспитательные заведения — пансион для мальчиков и приют для девочек — не могут считаться окрепшими».

Главной причиной «неустойчивости школьного дела среди инородцев» Шимановский считал, что миссионерская школа «не давала детям практических знаний, которых прежде всего и больше всего родители-инородцы могли от нее требовать».

Да, к неутешительным итогам пришла за пятьдесят лет своей деятельности Обдорская инородческая миссия — главный на ту пору просветительский центр на нижней Оби.

Впервые вопрос о создании хоть какой-нибудь школы для северо-сибирских коренных народов со всей серьезностью был поставлен в 1862 году. Действующий тогда Комитет по устройству Сибири задался благородной целью «водворить постепенно образование между инородцами, действуя, таким образом, на распространение между ними хоть некоторой гражданственности». Совет Главного управления Западной Сибири распорядился «учредить» школы в Сургуте, Березове и Обдорске. Но сколь-нибудь серьезными педагогическими силами тогдашняя Сибирь не располагала, и просветительские задачи возложили на церковь: священникам предстоя-

ло вести не только закон Божий, но и преподавать русский язык, счетоводство, а попутно самоедский и остяцкий языки.

Пять лет это «распоряжение об учреждении» лежало без всякого хода, пока местный энтузиаст, обдорский священник Петр Александрович Попов, не рискнул напомнить вышестоящим властям о существовании правительственного проекта, за что тут же получил вышестоящий нагоняй. Военно-окружной начальник из Березова напомнил зарвавшемуся энтузиасту, что «счел более уместным ожидать разрешения тех предположений, какие приняты на сей предмет главным начальством». Суть довольно витиеватой чиновничьей фразы расшифровывалась просто: куда ты лезешь, поповская ряса, если «главное начальство» конкретных распоряжений не собирается давать!

Отдадим должное просветителю в рясе: с именем Петра Александровича связано появление первой школы в Обдорске — это он организовал в 1846 году школу «для детей русских». Окрик военно-окружного начальника его не испугал. Попов обратился к непосредственному начальству: просил денег из казны на устройство общежития для маленьких ханты и ненцев, хотел устроить двух способных самоедских мальчиков в Тобольскую духовную семинарию, либо губернскую гимназию. Но его робкие просьбы ни к чему не привели. Петр Попов прослужил в Обдорске почти четверть века, но единственное, что ему удалось — он получил формальное разрешение на создание школы для детей инородцев. Пробыть чиновничью рутину даже этому человеку, о котором знавшие его писали, что «он горел любовью» к делу, не удалось. Из писем, которыми Петр Александрович бомбардировал разные инстанции, можно узнать, что у выпускника Тобольской духовной семинарии были довольно трезвые педагогические идеи, их, видимо, следует объяснить тем, что Попов долгое время жил среди ненцев и ханты, много ездил по стойбищам и зимовьям, знал насущные нужды тундровиков. Попов полагал: главное, на что должна обратить внимание инородческая школа, — профессиональное обучение, прежде всего овладение навыками культурного рыболовства и грамотного оленеводства. Конечно, тогда это было не более, чем мечта идеалиста. Составил Петр Алексеевич и свой капитальный труд: «Остяcko-самоедско-русский словарь». Сохранилось свидетельство, что поповский словарь чуть позже был одобрен Академией наук, но, правда, так и не был издан.

Как видим, человек незаурядный. И когда у таких ревнителей не получается дело, следует, конечно, винить не их самих — попросту не существовало условий для просвещения северных народов, все попытки неизбежно сталкивались с серьезными проблемами, кто бы и сколь бы ревностно ни брался за дело.

Только в 1873 году давно вроде бы официально открытая школа начала действовать. Когда два года спустя заштатный Обдорск посетил тобольский губернатор Пелино, он насчитал в инородческом интернате 18 мальчиков и 4 девочки-ненки и поспешил «выразить миссии за школьный успех свою душевную признательность». Губернатор явно торопился — первый выпуск этой школы состоится ровно... тридцать лет спустя, и выпускников будет не столь много — три мальчика: ненец, ханты и коми. Объясняется тридцатилетний перерыв просто — бедные родители не могли ждать, когда их маленькие помощники закончат «беспо-

лезную» школу, забирали к себе поскорее. Бывали случаи, когда дети умирали — здравоохранение на тогдашнем Севере было еще хуже, чем народное просвещение. Чаще всего умирали юноши которых посылали на учебу далеко от дома: в Тобольск и Абакский монастырь. Это был настоящий мор: в Абакае, к примеру, из семи посланных мальчиков-ненцев умерли пять. После этого как было суеверным тундровикам не считать, что грамота — затея небезопасная, а часто смертельная. Тот же Шимановский в юбилейном отчете писал: «Оторванные от родителей, родни и родной обстановки, они забывали свою родину, утрачивали связь со своими сородичами, а не успев ассимилироваться с русскими, они в полном отсутствии нужной в юношеском возрасте нравственной поддержки спивались и гибли. А своею жизнью на родине они еще больше отталкивали инородцев от школ и грамотности».

Редкий случай: грамотность приводила к прямо противоположным результатам.

Автор книги «На северо-западе Сибири» Виктор Бартенев, на исходе XIX столетия проведший несколько лет в Обдорске, писал: «Хорошо поставленная школа с летними занятиями учеников на образцовом рыбопромышленном заведении и устройстве рыболовных артелей с участием добросовестных русских рыболовов мне кажется верным, хотя и медленным путем для поднятия благосостояния обдорских инородцев».

Это не более чем благодушные мечты либерала: не имелось тогда в северных краях «образцовых» рыбопромышленных заведений, на рыбном промысле шла безудержная эксплуатация бедствующих инородцев, жажда наживы определяла образ жизни обдорской верхушки, которой вовсе незачем были грамотные остяки и самоеды.

Вспомню имя еще одного обдорского священника Ивана Ефимовича Егорова. Педагог по образованию, он закончил учительскую семинарию в Омске. Иван Ефимович приехал в Обдорскую миссию в 1894 году. Как бы мало ни было учеников-инородцев, их нужно учить. Нужда заставила, и Егоров стал автором первых букварей на ненецком и хантыйском языках. Первый назывался «Падар хазово ачики няна», второй — «Нэбек хандынаурэм эльты». Естественно, были они несовершенно, но на том уровне, который тогда требовался, вполне годились. Кроме того, Иван Егоров перевел на хантыйский язык несколько церковных книг, в том числе «Емынг ястопса» — «Священную историю», а также создал рукописную книгу для чтения. У Егорова было несколько оригинальных педагогических идей, но осуществить их ему не дали — он был освобожден от учительства в школе, так как это не позволяло ему совершать длительные миссионерские разъезды по тундре.

«Остяцкая азбука» была издана в Тобольске, но прежде чем Иван Ефимович получил первый оттиск, ему пришлось долго переубеждать разных чинов — церковных и светских. Любопытно письмо, которое он отослал в священный Синод: «Для инородческого училища нужен учитель, хорошо знающий инородческий язык, а таких лиц в Обдорске нет, можно обойтись и без такого учителя, дело тут не только в учителе, сколько в учебнике, очевидно, прежде всего необходим учебник (азбука) остяцкого языка».

Егоровская азбука проходила, как бы сейчас сказали, экспериментальное опробование в Тобольском инородческом пансионе,

получила одобрение педагогов и была быстро напечатана в церковной типографии.

Как-то мне попала в руки эта тоненькая книжечка, в тонком переплете, на серенькой бумаге — ласточка, весны не сделавшая. Сегодня, с высоты нашего времени, на эти азбуки мы глядим, конечно, как на историческую реликвию, с убедительной силой показывающую уровень подхода к проблемам просвещения. Но это, естественно, не должно зачеркивать труд тех энтузиастов, которые пытались гореть в той атмосфере, где не было воздуха. Человеческое деяние, если даже оно и затрачено, казалось бы, впустую, в силу своего благородства оставляет след о себе и память. Настоящие же научные азбуки на основе созданной письменности в начале тридцатых годов нашего века написали ленинградские ученые-лингвисты — такие же подвижники, как и их предшественники.



«Столыпинская целина»

Мы знаем немало героев целины: дважды героев, единожды, «дорогой Никита Сергеевич», драгоценный Леонид Ильич — автор монументального целинного эпоса. За этими глыбами другие, поменьше, но тоже (всенепременные) герои.

Оказывается, впрочем, бывали времена, когда не отечественным героизмом, а живой житейской насущностью диктовалось освоение, как бы сказал Никита Сергеевич, целинных и залежных земель. Русский человек поднимает целину Сибири вовсе не с трескуче-памятного 1954 года. Если же говорить о плановом, государственном освоении пахотных сибирских земель, то здесь любую фору Хрущевым—Брежневым даст другой государственный деятель — российский премьер Петр Аркадьевич Столыпин, тот самый, которому неистовый партийный публицист Ильич приписывал всего два достижения — столыпинские теплушки и столыпинские «галстуки». Ныне историческая роль этого государственного мужа оценивается подобающе достойным образом, но все же недоуменным вопросом задаться естественно: почему роль Столыпина в освоении Сибири очеркивалась, перечеркивалась, втаптывалась в грязь? И когда познакомишься со столыпинской сибирской эпопеей — он ее именовал «переселенческим делом», — делалось это исключительно сознательно: на фоне освоенческих успехов проклятого премьера хрущевские инициативы выглядят жалкими потугами. Попросту несравнимыми. Замысел Петра Аркадьевича был куда продуманнее, куда грандиознее и куда эффективнее. Самое главное — он базировался не на социалистическом энтузиазме, а на естественном стремлении русского хлебопашца к устроенной жизни. Если за Хрущевым стояла голая государственная нужда кануна хлебной бескормицы, то Столыпину наиболее ограниченным образом удалось привести в единое сопряжение потребности российского крестьянства и нужды государства Российского. То, что было неразрешимой проблемой для Хрущева, вполне удалось национальному экономисту Столыпину. Так что у известной нам целины была малоизвестная предшествен-

ница — более могучая, куда лучше организованная, потому что строилась на естественных экономических основах.

Что дала целенаправленная переселенческая политика царского правительства на рубеже нынешнего века? За три столетия российского владения Сибирь собрала 4,5 миллиона русских людей, полтора миллиона преимущественно прекрасного трудоспособного землепашеского населения — всего за три года столыпинской политики освоения земель южной Сибири и Северного Казахстана. Впрочем, в первом десятилетии XX века ни о каком Казахстане еще не подозревали и земли эти также именовали Сибирью.

В 1911 году в Санкт-Петербурге вышла непритязательная книжка, скорее брошюра, написанная в жанре канцелярской «записки» «Поездка в Сибирь и Поволжье». Оказывается, именно в этом жанре упражнялся сам премьер Столыпин и его соавтор — главноуправляющий российским землеустройством А.В. Кривошеин. Соавторы итожили свои наблюдения от месячного путешествия по Сибири в августе-сентябре 1910 года. Несмотря на то, что премьер пользовался переменными видами транспорта: пароходы, лошади да изредка локомотив, Столыпин успел осмотреть четыре губернии и области, шесть уездов, в том числе города Челябинск, Омск, Петропавловск, Камень, Новониколаевск, Павлодар, Семипалатинск, Мариинск. В Тобольской губернии он заглянул лишь в южные уезды.

У премьера энергичный, решительный, строго-державный стиль, упругий русский язык. Не напрасно же говорят: стиль — это человек.

«Общее впечатление, оставленное в нас поездкой, — резюмирует Столыпин, — быстрый и прочный рост Сибири. Недаром сибиряки так хлопочут о скорейшем устройстве в Омске первой западносибирской выставки; осуществлению этой мысли нужно помочь. Сибири действительно есть что показать, и ей давно пора сделать смотр собственным силам».

Без обиняков Петр Аркадьевич считает свою сибирскую политику удавшейся.

«Общий ответ для всей Западной Сибири на вопрос об успешном переселении, если отвлечься от особенностей отдельных районов, — ответ положительный. У сибирских переселенцев даже «на глаз» больше земли, больше скота, больше хлеба, больше инвентаря, чем у средних крестьян Европейской России.

«...В большинстве случаев переселенцам стоило перебраться в Сибирь: они находят там то, чего не имели на родине».

А вот мысль Петра Столыпина, к которой мы возвращаемся спустя семь десятилетий планового мрака и голых деклараций о «человеческом факторе»:

«...Как ни велико государственное значение переселения в смысле охраны границ, подъема жизнедеятельности окраин, вовлечения их в общий хозяйственный оборот страны, смягчения аграрных затруднений в Европейской России, но люди, живые люди, делающие в массе своей переселенческое дело, идут в Сибирь, ломая старую жизнь и строя новую, каждый в отдельности не для того, конечно, чтобы облегчить аграрные затруднения или послужить оплотом русской государственности на окраинах; их цель — выгоднее, лучше устроиться в Сибири, чем жилось им на родине. Помочь им в достижении этой непосредственной их цели, может быть, и есть лучший способ обеспечить достижение всех государственных интересов, связанных с переселением».

Когда прочтешь эти строки, уразумеешь, почему они замалчивались десятилетиями: ведь нам полагалось верить, что только большевики заботились о простом человеке, а у всех других сословий на уме лишь свой интерес. С опозданием на десятилетия мы начинаем осознавать, что существовали принципы, которые позволили бы России быть и сегодня среди великих держав.

Как всякий масштабный деятель, Столыпин не оскорблял себя мелочными частностями. Его новые экономические начала базировались на трех китах:

1. Право собственности на землю.
2. Проведение новых железных дорог.
3. Разнообразие сельскохозяйственного промысла.

«Заботы... об отдельных частностях... не могут заменить общего плана и творческой работы по обеспечению основных условий здоровой экономической жизни в обширной стране, которая, превосходя пространством и природными богатствами целые отдельные государства, является единственной русской колонией».

Когда я в первый раз прочел этот неприкрыто-колониалистский абзац, мне стало не обидно за родную Сибирь как колонию. Здравый реалист Столыпин стыдливо не прятался за слово, он видел реальную ситуацию и предпринимал совершенно конкретные действия. Подтверждается старая истина политической экономии, выраженная еще Миллем: «Вывозу работников и капиталов из старых стран в новые, оттуда, где они имели меньшую, туда, где они имеют большую производительную силу, увеличивают сумму богатств и старой и новой страны. Колонизация, добавляет Милль, выгоднейшее из всех коммерческих дел».

«Записка» Столыпина и Кривошеина по жанру своему не терпит дискуссии, она повествует об увиденном, анализирует сделанное, рисует перспективы и подвергает проблемы детальному анализу.

Но внутренне брошюра энергично дискуссионна, видимо, у премьера было немало влиятельных оппонентов, которые радовались каждой неудаче столыпинского «ходаческого, переселенческого дела». Что ж, неудачи сопутствуют каждому большому делу: не все переселенцы закреплялись в Сибири. За 15 лет статистика вычислила 300 тысяч «обратных» — 10% нового сибирского населения. Для Столыпина это был, конечно, больной вопрос, но и к нему он старался подойти беспристрастно.

«Выстроенный храм становится центром поселка и напоминает переселенцам о родине, где они жили хотя и бедно, но в атмосфере, согретой религиозными и историческими преданиями, и откуда попали в край богатый, но чужой и дикий».

В те годы не ставился вопрос, может ли Сибирь прокормить себя: она могла и кормила, снабжала Дальний Восток, вождельно стремилась протолкнуть свое зерно в Китай, искала иные пути выхода: не ввоза — вывоза.

Вот почему попристальнее бы всмотреться в опыт ленинского оппонента, ведь и Петру Аркадьевичу в первую очередь приходилось бороться с коллективистской, общинной психологией. Но он не только боролся, он ставил на интерес человека, и этот интерес оправдывал себя. Именно во времена его премьерства матушка Россия стала кормилицей мира: она вывозила зерно и в Европу, и в Азию, и в Америку.

Когда читаешь книжку Столыпина—Кривошеина, как-то само собой отмечается, что в империи в начале века была блестящая, честная, достоверная статистика, без социалистического очковтирательства. Легенда о бедной российской деревне опровергается практически на каждой странице. К примеру, в 1909 году в Таре проходил конкурс корчевальных машин, на котором было представлено два десятка конкурентоспособных образцов. Сельскохозяйственные казенные склады «вынуждены» были выписывать на 2 млн. рублей американские молотилки, плуги, веялки, но вовсе не потому, что подобные изделия русских заводов и кустарей были хуже, а от того, что американцы давали льготные отсрочки платежей за технику.

Особенно же высочайший подъем уровня сельскохозяйственного производства можно проследить на сибирском маслоделии, которому Столыпин посвятил несколько проникновенных, почти поэтических страниц, и эти страницы по нынешним временам, как воспоминание из будущего.

«Проведение Тюмень-Омской дороги, — замечал Столыпин, — обещает отодвинуть район тобольского маслоделия еще далеко на Север». Сибирское масло на мировом рынке фальсифицировали (примешивали кокосовое), и Столыпин ставил задачу молочным лабораториям «развить план борьбы с начинающейся фальсификацией».

«Все разумно и толково сделанное в Сибири сразу множится на такие колоссальные множители, что результаты неоценимы».

В этих скоротечных заметках я, естественно, не мог хотя бы достаточно полно отразить все богатство мыслей незаурядного государственного деятеля Петра Столыпина в его книге «Поездка в Сибирь и Поволжье». Ведь он пишет о многих практических вопросах, которые порождало переселение, по существу не забывая ни о чем.

России начала века повезло на премьеров. Сначала С.Ю. Витта, потом Столыпин. Только по его сибирской книжке можно понять, что это был и властный, и думающий, решительный и решающий, и очень знающий государственный деятель. Смотришь на художества нынешних дилетантов и невольно думаешь — многое удалось большевикам: вывели под корень и работающего российского мужика, и государственного отечественно мужа.

Чем он отличался от социалистов? Безжалостно заявлял, что даровая раздача пособий имеет вредное влияние. Столыпин ставил на сильного россиянина, понимал, что если страна внутри себя будет опираться на сильного работника, она может претендовать на место среди сильных мира сего.

Мы же создали страну слабосильных, неконкурентоспособных и сегодня удивляемся, почему отстаем по всем направлениям.

Да, наверное, столыпинские теплушки были неизбежной платой за скорое процветание, но это куда большая удача, нежели та, что пришлось платить отечественному крестьянству своему кремлевско-социалистическому барину.

Одно замечание, которое родилось по ходу чтения столыпинской книги.

Даже царизм позволил себе альтернативу: он оставил вольноземлепашескую Сибирь без российского крепостного права. И вот на миг представим — коллективизация миновала Сибирь, ведь мог

же Сталин сравнить, что эффективнее — столыпинское переселенческое фермерство в Сибири, или новое колхозное рабовладение в Европейской России и на Украине.

Да, если бы существовала альтернатива, возможно, сегодня мы бы видели процветающую крестьянскую Сибирь. Но пролетарско-бюрократический социализм не терпел вариантности, стриг под одну гребенку. У Сталина был шанс, но вождь всегда предпочитал путь единственно правильный.

Нам это еще долго будет икаться над голодным столом.

...Сибирская книжка Петра Столыпина датирована 1911 годом. Осенью того же года еврей с террористическими наклонностями Богров поставит кровавую точку в смелой реформаторской и естественно-хозяйственной деятельности великого россиянина Петра Столыпина.

Также на взлете вскоре подстрелят и Россию...



Забываемые экспедиции

Изучение, исследование огромного края — дело ученых крупного калибра, а их в истории Западной Сибири наберется немало — это такие авторитеты, как Иоганн Гмелин, Пьер Паллас, Иоганн Миллер, Александр Кастрен, Константин Носилов, Альфред Брем, Александр Гумбольдт, Фритьоф Нансен, Адольф Норденшельд, Иосиф Виггинс, Владимир Сукачев, Константин Скрябин, Александр Заварицкий, Степан Макаров, Андрей Вилькиций, Владимир Сакс, Василий Наливкин. Но тысячи забываемых, а иногда и безымянных энтузиастов внесли свою лепту, часто скромную, но всегда существенную, ибо история — это мозаика, и лишних камушков-крох в ней не бывает.

Одним из таких незаметных, но для науки незаменимых подвижников был человек, об экспедиции которого я бы хотел сегодня рассказать.

«Батманов, местный житель, производил опыты посева ячменя, опыты удались. Такие же опыты делал и Иовель, и тоже удачно. Опыты Батманова и Иовеля с огородными овощами также были удачны: хорошо родились картофель, репа. Батманова я встретил в поселении Нори, он говорил, что сажал огородные овощи и здесь, уродились хорошо картофель, репа, бобы».

В начале века по берегам реки Надым стояло всего три русских зимовья, кроме Батманова и Иовеля, здесь проживал еще некто Балашов. Устраивались русские поселенцы на берегах северной реки основательно: две семьи из трех занялись привычным земледелием. Судя по всему, они были выходцами из южных районов Тобольской губернии.

Цитата, с которой начат этот рассказ, принадлежит перу геоботаника, сотрудника Тобольского губернского музея Г.М. Дмитриева-Садовникова. Берега Надыма были не только малолюдны, но и неприветливы, сюда редко наведывались путешественники: пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить ученых мужей, побывавших здесь, скажем, до революции. Интерес к Надыму начал проявляться только в последней четверти прошлого века. В низовьях Надыма с весьма по-

верхностным визитом отметился незадачливый профессор Казанского университета А.И. Якобий, а в самом начале века на Надым навещался неутомимый патриот тобольского края А.А. Дунин-Горкавич.

Надымская экспедиция под руководством тоболяка Дмитриева-Садовникова была одной из самых основательных. Заслуга в первую очередь принадлежит самому главе этого трудного исследовательского предприятия: Григорий Дмитриев-Садовников к тому времени достаточно хорошо известен в сибирских научных кругах успешными исследованиями труднодоступных побережий Ваха и Полуя. К экспедиции на далекий Надым тоболяк постарался подготовиться возможно основательнее.

Тобольский губернский музей был не настолько богат, чтобы предоставить все, что требовалось путешественникам. Поэтому Дмитриев-Садовников рискнул потревожить провинциальный покой тобольских воротил. Надо полагать, ему потребовалось немало энергии, чтобы пароходовладелец Д.И. Голев-Лебедев отдал распоряжение своим капитанам доставить экспедицию на место со всеми ее грузами бесплатно. Расщедрился и тобольский губернатор, подписавший открытое предписание «чинам полиции и земским об оказании содействия по экскурсии». Зимние хлопоты оказались не напрасны. Участники экспедиции — учитель-ботаник и этнограф П.И. Иванцов и специалист по набивке чучел С.С. Кузнецов — от Тобольска до Обдорска добирались в относительном комфорте: в каюте первого класса парохода «Отважный». В Обдорске к ним присоединился Дмитриев-Садовников. В июне участники экспедиции выносили свою научную поклажу с парохода на берег у селения Хэ. Дальше им предстояло добираться на лодке до устья Надыма, чтобы подняться вверх по реке на 150 вест. На всю «экскурсию» потребовалось полтора месяца. Основные обязанности по сбору научных материалов Дмитриев-Садовников взял на себя. Он вел маршрутную съемку, делал этнографические, археологические и метеорологические записи, брал образцы почв и спилов деревьев, собирал насекомых и стрелял птиц для чучел. Иванцов добросовестно собирал гербарий, занимался энтомологическими исследованиями и изготовлением чучел. Зато Кузнецов оказался специалистом в несколько другой области. Спиртование, которое требовалось для сохранения зоологических коллекций, он понимал своеобразно, так что руководителю пришлось освободить его от этой рискованной нагрузки. Зато настоящей находкой оказался «толмач», проводник из обдорских ненцев Максим Ядопчу. Работающий уже не в первой экспедиции расторопный парень помогал брать пробы грунтов, умело делал порученные опыты, вообще зарекомендовал себя отменным хозяйственником. Помощь коренных жителей была постоянной и неоценимой. Много интересного рассказали исследователям Тэпты Вэла, лесной ненец (пян-хасово) Уно, обдорские жители М.О. и А.Г. Терентьевы, учительница передвижной миссионерской школы в Нори С. Семяшкина.

Несмотря на весьма короткий срок и неизбежные трудности путешествия, исследователям удалось собрать богатый материал. Впервые было дано достаточно достоверное гидрографическое описание реки Надым от устья и приблизительно до места современного нынешнего города Новый Надым. Отмечены особенности речного поведения (такие, как наводнения при северных ветрах), описывались крупные притоки Большого Надыма. В описании края много отведено почвам и вечномёрзлым грунтам, представлена таб-

лица регулярных метеорологических наблюдений, охарактеризован местный климат. Большой точностью отличается ботаническая, зоологическая и орнитологическая части отчета, где полно охарактеризованы животные этого лесотундрового края, его флора. Исследователи в изобилии встречали здесь бурых медведей, диких оленей, песцов, лисиц, россомах, горностаев, бурундуков, выдр.

Экспедиции Дмитриева-Садовникова принадлежит и честь первого археологического открытия на Надыме. Руководитель сам сделал план и описал «старое городище искусственного сооружения на сору нижнего течения реки». Были обнаружены черепки глиняной посуды, которая принадлежала явно не ненцам и остякам.

«Кто жил здесь раньше их и кому принадлежат остатки глиняной посуды, встречающейся в приобских городках, — вынужден был заметить Дмитриев-Садовников, — неизвестно».

23 июля экспедиция на голев-лебедевском «Отважном» отошла от Святого мыса, а уже 9 августа швартовалась в Тобольске. Итог выглядел внушительно.

Результаты маршрутной съемки, проведенной на обратном пути по Надыму, могли служить основой не только для карты, но и лоции. На ней обозначались перекалы и опасные для судоходства места, выяснены даты вскрытия и замерзания реки. Почти полторы тысячи образцов представлял гербарий, отражавший богатство надымской растительности, его мхов и лишайников. Богато представлен и животный мир: полсотни мумий птиц, сто экземпляров заспиртованных зверей и рыб. Имелось в материалах много интересного и для почвоведов. В Тобольский музей доставлены образцы торфяников, песчаников, вечномерзлых грунтов.

Почти восемь тысяч экземпляров насчитывала этимологическая коллекция. Много места в багаже экспедиции, возвращавшейся с Надыма, занимали этнографические материалы: исследователи сделали у аборигенов почти восемь десятков приобретений, представлявших этнографический интерес: одежды, предметы ремесел, сотни снимков. Дмитриев-Садовников составил остяцко-самоедский словарь с краткой грамматикой и снял восемь копий с дел из архива Обдорской инородческой управы.

Экспозиция Тобольского музея пополнилась основательно. Многие экспонаты, прибывшие в Тобольск в 1916 году, сохранились по сию пору.

В «Известиях ИРГО» в 1916 году вышла статья Григория Дмитриева-Садовникова «Река Надым». В основном это географическое описание, но нашего автора интересует все.

Из этого эссе выберу один фрагмент:

«Оседлое население бедно и вымирает. Не очень давно некоторые из инородцев имели порядочные стада оленей, но сначала воровство самоедов, почитаемое как бы за обычай, и за последнее время болезни сильно убавили их число. Оставшихся оленей остяки уже не пасут сами, а нанимают самоедов, присоединяющих их на лето к своим стадам, и лишь некоторые на зиму уходят с ними к верховьям реки».

Как правило, все русские путешественники — и Григорий Дмитриев-Садовников здесь не исключение — старались не проходить мимо замеченных социальных язв, как могли, улучшали жизнь аборигенов. Чаще всего тщетно, но старались. Ведь их научные описания, опять же чаще всего, были единственным источником правдивой информации о бедствиях жизни на полярных окраинах.

Земной путь Григория Дмитриева-Садовника оборвался трагически. В 1921 году он был расстрелян в селе Хэ на побережье Обской губы.

Обстоятельства расстрела неясны. Расстреливали отважного путешественника и исследователя за былую принадлежность к партии эсеров. За такую «неправильную» принадлежность, как правило, расстреливали большевики. Но Дмитриев-Садовников погиб во время антибольшевистского мятежа, который советские историки называют «эсеровско-кулацким». Свои? Или все-таки победившие большевики?

В гражданской войне выбивают лучших...



Обдорский ссыльный — приятель Ленина

Заниматься ленинским поиском, что недавно еще было официально повально, сегодня, мягко говоря, не модно. Но разве можно обойти сюжет, что в Обдорске, нынешнем Салехарде, отбывал ссылку приятель Владимира Ульянова, возможно, в свое время существенно повлиявший на мировоззрение будущего председателя Совнаркома.

Но сначала об одной книжке — «энциклопедии обдорского быта». Ровно век назад в Санкт-Петербурге в типографии Пайкина на Невском проспекте вышла незамысловатая книжка «На крайнем северо-западе Сибири» с подзаголовком «Очерки Обдорского края». Об авторе, Викторе Бартенева, можно сказать немного, все эти сведения из его «очерков». В Обдорске на исходе прошлого века он прожил четыре года, сам петербуржец, чем немало гордился. Род занятий его точно не определяется, скорее всего служил Бартенева на Обдорской метеостанции Главной физической обсерватории. Обдорский синоптик считал себя, вероятнее всего, прогрессивным деятелем, прогрессистом, ему не чужды и социалистические идеалы. Впрочем, все это мирно уживалось в сознании питерско-обдорского интеллигента и с шовинизмом, и даже с бытовым, расхожим антисемитизмом.

Но его очерки прежде всего интересны как энциклопедия северного быта, обдорской жизни.

Как жил, чем жил северный Обдорск, о котором автор, не стесняясь, пишет: «...имя которого звучит в ушах русского интеллигентного человека, часто рисуется какой-то голой скалой на берегу Ледовитого океана».

Бартенева постарался опровергнуть несправедливую репутацию. Он сравнил несколько тогдашних северных поселений и нашел, что Обдорск лучше по сравнению с Туруханском и Средне-Колымском. «Обдорск во всех отношениях стоит выше: население многочисленнее, богаче и развитее. В Средне-Колымске, например, люди живут в маленьких домиках без плиты, в одну комнату, в Обдорске же в таких

лачугах обитают только остяк и беднейшая часть русского населения. Значительная часть изб в Обдорске имеют по нескольку комнат, с крашеными полами, со стенами, оклеенными обоями, с зеркалами и картинками-олеографиями, на окнах цветы; есть мягкая мебель, только мало приходится видеть комодов и шкафов, которые заменяются сундуками и ящиками. Эти ящики, крашеные, окованные и покрытые коврами, придают комнате обдорянина какой-то старинный колорит». Обдорянин превосходил тогдашнего российского северянина и по опрятности («баня — необходимая потребность каждого русского и зырянина»), и по грамотности. Для Бартенева предмет гордости составляло и то, что в Обдорске «значительная часть русского населения сохранила чистоту крови (браки с инородцами крайне редки)».

Выгодно отличался Обдорск от других сибирских городков, переполненных каторжниками и уголовными ссыльными. «Вы можете совершенно спокойно уходить за окраину села в какое угодно время, не опасаясь быть ограбленным или убитым».

Образованное общество Обдорска век назад не отличалось многочисленностью, в эту образованную прослойку входили и писарь, и заседатель, фельдшер, акушерка, доктор, учитель, несколько священников, включая трех миссионеров. Хотя 26 обдорян выписывали 38 экземпляров газет и журналов. Наибольшей популярностью пользовались «Нива», «Сибирский листок», «Живописное обозрение», в Обдорск добиралась даже «Русская мысль» и «Вестник Европы». Обдорская библиотека была бедна, блистательно отсутствовала классика, грамотные обдоряне, впрочем, как и ныне, предпочитали обиходные романы в бумажных переплетах.

Честно наблюдая неприкрашенную бедность и убогость дальнепровинциальной жизни, Бартенев оставался непреклонен в своем убеждении:

«Сравнивая обдорянина и вообще сибиряка с крестьянами и мещанами Европейской России, я всегда отдам предпочтение первым перед последними. Уровень умственного и нравственного сибирского населения, насколько я мог заметить, выше общерусского, выглядит как-то осмысленнее и благороднее. В Сибири вообще меньше той обывательской пошлости, от которой тошнит в провинциальной России».

Чем же занимался, чем зарабатывал на жизнь, чем обеспечивал себя на освежающем северном просторе облагороженный мрачно-вато-холодным севером обдорянин?

Заработков насчитывалось немного: выпечка хлебов, пошив бродней, вязанье сетей, шитье меховых шапок. Других особых ремесел не водилось. Обдоряне в основе своей для прокорма держали коров и лошадей, скотина паслась без пастуха в зеленых обдорских окрестностях.

В 1889 году в Обдорске открылся общественный кабак. Это весьма немаловажное событие: кабак поумерил незаконную виноторговлю — до этого рядовому обдорянину приходилось брать не просто разбавленную водку, но и слобренную табаком или купоросом.

«Пьянство в общем усилилось», отмечает Бартенев, но кабак принес нечто положительное, водочные дивиденды пошли не в карманы барышников, а на содержание школы, больницы, другие неотложные общественные нужды.

Первостатейной статьей дохода обдорянина оставался рыбный промысел.

«Обдорск, — живописует Бартенев, — пустеет. Большая часть населения уезжает «на низ». Проходя по улице, часто видишь избы с заколоченными ставнями».

Всего вывозилось рыбы из Обдорска, по приблизительному расчету, около 2000000 пудов на сумму около 300000 рублей.

Обилие рыбы обогащало все-таки не обдорян, местного рынка сбыта не существовало. Тобольские купцы владели баржами, пароходами, лихтерами, имели перерабатывающие мощности, поэтому могли скупать по дешевке.

«Плачутся обдоряне, да куда с рыбой денешься? Ну и приходится продавать по чем дадут».

Первым из обдорских купцов собственный пароход завел И.И. Карпов. Но сумел ли он раздробить тобольскую пароходную монополию, Виктор Бартенев уже не узнал — уехал.

Кстати о пароходах...

«Прибытие первого парохода составляет целое событие. Особенно эффектно выходит, когда пароход подходит в темную осеннюю ночь. (Первый пароход приходит обыкновенно 29—30 августа, последний — не позже 5—7 сентября). Приход парохода ожидается с нетерпением. На яру толпится публика, многие с биноклями, все напряженно смотрят на светлую полосу Оби: не покажется ли дымок из трубы. В это время обдоряне напоминают каких-то робинзонов, ожидающих на своем острове, не покажется ли европейское судно».

Видимо, чрезвычайно скучал урожденный петербуржец в заброшенном, затерянном Обдорске. Я книгу Бартенева прекрасно помню, наверное, и сам переживал нечто подобное в своей озябшей за долгую зиму душе: «Вся эта толпа забытых обитателей тундры напряженно ждет. Вот раздастся свисток... Читатель, не бывавший на Крайнем Севере, никогда не представит себе того впечатления, которое производит свисток парохода под северным полярным кругом... На минуту забывается тоска и чувство одиночества и заброшенности.. Пароходный свисток кажется каким-то голосом из родной стороны».

«И хотя в глубине души понимаем, — философски заключает Виктор Бартенев, — что и там, в родной стороне, жизнь в сущности так же бесцветна, пошла и беспельна, как и здесь, в тундре, но все-таки хоть на минуту чувствуешь какую-то иллюзию, какие-то надежды».

Эти иллюзии подкреплялись хорошей кружечкой пароходного пива, дефицитного по всем временам для обдорских кабаков, глазением на пароходную машину, покупкой в буфете таких полярных редкостей, как арбузы, огурцы, яблоки и капуста.

Славен был Обдорск и своей ярмаркой, ибо второй главной статьей доходов обдорян была торговля с самоедами-оленоводами и охотниками. Пушной торг, пожалуй, только и позволял сносно существовать всему обдорскому населению. Начало ярмарки приходилось на святки.

Начиналась маскарадная потеха: «рядятся остяками, остячками, стариками, чертями».

Подметил Бартенев еще одну особенность: на обдорских русских свадьбах пели сохраненные стариннейшие русские песни: «Слова о боярах и боярышнях, гуляющих в зеленых садочках, среди деревьев и цветов средней России, производят впечатление гру-

ственно и трогательного контраста, когда они поются под северным полярным крутом в печальной и дикой тундре»... Литератор задается вопросом: как мог сохраниться этот осколок русской старины?

Ответ мы найдем, пожалуй, только в русском стремлении к странственной шире и в родной русской тоске.

Глухой зимний сезон заканчивался свадьбами после святок. Это была короткая пора обдорской светской жизни.

«Пока молодежь танцует и поет, более солидные люди сидят за винтом. Винт и преферанс не только успели проникнуть в Обдорск, но и весьма прочно укоренились в нем... Одет публики по-городски: мужчины в крахмальных сорочках и черных сюртуках, дамы в платьях чуть ли не по последней моде. Во время моего пребывания в Обдорске появилась мода на дамские платья с широкими рукавами и пуфами. Когда я в первый раз в Обдорске увидел такие платья, то подумал, что это обдорская мода, и был так удивлен, когда узнал, что так скоро проникло на дальний север последнее слово искусства».

Пожалуй, женская мода проникала на север даже быстрее, чем официальная почта. А на три месяца, на весеннюю распутицу — с апреля по июнь — Обдорск и вовсе отрезался от всего мира.

Что еще интересного можно узнать из незамысловатых заметок давнего обдорского гостя-наблюдателя? Он много места уделяет обычаям, нравам остяков, самоедов, зырян. Особой его приязнью пользуются именно зыряне: «как народ вообще более подвижной и оборотистый, очень энергичный, предприимчивый и работающий».

Большинство из обдорских зырян «знает какое-нибудь ремесло; среди них много плотников, есть столяры, кузнецы, печники. Главный же их конек — это торговля. Зырян зовут часто, — замечает Бартенев, — «северными жидами», и они отчасти оправдывают свое прозвание. «Народ-эксперт», как выражаются в Обдорске о зырянах, характеризуя их пронырливость. Но к еврейской пронырливости (так писал русский интеллигент в конце прошлого века) у зырян присоединяется еще любовь и способность к тяжелому физическому труду... В лице зырян обдоряне встретили предприимчивых, ловких и не брезгливых в нравственном отношении соперников».

Зырянин И.А. Рочев был единственным в Обдорске подписчиком журнала «Вестник рыбопромышленности». Пожалуй, с Рочева начинается и обдорское фотоискусство, ибо просвещенный рыбопромышленник купил первую фотокамеру, снимая преимущественно типичных инородцев и лишь изредка русских. Обдорские предприниматели дальше Ирбитской ярмарки не езживали, а Рочев добирался и до знаменитой Нижегородской.

Еще один колоритный обдорский уроженец И.П. Росляков заведовал местной метеостанцией, помогал знаменитому путешественнику, казанскому профессору Арс. Якобию в путешествии по нижней Оби. Бартенев помогал Рослякову составлять «Остяцкую грамматику». Кстати, Бартенев за время своего обдорского житья-бытья выучил хантыйский язык.

Немало добрых слов он находит для остяков и самоедов, хотя великодержавный шовинизм нашему автору вовсе не чужд.

«К чему в самом деле искусственно создавать профессиональную интеллигенцию из членов низшей расы, когда под рукой есть раса более для того пригодная?»

Но противоречия вообще в характере Бартенева. «Если брать одну лишь юридическую сторону дела, то остяки являются крупными соб-

ственниками, своего рода лэнд-лордами, у которых русско-зырянское население только арендует землю. А между тем этот лэнд-лорд ходит ободранный, хуже последнего санкюлота».

Я люблю читать старые непримечательные книги. В них — аромат ушедшей жизни, никакого классового анализа, а обывательская обстоятельность столь близка самой жизни. И, конечно, всегда прорисуетея автор, если он даже и не старается, порой стесняется говорить о самом себе. И видишь неприкрашенного русского человека волей каких-то обстоятельств, как Виктор Бартенева, заброшенного в заштатный северный городок. Он мог бы скулить, скучать и тосковать, но у него хватило сил собрать материал для книги. Вот она — участь русского интеллигента! Он, наверное, знал, что, кроме него, это некому сделать. И сделал. И как бы эстафету бытовой истории передал.

Можно прочесть и забыть.

Но тем и отличается краевед от нормального человека, что из глубин его памяти всплывает то, что может быть забыто однажды и навсегда.

Когда я читал «Очерки» Виктора Бартенева, а это было в заповедно-пиететные ленинские времена, то часто ловил себя на мысли: не хватает остро-классового, яростно-ленинского анализа. Вялотекущая обыденная жизнь, не поймешь, кто кого эксплуатирует, кто на ком наживается, и признаков грядущей победы пролетариата в разреженной полярной атмосфере не просматривается.

Прекраснодушные иллюзии... Откровенный и совершенно внеклассовый либерализм.

Кабы знать...

Бартенева — фамилия не особо редкая в Отечестве.

Известный российский историк — не родственник ли? Мимо... А эта женщина, сподвижница Карла Маркса, чуть ли не первая русская марксистка из Русской секции Первого сугубо Марксова Интернационала Екатерина Бартенева?

Оказывается, мать.

Сегодня я недоумеваю, почему в официально-ленинские времена Виктор Бартенева не засветился, не привлекал внимание официальных историков?

Тюменская краеведка Людмила Пиманова, узнав о моем интересе, любезно предоставила мне свои тетрадки: они связаны как с матерью, так и с сыном Бартеневыми.

Марксистка Екатерина Григорьевна Бартенева, оказывается, урожденная княгиня Броневская, с Сибирью связана уже тем, что она — внучка западносибирского генерал-губернатора генерала Броневского. Екатерина Григорьевна была знакома с семьей Ульяновых: через мать, видимо, произошло знакомство Виктора Бартенева с Владимиром Ульяновым. Бартенева старше Ульянова на 6 лет. Это много, если учесть, что дело происходит в 1888 году, Ильичу пока 18 лет. Виктор старше, опытнее, к тому времени начитаннее, в революционную работу его вовлекла родная мать, княгиня-марксистка.

Лениновед Г. Хайт, разыскивая «Неразысканные строки Ильича», наткнулся на письма ленинской сестры Ольги:

«В 1888—1891 годах Владимир Ильич обменялся рядом писем с Виктором Бартеневым, студентом-юристом, а затем выпускником Петербургского университета. Департамент полиции отмечал, что

В. Ульянов попал в «зону» жандармского внимания с 1888 года «вследствие сношений его с высланным впоследствии в Западную Сибирь Виктором Бартеневым». Это можно истолковать однозначно: жандармы видели и читали письма В. Ульянова к его петербургскому адресату.

В 1891 году, когда Владимир Ильич собирался держать экзамен за курс юридического факультета при Петербургском университете, он снова обратился к Виктору Бартенеvu. Содержание одного из неразысканных ленинских писем Бартенеvu 1891 года можно установить: оно вытекает из строк письма, адресованных Ольгой Ульяновой 14.01.1891 года матери, где отмечено, что Бартенеv «получил Володино письмо» и собирается сходить в университет, чтобы навести необходимые для Владимира Ильича справки, о которых он просил в своем письме.

У Ленина имелся портрет Карла Маркса с автографом «Привет и братство».

Известно, что такой портрет получил единственный русский адресат — Екатерина Григорьевна Бартенева.

Как портрет с автографом попал к Ильичу?

Наверняка не без помощи коллеги-юриста.

Виктор Викторович высоко ценил своего приятеля и уже в начале века предрекал ему будущее «вождя революции».

У сожалению, системно их отношения документально не прослеживаются и можно только догадываться, как влиял старший товарищ на молодого соратника. Явно одно: это влияние было.

Хайт искал следы архива Бартенеvых, не обнаружил, но кое-что узнал и о матери, и о сыне.

Скорее всего, в Обдорск Виктор Бартенеv попал по рабочему делу: в конце 80—начале 90-х он был пропагандистом у питерских рабочих.

После Февральской революции, оказавшись в Архангельске, Виктор Бартенеv стал лидером здешней организации кадетской партии, редактировал «Бюллетень ассоциации по изучению производительных сил Севера», во время оккупации Севера интервентами редактировал местные газеты. После изгнания белых арестован и пропал «без вести».

Дороги двух юристов — Виктора и Владимира — разошлись. Бартенеv предпочел путь эволюции, а не социального взрыва.

Ульяновы и Бартенеvы.

Уточнена и дата смерти Бартенева — 1921 год. Виктор Викторович уже старый человек — ему 66. Расстреляли ли старика победившие ленинцы, по-иному ли оборвалась жизнь этого незаурядного человека? Как всегда, надо искать. Но книгу об Обдорске написал человек интересной судьбы. Заметим попутно, что книгу обдорского ссыльного тут же издали в Санкт-Петербурге. В царские времена это необычным не считалось. Сослали. Отсидел. Жизнь продолжается. Ленинцы, как правило, когда садили в тюрьму или ссылали, старались вычеркнуть человека из жизни навсегда.

Виктор Бартенеv, чтобы уж полно раскрыть эту сибирскую страницу, — правнук князя Семена Богдановича Броневского. Князь Броневский, сподвижник знаменитого Михаила Сперанского, был войсковым атаманом Сибирского казачества, в 1824 году возглавил штаб отдельного Сибирского корпуса, в 1836 году в чине генерал-майора был назначен генерал-губернатором Восточной Сибири. По

сведениям знающих людей, был отважным воякой, дельным губернатором, а человек замечательный.

Жаль, за внучкой не уследил — ушла в марксистки. Правда, когда губернаторствующий генерал умер, внучке Кате шел всего 13-й год.

Каждый из них по-своему понимал служение Родине: и дед, и внучка, и правнук.

Сама Екатерина Григорьевна Бартенева о себе писала:

«Я 22 года живу и существую литературным трудом. И если имя мое, как писательницы, не пользуется громкой известностью в публике вследствие того, что я редко подписываю свои статьи, то в кругу издателей и литераторов оно весьма достаточно известно...».

Может, действительно лучше бы помнить ее как писательницу, а не как обязательное женское присутствие в Русской секции Маркса Интернационала?

Впрочем, интересные люди — сложной биографии, зачем нам-то что-то вычеркивать из нее? Было — потому и интересно.



«И повез
тятя царя
в Созоново»

История — неразборчивая дама! — привечает и праведника, и грешника, но посредственность пропустит, а вот колоритную личность непременно выделит. Это уж мы с вами, в зависимости от воспитания и вкуса, добавим знаки минус и плюс.

«— А это кто? Скажи, кто это? — стремительно метнулся к большому стенному портрету, откуда выделялось гордое, умное лицо старика.

— Ну и человек!.. Ах, ты, боже мой! Самсон, друг ты мой, вот он, Самсон-то, где. Познакомь меня с ним? Кто это? Где он живет? Поедем сейчас к нему. Вот за кем народ полками идти должен.

И он, торопливо зажег соседнюю электрическую лампочку, желая лучше и пристальнее рассмотреть лицо этого поразившего его старика.

Я объяснил ему, что это Карл Маркс, ученый, давно уже умерший... Фамилия не произвела на него решительно никакого впечатления. Было совершенно очевидно, что слышал он ее впервые... Потужив и пожалев, что нельзя сейчас же побывать у хорошего человека и побеседовать с ним, он заходил, заволновался и вдруг заявил:

— Вот у такого-то души-то хватит на тысячи и на миллионы людей, а мы что? И на себя припасти не можем... Х-ма! — и он безнадежно махнул рукой».

Кто этот живописно описанный, восторженный поклонник гордого бородача Карла Маркса, кто столь неистово мечтает незамедлительно с ним познакомиться?

При ответе приличествует выдержать паузу. Не поверите... Григорий Распутин.

И ни какой-то сенсационный борзописец изобразил эту сцену, а Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, солидный большевик, наперсник Ильича, будущий главный чиновник малого Совнаркома. Его мемуары опубликовала петроградская газета «День» в 1914 году. Бонч-Бруевич находит для Распутина немало пристойных эпита-

тов, он обнаружил в нем «привлекательные черты» пацифиста, обличителя обожравшейся буржуазии, бескорыстного ходатая и «воодушевленного защитника» народно-крестьянских интересов.

Я прикрываюсь сомнительным авторитетом Бонч-Бруевича не для того, чтобы произвести Распутина в марксистские святые, просто осторожнее бы обращаться с черно-белыми (или красно-белыми) оценками, будем ценить в людях и исторических личностях их неоднозначность.

В село Покровское нынешнего Ярковского района, на родину Распутина, я как-то очень давно, в советские еще времена, поехал поискать следы распутинского дома.

Оказалось — занятие безнадежное.

Место дома нам показали. Самого дома нет. Если поверить многочисленным рассказам старожилов, распутинская отчина... уехала в Казахстан.

Для советского сельсовета двухэтажное добротное строение, видимо, представляло перманентную политическую угрозу. Мало ли что... Как посмотреть... Подвернулся случай, и дом продали в соседнюю республику, где с лесом, как известно, проблемы. Подогнали трактор — неизвестный, не из местного колхоза. Хотели быстренько, на излом, но дом оказался крепкий, тракторист с работниками замаялся. Что-то они в сани набросали, но много бревен разъехалось по деревням. Двухэтажка дореволюционной еще постройки до продажи была начальной школой.

Никому не мешавший, видный, заметный дом в одночасье (председателем сельсовета о ту пору числился Василий Иванович Поспелов) исчез.

И марксиста-совнаркомовца Бонч-Бруевича на распутинскую защиту не случилось.

Покровское — справное, добротное, крепкое сибирское село. Понятно, история с распутинским домом вряд ли украсит сельскую историю. Если и знают Покровское в Москве, Париже и Нью-Йорке, то, конечно, не по какой иной причине, а только исключительно потому, что обретал здесь урожденный странный старец: то ли ангел, то ли сатана. Я уж не говорю о том, что в иных расторопных местах из этого дома сделали бы, если не музей традиционного сибирского быта, то какое-нибудь увеселительное заведение под зазывным названием «Гришкин грех». Мы же свою историю, худую ли, хорошую, — на дрова, если не себе, то в Казахстан.

Невеселое мое настроение, впрочем, скомпенсировала встреча с замечательной покровской старушкой. На улице Комсомольской по подсказкам мы отыскивали старый, ветхий домик, где обретает Анфиса Федотовна Моторина. Она единственная в селе, кто помнит знаменитого земляка, мало того, дальняя его родственница: ее дядя был женат на двоюродной сестре Распутина. К моменту смерти Григория Ефимовича Фиске исполнилось 13 лет.

Люди ее возраста словоохотливы. Тем более что о Григории Ефимовиче изустно передавалось: лучший разговор — молчок.

— Я у них бывала, все, конечно, видела. Постоянно видела. Приезжал к нам, постоянно приезжал, как только приедет, я сразу иду к имя. Он привозил в Покровку женщину, а в аккурат хлеб молотили, у его у сына-то, народ, машиной. Я там, девчонка, сидела. Он приехал, мне говорит: «Иди, там тетенька приехала, иди к ней».

— Знатная?

- Да, да, знатная дама, и вот я сидела, она меня все уговаривала, гладила, да вот ты какая хорошенькая. Маленькую.
- Дом-то Распутиных гостеприимный?
- Да уж, гостеприимный, гостей много бывало. Потом мы подросли, так стали навоз возить у сына. Хозяйство-то было, было хозяйство. Выездная лошадь была, как Распутин едет, у нас уже колокола забрякают. А он по матушке опять, сын-от, опять надо встречать ехать. Он не любил его.
- Сын?
- Сын. Потому что Григорий Ефимович все ездил, а надо работать, а сына отрывал. А сын работающий был. Заботливый. Основательный.
- Сам-то на сельских работах себя не утруждал?
- Нет. Нет-нет. Чего там — не утруждал. Сын хозяйство вел да жена его, распутинская.
- Как его воспринимали в деревне: чудным или нормальный мужик?
- Нет-нет, его как мужчину принимали. И все.
- Своих односельчан защищал?
- Да-да, защищал. Когда надо. По-человечески.
- А плохое говорили о Григории Ефимовиче?
- А чего? Нет. Ничего. Ну, пьянствовал, распутничал, а худого ничего не делал. У нас ведь мужики хорошие, зря не пили.
- Мужики его не осуждали?
- Нет-нет, дак он и ненадолго ведь заезжал, самое большое дня три проживет, опять уезжал. Он с нами не якшался. А вот так когда что надо, придешь, дядя Гриша, мне вот надо ботинки, платье ли, ли че, он бумажку напишет к Федору Филипповичу, где почта, там продавец жил, туда пойдешь, бумажку подашь и получишь.
- Бесплатно?
- Бесплатно. Конечно, наверное, оплачивал, а мы-то бесплатно брали. Вот так-то помогал. Бедным помогал. Жениться если надо, придет к нему: дядя Гриша, мне бы жениться надо, да денег нет. Да сколько тебе надо? Ну сотни хватит. Нет, сотней что ты сделаешь, ведь я приду на свадьбу.
- В долг давал, понятно, конечно?
- В долг. А там отдашь — дак ладно, а и не отдашь — ладно. Бедным помогал. Всем помогал.
- Что-нибудь странное в его поведении односельчане отмечали?
- Нет. Нет-нет. Мужик и мужик.
- В церковь ходил?
- Не шибко. Не шибко ходил в церковь-то. Но старик ласковый был. Любезный. На коленках я у него сиживала.
- Как складывалась потом судьба семьи Распутина?
- Дочери до его смерти уехали туда куда-то. А когда раскулачивать начали, забрали сына, жену, сноху забрали, увезли на Север, в Обдорск, кажется, там они и померли.
- Кто знал Распутина, помнил о нем хорошо?
- Хорошо. Он ничего плохого здесь не делал. Хоть пьяница был, все пил.
- С женой Распутина были знакомы?
- Да неужели? Да как же? Прасковья Федоровна — простая старушка, такая старушка простая. Она с сыном все и жила. И в

ссылку поехала. И померли там, на Севере. Говорят-от, что в Обдорске. Может, и в Обдорске.

Дворик у Анфисы Федотовны бедноват. Дровяник, скамеечка для подружек, скворечник на ветле.

Она вдруг бросает разговор, семенит в дровяник, выходит оттуда с колуном и вдруг резво начинает колоть березовые чурки.

Когда я хочу ей помочь, она отталкивает.

— Сама-сама. Кашу на обед разогреть.

Закончив колку, возвращается на скамеечку. Руки ее заметно подрагивают.

— Заполошная я, — сознается она. — Всю жизнь заполошная. Такая уродилась.

Анфиса Федотовна на то время прожила в Покровском безвыездно все свои 87 прожитых годков. Коммунарка, колхозница: полвека, по ее же признанию, пахала да сеяла. Радость — муж, хозяин с фронта вернулся. Горе — сын Гена с войны не пришел.

Могла бы жить у зятя — зять надежный. Но свободу любят не только молодые. Сама себе хозяйка. Заполошная. Делает что хочет и когда хочет.

Свидетельницей еще одного незаурядного события оказалась девчушка Фиска из притрактового сибирского села. Было это в 1918 году.

— Тятя земскую службу возил, земску-земску, ямщиком. Кони были у нас все. Потом, кода царя-то везли, я вот это помню хорошо, из Тобольска. Тогда тятя подпрягал под повозку тройку лошадей, он привел двух, и я еще одну лошадь привела. Подпрягли. Тогда я и высмотрела царя-то. Небольшого росту, черноватый. Не сказать, что смуглый, но с черна так. Он тогда уже пожилой был. Так он по Покровке ходил, ничего, без всякого форсу, с мужиками разговаривал. А Распутины-то глядели в окошко, так их отгоняли. А царица не вышла. Нет. Может, не выпустили. Строго. Они в Покровке из Тобольску ненадолго останавливались. Только коней перепрягли. И все. Поехали дальше до Созоновой. А наши-то, покровские, возили туда, до Созоновой. Мой отец царя вез. Повозка раньше крытая была, повозка с окошком, в ней возили, только и имя лошадей подпрягли, в ней туда они ехали. Царя с царицей тятя вез до Созоновой. Федот Алексеевич Космаков — тятя-то. Дальше что? Всяко говорили, то ли расстреляли царя, то ли нет, то ли убег. Нам-то неинтересно было, тогда какие еще были! Только это точно знаю, что подпрягали когда лошадей, так он вылез, царь-то, и ходил по Покровке. Небольшого он росту, и сам с черна.

Она подает руку через калитку. Рука все еще мелконько дрожит. Мысли у нее все о своем.

— Дак полвека. Замуж вышла, так хозяин в армии был, а я пахала да сеяла. Вот так. Эх, жизнь моя... И под старость одна, эк-кхе...

Сколько лет прошло, а все гордится: тятя царя с царицей на крытой кошевке до самой Созоновой вез. Царь не сказать что великий, но самостоятельный и по выправке — офицер.



Анна и адмирал

Честно признать, не припомню: морские офицеры — сентиментальные ли люди? Наверное, сентиментальные: постоянно в походах, вдали от дома, близких и любимых — любое сердце обнажится.

Человек он был, безусловно, великий. Невозможно талантливей, отважный и блестящий полярный исследователь, безумно храбрый, блистательный военный моряк, умный флотоводец, искренний и принципиальный милитарист, преданный военному делу. «Эту войну я не только предвидел, но и, — честно писал о первой мировой войне, — желал, как единственное средство решения германо-славянского вопроса».

Мы найдем его известную фамилию на обложках книг «Служба Генерального штаба» и «Лед Карского и Сибирского морей», в анналах исследований Северного морского пути — он командовал ледокольным транспортом «Вайгач» в гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, спасал Эдуарда Толля и Георгия Седова, создал в Омске Комитет Севморпути и организовал первую Карскую товарообменную экспедицию. В первую империалистическую он организует минную защиту Петербурга на Балтике, командует Черноморским флотом.

Его жизнь — для хорошего авантюрного романа. Флотский офицер хорошо знает слесарное дело, не гнушается другими ремеслами, самостоятельно осваивает штурманскую науку, грезит об Антарктиде и мечтает о кругосветном мореплавании. На его счету две арктические зимовки, морской поход на шхуне «Заря» во льдах по Ледовитому океану, 500-верстный лыжно-нартовый переход по кромке арктического побережья, недельные кочевки в полярных снегах... Учил китайский язык, несколько месяцев провел в японском плену, изучал восточные религии и философию, хотя семейно был религиозен и предан православию. Золотая сабля «За храбрость» соседствует с Большой золотой Константиновской медалью Императорского русского географического общества. Кто бы поверил, зная его последующую биографию, что после русско-японс-

кой кампании докторами он был признан «совершенно инвалидом». Через 9 лет этот «инвалид» блестяще командовал морскими дивизиями и целым флотом. Он, безусловно, был личностью сложной, характера непростого.

Пожалуй, он проиграл всего раз в жизни. Но этот проигрыш стоил ему не только жизни, но и посмертной славы.

Человек, о котором я рассказываю, — Александр Васильевич Колчак.

Не собираюсь давать никаких политических оценок — адмирал давно принадлежит российской отечественной истории, история судит строго, но справедливо, и все — рано ли, поздно — расставляет по своим местам.

Сегодня я хочу рассказать о любви этого великого человека. Скорее даже не о нем — о ней.

Есть женские лица... нет, не сказать, что они очень красивы, идеально красивые, нет, в них замечаются какие-то неправильности, но они сразу притягивают, пленяют, ослепляют, и только взглянув, осознаешь, что эта женщина может, сделать всякого ослепительно счастливым. Но в чем-то... может, в глазах, уже видится отсвет грядущей беды. Незабываемое лицо! Ради таких идут на все.

Знали ли мы об этой женщине, если бы не ее сибирский роман? (Этот сюжет привлекает меня еще и потому, что их любовь состоялась и трагически оборвалась именно в Сибири — два счастливых сибирских года из пяти лет их знакомства). Скорее всего, вряд ли... Несомненно, дочь великого музыканта Василия Сафонова была одарена: рисовала, музицировала, писала недурные стихи, актерствовала. Но, может быть, главное, в чем она состоялась как великая женщина, — это любовь. А, может быть, расплата за это мимолетное счастье.

Посреди России, посреди хаоса всемирной и гражданской смуты два сердца — мужское и женское — нашли друг друга.

И если я еще жива

Наперекор судьбе —

То только как любовь твоя

И память о тебе.

Наверное, это не самые совершенные строки.

Но я, прочитавший в своей жизни немало гениальных поэтических строк, не встречал столь страстной женской преданности, растворенности, такой беззаветной самоотдачи и самоотверженности. Самоотверженности... Отвержения себя. Она понимает себя как воплощение его любви. Она длит себя в последующей безрадостной жизни только потому, что она его любовь, память о нем.

Кто заметит, кто отметит счастливую любовь. Трагично.... Ибо только трагичное велико.

Их знакомство было, даже по срокам человеческой жизни, недолгим — пять лет. Роман — короче.

В 1915 году в Гельсингфорсе встретились двадцатилетняя молодая женщина и сорокалетний прославленный военный моряк и полярный исследователь. Его даже называли Колчак-Полярный.

«Так вышло, что весь вечер мы провели рядом. Долгое время спустя я спросила его, что он обо мне подумал тогда, и он ответил: «Я подумал о Вас то же самое, что думаю и сейчас».

Но пройдет год, когда уехавший с Балтики Колчак начнет писать ей письма, и еще два года, когда судьба сведет их вместе и уже

навсегда — на Дальнем Востоке. Харбин, Токио, Омск, Иркутск — география их романа.

Недавно опубликована переписка Александра Васильевича Колчака и Анны Васильевны Тимиревой — небольшие фрагменты сохранившегося из разметанного судьбой. Это не выдающийся роман в письмах, скромная и сугубо частная переписка людей, очень сдержанных в словах и словесных проявлениях чувств. Может, от этой сдержанности и ценнее каждое нежное слово.

Прежде чем читать строки из давних писем, хочу согласиться с точкой зрения исследователя жизни адмирала Колчака историка Федора Перченка. Перченка высказывает предположение:

«Его (Колчака) внутреннее ощущение: он в буквальном смысле слова должен завоевать право сказать ей о своей любви и право ее видеть, он достоин ее, только если одержит решающую... победу... Не потому ли... он... в Омске соглашается принять на себя обязанности Верховного правителя (России)? Любовь едва ли не предопределяет его трагический конец».

Анна — не просто любовь сурового моряка, но и роковой выбор, роковая судьба России. Поэтому неизбежно и предначертан ей тяжелый крест.

Почти перед смертью Анна Тимирева вспомнит их объяснение в любви.

«Мне было тогда 23 года, я была замужем пять лет, у меня был двухлетний сын. Я видела А.В. редко, всегда на людях, я была дружна с его женой. Мне никогда не приходило в голову, что наши отношения могут измениться. И он уезжал надолго, было очень вероятно, что никогда мы больше не встретимся. Но весь последний год он был мне радостью, праздником. Я думаю, если бы меня разбудить ночью и спросить, чего я хочу, я сразу бы ответила: видеть его. Я сказала ему, что люблю его. И он ответил: «Я не говорил Вам, что люблю Вас». — «Нет, это я говорю: я всегда хочу Вас видеть, всегда о Вас думать, для меня такая радость видеть Вас, вот и выходит, что я люблю Вас». И он сказал: «Я Вас больше чем люблю». И мы продолжали ходить рука об руку, то возвращаясь в залу Морского собрания, где были люди, то опять по каштановым аллеям ревельского Катриненталя.

Нам и горько было, что мы расстаемся, и мы были счастливы, что сейчас вместе, и ничего больше было не нужно».

Первое письмо командующего Черноморским флотом адмирала Колчака оставшейся в Петербурге Анне.

«Мне раньше являлось желание Вас видеть, говорить с Вами, услышать Ваш голос. Теперь я об этом почти не думаю. Ваши письма — доказательство внимания Вашего — дают мне какую-то спокойную уверенность, что это будет.

Я не знаю, что случилось, но всем своим существом чувствую, что Вы ушли из моей жизни, ушли так, что не знаю, есть ли у меня столько сил и умения, чтобы вернуть Вас. А без Вас моя жизнь не имеет ни того смысла, ни той цели, ни той радости. Вы были для меня в жизни больше, чем сама жизнь, и продолжать ее без Вас мне невозможно. Все мое лучшее я нес к Вашим ногам, как бы божееству моему».

Еще одно признание: май 1917 года, морской поход адмирала, успешно минируется Босфор.

«В минуту усталости, или слабости моральной, когда сомнение переходит в безнадежность, когда решимость сменяется колебани-

ем, когда уверенность в себе теряется и создается тревожное ощущение несостоятельности, когда все прошлое кажется не имеющим никакого значения, а будущее представляется совершенно бессмысленным и бесцельным, в такие минуты я прежде всегда обращался к мыслям о Вас, находя в них и во всем, что связывалось с Вами, с воспоминаниями о Вас, средство преодолеть это состояние.

Это состояние переживали и переживают все люди, которым судьба поставила в жизни трудные и сложные задачи, принимаемые как цель и смысл жизни, как обязательство жить и работать для них. Вы были для меня тем, что облегчало мне это сделать, в самые тяжелые минуты я находил в Вас помощь, и мне становилось лучше, когда я вспоминал или думал о Вас».

Наверное, война не ожесточает человека, она делает его ранимее, нежнее, беззащитнее, и опорой становится самое хрупкое человеческое чувство.

«В часы горя и отчаяния я не привык падать духом, я только делаюсь действительно жестким и бессердечным, но эти слова к Вам не могут быть применимы.

Только о Вас, Анна Васильевна, мое божество, мое счастье, моя бесконечно дорогая и любимая, я хочу думать о Вас, как это делал каждую минуту своего командования.

Я не знаю, что будет через час, но я буду, пока существую, думать о моей звезде, о луче света и тепла, о Вас, Анна Васильевна. Как хотел бы я увидеть Вас еще раз!».

«Да верно ли я забыл когда-нибудь А.В., неужели это правда, а не моя собственная фантазия о ней, что я был около нее, говорил с нею, целовал ее милые розовые ручки, слышал ее голос. Неужели не сон — сад Ревельского Собрания, белые ночи в Петрограде, может быть, ничего подобного не было».

«Передо мной стоит портрет Анны Васильевны с ее милой прелестной улыбкой, лежат ее письма с такими же милыми ласковыми словами, и когда читаешь их и вспоминаешь Анну Васильевну, то всегда кажется, что совершенно недостойн этого счастья, что эти слова являются наградой незаслуженной».

Судьба не отводила минут и часов времени на нежности, для сердца, время мотало адмирала по морям и материкам. Адмирал воевал, выполнял дипломатические государственные миссии, кондотьерствовал, искал пути спасения России, искал союзников, нейтрализовал противников. «Но в Англии, в Америке, в Японии единственной радостью было, какое счастье получить эти письма. Ведь каждое письмо Ваше — лучшее, что я могу желать и иметь теперь.

Увидеть Вас, побыть с Вами, услышать Ваш голос, испытать вновь радость близости Вашей, да ведь это представляется мне таким счастьем, о котором я не смею сейчас думать и не думаю».

Писем Анны сохранилось всего восемь. Пожалуй, они много не расскажут нам о той, что писала. Но недаром эти строки так ждал суровый адмирал.

«Милый Александр Васильевич, я буду очень ждать, когда Вы напишете мне, что можно ехать, надеюсь, что это будет скоро. А пока до свидания, милый, будьте здоровы, не забывайте меня и не грустите и не впадайте в слишком большую мрачность от окружающей мерзости. Пусть Господь Вас хранит и будет с Вами.

Я не умею целовать Вас в письме. Анна».

«И потому, голубчик мой, родной Александр Васильевич, я очень жду Вас, и Вы приезжайте скорее и будьте таким милым, как Вы умеете быть, когда захотите, и каким я Вас люблю. Как Вы ездите? По газетам, Ваши занятия состоят преимущественно из обедов и раздачи Георгиевских крестов — довольно скудные сведения, по правде говоря. А пока до свидания. Я надеюсь, что Вы не совсем меня забываете, милый Александр Васильевич, пожалуйста, не надо. Ну, Господь Вас сохранит и пошлет Вам счастья и удачи во всем. Анна».

Только иногда прорывалось:

«Шибко худо есть, Сашенька, милый мой, Господи, когда Вы только вернетесь, мне холодно, тоскливо и так одиноко без Вас».

Может, только она одна и знала его подлинного. Знала, но ни с кем не поделилась, только намекнула. История рассудит, женщина поймет.

Из предсмертных воспоминаний.

«И вот я в вагоне. Мое место отгорожено от коридора занавеской, а за окном мутная-мутная ночь, силуэт Фудзиямы, и туман ползет по равнинам у ее подножия. Рвушая сердце боль расставания. И вдруг, повернувшись, я увидела на стене его лицо, бесконечно печальное, глаза опущены, и настолько реальное, что я протянула руку, чтобы его коснуться, и ясно ощутила его живую теплоту; потом оно стало таять, исчезло — на стене висело что-то. Все. Осталось только чувство его присутствия, не оставляющее меня.

Вот я пишу, что же я пишу, в сущности? Это никакого отношения не имеет к истории тех грозных лет. Все, что происходило тогда, что затрагивало нашу жизнь, ломало ее в корне и в чем Александр Васильевич принимал участие в силу обстоятельств и своей убежденности, не втягивало меня в активное участие в происходящем. Независимо от того, какое положение занимал Александр Васильевич, для меня он был человеком смелым, самоотверженным, правдивым до конца, любящим и любимым. За все время, что я знала его — пять лет, — я не слыхала от него ни одного слова неправды, он просто не мог ни в чем мне солгать. Все, что пытаются писать о нем на основании документов, ни в какой мере не отражает его как человека больших страстей, глубоких чувств и совершенно своеобразного склада ума».

Они знали высокую, смертную цену своей любви.

Токио.

Русская церковь, в которую адмирал привел Анну.

«Когда мы возвращались, я сказала ему: «Я знаю, что за все надо платить — и за то, что мы вместе, но пусть это будет бедность, болезнь, что угодно, только не утрата той полной нашей душевной близости, я на все согласна».

Что ж, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата».

Когда в 1920 году в Иркутске красные арестовали адмирала, чтобы расстрелять на льду Ангары, Анна самоарестовалась. Даже красные за ней никакой вины не числили. Она заставила их арестовать ее, самоарестовалась — в каком любовном или авантюрном романе отыщешь такую коллизию! — чтобы провести последние дни вместе, хотя бы в тюрьме.

И здесь ей вспомнилась русская церковь в Токио.

«И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тюремном дворе вдвоем на прогулке — нам давали каждый день это свидание, — и он говорит:

— Я думаю, за что я плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за Вас, я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье».

Из последнего письма, вернее тюремной записки, адмирала самоарестованной любимой.

«Дорогая голубка моя, я получил твою записку, спасибо за твою ласку и заботу обо мне. Не беспокойся обо мне. Я чувствую себя лучше, мои простуды проходят. Думаю, что перевод в другую камеру невозможен. Я только думаю о тебе и твоей участи — единственно, что меня тревожит. О себе не беспокоюсь, ибо все известно заранее. Пиши мне. Твои записки — единственная радость, какую я могу иметь. Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим самопожертвованием. Милая, обожаемая моя, не беспокойся за меня и сохрани себя».

Ей не дали похоронить любимого. Адмирала Колчака никто не хоронил: тело последнего джентльмена России столкнули в прорубь.

Анна пережила возлюбленного на 55 лет, но платила свободой за мимолетное счастье своей великой любви. Начиная с 1921 года — тюрьмы Иркутска и Новониколаевска, Бутырки, ссылка и пять лет лагерей, забайкальский лагерь, карагандинские лагеря, этап до Енисейска, ссылка в Рыбинск. За 40 лет — 8 арестов, 19 лет тюрем, ссылок, повторов, «минусов», лагерей, этапов. Ни за что расстрелян сын Владимир.

Кто заплатил столь дорого за порыв собственного сердца?

«Что из того, что полвека прошло, никогда я не смогу примириться с тем, что произошло потом. О, Господи, и это пережить, и сердце на куски не разорвалось».

Последняя записка, полученная мною от него в тюрьме: «Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось, только бы нам не расставаться».

И я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили.

И все. И луна в окне, и черная решетка на полу от луны в эту февральскую лютую ночь, и мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, наверное, спали в Гефсиманском саду ученики».

Есть еще одна, с обыденной точки зрения, странность в их романе. У адмирала была жена — замечательная женщина, достаточно вспомнить, что невестой Софья Федоровна бросилась встречать своего полярного жениха не где-нибудь, а на берегу Ледовитого океана, в отдаленнейшем Усть-Янске, до которого и добраться-то было невозможно. Эта достойная женщина не просто поняла мужа, а спокойно предсказала, когда еще казалось бы ничего не предвещало: «Вот увидите, что А.В. разойдется со мной и женится на Анне Васильевне».

Муж Анны — С.Н. Тимирев — позднее напишет книгу воспоминаний, о Колчаке — безусловно уважительно.

Знающий историк констатирует: «Двойной треугольник любовных отношений. Как трудно всем четверым (добавим еще, что в каждой семье по единственному сыну), но как достойно поведение каждого. Ни обмана, ни хитросплетений, ни интриг, а то, что переживается, не выплескивается на окружающих».

Наверно, свет рыцарства и безоглядной любви облагораживает каждого, кто в этот свет попадает.

...Впервые портрет Анны я увидел в Омске, в музее. Очень плохонькая, невнятная копия, переснимок. Анна на снимке очень домашняя, уютная, милая, русская, этакая пейзажная, почти пышно-деревенская красавица.

Не знаю, что меня остановило. Но... Остановило и обожгло.

Женщина, созданная для счастья.

Роковая судьба России.

Судьба, роковая, как у России: короткие минуты счастья и долгие темные годы испытаний.

Но...

Я смотрел на портрет, и припомнились строки моего любимого Заболоцкого:

Ты помнишь, как из тьмы былого...

И в первый раз мне захотелось поэта поправить:

Из света былого...

С этого плохонького снимка струился, нет, не пропадал во тьме, а струился свет былого.

Среди мирового хаоса, смуты, горя, беды, войны двое любили друг друга.

Значит, мы навсегда созданы для счастья.

Судьба Анны, судьба адмирала пусть напоминают нам об этом.

Что бы ни произошло — ни до, ни позже — два любящих сердца встретятся.



«Воробьиное» правительство

Есть в долгой истории Сибири краткий миг, обозначенный состоянием почти полной независимости и свободы. Это бурное время отмечено еще и тем, что именно в Сибири решалась судьба России. Не забудем, что адмирал Александр Колчак признавался «верховным правителем» страны. Но речь идет о времени, когда до приезда в Омск общероссийской Директории, до колчаковского переворота в Омске существовало независимое Временное Сибирское правительство Петра Вологодского. Даже единомышленники, сторонники признавали его преходящесть, сиюминутность, и вовсе не большевики окрестили его «воробьиным правительством». Несколько месяцев... Я вовсе не хочу сказать, что это было лучшее, самое счастливое время Сибири. Оно отмечалось сложнейшими, противоречивыми процессами. Однако, к сожалению, знаменательное это сибирское время практически не изучено, не исследовано, не оценено. И лишь сегодня предпринимаются робкие весьма и все же кажущиеся крамольными попытки исследования этой сложной сибирской поры.

Мы — забавное общество. Из всех птичьих привычек мы, пожалуй, больше всего манер переняли у малознакомого страуса — спрятав голову в песок, мы уверены, что мир на это время перестанет существовать. Особенно мы преуспели в забвении истории: нам нравится забывать и не помнить, особенно если забываемое сложно и непривычно. Голову в песок — и вроде ничего не было...

Чем все же хороша старая советская власть — половину отечественной истории она сумела поставить вне закона. Была, как говорится, история законная, которая импонировала коммунистическим идеологам, и была незаконная — та, которую нам, смертным, знать не полагалось. Не полагалось и все. Чтобы сокрушить оппонента, нужно его знать, знать хорошо. Пролетарские же теоретики считали, что если не знать вовсе, то оппонента вроде и нет.

Поэтому в нашей стране, пожалуй, единицы людей, кто более-менее полно может оценить не навязываемую, а истинную историю Отечества.

И когда кто-то оголтело голосит, что перечеркивают историю, очерняют ее — все это очередное идеологическое вранье: свою историю мы попросту не знаем, а перечеркивается навязанная, насквозь лживо-классовая концепция краткого курса российской истории.

Итак, Сибирь некоторое время, несколько месяцев в смутном 1918 году живет с собственным правительством. Но, пожалуй, редко кто из сибиряков знает об этом. У нас в отчизне правительства принято, за редким исключением, ругать, но, пожалуй, ни одно из правительств не забыто так прочно, как Временное Сибирское. Сейчас даже к Керенскому проявляется снисходительная благосклонность, да и раньше его, хотя и проклинали, но знали. А кто знает Петра Вологодского?

В каком государстве видано, чтобы о его первом премьере нужно узнавать окольными, дальними путями.

Вологодский из сибирской истории вычеркнут жирно, густо, казалось бы, намертво, навечно. А фигура колоритнейшая. Народник, демократ, соратник Г. Н. Потанина, либеральный публицист, популярный юрист, заметный общественный деятель, идеолог и практик кооперативного движения — все это было перечеркнуто тем, что «верховный правитель Сибири» адмирал Колчак взял его из премьеров Временного Сибирского правительства в свои премьеры. Этого Вологодскому советская идеология не простила напрочь. Слава Богу, репрессии не всецельны над человеческой памятью.

В Омске, в музее, который, кстати, расположен в бывшей резиденции «верховного правителя», удалось даже обнаружить сборник всех (всех!) распоряжений Временного Сибирского правительства. Там же чудом сохранился снимок Петра Вологодского — простой сибиряк в мерлушковой папахе, и что особенно трогательно — в катаных валенках.

Официальную советскую оценку деятельности Вологодского можно найти только в Сибирской энциклопедии, изданной в середине тридцатых годов. Энциклопедия кратко сообщала, что Вологодский, сотрудничая в различных сибирских изданиях, принимая участие в организациях мелкобуржуазной общественности и выступая в качестве «либерального» адвоката в ряде крупных политических процессов приобрел популярность среди буржуазии и сибирских областников. По оценке правоверной Сибирской энциклопедии, Вологодский — «ревностный сторонник единоличной диктатуры и интервенции, вся его деятельность во время Колчака направлена к поддержанию престижа «верховного правителя», но, предвидя конец колчаковщины, он «вышел в отставку и эмигрировал за границу».

Одна фраза из мемуаров Вологодского, которая много говорит о его мироощущении. Колчак предоставляет ему отставку. «Я почувствовал огромное облегчение от снятой непосильной ноши и свободно разгуливал по Иркутску в костюме пролетарствующего интеллигента: короткая курточка и скромная шапочка».

«Одной из самых загадочных фигур сибирской истории XX века» считает Петра Вологодского томский литератор Владимир Крюков.

С Вологодским был дружен Потанин, одно время — в начале века — даже жил в Томске в доме Петра Васильевича. Кстати, об авторитете Вологодского свидетельствует такой факт: было введено звание «Почетный гражданин Сибири». Первым получил его Вологодский, и только следом патриарх сибирской интеллигенции Потанин.

Крюкову удалось разыскать фотографию Вологодского, да не где-нибудь, а в фондах Государственного краеведческого музея! Не так, оказывается, просты музейные работники. Даже в оголтелые советские времена под видом неопознанных и беспризорных они хранили, явно рискуя если не жизнью, то судьбой и работой, снимки — кого? — первого премьера независимого сибирского правительства, независимой сибирской республики, премьера первого колчаковского правительства!

Старенький, пожелтевший снимок: на железнодорожном перроне стоят два томских интеллигента: П.В. Вологодский и М.Б. Шатилов. Это 1918 год. Вологодский — премьер, Шатилов — министр туземных дел.

Временное Сибирское правительство — это трагедия сибирской интеллигенции, но это и ее звездный час, если мы усвоим ее нравственные уроки.

— Мы плохо знаем биографию этого человека, в том числе и его политическую деятельность, — считает Владимир Шишкин, доктор исторических наук, заместитель директора академического института истории в Новосибирске. — Энциклопедические справки неточны, весьма тенденциозны. Но это незаурядная личность. Безусловно. Крупный юрист, прославившийся своим участием в ряде процессов, когда он защищал подсудимых с демократических позиций. В политическую жизнь он пришел довольно поздно — в 1917 году. Но говорить о том, насколько он демократически мыслил, насколько он был привержен демократии, трудно и сложно. Вот у меня газета «Дело» за 14 января 1920 года, издававшаяся в Иркутске, демократическая газета, в ней есть рубрика «Злободневное», новогодние пожелания.

Здесь же пожелание Вологодскому: «Не быть социалистом по недоразумению».

Это верно: он явно был социалистом по недоразумению.

Дело в том, что Вологодский проделал политическую эволюцию, причем быстро, не очень понятны внутренние причины, внутренние движущие силы, то ли это духовное изменение шло, но вполне вероятно — голая политическая конъюнктура. Мы плохо знаем, что с ним произошло, почему он в 1918 году, выступая с демократических позиций, все же перешел на службу в кабинет Колчака. Хотя, надо отдать должное, первоначально ведь он отказывался занять пост премьера колчаковского правительства. По оценкам людей из его окружения, напрасно он не отказался. Многие политические деятели того времени полагали, что Вологодский был очень хорош в качестве премьера в Сибирской республике, но оказался плох как руководитель правительства у Колчака.

В США, в Стэндфордском университете, в Гуверовском архиве найден дневник Вологодского. Думаю, что в ближайшее время мы постараемся этот дневник опубликовать в России с тем, чтобы познакомить всех интересующихся с биографией незаурядного сибиряка.

Знаменитый писатель-диссидент Владимир Максимов в своем романе, посвященном Колчаку, «Загляни в бездну», в уста французского разведчика Пьера Бержерона вкладывает такие оценки: «Типичный провинциальный адвокат. Взглядов неопределенных, хотя, как всякий земский деятель, весьма говорлив. Ничего удивительного. Личность скорее репрезентативная, чем действующая. Безропотно скрепляет своей подписью любые решения адмирала.

Политически абсолютно бесперспективен. Долго не продержится. Рано или поздно ему придется уйти, или его уберут».

По крохам склеил биографию Вологодского новосибирский историк, профессор Новосибирского государственного университета Михаил Шиловский.

Кстати, университетский профессор несколько кровожадно считает, что рядом с Колчаком у ангарской проруби должен был стоять, если уж это было предопределено судьбой, понятно, не недельный премьер В. Пепеляев, а именно Петр Васильевич Вологодский — соратник «верховного правителя», долговременный и убежденный.

Петр Васильевич Вологодский родился в 1863 году в селе Комарово Енисейской губернии в семье священника. Рано остался без отца. Обучался в Петербургском университете, но в 1887 году, как неблагонадежный, исключен из него и выслан к матери в Томск. В 1892 году экстерном сдал за курс юрфака в Харьковском университете. Как видим, полагает Шиловский, биография удивительно напоминает жизненный путь его современника, родившегося в Симбирске. С 1887 года Вологодский начал службу канцелярским чиновником в судах Томска, Барнаула, Омска, городским судьей и следователем в Верном, товарищем прокурора в Семипалатинске.

С конца XIX века П.В. Вологодский принимает активное участие в движении сибирских областников. Среди областнических идеологов Вологодский «специализировался» на проблемах реформы судопроизводства и местного самоуправления. Участвовал в создании проекта «Основных положений Сибирского областного союза» и его съезде 1905 года.

В «списке лиц, коих дальнейшее оставление на службе нежелательно», составленном томскими жандармами, характеризовался: «Главнейший руководитель местной группы партии социалистов-революционеров, которую и снабжает средствами. Под его влиянием городское общественное самоуправление и газета «Сибирский вестник» придерживаются явно противоправительственного направления, чем главным образом и были вызваны томские октябрьские революционные беспорядки. Организатор томской группы «Сибирских сепаратистов», съезд которых в августе 1905 года происходил в его квартире». На заключительном этапе революции П.В. Вологодский избирается депутатом 2-й Государственной Думы, где примкнул к фракции эсеров.

Вторая Дума, как известно, была разогнана. Не осталась без внимания повышенная политическая активность присяжного поверенного. Он вынужден перебраться в Омск и изменить специализацию, переквалифицировавшись в... прокуроры. Указом Временного правительства в июне 1917 года Вологодский назначен старшим председателем судебной палаты. Находясь в Омске, он не прерывал связей с областниками.

В конце января 1918 года на нелегальном заседании Сибирской областной Думы в Томске по предложению фракции областников вместе с В.М. Крутовским, И.А. Михайловым, И.И. Серебренниковым, Г.Б. Патушинским, М.Б. Шатиловым Петр Васильевич (зачто, он даже не знал об этом) избирается в состав Временного правительства автономной Сибири, получив в нем пост министра иностранных дел. Но «правительство», созданное для борьбы с большевиками, ничего в этом направлении не предприняло и во главе с

лидером П.Я. Дербером сбежало на Дальний Восток. На месте остались лишь министры, выдвинутые в его состав областниками. Они-то и всплыли на политической арене после свержения солдатами Чехословацкого корпуса и местным подпольем советской власти летом 1918 года. Собравшись 30 июня 1918 года в Омске, они сформировали Совет министров Временного Сибирского правительства. В.П. Вологодский стал председателем Совмина.

«Выбор оказался удачным, — полагает Михаил Шиловский. — Определенную роль сыграли его популярность, умение ладить как с «правыми», так и с «левыми», личный авторитет. Так, на собрании «Дальневосточного комитета защиты Родины и Учредительного собрания» принимается решение поддержать Временное Сибирское правительство, поскольку, помимо всего прочего, «личность П.В. Вологодского вызывает доверие, ибо им преследуются государственные, а не личные интересы». Как видим, в противостоящем Советам лагере достаточно высоко котировались моральная чистоплотность и щепетильность. 4 июля 1918 года Временное Сибирское правительство и приняло «Декларацию о государственной самостоятельности Сибири». Правда, к чести тогдашних контрреволюционеров, они клялись «способствовать восстановлению российской государственности», конечно, без большевиков».

«Декларация.

4 июня 1918 года.

На основании изложенного и принимая во внимание, что российской государственности, как таковой, уже не существует, ибо значительная часть территории России находится в фактическом обладании центральных держав, а другая захвачена узурпаторами народоправства — большевиками, Временное Сибирское правительство торжественно объявляет во всеобщее сведение, что ныне оно одно вместе с Сибирской областной Думой является ответственным за судьбу независимых сношений с иностранными державами, а также заявляет, что отныне никакая иная власть не может действовать на территории Сибири, или обязываться от ее имени.

Однако ВСП полагает также — совершенно необходимо объявить не менее торжественно, что оно не считает Сибирь навсегда оторвавшейся от тех территорий, которые в совокупности составляли державу российскую, и полагает, что все его усилия должны быть направлены к воссозданию российской государственности».

Внешне «рыхлому» и «слабому» Вологодскому удалось провести свое правительство через все бурные водовороты 1918 года, устранить конкурентов, завоевать поддержку интервентов, нейтрализовать, а потом свести на нет претензии Сибирской областной Думы, а после создания на Уфимском государственном совещании Директории (одним из ее пяти членов стал Петр Васильевич) добиться у нее признания сибирского правительства в качестве всероссийского. Сохранили свои посты министры и после установления диктатуры Колчака. Во многом благодаря Вологодскому остались в живых эсеровские руководители Директории. В письме «верховному правителю» он поставил условием своего пребывания в Совете министров «сохранение жизни Авксентьева, Зензинова, Аргунова, Роговского». Поэтому они отделались высылкой из Сибири через Владивосток.

Пытаясь продлить агонию режима, В.П. Вологодский согласился с предложением «уступить место волевому и активному лицу». Им

стал министр внутренних дел В.Н. Пепеляев. Уходя с политической арены, Петр Васильевич прямо высказал ему о произволе, «царящем во всех областях жизни», о бессилии правительства «положить конец своеволию воинских начальников», об ужасном экономическом кризисе и приближении голода. Так закончилась сибирская эра Вологодского, а сам он остаток дней провел в эмиграции в Маньчжурии, где и скончался в 1928 году.

После краха «белого дела», уже в эмиграции, многие деятели писали о Вологодском не без досады, как о человеке «толстовского типа», склонного к морализированию, а не к активным действиям, лидере, оставленном Колчаком на своем посту «как старое знамя». А вместе с тем «сибирский Львов», «толстовский тип» продемонстрировал в 1918—1919 годах пример исключительной политической прозорливости.

Шиловский полагает, что Вологодский действовал в лучших традициях русской интеллигенции. Поскольку ему доверили высокий пост, он по мере своих сил, возможностей (его можно сравнить с лейтенантом Шмидтом) эту лямку тянул, не скрывал, что считает себя демократом. Те порядки, которые существуют, как он заявлял, ему лично не нравятся, но тем не менее он вынужден признавать объективные реальности и то обстоятельство, что для стабилизации положения надо прибегать к насилию, заставляло его вести достаточно жесткую политику.

Вологодский, слава Богу, не герой гражданской войны. Он деятель этого сложного периода российской истории. Здравое понимал свою обреченность в это время и в этой стране.

...Время выносит на поверхность таких людей. Свирепствовал одно время в Омске атаман Красильников — сильная личность. Это он устроил расстрел забастовавших рабочих в железнодорожных мастерских, был одним из инициаторов расстрела министра Новоселова. Твердый монархист, атаман не принимал никаких партийцев, включая правящих эсеров, не принимал интеллигентов и интеллигентность. Правительство Вологодского атаман не переваривал изначально. Премьер вместе с министром долгое время базировался в Омске в железнодорожном вагоне на запасной ветке. Красильников не подпускал правительственные вагоны к головной станции Омск. Это он выразился презрительно: «Что это за воробьиное правительство? Дунь — и улетит».

Правительства, к счастью ли, к несчастью ли, действительно хватило на это атаманское «дунь».

Да, первое Сибирское правительство было правительством исключительных интеллигентов. Это не случайно, ведь несколько десятилетий после известного дела сибирских «сепаратистов» именно местная интеллигенция определяла идейную жизнь этого российского региона, была влиятельной политической силой, спланировала слои и сословия, артикулировала идеи сибирской буржуазии, купечества и промышленников. Вологодский в свой кабинет министра не включил ни одного чиновника из служилого сословия, ни одного государственного бюрократа, не «разбавлял» кабинет пролетариями и крестьянами. Красная Россия интеллигенцию, мягко говоря, недолго любила, в Сибири же гонимая прослойка составила первое независимое правительство. Опирался премьер преимущественно на интеллигентов-технократов. Управляющим Министерства земледелия и колонизации стал доцент Омского политехнического

института Н.И. Петров; исследователь Алтая и Сибири, ученый с мировым именем профессор Томского университета В. Сапожников возглавил миннарпрос, приват-доцент Григорий Патушинский — миноуст. Отыявленным радикалом в правительстве считался министр труда Шумиловский, который позднее вошел в колчаковское правительство и позволял себе резкости даже в отношениях с «верховным правителем».

Вологодский опирался прежде всего на томичей, но привлек в свой кабинет и красноярцев, и барнаульцев, и омичей. Позднее ему пришлось включить в состав правительства и необходимых администраторов, чиновников, которые достаточно быстро бюрократизировали аппарат, который начал плести интриги, против которых бессильна любая, даже правящая, интеллигенция.

Довольно быстро правительство стало сдавать демократические позиции. Сибирь на ту пору была самым демократическим регионом России, ведь здесь не было крепостного права, экономика базировалась на мелком и среднем капитале, здесь практически не было бедного крестьянства и крупных землевладельцев, рабочий класс считался зажиточным. Все это и предполагало превышающий общероссийский уровень демократии. Сибирь во многом не была отягощена застарелыми российскими проблемами.

Но в Омск эпохи Временного Сибирского правительства побежали из центра крупные промышленники, крупные землевладельцы, махровые бюрократы и чиновники. Ясно, что они оказались влиятельной силой, проталкивали в правящий кабинет своих протеже и ставленников, и Совет Министров Вологодского быстро стал терять и сибирское, и демократическое лицо.

Да, может быть, несколько месяцев, по крайней мере, несколько недель, у Сибири, у России был шанс не пойти белым путем, не пойти красным путем (и тот, и другой были автократическими), а пойти цивилизованным, третьим, — демократическим путем.

Но российская стихия хаоса и тоталитаризма быстро задавила этот крохотный шанс.

Интеллигенты, как известно, хорошо формулируют, да плохо делают. Впрочем, уровень политической культуры народа был столь невысок, что говорить о шансе «третьего пути» можно только с высоты нашего времени. Признавалось: белое — черное, точнее красное — белое. Третье и все остальное — от лукавого. Требовалась простейшая политическая арифметика, а не математика на уровне Эйнштейна. В грубо поляризованном обществе Сибирское правительство оказалось несвоевременным. Трагическое стечение обстоятельств неминуемо вытеснили кабинет Вологодского не просто на запасную железнодорожную ветку, но на обочину политической жизни.

Атаман Красильников, сильная рука, прекрасно понимал это: для грубых времен и правительства требуются жесткие, жестокие и грубые.

«Воробьиное правительство» при всей симпатии к нему — вот все, что действительно породило сибирское областничество, это его конечный продукт и результат.

Хотя анализом деятельности кабинета Вологодского солидные историки все еще стесняются заниматься.

...Прожить более сорока лет — все время в Сибири, интересоваться ее историей, и за эти годы не встретить ни малейшего упоминания,

даже глухого о Сибирском правительстве. Такой вот исторический пустяк, не стоящий просвещенного внимания социалистических владык. А какая глубина проникновения, каков окончательный мрак забвенья! Нигде лучика — не из-под одной шторочки, не из-под одного неплотно прикрытого дверного проема. Все напечатанное упрятано, похоронено, уничтожено, вагонами свезено в столицу, где провинцией заниматься не престижно, воспоминаний нет, они вычеркнуты уже из мозгов людей, что-то могущих вспомнить на физиологическом уровне, и ни на каком историческом перекрестке не встретишь ничего путного, что напомнило бы о живых, страдающих людях, болеющих за судьбы родной земли. А историческое беспамятство нас, сибиряков! Вспомним украинских националистов, которые шли на Енисейский лесоповал только потому, что хотели не забыть, искали, старались помнить. Украинцы без передышки вернулись к своему первому президенту... И если бы — немислимое! — свалился этот час, кого бы вспомнили свободные сибиряки. Колчак? Но ему наклеили такую прочную репутацию братья-россияне, что долго еще не отмыть... Других, чистых, вроде и не было. Чистых... Не было...

Замаранный в крови Колчак вроде не опасен. Не замаранные — опасны.

И вот здесь вопрос: почему столь прочное забвение? И ответы. Не замараны, и в народной памяти могли остаться мучениками, а коли мученики, сквозь любую официозную грязь, любые напластования — народное уважение, почитание и интерес к расстрелянным идеям. Поэтому единственная официальная политика — забыть, вычеркнуть, ни в коем случае не критиковать, не опровергать; опровергать, значит, привлекать внимание к крамоле. Тогда — запамätовать.

Почти легкий поэтический штрих — «воробьиное правительство» — и забылось. Не деятельность единственного Сибирского правительства во все сибирские времена, а так... воробьиный помет. Пятнышко на комиссарском мундире. Как заметить, коли все в грязи и крови. Исчерпали. Изжили.

Историческая никчемность. А придать значение — эпоха.

Может быть, придать значение?

Кажется, было промельком в какой-то заметке и, наверное, можно было обратить внимание, но официальные светочи могли, уже умели так завуалировать, чтобы никакого интереса не проявилось. Не у меня одного. Редки, редки и исключительно попутно — с какими-то тоже промежуточными интересами.

Это о сибирском самосознании... Нуль.

Сейчас не изученные, не исследованные уйдут в популистическую потребу уличенные идеи и, может быть, будут больше обгажены, чем сознательное замалчивание. Фигляры, марионетки. А ведь были фигуры!

Замахивались ли они на Россию? Вероятнее всего, нет. Хотели отжиться в суровые времена в благословенной земле, в сытых местах, наособицу. И могли. Но Россия преподнесла еще урок — не могла терпеть, чтобы какая-то провинция жила наособицу, да еще и сыто. Надо было уравнивать в грязи и нищете. Уравниала — с избытком и надолго...

Но урок за эти месяцы — века, часы вечности — все равно эти воробьиные интеллигенты успели оставить, оставили. Это завет третьего пути на нашей несчастной родине, которая выбирала все-

гда из двух, только из двух и никогда не могла помыслить шире, прикинуть на три—четыре варианта.

Может быть, шведский социализм начинался в Томске—Омске, без монархических неизбежных грехов и мстительного комиссарско-бедняцкого реванша? Не этот ли третий путь требуется сегодня всей России, но никто не хочет востребовать сибирский опыт?

В воротник, по-блоковски, упрятав нос, сибирский мужик-кооператор Петр Вологодский, возможно, нес новую истину? Но зачем истина, когда желалось крови?

Были.

И чисты.

Не политиканы, пропитанные столичной нечистоплотностью, незавидные провинциалы, собирающиеся жить по мешанскому обычаю, укрепив себя Богом, семьей, достатком, уважая, в принципе, достоинство другого. Для уважения хватало и пространств, и богатств.

Благословенная земля для третьего пути.

Энтузиасты... чистой воды, житейской идеи.

Колчак будет испорчен Россией европейской, верховный правитель — спаситель России.

Эти не хотели спасти Россию. Хотели выжить в сумбурном мире империи, укрыться от камнепада обломков, отбежали на приличное расстояние, хотели не заметить его, жить себе на опушке.

Попытка третьего пути.

Опыт попытки.

Крупница истории.

Зачеркивалось, ибо смысл в попытке явно был.

Уголовники в кирзе и кепках боялись сибирских интеллигентов в подшитых валенках.

У Сибири оставался шанс. Они его попытались использовать. Но разве Родина, любящая нас до смерти, даст сделать это?

Но был... Был шанс.

И как всякий шанс, он сулил России истинно великое будущее.



Расстрелянный министр

«Он не слышал голосов за спиной и не видел, как прошел мимо Хрисанф. Голову теснили тяжелые мысли, немощное тело побеждало дух. Перед Панфилом поплыли в воздушном мареве родные горы, развернулись темные луга, напитанные влагой, напахнуло терпким ароматом большетравья, и живой перед ним стояла грязная деревня со знакомыми домами, с полянкой и гурьбой ребятишек на улице. Спокойно там, сытно. Все опять будет свое, родное. Примут с радостью. Будут долго охать и расспрашивать, а там пойдет по-старому... Пасека брошена. Угодье-то какое! Лесу, лесу! А воды! И бежит она с кручи, будто песни поет. Ни замолчит ни днем, ни ночью. И цветов, и трав там всяких! Красота господня! Утром встанешь вместе с солнышком, и нет тебе ни суеты, ни печали. Молится каждая травушка, стоит тихонько, а молится. И лес, и горы, и букашка всякая, и солнышко все смеется ангельской улыбкой.

...Это уже был не тот Панфил, что сидел на песке беспомощный, — сухое, длинное лицо его горело волей. Он стоял без движений, без слов, но по глазам, по каждой тонко вырезанной складке на лице все видели, что он решил, что он остается один, и никакие силы не вернут его».

Крепкая, густая, вкусная проза. Сибирская интонация. Ясно — это божий дар, а не человеческое усилие. Не вымучено — рождено...

Федор Абрамов, превосходный писатель и чуткий читатель, отозвался об авторе: «Сибирь богата талантами. Тут можно назвать немало имен. К ним я присоединил бы и имя писателя Александра Новоселова, автора повести «Беловодье». Это, несомненно, наша русская классика».

В повести «Беловодье» главный герой старовер Панфил ищет прекрасную страну, страну-мечту и умирает с верой, что почти нашел ее. Поправлю Ф. Абрамова — несостоявшаяся, не востребовавшая классика...

В свои неполные 34 года Александр Новоселов был расстрелян...

Пробегусь по чужой биографии, чтобы осмыслить истоки будущей драмы: вела ли полная, сильная жизнь к печальному эпилогу?

Родился Александр Новоселов в южной Сибири, нынешнем Казахстане. Закончил пансион казачьего войска, кадетский корпус, стал сельским учителем, воспитателем в пансионе. Писал в сибирские газеты, занимался этнографическими исследованиями на Алтае и среди казахов. Максим Горький публикует его «Беловодье» в своем знаменитом издании «Летопись».

Александр Новоселов ведет жизнь честного провинциального интеллигента, делает то, что считает полезным для родины. Он видит все язвы сибирской жизни, но понимает, что всякая болезнь изживается медленно. И его деятельность — публицистическая, исследовательская, писательская — то необходимое, что ведет любую страну к благоденствию.

Он придерживается областнических тенденций, и среди его друзей поздние последователи Григория Потанина: Владимир Крутовский, Михаил Шатилов, Иван Якушев — будущий руководитель первой областной Сибирской Думы.

О себе в очерках Александр Новоселов и прежде всего в эссе «Лицо моей Родины» пишет немного, но то, что пишет, задерживает взгляд: «Я, в сущности, человек серьезный и по общему признанию человек уравновешенный. Меня не так-то уж легко заставить удивиться чему-нибудь, хотя бы и в самом деле удивительному, или убедить свернуть направо, когда мне хочется идти вперед».

Как всякий чуткий художник, он ощущает несовершенство и бессилие одиночки.

«У меня есть неподдельные ценности, есть золото, жемчуг. Я ношу настоящее без прицепных манжет белье, я до мелочей пунктуален в своем джентльменстве, но нет у меня того, за что я променял бы внешний шик на рубище, нет радости в жизни. Застыла душа, окостенела. Никого ей не нужно, и никто в ней не нуждается».

Февраль семнадцатого для тридцатилетнего многообещающего сибиряка — духовный прорыв. Он организует журнал «Сибирское солнце», создает издательство, готовит рукопись «Мой край».

В это смутное время Новоселов полагает, пожалуй, как всякий честный сибирский интеллигент, что не может оставаться вне политики. Вступает в партию эсеров. А когда в Томске его старые друзья-областники создают Сибирскую Думу, ему находят пост в первом Временном Сибирском правительстве Петра Дербера. Он — министр внутренних дел; видимо, учитывается его постоянная работа в учебных заведениях для казахов.

Позднее, осмысливая смерть не последнего сибирского гражданина, его современник писал в некрологе: «Человек по душевному складу далекий от требований, которые предъявляются к политическому деятелю, втянутый в политический водоворот стихией революционного движения, он пал жертвою скорее своего слабости, нежели определенности и яркости его политических выступлений. Мы имеем сведения, что и согласие вступить в правительство почти вырвано было у него президиумом облдумы, которой он нужен был как средство для политической игры».

Наверное, это трагедия, трагедия художника и интеллигента. Но интеллигент российской закваски в «минуты роковые» для страны не считал долгом отсиживаться в башне из слоновой кости. Да и где ее можно найти в годы гражданской разрухи?

«Судьбы Сибири в некоторых отношениях принято сравнивать с судьбами Северной Америки. Это не без основания, — предполагал он. — Но грубую ошибку допустит тот, кто станет утверждать, что Сибирь, подобно Америке, не даст своего в области того или другого искусства. Слишком различны по духу интеллигентные янки, если можно назвать интеллигентом в европейском смысле человека, возведшего в культ-звон блеск чарующего доллара. И сибиряк-интеллигент — в конце концов плоть от плоти и кость от кости интеллигента российского...»

Гражданские войны начинаются из самых благородных намерений справедливости, но истории непреложно свидетельствуют, что такие войны выбивают самых благородных, самых честных, самых порядочных, а бал победы правят те, кто приживается во все времена.

Поэтому как бы вроде не случайна была гибель Александра Новоселова, она — закономерность нашей первой гражданской войны.

Что же произошло?

Большой знаток гражданской войны в Сибири историк Генрих Иоффе в книге «Колчаковская авантюра и ее крах» так осмысливает роль Новоселова в канун гибели:

«В Сибири это имя было широко известно. Писатель, этнограф, вышедший из группы Потанина и Ядринцева, Новоселов оказался еще в составе дерберовского правительства и вместе с ним после победы советской власти в Сибири уехал на Дальний Восток. Но ко времени государственного совещания в Уфе он вернулся, правда, без большого желания заниматься политикой. Однако старые друзья-областники все же втягивали его вместе с Крутовским в состав Временного Сибирского правительства».

Областники потребовали ввести Новоселова в Совет Министров Петра Вологодского. Это не понравилось тем, кто готовил приход к власти адмирала Колчака.

В романе Николая Анова «Интервенция в Омске» есть отдельная глава «Убийство Новоселова». Вот как описывает заключительную интригу романист: «Его арестовали вместе с Крутовским, Шатиловым и Якушевым, видными деятелями Сибирской областной Думы. Арест производили офицеры из монархической организации «Смерть за Родину». Приехав на автомобиле за каждым в отдельности, они пригласили их на заседание Совета Министров и прямо из квартиры доставили в таинственный особняк, охраняемый надежным караулом.

— Здесь мы быстро найдем общий язык, — объявил полковник. — Ваша деятельность мешает Сибирскому правительству. Нужно, чтобы вы ушли в отставку, мотивируя ее болезнью и преклонным возрастом. На размышление дается три минуты. Подпишите заявление, что вы уходите по собственному желанию, — и на все четыре стороны. В случае отказа — немедленный расстрел.

Якушева, Крутовского и Шатилова не пришлось долго уговаривать — они сразу подписали требуемые заявления. Новоселов категорически отказался. Его посадили в автомобиль, отвезли в загородную рощу и застрелили».

Новоселов был значительно моложе тогдашних патриархов областничества. Может, возраст, может, кодекс джентльменства не позволили ему принять офицерский ультиматум.

Что министру ставили в вину, когда он недолго находился под арестом по распоряжению командующего Омским гарнизоном пол-

ковника Волкова? Это «бездействие власти» и «соучастие в ноябрьском большевистском перевороте».

Необходимо вспомнить, что Совет Министров Сибирского правительства Петра Дербера, куда вошел Новоселов, практически не начинал деятельность. Созданное в январе, уже в феврале это правительство под натиском большевиков вынуждено было сбежать на Дальний Восток, и в истории осталось если не как декоративное, то просто бумажное.

У министра Новоселова было всего одно поручение, которое он просто не мог выполнить в тогдашних условиях: миссия на Украину, переговоры с Украинской Радой.

Но, кажется, полковнику Волкову требовалась жертва.

Новоселов был для этого подходящей фигурой.

В общем-то, его предали друзья, те, с кем он оказался лицом к лицу с убийцами.

Фарисейски действовали и колчаковские офицеры: «При нас же его успокоили, — свидетельствует один из очевидцев, — заявив, что после нашего ухода он будет отвезен к прокурору на дальнейшее распоряжение последнего».

Благородный всегда остается один.

И убивали его подло. В спину.

Но омичи не побоялись прийти на похороны убитого, хроникер местной прессы отмечал «большое скопление народа».

Казалось бы, Александр Ефремович Новоселов, нежный писатель и политик-дилетант, был расстрелян колчаковскими офицерами, и советская власть могла бы сделать из него мученика идеи, трагического национального героя.

Не сделала...

Бывает, видимо, так, что если тебя смертельно ненавидят враги советской власти, это вовсе не означает, что сам ты за советскую власть.

Поэтому Александра Новоселова в национальные герои не возвели, не рискнули. Советская власть его ненавидела и, пожалуй, крепче, чем колчаковская. По крайней мере, лет 40 имя Новоселова практически было запретно, посмертно произведений его не печатали, хуже того, как всякого провинциального сибиряка не помнили.

Есть трагическая аналогия — Николай Гумилев, тоже доблестно расстрелянный советскими революционерами. Он был сдержанно проклинаем официальным литературоведением, но все же из истории литературы не вычеркнут.

Новоселов надолго и густо вымаран.

Скажете, масштаб не тот...

Но масштаб драмы для человека всегда одинаков. Хорошо, сократим масштаб памяти.

В чем, однако, дело?

Дело в том, что Александр Новоселов не хотел стоять по ту или другую сторону красно-белых баррикад. Он искал свой путь для России, но прежде всего для Сибири.

А в России это грех смертный — не примкнуть к одной из двух стай...

Врага помнят даже его победители.

Кто вспомнит ищущего путь в стороне?

Беспамятство — вот цена на особый путь поиска Александра Новоселова.

«Устал я от политики... Да и какой я политик? Надо быть твердокаменным, а мне все кажется это не то, это не так... Массы от нас далеки, а на одной интеллигенции далеко не уедешь. Мне очень хочется написать роман о трагической беспочвенности русской интеллигенции».

Каждый меряет по себе. Благородный человек подозревает это благородство во всяком другом. Трагедия Новоселова в том, что он подразумевал это благородство там, где его часто не оказывалось.

Поэтому и оказался столь трагически одинок.

Все его творческое наследие, пожалуй, поместится в один, не особо солидный том: две повести, кусок начатого романа, десятка два рассказов, очерки, составившие неизданную книгу «Лицо моей Родины», газетные статьи, дневники, рецензии.

Но везде мы увидим напряжение авторской мысли, честные размышления, сомнения, осмысление судьбы — приметы настоящего, большого писателя и равнодушного гражданина. Может, его не особо стремились публиковать в советское время потому, что он писал о жизни, а не о классовой борьбе. Жизнь, которую он переводил на язык искусства, была разной, но читатель понимал, что красивая, сильная, интересная жизнь в Сибири была всегда, а не началась исключительно с приходом большевиков. Люди никогда здесь не жили второсортно, а страстно, искренне, взаправдашне — раз и навсегда. Мы помним: официальная идеология пыталась нас убедить — до 1917 года была до-жизнь, творчество Новоселова этому противоречило.

Новоселова причисляют к поздним (возможно, даже) последним «областникам», но все исследователи деликатно обходили шекотливо-областническую тему, а все, что писал по этому поводу сам Новоселов, вкуче не издано, разбросано по старым сибирским газетам.

Но то, что он был безоговорочно, беззаветно, бескорыстно предан Сибири, — несомненно.

«В глазах российского интеллигента сибиряк — духовный скиф. Меч его — рублевик, и колчан — это мощна. И вот, когда видишь хотя бы слабый намек на какой-то сдвиг, перелом в жизни немногочисленной сибирской интеллигенции, радуешься этому и подчас, может быть, слишком оптимистически смотришь на ближайшее будущее Великой Окраины».

Творчество Новоселова, а главный его герой всегда сибиряк, — это гимн этому человеку.

«Коренной сибиряк не представляет собою какой-либо особой ветви славянского племени, но нельзя оспаривать того, что все же он образует особый этнографический тип, созданный путем неизвестного отбора. Создала его ссылка и безграничная любовь к свободе в равной степени, а воспитала и укрепила его суровая сибирская природа. Борьба с этой природой, вытекающая отсюда привычка к самостоятельности и независимости, выковали не только здоровое тело, но и на диво здоровый дух».

Близость к жизни позволяли Новоселову писать так, как будто он предвидел будущее.

Блокаду беспомощности разорвало Барнаульское издательство, когда в 1957 году напечатало сборник его повестей и рассказов. Не случайно, что еще один такой сборник выпустили в Алма-Ате — это и дань памяти земляку, и дань памяти защитнику угнетенных

инородцев — настоящий русский гуманист Александр Новоселов всегда *вождедел* к обиженному и угнетенному.

Наиболее полно творчество Новоселова представлено в иркутском сборнике «Беловодье» в «Литературных памятниках Сибири».

Сегодня он известен нам, Александр Новоселов известен, но по-прежнему незнаком, ибо много оставлено «во тьме былого», ибо был он фигурой и личностью для России неудобной. Не случайно издательская столица им никогда не интересовалась.

Мое читательское впечатление: его проза современна, на ней не чувствуется налета времени, потому что он всегда обращался к человеческому сердцу и грелся у этого сердца.

Александр Новоселов входит в канон той литературы, какую мы числим по разряду классической, — нравственной, ясной, обращенной к человеку.

Первое, достаточно крупное и солидное исследование о жизни и творчестве Александра Новоселова написал известный сибирский литературовед Н.Н. Яновский.

Яновский оценивает деятельность министра первого Временного Сибирского правительства Александра Новоселова с точки зрения правоверного официоза: «В самом начале гражданской войны Новоселов совершил ряд политически неверных шагов, стоивших ему жизни. Вина Новоселова в том, что он, вопреки своему призванию, позволил себя втянуть в эту политическую игру».

Логика здесь старо-большевистская: не прав уже потому, что не с нами.

Неудобен и расстрелян.

Новоселов свое предназначение и призвание понимал иначе. За месяц до гибели поверял своему дневнику: «Только бы здоровья и силы. Еще можно потрудиться для родной Сибири и великого дела, еще горит огонь желаний, борьбы, достижений».

В Загородной роще в Омске убивали тридцатичетырехлетнего стойкого сибиряка, выдающегося писателя, который хотел свой дар, свой талант посвятить своей родине — Сибири.

И на его примере мы должны помнить: да, за это убивают.



Сибирская Жанна д'Арк

Полагаю, не стоит рассказывать, какую роль в освоении Сибири сыграли женщины. Понятно, что и здесь мужчины в очередной раз приписывали себе все заслуги первопроходства. Но простенький вопрос: что бы они сделали и как бы дошли пешком до Тихого океана без женщин? Ответ, сибирская Русь. Не слышу ответа...

Но разговор сегодня не об этом.

Есть в нашей отечественной истории одна даже не забытая, нежеланная война. Мы постоянно не забываем антигитлеровскую кампанию, не забудем первую Отечественную войну супротив Наполеона, почти всякий помнит даже Куликовскую битву. А ведь не столетия от той войны отделяют, этого века она, и не Финская кампания, которую бездарно проиграли сталинские наркомы, а большая война, которую Россия в конечном счете вместе со своими союзниками выиграла.

Однако большевистские идеологи нарекли эту четырехлетнюю войну империалистической и постарались избыть ее из памяти народной. Как будто четыре года под артобстрелами кормили окопных вшей не русские солдатики-солдатушки, не послушно-ратный российский народ, а некие абстрактные империалисты. И как будто есть у мобилизованного и призванного Российской империей русского мужика, одетого в солдатскую шинель, две жизни: одну отдать за Родину, а другой пожертвовать в интересах мирового империализма.

Была война — жестокая, как всякая война, бессмысленная, но русский-то солдат отстаивал свою Родину, Россию, не пускал в нее немца, германца, рисковал и жертвовал жизнью своей единственной, умирал за царя, за Родину, за веру, а это все вместе и было для него — Отечество. Шли на войну добровольцы. Солдаты и офицеры совершали подвиги.

Если бы мы, мирные земляне, забыли все войны, вычеркнули навсегда из своей памяти, тогда понятно... Но мы старательно вычеркиваем почему-то одну, неглупо, но безапелляционно назван-

ную империалистической. Но не войну же мы забываем, мы забываем подвиги своих дедов-прадедов, которые, осиротив наших отцов-дедов, наверное, все же надеялись, что внуки будут помнить их, за Отечество погибших.

А вслед за этим забвением мы воспоем однозначно — заставят! — победителей в гражданской войне. И это бесследно для России не пройдет, ее народная память обесчещена и искажена.

Впрочем, это присказка, а пора уже переходить к нашей героине. Как считаете, мог ли быть Георгиевский, причем полный кавалер, женского полу? Оказывается, был. Была женщина — полный Георгиевский кавалер. Такой отважной женщиной могла быть, естественно и исключительно, надеюсь, мне никто не будет возражать, сибирячка. Да, Мария Леонтьевна Бочкарева — урожденная сибирячка, из бедной крестьянской семьи в деревне под Томском.

Полный Георгиевский кавалер Мария Бочкарева, как и война, на которой она прославилась, была вычеркнута из отечественной истории, забыта. Была и еще одна причина для забвения.

Среди многочисленных грехов 5-й Красной Армии легендарного и любимого нами командарма и сталинского маршала Василия Блюхера есть и этот грех: резолюция Особого отдела ВЧК при 5-й армии. Не найдя никаких доказательств, но как непримиримого и злейшего врага рабоче-крестьянской республики, приговорит к расстрелу тридцатилетнюю женщину — полного Георгиевского кавалера Марию Бочкареву.

У военного следователя Поболотина не дрогнула рука, безграмотный чекист написал: «Разстрелят», его подручные Павлуновский и Шимановский, также лицом не дрогнувши, резолюцию подписали. Нашлась расстрельная команда.

Знали ли солдатики, что не расстреливают, а убивают сибирскую Жанну д'Арк?

Современный журнал «Родина» раскопал старое чекистское дело на Марию Бочкареву и в деле этом бесценный документ: протокол допроса Марии Леонтьевны. Последнего допроса. Красноярск. Пятое апреля. Победный большевистский 1920 год. Я, конечно, могу пересказать все своими словами, историю Марии, но она так искренна, так по-женски бесхитростна и беззащитна в своих признаниях, что лучше я большими фрагментами процитирую страницы опубликованного допроса.

«На войну в 1914 году я, — признается допросчику М. Бочкарева, — пошла из чувства патриотизма и желала умереть за родину. В Томске в 1914 году в октябре месяце я подала на имя Николая 2-го телеграмму о своем желании поступить на военную службу. Царь разрешил. И меня зачислили нижним чином в 25 Томский запасной батальон. В этом батальоне я прошла военную науку и стрельбу и через два с половиной месяца была отправлена с маршевой ротой на фронт под Молодечно. За все время моего пребывания на фронте в этом полку я была четыре раза ранена, получила все четыре степени Георгиевских крестов. 1917 года мая 1-го дня я на фронте встретила Родзянко и при разговоре с ним командир Полоцкого полка сообщил Родзянко, что в полку имеется женщина-доброволец, которая находится на фронте с начала войны, своим мужеством и храбростью показывает пример мушинуам. Родзянко пожелал меня видеть лично, я подошла к нему, и он меня поцеловал и приказал сшить для меня новое обмундирование и отправить

меня в Петроград. По приезде в Петроград я в Таврическом дворце сделала членам Временного правительства доклад. Я говорила, что солдаты не слушаются начальства и братаются с немцами. Мне сказал Родзянко, а чем бы помочь, чтобы поднять дух солдат. Я ему предложила сформировать добровольческий женский батальон. Мне на это сказали, что моя идея великолепная, но нужно доложить Верховному Главнокомандующему Брусилову и посоветоваться с ним. Я вместе с Родзянко поехала в Ставку Брусилова. Брусилов в кабинете мне говорил, что надеетесь ли вы на женщин и что формирование женского батальона является первым в мире. Не могут ли женщины осрамить Россию? Я Брусилову сказала, что я и сама в женщинах не уверена, но если вы дадите мне полное полномочие, то я ручаюсь, что мой батальон не осрамит Россию, но только чтобы не было комитетов. Брусилов мне сказал, что он мне верит и будет всячески стараться помогать в деле формирования женского добровольческого батальона, и я обратно вернулась с Родзянко в Петроград. На второй день по приезде я была в Зимнем дворце представлена Керенскому, была приглашена на обед. Керенский за обедом меня приветствовал и сказал мне, что он разрешает мне формировать женский батальон смерти моей фамилии, т.е. добровольческий батальон Бочкаревой. 22 мая 1917 года в Петрограде в Малом Мариинском театре я выступила с устной агитацией призывом к женщинам с тем, чтобы они вступали в батальон моего имени. В своем призыве я говорила к женщинам, что солдаты в эту великую войну устали и что им нужно помочь нравственно. При этом я записала две тысячи женщин-добровольцев. В этот период я откомандировала от себя 1500 женщин за их легкое поведение. Генерал Корнилов в присутствии Керенского и других членов Временного правительства вручил мне знамя и произвел меня в прапорщички. После молебна в Казанском соборе я со своим батальоном отправилась на фронт в Молодечно, где меня с батальоном прикомандировали к 1-му Сибирскому корпусу, с батальоном участвовала в бою под Крево. Взяты две линии немецких окоп. Когда зашли в Спасский лес, то солдаты нас бросили на произвол судьбы, и я осталась с батальоном одна. 9-го июля утром немцы перешли в наступление, и я с батальоном отступила. При этом я была тяжело контужена и вынесена в бессознательном состоянии с места боя. Меня отправили в Петроград, в лазарет Кенига, где я пролежала полтора месяца. За этот бой я была представлена к золотому оружию, оружия не получила, а была произведена в подпоручички. И уехала на фронт к своему старому батальону и решила больше женщин не брать, потому что я в женщинах разочаровалась. На фронте я заняла боевой участок, который и охраняла до свержения Керенского. После расформирования батальона я поехала в Петроград. В Петрограде меня на станции арестовали и отвезли в Смольный. Отобрали пашку, револьвер-наган, документы. Меня посадили в Петропавловскую крепость, где я просидела 7-мь дней, после была вызвана в Смольный, где со мной говорил неизвестный мне господин, который предложил мне поступить на службу советской власти. Он говорил, что вы крестьянка и должны защищать свой народ, но я ему сказала, что слишком измучилась за войну и в гражданской войне не хочу принимать участие. Мне дал этот господин денег, и я поехала на родину в Томск. В это время я была приверженкой Корнилова и была убеждена, что советская власть

идет рука об руку с немцами с тем, чтобы посадить на русский престол Вильгельма, об этом говорило все офицерство и та среда, в которой я вращалась. На позиции в своем батальоне я митингов делать не разрешила и агитаторов в батальон не допускала.

Большевиков я считала своими врагами и врагами Родины.

...В дни Октябрьской революции я в Петрограде не была, а была со своим батальоном на позиции под Молодечно около деревни Белой. По приезде в Томск я стала жить с отцом и матерью, занимаясь домашностью: стирала белье, шила для себя. В этот период перед новым 1918 годом у меня открылось старое ранение правой ноги, и я поехала в Москву лечиться. Когда приехала в Москву, то меня на станции опять арестовали. Просидела на гауптвахте, перевели в Бутырскую тюрьму, наводили справки обо мне в Томске. Продержали меня два месяца, я лежала в тюремной больнице с больной ногой.

Приехала обратно в Томск в Великий пост. Нога болела, жить было в Томске нечем, и я с сестрой с 15-летней поехала во Владивосток. Где я обратилась к американскому консулу за помощью, чтобы он дал мне средств и возможность уехать с сестрой в Америку лечиться. Консул мне помог, и я была отправлена на пароходе «буква Ш» в Америку. В Сан-Франциско в Америке мне сделали женщины встречу, приветствовали, устраивали обед. Из Сан-Франциско я — в Нью-Йорк, где определила сестру учиться на казенный счет, а сама поехала в Вошентон и легла в госпиталь, где пролежала месяца полтора. В праздник революции я была приглашена президентом Вильсоном на обед. Вильсон меня принял как первую женщину-офицера и сказал, что он считает за честь меня видеть. Я Вильсону сказала, что я считаю себя очень счастливой женщиной, что я вышла из народа и вижу представителя свободной страны. Вильсон спросил меня, кто прав и кто виноват в России, я ему сказала, что я слишком мало разбираюсь в этом вопросе и боюсь попасть в ложное положение. На этом кончился мой разговор с президентом Америки Вильсоном. Через две недели я поехала в Нью-Йорк и оттуда на пароходе в Англию. Я приехала в столицу Англии, в город Лондон, где и остановилась в гостинице «Савой», где я жила на средства известной богатой суфражистки мисс Панкрес (Панкрест). Эта суфражистка устроила мне свидание с военным министром Англии. Я попросила военного министра представить меня королю Англии. Мое желание было исполнено. В половине августа месяца 1918 года секретарь короля приехал на автомобиле и вручил мне бумажку, в которой говорилось, что король Англии примет меня на 5 минут. Я оделась в военную офицерскую форму, одела полученные мной в России ордена и со своим переводчиком Робенсом поехала во дворец короля. Король Англии имел большое сходство с царем Николаем 2-м. Он мне сказал, что он очень рад видеть вторую Жанну де-Арк. Я в ответ ему сказала, что я считаю за великое счастье видеть короля свободной Англии. Король спросил, кому я верю, я сказала ему, что я к партии ни к какой не принадлежу, а верю я только генералу Корнилову. Король мне сказал, но ведь Корнилов убит, я сказала королю, что я не знаю, кому теперь верить и в гражданскую войну я воевать не думаю. Король сказал мне вы русский офицер. Ваш прямой долг через четыре дня поехать в Россию, в Архангельск и я надеюсь на вас, что вы будете работать. Я сказала королю Англии: «Слушаюсь!».

Когда прибыла в Архангельск, то явилась к русскому командующему Архангельским фронтом к генералу Мурашевскому, которому я сказала, что я приехала с Англии получить служебное назначение. Генерал сказал, что здесь у нас только начинает зарождаться новая армия, поэтому я прошу Вас, чтобы Вы сформировали здесь маленькую боевую добровольческую ячейку, но не женскую, а мужскую. Я ему сказала, что я боевого дела во время гражданской войны не принимаю. Генерал на меня закричал, что Вы русский офицер и (нельзя) отказываться от того, что Вам приказывают. Я ему сказала, что Вы на меня не кричите, что я видела таких, как Вы, и кричать на себя не позволю. Генерал приказал меня арестовать, но мой адъютант поручик Филиппов тут же переговорил с английским генералом Пуль, он сказал, чтобы меня не арестовывали. От меня отобрали переводчика и адъютанта и я просидела (под) домашним арестом 7-мь дней. В июле я из газет узнала, что собирается экспедиция отправиться в Сибирь. Экспедиция военная, которая должна доставить для армии Колчака пулеметы, снаряды, обмундирование. Капитан этой экспедиции был морской офицер Савицкий».

Прерву чтение протокола допроса Марии Бочкаревой. Морской историк О. Аюпов полагает, что экспедиции Савицкого не было, была экспедиция капитана 2-го ранга Бориса Андреевича Вилькицкого. Мария либо ослышалась, либо оговорилась. Об этой экспедиции из Архангельска на Обь советские историки старались не писать, ибо выдающийся, как и сам Колчак, полярный мореплаватель Борис Вилькицкий (знаменитый пролив носит его имя) примкнул не к большевикам, а к белым, остался верен присяге.

Но продолжу...

«Я пошла к генералу Миллеру и стала просить у него разрешения поехать с этой экспедицией в Сибирь, на родину. Мне дано было на это разрешение. 10 августа 1919 года я с экспедицией капитана Савицкого покинула Архангельск, плыла на пароходе «Колгуев», помимо этого парохода было 7 пароходов. До устья Оби от Архангельска я пробыла в дороге месяц с тремя днями, на устье Оби была выгрузка из пароходов экспедиции Савицкого на баржи полковника Котельникова оружия, обмундирования и снарядов. Здесь я пробыла две недели, и мы потом отправились с экспедицией Котельникова на Тобольск, но когда экспедиция прибыла в город Березов, то Котельников получил телеграмму, что Тобольск взят советскими войсками. Тогда Котельникову было приказано половину экспедиции направить в Красноярск и половину на Томск, и я поплыла со второй половиной экспедиции на Томск. Родителей застала в бедственном положении, тут же зять мне начал говорить, что заблуждалась: «Посмотри, три баржи замороженных красноармейцев стоят на Оби, и ты сочувствуешь нашим врагам». Я сказала зятю и своему мужу Бочкареву, с которым я не жила 12 лет, что я сочувствовала белым, потому что меня уверяли, что большевики идут рука об руку с германцами для того, чтобы сделать в России царем Вильгельма. А теперь я поняла, что я глубоко ошибалась и поэтому я поеду в Омск к Колчаку и буду просить, чтобы он мне дал от военной службы отставку совсем и пенсию. По приезде в Омск я явилась в ставку к дежурному генералу Белову и доложила ему, что я вообще не в силах ничего делать и просила, чтоб мне дали отставку с пенсией как батальонного командира с мундиром

штабс-капитана. Белов сказал мне, что он сегодня будет на докладе у Колчака и доложит обо мне. Я пришла в воскресенье в 12 часов дня в дом Колчака, ему доложили, вышел адъютант и сказал мне, что вас просит к себе Верховный правитель. Я вошла в кабинет Колчака и там увидела: Колчак вел разговор с Голицыным, с главнокомандующим добровольческими отрядами. Когда я вошла, то Колчак и Голицын обоим встали и приветствовали меня и сказали, что они о мне много слышали. Колчак стал мне говорить: «Вы просите отставку. Но такие люди, как Вы, нам сейчас необходимо нужны, я Вам предлагаю сформировать добровольческий женский санитарный отряд (1-й женский добровольческий санитарный отряд имени поручика Бочкаревой)». Он говорил, что у нас очень много тифозных и раненых, и рук, которые бы ухаживали за больными, нет. Я предложение Колчака приняла. Колчак дал распоряжение, чтобы мне выдали аванс двести тысяч на формирование отряда.

Я собрала добровольцев женщин сто семьдесят и мужчин тридцать. На довольствие мой отряд был зачислен к добровольческой дружине святого креста и зеленого знамени.

13 ноября я пошла получить от генерала Голицына деньги двести тысяч и вагонов, чтобы я могла сделать посадку своих людей для отступления от надвигающейся Красной армии. Но уже Колчак и Голицын и начальник гарнизона уехали. Я была тогда в ужасе, не знала, как мне поступить с людьми — они ни за что не хотели остаться в Омске, а денег и перевязочных средств не было. Тогда я окончательно разочаровалась в Колчаке и дала слово, что больше ничего не буду делать в их пользу. Я 14 ноября утром на обывательских лошадях поехала в Новониколаевск. 26 ноября прибыла в Новониколаевск, явилась в ставку к дежурному генералу, которому сдала 4-х офицеров моего штаба санитарного отряда и 6 человек писарей. Я сказала генералу, что если вы со мной поступили так подло, без денег и без перевязочных средств бросили меня в Омске, то я больше у вас служить не могу, я уезжаю домой в Томск.

Я прожила в Томске при белых 5 дней, потом пришла советская власть, я явилась к коменданту города Томска, сдала ему револьвер и сказала, кто я и что делала у белых, предложила свои услуги советской власти. Комендант сказал, что он в моих услугах не нуждается, а когда понадобится, то он за мной пошлет. Комендант взял с меня подписку о невыезде из города и меня отпустили, сказали, что арестовывать не будут.

Я жила дома, скинула военную форму, одела женское платье и решила больше ничего не делать, шить на солдат шинели. На Рождество в 2 часа ночи около Старого собора я была арестована, позже посажена в томскую тюрьму».

«Винювной перед советской республикой себя признаю, — виновна невинная Мария. — В том я сочувствовала Колчаку и белым и формировала добровольческий женский санитарный отряд, выступала сама с агитацией и не препятствовала пользоваться моей фамилией, как средством агитации для добровольческих формирований.

Показание мое признаю правильным в чем и даю подпись моей руки. Бочкарева.

Военный следователь особого отдела В.Ч.К. при 5-й армии Поболотин».

А вы говорите — «просто Мария»...

Крестьянка из-под Томска, которой восхищались и генерал Корнилов, и спикер Госдумы Родзянко, и верховный правитель Колчак, и английский король, и американский президент.

Да где еще в мире найдешь таких женщин!

Сибирская женщина — это эпос!

Есть одна неясность в заключительной истории поручика Марии Бочкаревой. Когда в октябре 1991 года ее полностью реабилитировали, то следователи не обнаружили документа о приведении резолюции о расстреле в исполнение. Красные мясники канцелярское дело знали и своих кроваво-революционных деяний не стеснялись. Понятно, что проще всего предположить, что соратники следователя пятой Красной армии Поболотина «шлепали» без бумаги. Но...

Как хочется верить, что смягчились ожесточенные русские сердца и опустили винтовки, и русская героиня осталась жива. Ведь и в гражданской войне случается нечаянное рыцарство. Но каковы все же сибирские женщины! Простая биография Марии — непростая биография эпохи.



Трагический министр

Как ни прискорбно, но в нашей стране даже у репрессированных своя иерархия и привилегии: об одних заслуженно-незаслуженно написаны тома, про других — краткой строчки не найдешь. А ведь заслуживают и строчек, и томов. Чаще всего забвение распространяется на репрессированных провинциалов.

...Много лет назад я, интересуясь прошлым коренных народов Тюменского Севера, прочел небольшое, но запоминающееся исследование «Ваховские остяки» и отметил имя автора — Михаил Шатилов, решив при случае заняться этой персоной.

Но не тут-то было! Оказалось, это фигура умолчания. Трудно было отыскать хотя бы строчку с упоминанием Шатилова. Расспрашивал старых этнографов — они пожимали плечами, о работах Шатилова они знали, о самом — нет. Даже в Томском краеведческом музее, где — это было доподлинно известно — Шатилов в свое время трудился, в середине семидесятых о нем сказать не могли.

Почему?

Секрет для меня объяснился позже и просто: оказывается, недолгое время М.Б. Шатилов являлся министром Временного Сибирского правительства, возглавлял министерство по туземным делам. Его коллега, наркомнац РСФСР И.В. Сталин, видимо, конкуренции не терпел, поэтому и память о Шатилове стиралась напрочь. Как же! Россия должна была помнить одного наркомнаца — вождя народов.

Занимаясь не очень предметно, за долгие годы я о Михаиле Бонифатьевиче Шатилове узнал не очень много. Он родился на Алтае, его отец — из крестьян. Сам Шатилов закончил семинарию, юрфак Томского университета, какое-то время учительствовал. Молодой ученый быстро вошел в круг сибирской интеллигенции, патриархом которой оставался Григорий Потанин. Шатилов сотрудничал в областнических изданиях, сам издавал журнал «Сибирский студент», к 1917 году он стал заметной политической фигурой. После Февральской революции Шатилов записывается в

партию эсеров. Потом — Сибирская облдума, на съезде которой именно Шатилову поручается основной доклад «Сибирь как составная единица Российской Федеративной республики». Ровно два месяца — июль—сентябрь — Михаил Бонифатьевич проминистествовал. Было ему в ту пору 36 лет. Дальше начинается служение науке и родному краю, преподавательская и музейная работа.

Основательный интеллигент старой, потанинской, областнической закваски, Шатилов пришелся не ко двору новой власти. Наверное, надо признать, что старая интеллигенция истреблялась, вырубалась последовательно и сознательно, ведь она была «мостиком» в прошлое. Но даже таких мостков не нужно было квазипролетариям при власти, рискнувшим «разрушить мир до основания, а затем...».

Так что всякий интеллигент, тем более такой выдающийся, как М.Б. Шатилов, был обречен.

Но не сразу.

Это мы знаем его судьбу. А он, проживает свою непредсказуемую жизнь. Пир красных победителей состоялся не сразу, гражданская война так много вырубала, что и победителям нужна была передышка.

Шатилов востребован как ученый, он, по существу, основывает краеведческий музей в Томске. С 1923 года начинаются его регулярные экспедиции к ваховским осякам, к загадочным тюркам Чульма, к русским старожилам Шегарки. При директоре Шатилове начинают выходить «Научные труды Томского краеведческого музея», в первом выпуске которых он опубликовал своих «Ваховских осяков».

Ведущий томский этнограф Надежда Лукина полагает: «Научные открытия имеют свойство стареть. Шатиловская работа за семь десятков прошедших лет не устарела, значения своего не утратила. Кропотливая работа!»

Но победившие, как ни странно — ведь сильны своей победой, в покое бывших оппонентов не оставили.

Историей злоключений бывшего министра ВСП занимается томский литератор Владимир Крюков, автор, кстати, очень хорошей книги о Г. Потанине.

Крюков рассказывает:

— Его трижды арестовывали на протяжении десятилетия. Как же, бывший эсер, бывший министр. Эти аресты — такая профилактика, напоминание, думаю, все это делалось, чтобы выбить человека из нормальной колеи. В подшивке «Красного Знамени» я нашел шатиловское «Письмо в редакцию». Он посчитал необходимым публично отречься от своей эсеровской деятельности. Я так почувствовал тон его письма — по большому счету это звучало: оставьте меня в покое! Наконец-то. Ну я был эсером...

Нет там раскаяния, какими в ту пору многие грешили, нет такого, что бил в грудь и истязал себя. Там есть констатация: да, я принадлежал к партии эсеров, теперь политическая деятельность мне чужда, я отдаю себя науке.

Но кампания по выявлению бывших врагов, конечно, Шатилова — не могу сказать — подкосила, но истремила ему нервы и во многом, как ученому, помешала.

А он был на своем месте: музей, сибирские народы — рядом все.

— А в 1933 году Шатилова в очередной раз арестовали. У меня сложилось впечатление, что он был расстрелян. Но точных под-

тверждений, что он расстрелян, не имеется. Как он заканчивал жизнь — вам что-то известно?

— Нет, абсолютно. Ему вынесен приговор и на этом следы обрываются. Надежда Лукина мне рассказывала, был слух, что он отбывал наказание на Соловках. Она туда ездила — концов никаких.

— Что-что, а адская машина НКВД умела все документировать, бесследно вроде никто не мог исчезнуть?

— Это легенда, скорее всего из недр НКВД. Документы составлялись, по сути, произвольно, фальсифицировались. Оказывается, все придумывалось совершенно безответственно. Беспардонно.

Биография Шатилова, пожалуй, заслуживает основательной книги, если к тому же присовокупить его работу «Ваховские остяки». Эта работа специальная, но там масса наблюдений общеинтересных. Взгляд свой, достаточно широкий, у него еще старая школа русской этнографии, когда человек не с каким-то холодным академическим интересом исследовал незнакомый ему мир, а какой-то чудесный. Соединилось там человеческое и научное. Шатилов из этой этнографогенерации.

Биография трагическая. Происходит некая — не могу слова найти — наполненность информационного «стакана», информация уже льется через край, мы как-то к этому привыкаем, смотрим привычным взглядом на те же репрессии тридцатых годов.

Но шатиловская судьба из этой привычности выламывается. Последний арест, 1933 год. Там нет еще автоматической казенности, полной спекуляции в тех же вопросах. Его допрашивают и позволяют сказать, что он думает по этому поводу. Сначала он пытается отречься в духе «Открытого письма», потом понимает, что машина так втянула в себя, что обратно не выпустит. И он начинает, да, на третьем допросе, он излагает эту программу — теперь трудно сказать — существующей организации или нет, но какой-то группы людей, соумышленников, единомышленников, группа, понятно, немногочисленна, и эти люди обитают по разным сибирским городам: в Новосибирске, в Иркутске, в Красноярске, Томске. Человек жил с этими взглядами, воплощению которых когда-то пытался посвятить свою политическую деятельность, но уже начиналась великая большая ломка. Как с этим можно было жить? Несовпадение с эпохой. Можно было проявить себя лишь в научной сфере. Но не дали.

Трагический характер! Трагическая фигура!

В апреле 1933 года измученный, изможденный бывший министр туземных дел Сибвремправительства Михаил Бонифатьевич Шатилов стоял перед вышколаженным оперуполномоченным 4-го отдела НКВД Погадаевым и признавался ему во всех своих тайных и явных грехах. Шатилов сознался, что был одним из руководителей томской периферийной контрреволюционной организации. Что значат подобные признания — мы знаем. Дело не в этом. Дело в том, какую программу действий приписывал себе и своей мифической организации Шатилов.

Погадаев стенографировал:

«Коммунистическая партия объявляется распущенной. Рабочий класс не должен пользоваться особыми преимуществами перед крестьянством.

— Земля на условиях аренды должна сдаваться в пользование всем желающим.

— Монополия внешней торговли снимается.
— Колхозы распускаются и могут возникать только на условиях полной добровольности.

— Установить в стране буржуазно-демократический строй. Формой управления новым государством должны быть советы, но советы коренным образом преобразованные.

— Новое государство должно строиться по принципу областей и их самостоятельного экономического и политического развития».

Эта программа, впервые опубликованная в томской газете в 1992 году, смотрится современной, актуальной, по крайней мере, не устаревшей. Так что при желании можно принять к сведению, что мы, в общем-то, идем дорогой наследования идей народника-областника Михаила Шатилова.

Эта программа еще раз подтверждает, что правящая тогда партия шла против естественного хода, течения мысли. Она жизнь не переделывала — ломала.

История Сибири богата интересными личностями. Иногда эта история кажется бедноватой, но только потому, что мы мало ее знаем. И, слава Богу, сегодня у нас есть возможность узнать ее более полно и открыть там такие незаурядные личности, как Михаил Шатилов.



Сибирь для вождя мирового пролетариата

Ленин принадлежит к числу тех исторических фигур, личностей истории, которые вряд ли подлежат оценке в рамках обывательских категорий: плох либо хорош. Влияние их на исторические процессы столь глобальны, что наши обычные категории — не по мерке; конечно, можно и школьной линейкой мерить земной экватор.

И если я признаю: плох — ленинскую эпоху в истории России, да и в истории человечества не отменишь. Она, эта эпоха, состоялась, и он, эпохальный инициатор и творец, состоялся тоже. К сожалению... К счастью... К несчастью...

Эпоха Ивана Грозного, эпоха Петра Великого, эпоха Николая Первого, ленинская эпоха. Однозначных оценок — не будем уподобляться классовым историкам, слава Богу, не только нет, но и не должно быть. И историю, слава Богу, никто не в силах — будь она петровская или ленинская — отменить. Право же на свои оценки и уроки есть у каждого, и каждый может пользоваться своими чисто житейскими, человеческими, обывательскими категориями, чтобы выводить нравственные уроки из неподвластного обычной нравственности хода исторического процесса.

В моей библиотеке есть сборник «Ленин и Сибирь». Он издан в советское время, в Новосибирске, очень добросовестно, хотя, понятно, одиозно однозначен. Но все, что Ленин написал и говорил о Сибири, там, думаю, представлено стопроцентно. Попробуем по правилам старинных историков — без гнева и пристрастия — перечитать ленинские документы и формулировки, что для первого председателя Совнаркома В.И. Ульянова (Ленина) представляла Сибирь, что значила для него, что он хотел от нее.

13 января 1918 года.

В.И. Ленин принял группу красногвардейцев, сопровождавших первый маршрутный поезд с сибирской пшеницей в адрес Совнаркома. В.И. Ленину вручено письмо Краевого Совета по продовольствию Западной Сибири и Урала с просьбой помочь наладить движение на Омской железной дороге, прекратившей погрузку хлеба,

и послать в Сибирь продовольственные товары. В связи с этим В.И. Ленин написал секретарю: «Передать Шлихтеру и Невскому с просьбой архизэнергично помочь этим людям, производящим прекрасное впечатление, ибо только такие отряды (40—60 человек с места) в состоянии спасти от голода» (Т. 50. С. 28).

В этот же день В.И. Ленин принял уполномоченных областного комитета Советов Урала Суворова и Антропова. После беседы он направил их в Наркомат продовольствия, Наркомат путей сообщения и продовольственный отдел ВСНХ с запиской: «Податели, тов. Суворов и Антропов, уполномоченные областного комитета уральских Советов. Необходимо поручить им принять самые революционные меры для продвижки вагонов с хлебом в Питер из Сибири».

Тот же год. 13 апреля.

В телеграмме Я.Д. Янсону в Иркутск и ЦИК Советов Сибири В.И. Ленин возражает против создания комиссариата по иностранным делам при ЦИК Советов Сибири.

«В ответ на вашу записку об иностранном комиссариате при Центросибири и о самостоятельности Сибири считаю нужным сообщить, что, по мнению Совнаркома, нет никакой необходимости в иностранном комиссариате при Центросибири; так называемая самостоятельность Сибири только облегчит формально дело аннексии с Востока... Предлагаю ограничиться автономией Сибири как неразрывной части России и остановиться на институте комиссаров при Народном комиссариате по иностранным делам, от которого вы будете получать директивы и именем которого будете действовать».

Владимира Ильича в сибирские областники вряд ли заманишь!

6 января. В.И. Ленин отправил Сибирскому губпродкомиссару телеграмму:

«Комитет 42 организаций голодающих рабочих Петрограда и Москвы жалуется на Вашу нераспорядительность. Требую максимальной энергии с Вашей стороны, неформального отношения к делу и всесторонней помощи голодающим рабочим. За неуспешность вынужден буду арестовать весь состав Ваших учреждений и предать суду. Телеграфируйте исполнение.

Хлеб от крестьян Вы обязаны принимать днем и ночью. Если подтвердится, что Вы после 4 часов не принимали хлеба, заставляли крестьян ждать до утра, то Вы будете расстреляны».

4 июля. В докладе «О современном положении и ближайших задачах Советской власти» на соединенном заседании ВЦИК, Моссовета, Всероссийского совета профсоюзов и представителей фабрично-заводских комитетов Москвы В.И. Ленин характеризует позицию сибирского крестьянства в начале контрреволюционного переворота:

«Ведь вы знаете, что крестьяне в Сибири, эти крестьяне крепостного права не знали. Это — самые сытые крестьяне, привыкшие к эксплуатации тех ссыльных, которые из России появлялись, это крестьяне, которые улучшения от революции не видели, и эти крестьяне получали вождей от русской буржуазии, от всех меньшевиков и эсеров — там их были сотни, тысячи. Например, в Омске теперь одни насчитывают 900 тысяч буржуазии, а другие — 500 тысяч. Вся буржуазия поголовно сошлась туда, все что было претендующего на руководство народом...».

В докладе «О внутреннем и внешнем положении республики» на Московской конференции РКП/б В.И. Ленин вновь возвратил-

ся к оценке положения в Сибири и отметил, что меньшевики и эсеры проделали в истории с Колчаком тот же кровавый политический путь, что и в истории с Керенским.

«Важно то, что массы, которые за нами шли, от них отходят. Массы крестьянства перешли к большевикам — это факт. Это доказано лучше всего Сибирью. Пережитое под властью Колчака крестьяне не забудут. Чем тяжелее испытание, тем лучше усвоены уроки большевизма».

Последняя фраза, понятно, весьма двусмысленна: цена крестьянского урока для человека, который считал себя вождем пролетариата, не важна.

5 декабря. В.И. Ленин выступил с докладом ВЦИК и СНК VII Всероссийскому съезду Советов. Он напоминал делегатам о походе Колчака в Сибирь, установившего там диктатуру «хуже царской».

«То, что было с сибирскими мужиками при всей его неразвитости и политической темноте, то же самое произошло теперь в масштабе более широком, в масштабе всемирно-историческом, со всеми маленькими нациями».

Отметим, что для Ленина сибирский мужик, который до этого кормил не только Россию, но и Европу, «не развит и политически темен».

Между 11 и 16 декабря. На телеграмме А.К. Пайкеса с просьбой прислать Сибревкому людей на руководящую работу В.И. Ленин сделал пометку для Оргбюро ЦК.

«По-моему, в Сибирь больше не давать: у нас нет. Сибирь не погибнет. На Украину все».

Сибирь для вождя оставалась палочкой-выручалочкой, касалось ли это хлеба или людей.

24 января 1920 года. В речи на беспартийной конференции рабочих и красноармейцев Пресненского района В.И. Ленин сказал:

«...Мы вышли победителями из первых двух лет гражданской войны, которые были самыми трудными годами, так как мы были разорены империалистической войной, от нас были отрезаны хлеб и уголь. Но теперь у нас хлеба и топлива в избытке. В Сибири по одной разверстке хлеба 21 миллион пудов. Правда, мы его не можем сразу вывезти...».

6 марта. В речи на заседании Моссовета рабочих и красноармейских депутатов В.И. Ленин сказал:

«...Мы осуществляем задачу социалистического строительства в стране, где большую часть населения составляет крестьянство. Теперь к нам присоединились массы крестьянства Сибири, где крестьяне имеют излишки хлеба, где они развращены капитализмом, держатся за старинную свободу торговли и считают своим священным правом, в этом отношении их сбивают меньшевики и эсеры... осуществлять свободную торговлю хлебными излишками, думая, что это право за ними может быть оставлено. Они не считаются с тем, что это якобы гражданское равенство означает эксплуатацию сытым голодного, ибо крестьяне, имеющие излишки хлеба и не желающие давать их голодным, осуществляют основы капиталистических отношений».

Сытый, а значит, работающий сибирский крестьянин, всегда оставался кровным врагом алчущего вождя пролетариата.

29 марта. В докладе ЦК IX съезду партии В.И. Ленин говорил: «После той войны, которую мы выдержали на фронте, должна быть

война бескровная. Получается такое положение, что чем больше мы побеждаем, тем больше оказывалось таких областей, как Сибирь, Украина и Кубань. Там богатые крестьяне, там пролетариев нет, а если пролетариат есть, то он развращен мелкобуржуазными привычками... Старые предрассудки, старые привычки, которые остались, с ними нужно покончить».

В первую очередь соратники Ленина покончили с привычкой сытой крестьянской жизни в Сибири.

2 августа. Телеграмма В.И. Ленина председателю Сибревкома И.Н. Смирнову: «Главком затребовал из Сибири патроны и винтовки. Это требование необходимо немедленно, без всяких задержек выполнить, отправить так, чтобы пришло с максимальной быстротой. Выясните, если можно дать этих предметов больше, дайте. Проследите за исполнением».

6 декабря. В.И. Ленин в докладе о концессиях на собрании актива Московской организации РКП/б дал оценку богатств Сибири, особенно Западной. Ставя вопрос о практическом значении концессий, В.И. Ленин сказал: «Главные предприятия — в Западной Сибири, богатства которой необъятны. Мы не разовьем из них и одной сотой доли в десять лет. При помощи же капиталистов-иностранцев, отдавая им один рудник, мы получаем возможность разрабатывать свои рудники».

Выяснилось, что без капиталистов обойтись все же сложно.

Год 1921-й.

Характер ленинских инструкций с адресом: Сибирь — не меняется.

16 февраля. В.И. Ленин подписал телеграмму в Омск Сибревкому: «Ввиду обострившегося до крайности положения с продовольствием Республики предписываю в порядке боевого приказа напряжением всех сил повысить погрузку и отправку хлеба центру и довести до максимума».

9 марта. В.И. Ленин в записке Л.Б. Каменеву и В.И. Сталину опасается, что с сибирскими крестьянами «наши не сумеют поладить», и предлагает послать в Сибирь хорошо знающего местные условия и военное дело работника, способного не растеряться в трудном положении.

4 мая. Телеграмма В.И. Ленина Сибревкому и Сибпродкому:

«Ввиду критического состояния снабжения центра в связи с прекращением отгрузки на Сев. Кавказе в порядке боевого приказа под ответственность Сибревкома и Сибпродкома предлагается в течение мая месяца отправить в центр три миллиона пудов хлеба».

5 мая. Телеграмма Сибревкома В.И. Ленину:

«Ваше боевое задание от мая № 401 принято к исполнению. Ставим в известность: последний хлеб, находящийся на станциях желдород, отправлен в Москву. Дальнейшая отправка пойдет водой. Реки вскрылись, и 15 мая придут первые баржи с хлебом в Омск и Новониколаевск для перевалки на желдороду. По Иртышу имеем получить 900 тысяч пудов хлеба, по Оби — миллион шесть тысяч».

Однако рвение сибирских товарищей не устраивало председателя Совнаркома.

6 мая. Телеграмма В.И. Ленина Сибревкому:

«Считаю действия Ваши неправильными, перерасход 350 тысяч пудов семян для внутригубернских нужд недопустим, ставит снабжение Москвы и Петрограда в крайне тяжелое положение. По-

становление Сибпосевкома о дополнительном отпуске семян свыше 4500000 пудов отменяю. Предлагаю также представить объяснения о неисполнении предписания о безостановочной погрузке в праздничные дни. Обращаю внимание на исключительно тяжелое положение в продовольственном отношении центра, требую полного и безоговорочного исполнения требований центра и Компрода».

13 июня. В.И. Ленин подписал телеграмму в Омск Сиббюро ЦК РКС/б:

«Катастрофическое состояние с продовольствием для армии, столиц, крупнейших фабричных центров принудило ЦК РКП месяц тому назад принять чрезвычайное решение: именно напряжением всех сил, используя все возможности, добиться вывоза из Сибири в среднем 100 вагонов хлеба в сутки центру или три миллиона пудов в месяц, даже в ущерб местным внутрисибирским интересам. Задание должно исполняться безоговорочно».

12 августа. В.И. Ленин подписал телеграмму руководящим органам Сибири: Новониколаевск — Сибпродкому, Сибревкому, Сиббюро ЦК, Омск — Сибирскому округу путей сообщения (Сибопс). В телеграмме говорилось:

«Принужден констатировать неудовлетворенность Вашей работой по исполнению постановления СТО от 21 июня, сообщенного Вам Наркопродом 22 июня. Создавшаяся обстановка обязывает меня взять на себя общее руководство по выполнению Вами боевого задания СТО, ежедневно контролировать Вашу работу во всех ее стадиях. Приказываю установить с 15 августа регулярную отправку в Москву в адрес Наркопрода по одному маршруту в сутки, не ниже тридцативагонного состава каждый. Маршрутам присваивается наименование совнаркомовских, устанавливается особая нумерация, начиная с 21».

Надеюсь, вы обратили внимание на стиль ленинских депеш: в нем проснулся дворянин и помещик, и со своими подчиненными он разговаривает суровым языком помещика, имеющего неограниченную власть над своими крепостными и дворовыми.

«На Сибревком и Сиббюро возлагается обязанность оказания действенной помощи Сибпродкому и Сибопсу в их повседневной текущей работе по выполнению настоящего боевого задания. Получение немедленно подтвердите и укажите должности, фамилии сотрудников, руководящих этой работой, с указанием области ведения каждого».

30 августа. Телеграмма В.И. Ленина в Новониколаевск В.Н. Каюрову, назначенному председателем по проведению чистки партии в Сибири. Каюров В.Н. сомневался в целесообразности чистки.

У Ленина не случалось сомнений, какие не обходят сибирского большевистского начальника. Каюров получает ленинский ответ.

«...Первый серьезный опыт очистки партии даст нам ряд практических указаний, которые мы используем в дальнейшем для выработки условий приема».

В «Хронике» «Ленин и Сибирь» 1921-м годом в основном заканчиваются ленинские документы — вождь отошел (или его отлучили?) от активных дел. Новые инструкции в Сибирь подписывали его верные и столь же решительные ученики.

Нас учили, что такое колониализм: это когда метрополия безжалостно обирает свои колонии.

Разве можно назвать по-иному то, что содержалось в ленинских приказах и инструкциях: все в центр, все из Сибири, все во вред интересам Сибири.

Бешеный ритм этой колонизации был задан с первых большевистских дней: Сибирь спасала режим, который расторопно хлебодарную Россию превратил в республику голодающих.

Повторюсь: Ленин — фигура исторически глобальная, но нам, наверняка, небезынтересно, что необходимо делать для того, чтобы след в истории был столь глобально заметен.

Два документа 1921 года.

21 апреля. В работе «О продовольственном налоге» Ленин пишет о необъятных пространствах к северу от Вологды, к юго-востоку — от Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу — от Оренбурга и от Омска, к северу — от Томска, где царит «патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость». Эта ленинская формула не случайна и оправдывает его как политика: действительно, если приравнять Сибирь к Африке, открестив ее от цивилизованной России, тогда действительно можно, как и пристало истинному джентльмену, заниматься цивилизованной колонизацией той дикой страны.

4 ноября. Конференция работниц и крестьянок Каргатского уезда Новониколаевской губернии в приветствии В.И. Ленину писала: «...Мы помним твой завет, что каждая кухарка должна уметь управлять государством».



Сентиментальный генерал — апологет Ермака

Давненько я не брал в руки, как говорится, детских книжек! Они, как известно, бывают разные: либо специально пишутся для детей, и взрослым их читать попросту неинтересно, либо детские, но интересные для всех поколений.

Скорее, у исторической повести «В Сибирь за Ермаком!» — это первый вариант, но у нее слишком сложная, русская судьба, поэтому-то сегодня она интересна всем.

В апреле 1929 года в деревушке Сантеки, где-то во Франции (я по карте отыскать не смог, наверное, очень маленькая деревушка), в весенней, солнечной, французской тиши сел за чистый лист рукописи известный человек. Известный в России, но проклятый большевиками, как непримиримый враг, известный в русской эмиграции человек.

Официальные сведения о нем, зафиксированные в Советском энциклопедическом словаре, гласят: «Один из главных организаторов контрреволюции в Гражданскую войну, генерал-лейтенант. В октябре 1917 года вместе с А.Ф. Керенским возглавил антисоветский мятеж. В 1918 году атаман Войска Донского, командовал белоказачьей армией. В 1919 году эмигрировал в Германию. После Великой Отечественной войны был выдан французскими властями и казнен по приговору советского суда».

Генерал-лейтенант, сподвижник Керенского, атаман Войска Донского и непримиримый противник советской власти в эмиграции стал... писателем. Особой известностью пользуется его четырехтомный, переведенный практически на все основные европейские языки роман «От двуглавого орла к красному знамени». Переводились на европейские языки другие его романы: «Опавшие листья», «Понять-простить», «Единая-неделимая», «Белая свитка», «Амазонка пустыни», исторические повести «Все проходит», «С нами Бог», фантастический роман «За чертополох». В эмигрантских изданиях выходили его очерки «Казачья самостийность», психологический этюд «Душа армии». Советский «Госиздат» самовольно выпустил его эссе

«На внутреннем фронте». Для юношества этот автор написал еще одну увлекательную повесть «Мантвик, охотник на львов».

Автор был быстр и плодовит. «В Сибирь за Ермаком» — это 8 печатных листов, он закончил за три месяца; в июле в той же деревушке Сантеки он написал последнюю фразу «Чудная, бесконечная, несказанно прекрасная Ермакова Сибирь», поставил три восклицательных знака.

Полагаю, вы достаточно заинтригованы и самое время раскрыть имя автора, если вы его не расшифровали, — это действительно трудно.

Имя автора — Петр Николаевич Краснов, и, наверняка, вы помните его со школьной скамьи, когда проходили по истории гражданскую войну.

Официальный Советский энциклопедический словарь пишет «Гражданскую войну» с заглавной буквы, придавая ей особое политическое значение и отдавая предпочтение победителям. Но сегодня мы уразумели, что победителей в гражданской войне не бывает, а есть один побежденный — народ, и такая война есть бедствие народное, в котором победителей чествовать не годится.

Грехов на генерале Краснове явно немало, ибо он до последнего, как мог, как понимал миссию России, боролся с большевиками и их властью. Но это вовсе не повод ничего не знать о нем, зачеркнуть, перечеркнуть. Сегодня он интересует меня как автор исторической повести для юношества «В Сибирь за Ермаком!». Книга издана на русском языке, но не в России, а во Франции.

Русский Париж...

Это поэма. Париж памятливы и не забывает русской любви к себе. Авеню «Севастополь», площадь Сергея Дягилева, мост Александра Третьего...

И вот тихий уголок недалеко от православного собора святого Александра Невского. Рю Дарю. В переулочке русский рестораник «Петроград». Правда, по раннему времени он еще закрыт, да и, как утверждают знатоки, дороговат для провинциального русского кармана. Владелец же книжно-антикварной лавки «Магазин Сиельского» по случаю приезда гостей из Сибири поднимает жалюзи на окнах лавки раньше обозначенного времени.

Владельца зовут Григорий Глебович, он — барон фон Брунс. Как оказывается, барон не только торгует русским антиквариатом и русскими книгами — беженской литературой, он еще и дальний родственник атамана Краснова.

— Генерал Краснов — дядя моей бабушки. У меня много семейных писем Краснова, сохранилась масса документов. В начале 20-х годов он был в Берлине, где и моя семья оказалась после революции, потом они все переехали в Париж. Моя бабушка издавала его книги, очень легко было издавать.

— Краснов отошел от политической деятельности только после гражданской войны и ушел в писательство?

— Да. Он уже до революции писал, много маленьких вещей, статьи. Его самая известная книга «От двуглавого орла до красного знамени».

— Обращение генерала-писателя к сибирской теме как-то связано с его биографией?

— Нет. Краснов — донец, из известной донской семьи, но ведь и Ермак донской, поэтому Краснов и взялся за «С Ермаком на Сибирь». Он был большой патриот, националист, очень любил все, что касается казачества. Он писал книги о казачестве: «Ненависть», «Домой». Это все — Дон.

— Кто ваши покупатели?

— Русские из Парижа, потомки первой эмиграции, немного французы, очень мало русские из России, немного, штучно. Я точно выразился, штучно? Поодиночке.

За свою журналистскую жизнь у кого только интервью брать не приходилось: премьеров, президентов, лауреатов, министров. У наследного русского живого барона — впервые.

Что сближает Россию с Францией? Цвета национального флага: белый, синий, красный.

А Париж с Тюменью?

Эка загнул?

Но есть, есть общее.

В городских гербах.

И по парижскому фону, и по тюменскому спешит гербовый кораблик.

Немного о генеральской повести «В Сибирь за Ермаком». Литературу, скажем, прошлого века мы знаем исключительно по вершинам: Толстой, Достоевский, Чехов; и нам трудно осознать уровень всей литературы того времени — среднебоборькинский. Когда начинаешь читать Краснова, думаешь: графоман. Только потом осознаешь — это среднелитературный уровень того времени, конца XIX века, когда будущий генерал учился и формировал свои вкусы. Повесть написана во вкусе конца XIX века. Пересказывать интригу нет смысла: Краснов во Франции писал для юношества сибирскую историю, но юношество то было особое: подрастающее поколение русской эмиграции, которое во Франции быстро забывало отечественную историю. Генералу явно не хотелось, чтобы историю России забывали. Отдадим ему должное: он обратился к величественному эпизоду этого отечественного прошлого: поход Ермака, присоединение Сибири.

Генерал, как все вояки, явно сентиментален. Сюсюкает. Может быть, считая, что только так и нужно писать — «для юношества». Возможно, издержки эмигрантской тоски. Вернее же всего — все суровые военные сентиментальны. Сентиментальность — обратная сторона жестокости. Жестоки и сентиментальны. Генеральская прочувственная слеза ощущается на странице, где речь идет о любви сироты и боярышни.

Суровое казачье начало сквозит в других страницах: генерал Краснов державен и безусловный апологет Ермака. Если в чем и виноват, по Краснову, сибирский атаман, то лишь в одном — разбойничал перед государем. Все другие вины его исторические прощены другим атаманом — Красновым. И именно поэтому любопытна красно-вская повесть: так воспринимался Ермак, деяния его в дореволюционной России. Это нынешние историки складывают сложную историческую мозаику, для царского генерала-писателя Петра Николаевича Краснова Ермак Тимофеевич безусловный национальный герой. Сибирь российская его оправдывает. Главный герой повести, московский отрок и юный сподвижник Ермака, его самый молодой есаул Федор Пашник в конце повествования предстанет перед нами как воевода, родоначальник нового, большого, уже сибирского рода. Так начиналась, по мысли Краснова, русская Сибирь.

Чтобы дать представление о колорите генеральского опуса, приведу обширную цитату кульминационного эпизода.

Иван Грозный принимает Ермаково подаренье — Сибирское царство.

«Москва и царь Иван Васильевич приняли посольство Ермака с радостью. Царь и народ точно ожили. Так давно не было никаких хороших вестей.

При царском дворе бояре с восторгом говорили:

— Господь послал Руси новое царство.

Повелено было по всем церквам служить молебны и трое суток звонить в колокола пасхальным звоном. Так делали, когда была взята Казань и отошла к Руси Астрахань — в дни юности царя. Забылись неудачи шведской войны.

Ивану Кольцо и его посольству сейчас же был назначен торжественный прием во дворце.

28 февраля 1582 года, в Васильев день, царь Иван Васильевич слушал обедню в Успенском соборе.

После обедни в большой дворцовой палате был назначен прием казакам.

— Ну... ну!.. — еще строже сказал Государь.

— Был у нас прошлой весною на Каме совет, круг войсковой... И на том на кругу порешили мы покаяться перед тобою, Государь, не словами, но делом. И те грубости, что делали мы на Волге, заслужить перед Русью и завоевать Царство Сибирское!.. Бог помог нам, Великий Государь... Помилуй нас. Не вели казнить, вели миловать и прими царство Сибирское с нашими буйными головами.

Иван Кольцо говорил это воодушевлено, с подъемом, громко и просто.

Когда он кончил, во всей палате стало томительно тихо и слышно было, как, захлебываясь от удушья, хрипел царь, подавлявший свой гнев. Он откинул посох и, опираясь на подлокотники, встал.

Его лицо изменилось. Гнев и насмешка сошли с него. Оно стало почти прекрасно. Расправились на нем морщины. Легкая краска появилась на щеках. Бывшие оловянными глаза заиграли стальным блеском. Вся душа Иоаннова, так редко проявлявшаяся, вернулась к нему и просветила и укрепила одряхлевшее тело любовью, добром и милостью.

— Мне понравилась, атаман, твоя смелая речь. Стал бы оправдываться да лгать — не пощадил бы тебя за прошлое... Не терплю лжи... Люблю единую правду... — сказал Государь.

Он перевел дух и продолжал говорить, резко чеканя слова, гулко раздававшиеся в палате:

— Грубости ваши прошлые на Волге... прощаем... не помним... И о том будет наша Ермаку... Князю Сибирскому... Ермаку Тимофеевичу наша именная грамота!.. Жалуем мы того князя Сибирского нашим панцирем с золотым двуглавым орлом!.. Шубою со своего плеча!.. Саблею именною за покорение Сибири. Отвезешь все ему... Разрешаю тебе, пока ты здесь, набирать охотников заселять Сибирское царство... На помощь князю Ермаку пошлю воеводу князя Семена Болховского и голову Ивана Глухова со стрельцами принимать от новопожалованного князя города сибирские... В посольском и стрелецком приказах немедля исполнить мое повеление!

Царь, подхваченный под руки боярами, стал спускаться с царского места. Ему подали посох. Иоанн остановился, взмахнул в сторону бояр и, тяжело дыша, заикаясь, гневно выкрикнул:

— Это не князю Курбскому подобно!.. Крамольники!.. Русский царь умеет казнить изменников и жаловать, хотя и заблудших, но верных слуг великой Руси... Учитесь... у... станичников!..»



Мансийская кровь первого абстракциониста

Весь мир признает великого русского художника Василия Кандинского — гениального экспериментатора, волшебника кисти, поэта цвета. Кандинский родился в Москве, но — я знал это давно — по линии отца он сибирских кровей.

И это еще не все.

Оказывается, река Конда имеет к родовым истокам гениального абстракциониста непосредственное отношение. Для начала два мимолетных воспоминания.

На шестом международном конгрессе финно-угроведов в Сыктывкаре я познакомился — то ли он ко мне подошел, то ли я к нему — с моложавым, как все ученые азиаты, этнографом из Токио. Конти Иноуэ, оказывается, там, у себя в Японии, не нашел себе занятия лучше, как изучать «исторические корни культа медведя у урало-язычных народов».

В те времена в северные края иностранцев, за редким исключением, не пускали, тем более этнографов, которые по нашим глухотаманям чего только секретного могли не сыскать. Конти Иноуэ очень сокрушался, что никак не может побывать у сибирских манси и воочию поглядеть на предмет своей научной любви.

Именно от него я услышал, что на Конде родовые корни Василия Кандинского, которого, как выяснилось, японские этнографы помнили лучше, чем сибирские журналисты.

Правда, языковой барьер (русский язык моего японского собеседника был ужасен) помешал уяснить некоторые детали. И у меня сложилось впечатление, со слов Конти, что Василий Кандинский до революции навещался в Тобольскую губернию, на Конду, что-то там искал. Японец же меня просил поискать следы Кандинского на Конде. Я ничего, естественно, в отечественной печати и архивах не обнаружил. Но просьба японца запала, и я всегда помнил: у Кандинского с Кондой есть не только фонетическое сродство.

Другая встреча произошла на атомоходе «Арктика». Мы плыли из Мурманска к Ямалу по ледовым морям вместе с коллегой из журнала

«Коммунист» Володей Бараевым. Он сам родом из Восточной Сибири, бурят, интересовался историей сибирского купечества, что по тем партийным временам если и не было откровенной крамолой, то не особо поощрялось. Володя мне доказывал, что Кандинские — нерчинские купцы, и никакого отношения к Западной Сибири, к Конде, не имеют.

Я это тоже запомнил.

Совсем недавно Владимир Бараев опубликовал исследование «Разбойники и абстракционисты».

Обе версии — Конти и Володи — как ни странно, соответствовали действительности.

Володя Бараев, последовательный, как все коммунисты и исследователи, довел дело до конца, обнаружил в архивах забытые документы, реанимировал генетическое древо Кандинских. Оказывается, точно — имеет знаменитый маэстро абстракционизма отношение к западносибирской речке с темной таежной водой.

Мало того...

Вот какие сведения сообщает Владимир Бараев.

«Кандинские (Кондинские) — большое семейство забайкальских купцов, живших с конца XVIII века в Нерчинском уезде, Кяхте, Селенгинске и других местах Сибири, а позднее в Приамурье, на Дальнем Востоке и в Москве. Еще в 1625 году «пелымский сын боярский В. Кондинский подал царю Михаилу Романову челобитную об обидах и насильствах воеводы града Пельма». Этот В. Кондинский происходил из династии князей Большой и Малой Конды, которые признавали себя вассалами России с конца XVI века: «С Ермакова взятъя Сибири... при великом государе Иване Васильевиче служим и с детьми и с внучатами».

Вероятно, челобитная, посланная царю, как водится, попала в руки самого воеводы, и в результате автора письма сослали в Якутск. Именно здесь в 1752 году посадский Петр Алексеевич Кандинский, который мог быть потомком вогульского князя, ограбил церковь, за что был посажен в острог, а затем «после допросов и пыток» сослан на нерчинскую каторгу. Женой этого Кандинского была Дарья Дмитриевна Атласова, вероятно, из потомков знаменитого путешественника В. Атласова.

В Забайкалье Кандинские породнились с потомками тунгусского князя Гантимура, бежавшего от маньчжурского императора Канси и принявшего российское подданство. Так что в них, помимо мансийской и русской крови, могла течь и якутская, тунгусская, бурятская...».

Василий Васильевич Кандинский прожил долгую жизнь (1866—1944). Он родился в семье селенгинского первой гильдии купца. Первые уроки рисования и живописи ему дали отец и тетя — родная сестра матери Елизавета Ивановна Тихеева. Кандинский оставил след в истории не только как художник и теоретик абстракционизма, но и как незаурядный организатор: объединение «Синий всадник», высокие посты в первые годы советской власти в Инхуке, Академии художественных наук, Наркомпросе, знаменитая Школа Баухауз (Германия). Явно сказались купеческие гены — обстоятельность в ведении дел, строгая внутренняя дисциплина и расчет, в самом хорошем смысле слова, умение предвидеть и избегать опасности. Умер русский основоположник абстракционизма в Париже.

Медики знают такой термин — «синдром Кандинского». К абстракционизму, к первому абстракционисту это не имеет никакого

отношения. Но имеет непосредственное отношение к еще одному выдающемуся деятелю России, в жилах которого также текла мансийская кровь.

Это родственник Василия Васильевича Виктор Хрисанфович Кандинский, тоже сын нерчинского первой гильдии купца.

Виктор Кандинский — выдающийся врач, один из основоположников отечественной психиатрии, автор многих трудов по медицине и философии. Родился он в Нерчинском уезде, окончил третью Московскую гимназию на Большой Лубянке, медицинский факультет Московского университета.

Первым описал синдром психического автоматизма, которым он, кстати, страдал и сам; в медицинских справочниках обозначен как синдром Кандинского — Клерамбо.

Талантливые потомки выросли у вогульских «князцов» с Конды!

И все-таки меня удручало одно филологическое разночтение. Как его ни объясняй, оно существует и остается. Река в Западной Сибири — Конда, есть район в Тюменской области — Кондинский, а фамилия маэстро абстракционизма все-таки — Кандинский. Понятно, существуют писарские ошибки, описки, одновременные написания. И все-таки... Случайности в таких вещах редки.

Но вот недавно, работая в Кондинском районе, добираясь из Сатыги до райцентра Междуречье по пыльной дороге, я внезапно остановился. Остановил меня дорожный указатель перед мостом: р. Канда. Узкая, тихая, с невысокими берегами, с привычной здесь темной таежной водой. Канда впадает в Сатыгинский Туман возле д. Леуши. Это бассейн Большой Конды.

Эта речка многое проясняет: владения вогульских «князцов» определялись предельно конкретно, и этот факт географии уже не выбросишь из биографии великого художника: истоки рода Кандинских, скорее всего, надо искать здесь. Такие факты стопроцентно — история многое скрадывает в тумане времен — не доказываются, но являются стимулом для дальнейшего поиска.

Ясно одно — мы можем считать, что наша земля — генетическая родина одной из главных и определяющих фигур в мире живописи XX века.

Абстракционизм, понятно, явление европейской культуры.

Но надо бы не забыть, что взросло это мировое явление на благодатном материале сибирских кровей. И пошло в планетарный мир с этих тихих берегов таежных речек с темной водой.

Василий Кандинский знал и помнил о своих первоначально-сибирских корнях, шаманских истоках. Мало того, исследователи его творчества полагают, что первый абстракционист вырос из этих корней, они стали «определяющими» в его непредсказуемом и столь плодотворном поиске.

Характерно, что еще студентом юрфака Московского университета юноша Кандинский предпринял самостоятельную экспедицию в зырянское Приполярье. К сожалению, маршрут этого путешествия не прослежен, но ведь не зря мой японский знакомец Конти Иноуэ говорил о сибирской экспедиции: какими-то сведениями он о ней явно располагал. Впрочем, скорее всего, Кандинский все-таки искал знаменитую Золотую Бабу в печорских — они были доступнее — краях. Он не нашел золотого истукана — легенду сибирской тайги, но обнаружил таежных язычников и навсегда пленился шаманскими тайнами и символами.

Сибирскими мотивами наполнена его «Пестрая жизнь». Если отвлечься от мелодии красок, среди персонажей можно обнаружить и белого, и черного шаманов, приметы таежного быта и сакральных тайн, а в кандинской Богоматери внимательный зритель «прочтет» невиданную и неуиденную, невстреченную Золотую Бабу в характерной позе с ребенком во чреве.

Сибирские шаманы — герои его позднего «Круга и квадрата», а в предсмертной «Зеленой полосе» художник вспоминает пиктограммы с шаманских бубнов, изображает шаманское дерево — путь в Верхний мир.

Еще раз обращусь к Владимиру Бараеву:

«Подобно тому, как к старости в людях четче проявляются этнические черты предков, так и многие художники возвращаются к тому, с чего начинали. Не к форме, а затаенной сути. Художник всю жизнь помнил о своем юношеском путешествии...

Генная память бурлила в Кандинском в экстазе вдохновения. Свой двухэтажный дом под Мюнхеном в Мурнау он расписал так: внутренняя лестница на второй этаж похожа на шаманское дерево, по которому скачут всадники из Нижнего в Верхний мир. Кандинский сравнивал полотно, натянутое на раму, с шаманским бубном и ударами кисти оживлял полотно: шаманские духи, слетаясь на призывные удары бубна и камланье целителя, вселяясь в бубен, говорили ему: «Здесь я!» — и каждый штрих, мазок, ложась на холст, звучал как эхо: «Здесь я! Здесь!».



Женское мужество

Для начала текст радиogramмы, которую я недавно получил.
«Фиорд/слх 6 74 19/9 0630

Регион-Тюмень Омельчуку Анатолию Константиновичу копия
Салехард ЛЗВ=

18 сентября 1997 года во время пережидания шторма при стоянке у северного берега Ямала мыс Хэсаля экипаж т/х Фиорд Ямало-Ненецкого окружного управления водных путей и судоходства отыскал и восстановил заброшенную могилу трагически погибшей от цинги в августе 1929 года начальника Северо-Ямальской научной экспедиции 1928—1929 годов Котовщиковой Наталии Александровны тчк. ГС Горелов».

Честно говоря, получив эту радиogramму, я, старый мужик, чуть не заплакал.

Светлые русские люди! Казалось бы, какое дело капитану-гидротехнику Горелову до Наташи Котовщиковой, которая погибла на Ямале почти 70 лет назад!

Тешу себя надеждой, что они читали мою книжечку «Зов Арктики» и знают, что я писал о трагедии Наталии Котовщиковой.

Поздней осенью 1929 года в Ленинград вернулись участники Северо-Ямальской экспедиции Комитета Севера. Их было двое: студент-четверокурсник этноотделения геофака Ленинградского университета Валерий Чернецов и зоолог Константин Ратнер. Как выяснится чуть позже, они привезли настоящую археологическую сенсацию. На семьдесят второй арктической параллели были раскопаны стоянки древнего человека. Позднее, проанализировав все находки, присовокупив к этому материалы старинных путешественников, Чернецов опубликовал блестящее исследование, в котором доказательно утверждал, что уже на рубеже старой и новой эры суровое побережье Ледовитого «моря» было обжито отважными морскими зверобоями и охотниками.

Экспедиция Комитета Севера, принеся столь обильный научный материал, была трагичной. Как бы труднодоступен ни был этот

«край земли», какие бы лишения ни выпадали на долю сухопутных путешественников, они возвращались живыми. Подрывали здоровье, болели, умирали молодыми, в расцвете сил, на пороге новых открытий и обобщений, но это уже у себя на родине.

Может быть, поэтому судьба Натальи Александровны Котовшиковой, ее жизнь и ее смерть привлекают к себе особенно.

Северо-Ямальская экспедиция, отправлявшаяся из Ленинграда 15 июля 1928 года, имела в своем составе трех человек. Как и Чернецов, Наташа была четверокурсницей ЛГУ, только специализировалась в области сравнительной анатомии и антропологии.

Студенты-этнографы двадцатых годов, когда дух революционных преобразований пронизывал буквально все, а уж молодежь-то особенно проникалась им, пожалуй, отличалась большей самостоятельностью, чем их нынешние сверстники. Наверное, еще и потому, что кадров для работы на национальном Севере не просто не хватало, их не существовало.

Во время своих первых практик будущие этнографы работали учителями в интернатах, которые они сами же и организовывали, секретарями ревкомов, инструкторами по туземным делам. Но, конечно же, все это параллельно с исследовательской работой.

За плечами Котовшиковой и Чернецова было участие в Полярной переписи 1926—1927 годов. Журнал «Этнограф-исследователь» особо отметил это:

«В особенно трудных условиях приходилось студентам-этнографам работать на северных окраинах, куда вообще не было желающих ехать на перепись, особенно таких, кто бы знал туземную жизнь и язык. Студенты Чернецов, Каминский и Котовшикова работали у вогулов и остяков».

Я цитирую дальше журнал «Этнография»: «Все, знавшие Наталью Александровну, всегда поражались ее исключительной энергии и тому упорству, с каким она работала. Благодаря своей живости и общительности, Наталья Александровна с совершенно исключительной легкостью и непосредственностью подошла к самоедам и добилась с их стороны такой откровенности, до какой другие этнографы не могли прийти и за много более длительные сроки».

Случайно ли, что и вторую практику Валерий и Наташа проходили вместе? Может быть, они узнали деловые качества друг друга во время переписи на Северном Урале. Возможно, между ними существовало нечто большее, чем студенческая дружба.

Северо-Ямальскую экспедицию организовало Ленинградское филиальное отделение Комитета Севера (под научным патронатом профессора В.Г. Богораз-Тана).

А субсидировали Центральное конвекционное пушнозаготовительное бюро, Росгосстрах, Уралгосторг и научно-исследовательская секция Комитета Севера. Перед экспедицией был поставлен целый комплекс задач.

Научную программу составил Богораз и студенты-северяне из семинарии культуры Полярного круга Ленинградского восточного института. Особое внимание уделялось изучению фольклора, «анализ которого, — по мнению Богораз, — может дать совершенно новые данные для изучения более древнего быта самоедов и, возможно, даст какие-нибудь указания связи их современной культуры с культурой палеоазиатской».

Так что стоянки древних тундровиков «планировались» еще в Ленинграде.

Консультировали отправляющихся на Ямальский Север студентов-практиков целый ряд известных специалистов.

Этнографы того времени не признавали кратковременных наездов в «поле». Исповедовалась теория «этнографического года» — «лето плюс зима плюс лето». Котовщикова, Чернецов и Ратнер собирались пробыть на Северном Ямале 13 месяцев. Это позволило им исследовать полный годовой хозяйственный цикл, проследить временные охотничьи сезоны.

Из Архангельска на восточный берег Ямала к мысу Дровяному экспедицию доставил знаменитый ледокол «Малыгин». Дровяной, хотя от него до ближайшей госторговской фактории было почти 800 километров, считался «местом относительной оседлости». Проводника прислали обдорские власти — Терентьева. Коми по национальности, он хорошо знал ямальских ненцев, был грамотен.

Всю зиму велась целеустремленная работа. Участники экспедиции разделились, наметили маршруты, каждый работал самостоятельно. Им пришлось испытать все «прелести» северного путешествия: дымные, грязные жилища, вшей, невозможность вымыться в бане, непривычную и часто грязную пищу, скуку долгих дорог, страшные морозы, которые летом сменяются не менее страшным бедствием — комарами.

К весне экспедиция перебралась с востока полуострова на его западное побережье, туда, где Чернецову предстояло сделать свои сенсационные открытия. Но это произошло летом. А весной экспедиции предстояло пережить самые тяжелые дни. Что же произошло в безлюдной тундре?

Уже вернувшись в Ленинград, Чернецов опубликовал некролог, в котором освещены обстоятельства гибели Наташи. 10 мая экспедиция в полном составе собралась в чуме Няноге Вэнога. Обсуждался план работы на ближайшие недели. Ратнер отправлялся к проливу Малыгина для стационарных наблюдений. Чернецов наметил маршрут к мысу Тиутей-Сале. Котовщикова с Терентьевым и экспедиционным обозом намеревалась также достигнуть малыгинского побережья, где была намечена встреча с зоологом.

Однако сразу после отъезда Чернецова и Ратнера Наташа вынуждена была изменить маршрут. Подъехавшие оленеводы сообщили, что гидрографическое судно «Прибой», в прошлую навигацию оставившее припасы для экспедиции на западном Ямале, выгрузилось не в устье реки Яды, как обговаривалось заранее, а севернее на 25 километров — у мыса Хэй-Сале. Ей пришлось попросить каюров Тероку и Тэл Вэнонгов держать курс к этому мысу. Терентьев уехал к оленеводам, у которых еще не провел перепись. Найдя оставленный «Прибоем» груз, Котовщикова устроила для себя временную палатку из паруса, сброшенного на нарты. Вэнонгов она отправила с запиской к Ратнеру, где сообщала об изменении маршрута, заметив, что ей нездоровится. Сытые олени, по ее расчетам, должны были преодолеть 50 километров (туда и обратно) за сутки. Но здесь начинается цепь трагических случайностей.

Ратнер, разбив палатку в намеченном месте, проводил зоологические маршруты. Связи с внешним миром он не имел, но напуганная чум пастуха Окоэтто.

Оленевод сообщил ему о болезни Котовщиковой. Константин Яковлевич попросил довести его до Хэй-Сале, или, по крайней мере, указать дорогу — до Наташиной палатки было не более трех десятков километров. Но пастух спокойно заверил его, что завтра за Ратнером приедет Тероку. Однако каюк не приехал, а на следующий день поднялась страшная, обычная в этих местах, июньская пурга. Ее сменил шедший с моря густой туман. Четверо суток зоолог не мог выйти из палатки. На пятый день появился оленевод Еволе Ядне, с Наташиной запиской. Ратнер торопил пастуха, но тундра набухла от бурно таявшего снега. На глазах вздувались тундровые речушки, которые приходилось объезжать, делая многокилометровые зигзаги.

Когда упряжка остановилась у парусиновой палатки, Ратнер не нашел там никого. Котовщикова лежала на снегу, отойдя от своего последнего пристанища шагов тридцать.

Признаки цинги она почувствовала в начале июня. В полевом дневнике появились записи, что у нее озноб, набухают десны, порой судороги. Однако присутствия духа она не теряла и даже правила упряжкой. Рядом с жалобами на нездоровье в дневнике — отличное описание местного тюленьего промысла, которое сделало бы честь любому этнографу.

«Очевидно, смерть застала ее внезапно, — писал Чернецов, — и, идя, она упала, чтобы больше уже не встать. В палатке лежала сумка с дневниками Н.А., а когда впоследствии растаял снег, мы нашли письмо, в котором она прощалась с нами, уже не надеясь увидеться. Среди дневников были найдены еще письма, адресованные ее родным, а в одной из тетрадей она, обращаясь ко мне, писала, что старается привести в порядок записи, чтобы я мог разбраться в них после ее смерти».

Какое завидное мужество, какая отвага в последнем завещании погибающей исследовательницы!

...Мне пришлось читать письма замечательного советского североведа ленинградца Григория Вербова. Доцент-доброволец воевал у стен родного города. Но мысли о любимой науке не покидали его. В письмах с фронта своим студенткам (которые в те трудные годы считали, что не дело сейчас заниматься этнографией) он приводил в пример Наталью Котовщикову, ее преданность науке до конца, до смертного своего часа.

Недавно томская исследовательница Надежда Лукина опубликовала «Дневники, реальные записи и отчеты» В.И. Чернецова, в том числе и две тетради дневников 1928—1929 гг. «Ямал». О Наташе Котовщиковой там немного: коллеги работали довольно автономно, и молодых исследователей интересовали ямальские ненцы, а не они сами. Записи Чернецова открываются страничкой 17 июля 1929 г. Они многого не добавят, но — реальное свидетельство.

«17 июля 1929 года чум самоеда Сейко Ямал, близ р. Тамбей, п-ов Ямал. Присутствующие самоеды, свидетельствуя свои слова приложением личной тамги, рассказали следующее. 15 июня 1929 г. самоеды Тероку и Тэл из рода Вэнонга вывезли сотрудника Северо-Ямальской экспедиции Комитета Севера Наталью Александровну Котовщикову, против ее желаний, на побережье пролива Малыгина, на мыс Хэй-Сале к имеющемуся там береговому знаку. Тероку Вэнонга должен был на другой день выслать оленей за сотрудником экспедиции К.Я. Ратнером, жившим в это время на Пэндури-сале (на карте — Яды-сале). Тероку Вэнонга, однако, за Ратнером не выехал, и за ним при-

ехал значительно позже (точно срок установить нельзя, так как произошла сбивка в счете дней на несколько суток) Сероки Вайнуга. Прибывший на другой день К.Я. Ратнер нашел Н.А. Котовщикову уже мертвой. Вывезя уже больную Н.А. Котовщикову, Тэроку и Тэл Вэнонга не позаботились даже о том, чтобы приготовить для нее дрова, хотя знали, что топора у нее не было, и не помогли соорудить палатку.

Прошедшие годы не стерли нашу память о молодой, отважной полярной исследовательнице. И это прекрасно. Помним мы, будут помнить нас.

...При случае я разыскал в Салехарде скромного капитана Горелова. Полярный волк — 30 арктических навигаций за плечами! — но Юрий Сергеевич не производит впечатления бывалого полярного морехода. Скорее... Впрочем, зачем обижать человека неуместными сравнениями — в работе я его не видел.

У него была давнишняя мечта. 15 лет он ее вынашивал. Приятно, что я к гореловской мечте причастен. Полтора десятка лет назад в салехардской газете «Красный Север» капитан прочел мои заметки о Наталье Котовщиковой, загрустил, что мы не помним своих арктических героинь, и дал себе обет (зарок? обещание?), да пообещал себе, что обязательно Натальину могилку найдет.

Случай представился только недавно. Гидрологическое судно «Фиорд» почти на всю навигацию остается без профильной работы — Обская губа заметно попритихла после недавнего ямбургско-ямальского оживления: мало судов — негусто работы у гидрографов. «Фиорд» (бывший сухогруз «Беломорский») подрядили на перевозку стройматериалов, продуктов, угля на Енисей и Гыдан. Это, понятно, не по профилю, но интересно и все еще престижно, да и деньги платят.

Возвращаясь с Гыдана, капитан «Фиорда» «придумал» штормовую обстановку (хотя 14 морских метров гляделись вполне прилично), чтобы забежать на отстой в пролив Малыгина. От пролива до искомого мыса Хэй-Сале совсем недалеко.

Спустили бот, и пяток моряков двинулись к ямальскому «материку». Здешний высокий берег усеян выветренными песчаными холмиками: на них местные ненцы ставят слопцы на песца. Горелов искал место одинокой могилы по лонии Сергеевского, но эти доски-слопцы вводили в заблуждение.

Вроде могилка... Но снова на выветренном бугре — слопец.

Недалеко от современного судоходного знака, замаявшись и теряя надежду, под сгушающийся вечер, могилку, наконец, обнаружили. На деревянных колышках — поржавевшие цепи. Но старая латунная табличка на столбике-обелиске читалась четко: «Здесь похоронена Наталья Александровна Котовщикова — начальник Северо-Ямальской экспедиции АН. 1928—1929 гг.».

Не даты жизни, а срок экспедиции.

Стоял конец сентября. Низкое небо, пасмурный вечер. Конец Ямала. Край света.

Одиноко здесь живому человеку.

Пустынно мертвому.

— Да, не ухожено... — только и молвил Горелов.

Они вернулись на «Фиорд» и сразу начали варить металлическую оградку.

Назавтра на бот набилась уже дюжина моряков. С инструментом, с лопатами. Нарыли могильный холмик, обложили дерном, поправили обелиск, поставили оградку.

Постояли...

Винчестера с собой не было, помянули традиционно:

— Земля — пухом, Наталья Александровна.

Суровые мужики!

Что им давешняя этнография и погибшая Наталья?

Скромняга и работяга капитан Горелов — человек настырный.

Будет на Натальиной могилке нормальный памятник. Может, из металла, а лучше — памятный камень.

Женское мужество обрамляется в верность мужской памяти.

Думаю, таких людей — особенно по нынешним временам — не бывает. Вроде даже не должно быть. Но они есть. Капитаны Гореловы — категория непреходящая. Это — Россия...



В жизни всегда есть место для открытий

Я хотел бы вспомнить о двух открытиях, связанных с нашими краями.

Сначала вспомним тех, кто стоял у истоков газового могущества России, Тюменской области.

Шесть десятилетий назад в «Вестнике Западно-Сибирского геологического управления» была опубликована большая статья инженера-геолога В.Г. Васильева «Геологическое строение правобережья реки Оби от устья реки Иртыша до города Салехарда (Обдорск)». Статья была написана по материалам полевых экспедиций, проводимых с начала 1934 года трестом «Востокнефть». Основные маршруты геологов пролегли по территории Остяко-Вогульского национального округа, в который в ту пору входил и нынешний Шурышкарский район.

Начинать приходилось практически с голого места. Геологов, исследователей, особенно на севере изучаемого региона, не бывало. Начиная свою статью, Васильев вынужден был заявить: «Хорошей топографической основы для проведения геологической съемки в северной части Западно-Сибирской низменности не имеется».

Экспедиция пользовалась сорокаверстной картой, которая была составлена еще в 1908 году. А для района Нижнего Приобья вообще приходилось обходиться лощиями и лощмейстерскими картами.

Экспедиция Васильева обнаружила несколько выходов нефти, причем впервые в северных районах проводилось бурение, правда, оно было мелким, самые глубокие скважины не превышали полсотни метров.

О поисках на юге Ямала Васильев сообщал: «Нижнее течение Оби сложено преимущественно террасовыми отложениями. Начиная с широты села Мужы, на ледниковые отложения основных террас налагается слой плитчатых глин мощностью до четырех метров, перекрываемый толщей песков; по своему габитусу они более всего подходят к морским отложениям...».

Экспедиция Васильева важна даже не своими практическими результатами. Геолог, анализируя данные орогидрографии, минералогический состав мезо-кайнозойских рыхлых отложений, палеогеографические данные, построив схему стратиграфического разреза, конкретно подтвердил смелое предвидение академика Ивана Михайловича Губкина о нефтеперспективности территории «восточнее Урала». Позднее в своей книге «Геологическое строение северо-западной части Западно-Сибирской низменности и ее нефтеносность» Васильев так сформулировал эти выводы: «Приведенные данные показывают, что нефть и во всяком случае горючий газ в недрах Западно-Сибирской низменности есть. Широкий фронт геологоразведочных работ, проводимых в Западно-Сибирской низменности, несомненно, в ближайшее время превратит ее в одну из нефтеносных областей Советского Союза».

Но прогноз прогнозом, оптимизм оптимизмом, а ведь открытия были еще впереди. Поэтому симптоматично, как заканчивает свою книгу один из первых сибирских геологов-нефтяников. Размах геологоразведочных работ требовал больших средств, риска и упорства.

«Спрашивается, есть ли для такого риска основания? — задается вопросом Васильев и отвечает: — На этот вопрос при современном знании района мы должны ответить утвердительно».

Да, требовались еще годы напряженной работы, чтобы рискованный поиск превратился в «открытие века».



Секретный ВОЯЖ ВОЖДЯ

Как известно, «Сибирь не понаслышке» знали первые вожди Октября: и сам Владимир Ильич, и Лев Давыдович Троцкий и Иосиф Виссарионович Сталин. Шушенское, Березово, Нарым, Туруханск — этапы сибирского пути. Однако сибирская ссылка явно не заставила их полюбить наши вольные просторы, чудесные края.

На Сибирь они смотрели однобоко. Явно.

Победив в гражданской войне, Ильич не успокоился.

Завет Ильича, в отличие от других, был блестяще выполнен. В богатой Сибири богатых крестьян не стало. Царский колониализм тускнел перед ленинским, как в оккупированной стране, каких-то сибирских интересов для него никогда не существовало.

Столь же бесцеремонна и бескомпромиссна сибирская позиция другого творца Октября — Льва Троцкого.

Ежегодник «Северная Азия» в 1927 году опубликовал речи тогда уже почти опального, но все еще влиятельного, легендарного победителя в гражданской войне, в то время уже просто сотрудника наркомата Льва Давыдовича Троцкого. Перед этим он побывал в Сибири и особенно темпераментно выступал перед большевиками Новосибирска: «Перевод Сибири на советские рельсы... означает в первую голову экспорт неисчислимого сибирского сырья... Раздаются голоса, что сибирское сырье надо-де вывозить поэкономнее, ибо оно самой Сибири будет необходимо для «индустриализации». В корне ложная постановка вопроса!».

Понятно, никакой это не троцкизм, а последовательно-империалистическая позиция большевистских властителей Московского Кремля.

В темной биографии еще одного невольного сибиряка Сталина сибирская поездка 1929 года — одна из самых зашифрованных, скрываемых. Кажется, сам вождь стеснялся ее вспоминать. Хотя... если знать его характер, вполне мог бы гордиться: ведь все свои зверства он умел преподносить как благодеяния.

Честно говоря, трудно понять, почему эта поездка была столь законспирирована, что спустя шесть десятков лет историкам приходится по крохам собирать доказательства, что визит состоялся, и Сталин действительно посетил Барнаул, Новосибирск, Омск, Рубцовск, Красноярск. Конечно, Сталин любил подпустить секретной таинственной многозначительности, афишировал свои действия не сразу, но рано или поздно его многочисленные биографы обсасывали каждый факт и фактик. Сибирский же вояж не афишировался и сразу, и потом почему-то прочно и последовательно забывался.

Может, сам Сталин не придавал ему важного значения? Вряд ли? Это была своеобразная, сибирская репетиция перед массовой коллективизацией и всесоюзным походом против отечественного крестьянства. На порог уже стучался 1929-й — год великого перелома, год, когда большевики начали переламывать хребет российскому хлебоборбу, кормильцу России, окончательно и бесповоротно. Год, который и ныне все еще икается над голодным столом удрученного обывателя бывшей Страны Советов.

Это была важная поездка, потому что Сталин резко менял свои позиции, обходил своих оппонентов, перенимал их концепции.

Видный троцкист, сосланный в Барнаул, Сосновский писал своему патрону: «Упразднение нэпа в деревне — кому из нас могло это прийти в голову даже в горячке дискуссий? А ЦК все это осуществил».

Некоторые историки партии считают, что 1928—1929 — это время контрреволюционного переворота, время, когда были преданы забвению справедливые идеи Великого Октября.

Скорее это не так, и Сталин действительно верный ленинец, продолжатель его дела, но не дела нэпа, а принудительного социализма. И, наверняка, сибирская поездка сыграла в его повороте немаловажную роль. Почему он решил забыть о ней? Пока это остается военной тайной.

Но мимо одной аналогии пройти трудно. Жестокая политика Ленина в отношении сибирского крестьянина породила ишимское народное восстание 1921 года. И перед началом нового крестьянского перелома очередной коммунистический вождь для генеральной репетиции избрал сибирские подмости.

В Сибирь ехал не генсек, ехал особо уполномоченный жандарм с единственной целью: выжать из сибирского крестьянина все, чтобы прокормить прожорливый центр и удержаться у власти в голодающей стране.

Хлебозаготовки тогда решали: удержатся ли большевики в Кремле.

Как смерч пронесся генсек по сибирским городам и весям.

— Крутой! — летела о нем молва. — Он нас всех тут разгонит.

Лексика у генсека, прибывшего в Сибирь в бронированном вагоне, была фронтовая:

— Сейчас кулак оскалил зубы. На удар кулачества по хлебным ценам партия должна ответить контрударом.

Борьба с собственным народом не прекращалась, хотя после гражданской войны уже прошли годы и можно было успокоиться.

— Частник и кулак, используя благодушие и медлительность наших организаций, прорвал фронт на хлебном рынке... Чтобы восстановить нашу политику цен и добиться серьезного перелома, надо арестовать спекулянтов, кулачков и прочих дезорганизаторов рынка и политики цен.

Если крестьянин уже считался потенциальным врагом, партия решила не жалеть и «своих».

— Решили нажать зверски на наши парторганизации и послать им жестокие директивы.

Таков стиль партийных циркуляров, подписанных Сталиным.

Местные держатели кремлевской власти явственно услышали щелчок партийного кнута и, как это было принято, побежали впереди карательного паровоза.

Новосибирский наместник ВКП(б) Сырцов, кстати, позднее пролезший в российские премьеры на костях сибирских крестьян, предвзято ставил визит, торопился рассылать свои циркуляры:

— В целях преодоления сопротивления кулачества сдаче хлеба, ликвидация выжидательных настроений мощных слоев деревни, намеревающихся использовать хлебные затруднения для спекуляции, взвинчивания цен, для укрепления своих позиций, предлагается в главных хлебозаготовительных районах, особенно там, где плоха заготовка, наметить несколько заведомо кулацких хозяйств и привлечь к ответственности как злостных спекулянтов.

Ретивый начальник ОГПУ тут же распорядился:

— Приступить немедленно!

Кстати, ОГПУ стало активным участником этих «хлебозаготовок».

Во всех этих реляциях часто встречается слово «кулак», и мы, по привычке наверняка не испытываем особой симпатии к этим классово-чуждым элементам. Но для большевистских функционеров это была не более чем кличка для обозначения всякого кормящего себя и свою семью крестьянина. Борьба развертывалась не против какого-то исключительного богатея, а против крепкого крестьянина, сельского гражданина большевистского отечества.

— Мы в деревне ведем классовую политику, — разъяснял Сталин узкому партактиву в Рубцовске. — Кто думает, что нэп означает не усиление борьбы с капиталистическими элементами, в том числе с кулаком, а прекращение борьбы, тому не место в партии.

К чести сибиряков, среди местных партруководителей было немало таких, которые хотели бы руководствоваться здравым смыслом, те, кто поверил и принял нэп партии.

С такими Сталин проводил «крупные разговоры», «усиливал нажим».

На сибирских пространствах начала укореняться атмосфера страха.

«Хорошие вы ребята, сибиряки, — осадил рубцовских руководителей, встретивших генсека аплодисментами, — дружно руками шлепаете, а работать не умеете».

Простенький вроде эпизод, но еще раз вождь все поставил на место: сибирякам самим умом не прожить, хорошо работать их научит только партия и центр.

Пробыл Сталин в Сибири недолго, что-то около двух недель, сумел нагнать страху, увидел верноподданническое послушание местных партийных бонз, сделал вывод для себя: страх — верное оружие партии. Сибирская репетиция, как видно, удалась, можно было начинать крупномасштабный, великий перелом крестьянского хребта России.

Сразу после сталинского вояжа местные парторганы получили весомую поддержку — циркуляр.

— Более целесообразно вести дела всех арестованных кулаков в судебном порядке... и вне очереди.

Лидер сибирских коммунистов Роберт Эйхе не замедлил тут же откликнуться:

— Считаю совершенно необходимым распространить меры нажима на кулаков на все восточные округа.

Карательная машина запускалась на полные обороты.

«Землю — крестьянам» — было написано на лозунгах Октябрьского переворота.

Крестьянин получал право... На арест вне очереди.

Во всем мире, да и в России до этих лихолетних годов своего кормильца уважали, ценили. Нет замены крестьянской любви к земле, крестьянскому плодотворному поту. Не приказ, не директива, не кнут — движущие мотивы его вдохновенного земледельческого творчества.

По существу, именно в эти годы и стал изживать себя российский земледелец. На его месте по большевистскому хотению так никто, пожалуй, и по сию пору не родился.

Понятно, что в те годы Сталин еще не был всемогущим, и не только робкие протесты провинциалов мог выслушивать. Оппозиция его дерзновенным замыслам существовала и в Политбюро.

Итоги «сокровенного» сибирского вояжа так и не были оценены однозначно положительно.

Хорошо информированный «Социалистический вестник» меньшевиков-эмигрантов опубликовал в 1928 году короткую заметку:

«Конечно, со Сталиным и в самом Политбюро ведется борьба. По возвращении из Сибири произошел даже в заседании Политбюро острейший конфликт между ним и Рыковым, закончившийся тем, что Рыков, хлопнув кулаком по столу и испустив истинно русское ругательство, покинул заседание. Кстати, причиной конфликта послужило намерение Сталина произвести обширнейшую чистку партийного и советского аппарата в Сибири, намерение, которое ему из-за сопротивления в Политбюро осуществить не удалось».

Ничего, добавим от себя: Сталин — терпеливый человек, он еще найдет время провести чистки и в Сибири, и где угодно, и с товарищем Рыковым тоже. И с товарищем Сырцовым — того подвел строптивый сибирский характер: мог проявить ретивое послушание, но не всегда. Иногда думал. Когда думал — действовал, как мыслил. А вождь этого не любил и таких мыслителей не терпел.

Сталин принципиально ничего нового в отношении Сибири не изобретал. Как Ленин, как Троцкий, он полагал, что великое предназначение Сибири — безвозмездно кормить прожорливый центр, подпитывать хлебушком, лесом, нефтью, алмазами бесперспективно тупиковые идеи большевизма.

Об этом можно было бы и не вспоминать, но ленинско-сталинские идеи, как ни парадоксально, живы до сих пор, живы и процветают.



Сибирь несломленная

И вдруг среди ржаво-желтых бумаг, среди корявых — тюремной казенщины — оборотов, не особо грамотным следователем заполненных бумаг, среди тюремного канцеляризма мелькнет этот перл:

Сибирь — сердце мира.

Если верить сегодняшнему литературоведению, антисталинские стихи писал исключительно Осип Мандельштам, знаменитые свои строки про «кремлевского горца».

Боюсь, что это не так, мы по-прежнему ленивы и нелюбопытны и, превознося гражданскую смелость одного, уже не вглядываемся в его современников.

Вот что, к примеру, можно узнать из рассказов Павла Васильева. Время действия то же самое — начало тридцатых годов: «Придя к Анову в редакцию «Красная новь». Анов, указав на вывешенные на стене шесть условий тов. Сталина, сказал: «Ко мне не придерешься. Я вывесил 6 заповедей. Сталин пришел, как Моисей с горы Синай. А в общем-то, не стоит выеденного яйца. Вот напиши и зарифмуй эти заповеди». Я тут же сел и сразу написал и показал Анову. Последний захохотал и сказал: «Здорово! Хорошо!».

А вот и васильевская эпиграмма-экспромт:

*О, Муза, сегодня воспой Джугашвили,
сукина сына.*

*Упорство осла и хитрость лисы совместил он умело.
Нарезавши тысячи тысяч петель,
насилом к власти прокрался.*

*Ну что ж ты наделал, куда ты залез,
Расскажи мне, семинарист неразумный!
В уборных вывешивать бы эти скрижали...
Клянемся, о вождь наш, мы путь твой
усыплем цветами*

И в жопу лавровый венок воткнем.

В этой истории поражает обыденность и мимоходность. Два молодых литератора, не прячась, прямо в редакции правоверного советско-

го журнала «Красная новь», не таясь, высказывают свою ненависть к «вождю народов», и один тут же зарифмовывает сталинские заповеди тяжеловесным гекзаметром, другой записывает, не конспирируя.

Молоды и бесшабашны?

Не понимают опасности?

Прочтешь эти откровения и подумаешь: писание эпиграмм на вождя в начале тридцатых за особый риск не считалось. И автор на первый раз отделается легко — его отпустят из-под стражи, предписав, правда, невыезд за пределы Москвы. Потом его, понятно, все равно расстреляют, но это будет уже в страшном 37-м. Эпиграмма же сохранится в архивах НКВД.

«Сибирской бригадой» называли себя шестеро московских писателей, урожденных сибиряков: Николай Анов, Павел Васильев, Леонид Мартынов, Сергей Марков, Евгений Забелин, Лев Черноморцев.

Надо признаться, у меня такое ощущение, что в махине социалистических репрессий нашей Сибири была отведена какая-то особая роль: репрессии против отечественного крестьянства начались после ишимского восстания, а после поездки Сталина в Сибирь началась кровавая эпопея раскулачивания. Крупным репрессиям в литературной среде предшествовало... дело «Сибирской бригады».

Опробовали, одним словом, на сибиряках: на крестьянах, на поэтах.

«Сибирская бригада» существовала недолго, она возникла нелегально осенью 1931 года, а уже в марте следующего года начались аресты. Считается, что в рядах шестерки был провокатор, но бросать тень недоверия за недоказанностью, пожалуй, не стоит. По существу прощены были двое: Павел Васильев и Лев Черноморцев. Павлу в ту пору шел двадцать второй год...

«Бригада» была нелегальной и антисоветской. Писатели этого не скрывали. Самый старший из бригады тридцатисемилетний Николай Анов, пожалуй, идеолог «бригады», признавался самому молодому — Васильеву: «Трудно поверить, что я когда-то бегал, размахивал винтовкой, готовый укокошить любого представителя контрреволюционной гидры. А сейчас не верю ни во что и как-то вышел из времени. Я не верю в эту петрушку, которую называют социализмом, ни в 6 условий кавказского ишака».

«Кавказский ишак», как нетрудно догадаться, по терминологии несдержанного Анова — Иосиф Виссарионович.

В 1928 году Анов писал, естественно, непечатный роман «Азия». Он не скрывал основной идеи романа и следовательно признавался добровольно: «Азию» я писал со всей душевной искренностью антисоветского человека, и произведение получилось антисоветским... Я хотел показать азиатчину партийного и советского быта. Все плохо, все никуда не годится. Советская система завела страну в тупик. Хорошо при этой системе живет только приспособленцам, жуликам, ворам... «Азию» я писал, если так можно выразиться, кровью сердца. Это были мои убеждения, мои взгляды, мои думы».

Павел Васильев подтверждал: «Анов относился к товарищу Сталину с ненавистью. Называет его разными словами (тупицей, ишаком и т.д.). Считает его злым гением».

Молодые люди в выражениях не стеснялись. Еще один поэт-сибиряк, правда, в «бригаду» не входивший, Михаил Скуратов откровенно говорил Павлу Васильеву: «Большевистская революция назвалась девушкой, но под конец оказалась девушкой испорчен-

ной, проституткой. Если бы поднять крестьян, я посоветовал бы им повесить тело Ленина на посмешище».

Среди членов «Сибирской бригады» существовал своеобразный культ адмирала Колчака. Сергей Марков, Евгений Забелин, Леонид Мартынов посвящали ему не только свои стихи, но и поэмы.

Признание Евгения Забелина: «Я считал Колчака вторым Наполеоном и так к нему относился. Расстрел Колчака был мною воспринят болезненно. Мною была написана в 25-м году поэма «Адмирал Колчак».

Характеризуя Леонида Мартынова, кстати, автора забытой поэмы «Адмиральский час», Павел Васильев подчеркивал: «Талантливейший и честнейший человек. Романтик, считает Сибирь независимым краем. Колчака уважает. Областнические установки».

А теперь об «областнических установках».

Вторым «грехом» после антисоветизма за «Сибирской бригадой» числился сибирский патриотизм.

Наиболее четко сибирские взгляды выражены в протоколах допросов замечательного русского поэта Леонида Мартынова. В архивах НКВД долгие годы были погребены его размышления о роли Сибири. 3 апреля 1932 года молодой Мартынов высказал свое сибирское кредо:

«Новая Сибирь — Сибирь будущего, это прежде всего Сибирь, переставшая быть провинцией, переставшая быть колонией. Это страна, ставшая сердцем мира. Сибирь — все естественные возможности которой развернуты до предела на основе высочайших достижений индустриальной и аграрной техники.

Развертывая все естественные возможности Сибири, новая порода людей превращает ее в высокоразвитую аграрно-индустриальную, экономически самостоятельную страну.

Развитие этой страны даст направление общему развитию всего СССР к Востоку, к Тихому и Индийскому океанам».

Мартынов не признавал неведомого тогдашнему человечеству социалистического пути для Сибири, а предлагал хорошо знакомый — американский. И его мысли, занесенные в протокол допроса, наверное, созвучны сегодняшним настроениям о сибирском пути:

«Смысл разговоров о независимости Сибири заключается именно в том, чтобы обеспечить условия, максимально благоприятствующие развитию всей потенциальной мощи Сибири как по линии природных богатств, так и по линии человеческого материала. Эти условия мною мыслились как обеспечение свободной борьбы свободных предпринимателей и исследователей с дикой мощной природой Сибири на основе применения последних достижений науки и техники, результатом чего должна быть победа и торжество сильнейших».

В своих сибирских пристрастиях члены поэтической «бригады» были единодушны.

Из признаний Павла Васильева:

«На меня действовало все: и антисоветские разговоры, и областнические настроения, «сибирский патриотизм», так сказать.

...Относительно Сибири считали, что она может быть вполне самостоятельным государством — имеет природные богатства: уголь, железо, золото, лес, имеет выход к морю».

В показаниях Евгения Забелина читаем более жесткие формулировки:

«В задачу группы входило отторжение окраин Сибири и национальностей (сибирского). Мы считали Сибирь богатой страной,

своеобразной, могущей занимать особое место в политическом и экономическом отношении. Мы считаем, что Сибири суждено сыграть особую, самостоятельную роль. Отсюда и пропаганда Сибири и сибирского края со всех точек зрения (политической, экономической, экзотической и пр.) в наших произведениях».

Следствие над «Сибирской бригадой» было недлинным, и что может удивить — участники нелегальной патриотической группы, антисоветчики и сибирские патриоты легко отделались. Лев Черноморцев и Павел Васильев за чистосердечностью признаний были осуждены условно, остальные получили по три года ссылки на Архангельский Север, причем за нездоровьем Леонида Мартынова скоро перевели в Среднюю Азию.

Все члены «Сибирской бригады» вошли в историю отечественной литературы XX века, более ярко, менее ярко, но их помнят: и яростного Павла Васильева, и мудрого Леонида Мартынова, и энциклопедического Сергея Маркова. В общем-то более скромное отношение к Николаю Анову, Льву Черноморцеву, Евгению Забелину, но и их знатоки помнят. Правда, каждый из них на несколько лет — больше, меньше — исключался из потока социалистической литературы, но Леонида Мартынова, например, даже государственно признали Госпремией. Бывший антисоветчик не отказался — стояло время поздней «оттепели». Правда, никто из шестерки уже не обращался к фигуре Колчака, антисоветским темам и проблемам сибирской самостоятельности. Смирились. Советско-партийная власть казалась несокрушимой на века.

Впрочем, как знать. Ведь нам позволялось, дозволяется знать только то, что выгодно правящему режиму. Я читал книги Сергея Маркова, Леонида Мартынова, но даже не предполагал, что они пострадали за свои неординарные сибирские воззрения. Может, они возвращались к крамольным темам, но прятали их, может, суровый опыт заставил их забыть опасные увлечения молодости. Но, наверняка, строй сломал их, и как художники, творцы, они уже развивались не свободно и лишь в той мере, как это мог принять режим.

Мы знаем, что ими написано, но — Бог мой! — кто бы мог сказать, что они могли написать.

Что испытываю я, прочтя публикацию документов допросов «Сибирской бригады» в «Нашем современнике»?

Облегчение.

Ведь если судить по официальной истории, почти сразу после гражданской войны на всех просторах страны наступило социалистическое единомыслие. Кроме отдельных «отщепенцев», никто не оспаривал сталинский социалистический выбор. Борьба шла исключительно вроде на уровне тактики: строить социализм по Сталину, по Троцкому либо Бухарину.

Но вот группа молодых людей (а большая часть их жизней приходилась уже на советские годы), оказывается, ищет идеалы вовсе не в официальных теориях и рассуждениях «троцкистских подгослосков», а выбрала себе иные образцы и примеры для подражания. Чувствуется, что это не просто молодая фронда, а продуманная позиция, за которую можно рисковать жизнью. Они существующим режимом не обольстились, не приняли насильственный строй и таким образом продолжили традицию свободомыслия. Сибирь еще долго не была сломлена — показывает и этот пример, она ин-

теллектуально сопротивлялась и не считала навязанное ей единство приемлемым. Они были инакомыслящими и гордились этим. Кто знает, что еще откроют нам архивы НКВД, какие неизвестные «белые пятна», казалось бы, вполне известных событий.

Что привлекло и прельстило меня в этой истории, в этом «деле». Официальная история постаралась сделать вид, что взгляды сибирских областников были позабыты уже на второй день после окончания гражданской войны. Вовсе нет, молодое сибирское поколение живо воспринимало идеи Г. Потанина, Н. Ядринцева, П. Вологодского об особой роли Сибири. Советская власть принялась эти взгляды выправлять и искоренять. И, кстати, добилась на этом направлении заметных успехов. Сибирские областники и их идеи были опорочены, оклеветаны, извращены и на какое-то время забыты, ибо позже публично признаваться в симпатиях к сибирским патриотам было уже опасно для жизни.

Я был знаком с Виктором Утковым, близким другом Леонида Мартынова, и, честно говоря, у меня был шанс порасспрашивать об этих нелегких временах. Но сам я постеснялся задать такие вопросы, как-то не принято и вроде некорректно было интересоваться тюрьмами, ссылками, репрессиями, а сам Виктор Григорьевич, хотя и был искренне расположен, не затеял такого разговора.

Жаль...

Я перечитал мемуары Леонида Мартынова «Воздушные фрегаты», которые этот замечательный мастер, своеобразнейший и утонченный поэт, писал уже на излете своей жизни. Как он обошел трагическую страницу своей жизни? О деле «Сибирской бригады» в мемуарах ни слова. Но вот последняя страница...

Цитирую мартыновские мемуары:

«Мы строители дороги! Старики, что в нас стреляли, уж давно сидят в остроге!» — писал я в другом стихотворении о краях того периода (двадцатые годы — А.О.). И еще в одном стихотворении изображал чалдона, противника советского строительства, так:

*Из чемодана вынув флаги,
Я жду в вечерние часы,
Когда, испив казенной влаги,
Он свесит рыжие усы.
«Что нового?» — он спросит строго,
И я отвечу: «Наркомпуть
Решил железную дорогу
До ваших пастбищ дотянуть!».
Но он взъярится:
«А, паскуда,
В обмен на их фабричный дым,
Наш лес и хлеб, и наши руды
Не отдадим, не отдадим».*

Так сатирически я изобразил степного хозяина. Но ирония либо мне не удалась, либо была слишком тонка, словом, ее не все восприняли, как я задумал, и некоторые критики расценили эти стихи как областнические. Я думаю, что понятно без слов, как мне, яркому поборнику социалистической перестройки Сибири, было горько от таких несправедливых упреков».

Чего здесь больше: лукавства, забывчивости. «Воздушные фрегаты» изданы в 1974 году, когда о какой-то свободе Сибири не только мечтать не приходилось, а надо было забыть даже о давних мечтах, вытравить напрочь.

Или поэт в Леониде Мартынове оказался сильнее, поднимался, слава Богу, над гражданином, и лира его, выражаясь высокопарно, воспела то, что вовсе не хотел сам хозяин, в чьих руках она находилась?

Вижу я здесь и мудрое мартыновское лукавство. В 1974 году, в годы сплошного великодержавного бессмыслия, бывший член «Сибирской бригады», бичуя себя, вроде бы отрекаясь от себя — прошлого, молодого, дерзкого, — с каким особым (можно подумать садистским) удовольствием протаскивает в книгу мемуаров старые строчки, которые не забыл, не вытравил, с которыми хотел бы познакомить своих читателей. Если отрекся, забыл бы напрочь и не старался вспомнить.

В те годы, видимо, по-иному было нельзя вернуться к самому себе.

Продолжу цитирование «Воздушных фрегатов». Мартынов тонко гнет свою линию (умный поймет!):

«Но самое неприятное случилось еще с одним стихотворением, написанным вот по какому поводу: один мой приятель, молодой писатель (мы все тогда были так молоды!) заядлый сибирелюб, приревновал меня к своей невесте. «Какой ты сибиряк! Так сибиряки не поступают — танцевать с девушкой российские танцы!» — воскликнул он, подразумевая только что завезенный из столицы фокстрот, на что я ответил ироническим, даже больше того, издевательским стихом, как мне казалось, пародирующим тираду моего изобличителя: «Не укоряй сибиряка, что он угрюм и носит нож, ведь он на русского похож, как барс похож на барсука! Не заставляй меня скучать и об искусстве говорить. Я не привык из рюмок пить. Я буду мыслить и молчать. Мой враг сидит в конце стола, от гнева стал лицом он сер. Какой он к черту кавалер! Он даже не видал седла. Я у него любовь украл? Таков неписанный закон: чужанок нежных брать в полон и умыкать через Урал!».

(Какие красивые строчки! Какие красивые страсти! А это — «как барс похож на барсука?» — А.О.).

«Я думал, — продолжает Мартынов, — что мой издевательский стих вразумит сибирячише-имяречущего товарища, доходящего в своей провинциальной ограниченности до абсурда. Но вышло так, что этот стих, будучи напечатан и принят не в шутку, а всерьез, обернулся против меня же, дав повод обличать меня в том же самом областничестве. Меня, — следует очередная обязательно-обличительная, но с лукавым подтекстом мартыновская тирада, — который едва ли не больше всех других молодых сибирских литераторов тех времен писал обо всех начинаниях Советской власти за Уралом, как об общегосударственных проблемах!».

Напомню, что эти клятвы верности дает человек, который за поэтические вольности и шутки и ссылался в края не столь отдаленные, и официально проклинал, отлучался от литературного дела и, понятно, не мог без этих, наверняка, ложных клятв говорить то, о чем хотел сказать. Страшное время неправды, мерзкое время для честных людей.

Но, слава Богу, что архивы, пусть даже комиссарско-жандармские, помогли сбересть давнее «дело» и пролить свет еще на одну светлую страницу сибирской истории.



Полярный
поклон
Павла Васильева

*Моя страна, мы встретились опять.
Хранишь ты прежнюю угрюмую дремучесть.
Но я давно уж начал понимать,
Что ждет тебя совсем иная участь.*

*Пускай летят в костер твоей зари,
Твоей тайги смолистые поленья.
Пришельцам ты покорно подари
Пустынных рек холодное кипенье.*

*Шуми, шуми, угрюмый хвойный край!..
Ковер шафранный расстелила осень.
Смелее, ветер, песню начинай,
Перебирая струны сосен.*

Сегодня не время стихов, не та эпоха, как говорится, не то у нее настроение — не лирическое, не поэтическое.

Это еще несколько лет назад можно было бы игриво загадать: узнаете, кто автор?

Стихи сегодня читают редкие энтузиасты, редкие поклонники, и нет резонов впадать в вопросительную игривость.

Павел Васильев.

Конец тридцатых.

Великий поэтический сибиряк. Если, правда, считать, что нынешний Северный Казахстан (Павел родился в Павлодаре) в пору его рождения, в начале века, считался пусть южной, но Сибирью.

Павел погиб в возрасте Лермонтова. Но советская власть не подставляла свою жестяную грудь на дуэлях, она поэтов хладнокровно и беспощадно отстреливала. Было за что... Ведь поэты — сердце народа, сердце всегда болит первым от несправедливости, от утраченных надежд, от безверия.

С 1934 года Тюменская область практически в нынешних границах с двумя национальными округами входила в Обь-Иртыш-

кую, Омскую область, и Павел Васильев, который избрал для себя Омск после Москвы второй своей житейской столицей, связал себя с этими краями.

Расскажу о его путешествии на северную Обь, в Салехард. Последнем путешествии...

В моем салехардском архиве сохранилось письмо жены Павла Васильева Елены Вяловой-Васильевой. Вот что она запомнила об этом путешествии.

«В конце июля или начале августа 1936 года мы с Павлом несколько дней прожили в Салехарде. Павел в этих краях был впервые, и он буквально был поражен нашим далеким Севером. Ему все нравилось там, и многое приводило в восхищение.

Тундра, тянувшаяся на сотни километров, на горизонте которой слабо обозначались горы, как нам сказали, Уральский хребет. Ему нравилось солнце, не спускавшееся за горизонт, ему нравились добрые, приветливые люди, радушно встретившие нас.

В те годы Салехард был небольшой поселок, в центре которого стоял рыбный завод, так его называли. Мы были на нем. Дня через два нас познакомили с человеком, неким Астровым, имя и отчество его не помню. Он оказался очень интересным человеком, не один год прожившим на дальнем Севере. Он был одним из первых, построившим теплицу в Заполярье. Мы были в теплице и поразились величайшим количеством растущих там овощей.

Иногда втроем бродили по тундре. Астров много рассказывал о Севере, его людях, их обычаях. Павел слушал с большим вниманием, иногда переспрашивал и кое-что записывал в свою записную книжку. Однажды мы довольно далеко отошли от поселка, и Астров показал зимние квартиры ненцев. Это глубокие и широкие, вырытые в земле, ямы. Ранней весной оленеводы отгоняли свой стада на летние пастбища, а с наступлением холодов возвращались обратно на стоянку. Ставили чум, застилали мехом, и «квартира» готова.

Когда мы возвращались домой, Павел сразу садился работать, писал он быстро, почти без исправлений, и страницы одна за другой быстро вылетали у него из-под руки. Тогда и было написано им письмо Николаю Николаевичу Асееву, с которым, несмотря на разницу в годах, они дружили. Немало строк было написано Павлом о том крае и о нашей поездке, но, к сожалению, ничто не успело быть напечатанным в связи с арестом и гибелью поэта. (Весь личный архив Павла Васильева был изъят и уничтожен)...

В 1956 году, после 19-летнего отсутствия (тюрьма, лагерь, ссылка), я вернулась в Москву и начала хлопотать о посмертной реабилитации Павла, попутно и о своей, а также о восстановлении его в членстве Союза писателей. Прошло все довольно быстро, здесь мне много помог Иван Михайлович Гронский, бывший главный редактор «Известий». Вскоре после реабилитации имя Павла Васильева появилось в печати...

22 декабря 1986 года. С уважением Е. Вялова-Васильева».

В канун нового 1987 года оно меня, как говорится, удовлетворило, и я счел, что этих сведений о поездке Павла Васильева в город на Полярном круге вполне достаточно. Однако недавно в альманахе «Омская старина» натолкнулся на исследование Сергея Поварцова о последних днях Павла: по документам советской охраны немножко там снова было и о путешествии на северную Обь.

«...Погостив у родителей, Васильев с женой отправились на теплоходе вниз по Иртышу. Добрались до Салехарда.

Знакомый капитан в Салехарде пригласил чету Васильевых с последним рейсом парохода на остров Диксон. Казалось бы, самое время согласиться и быть подальше от Москвы. Там 19 августа начался процесс над Зиновьевым и Каменевым, и прошли первые аресты «врагов народа». Но «как я ни уговаривала Павла поехать и перезимовать там, — вспоминала потом Елена Александровна, — он не согласился». В первой половине сентября Васильевы возвратились в Москву».

Трагическая судьба Павла, повествование о жестокостях, с какими расправлялась с ним власть большевиков, заставили вспомнить о рекомендации Е.А. Вяловой-Васильевой обратиться к С.Н. Поварцову. Ответ не заставил себя ждать.

«Уважаемый Анатолий Константинович, посылаю Вам мой старый материал, где есть несколько фраз о Салехарде. И письмо к Асееву. Помнится, что когда мы снимали «Родительницу-степь», Елена Александровна рассказывала о посещении вместе с Павлом Дома колхозника в Салехарде. Кажется, этот фрагмент попал в ленту. А оценка простая: пока ждали обед, П.В. написал на бумажной скатерти стих. экспромт, за что его сильно пожурил официант. Вот и все.

С наилучшими пожеланиями.

Ничего другого о Салехарде я не знаю».

В воспоминаниях Е.А. Вяловой, опубликованных Поварцовым, есть некоторые подробности, наверняка небезыңтересные. Она их заканчивала в сентябре 1984 года.

«Пароход иногда приставал к берегу, чтобы набрать топливо — дрова. Тогда мы спокойно ходили по тайге, поражались могучим деревьям: соснам и особенно кедром в несколько обхватов, у подножия которых валялись упавшие зрелые шишки. В Тобольске пароход стоял три часа. Мы пошли осматривать город. Знаменитый кремль-крепость, Строгановские палаты, их кладовые, где хранились богатства.

Вскоре Салехард. Там мы прожили дней десять. Осмотрели большой рыбный комбинат, часто ходили в тундру, осматривали зимние «квартиры» ненцев. Там мы познакомились с одним интересным человеком, неким Астровым, который в Заполярье разводил в теплицах цветы и выращивал овощи. Однажды он пригласил нас к себе. Мы шли тундрой, и вдруг он говорит: «Посмотрите под ноги, мы идем по березовому лесу». Каково же было мое изумление, когда я под ногами увидела маленькие, четверти в две, березки и на них сережки...

Как-то на пристани мы встретили знакомого капитана, он со своим пароходом уходил в последний рейс на остров Диксон. Предложил поехать с нами и, как я ни уговаривала Павла ехать и перезимовать там, он не согласился».

А что же писал знаменитый Павел Васильев не менее тогда знаменитому Николаю Асееву, да не откуда-нибудь, а из Сале-Харда — тогда название города писали через черточку: Сале-Хард.

«Николаю Асееву.

Здравствуй, дорогой Николай Николаевич!

Пишу Вам из Сале-Харда (б. Обдорск). На днях выезжаю в Новый порт — это за Полярным кругом. Здесь страшно много ин-

тересного. Пишу залпами лирические стихи, ем уху из ершей, скучаю оленье рога и меховые туфли в неограниченном количестве.

Как видите, не могу удержаться от того, чтобы не послать Вам и Ксане мои приветы и низкие поклоны. Я страшно Вас люблю и часто вспоминаю.

Пробуду на Севере аж до зимы. О Москве покамест, слава Богу, не скучаю. Как здесь хорошо и одиноко! А люди, люди! Вот уж подлинно: богатыри — не мы.

За несколько недель здешняя спокойная и сурьезная жизнь вдохнула в меня новые силы, здоровье и многие надежды.

Месяца, поди, через полтора увидимся, и я вновь с бо-о-льшим удовольствием пожму Вашу хорошую золотую руку.

До свидания, дорогой Николай Николаевич!

Павел Васильев.

1936 год. 14 августа. Сале-Хард.

Привет супругам Кирсановым. Что Вам привезти в подарок?».

Привез ли Павел полярный подарок Ассеву, уже неизвестно: в Москве его сразу же заграбастал НКВД. Лучше б уж махнул на Диксон... Хотя руки у энкаведешников были везде и длинные. Но это письмо как полярный поклон. Последний поклон.

В подвалах Лубянки, как свидетельствуют опубликованные С.Н. Поварцовым документы НКВД, Павел Васильев не всегда мог вести себя достойно...

Но в своих стихах он не умел врать, и эта поэтическая искренность и была его главной виной.

*...Коровы и лошади, вот те крест,
Морды свои вытянут ко мне,
кончай, мол.*

*Кому же надобен мой разор,
Неужели не жалко
Хозяйства такого?
Что я, лиходея, разбойник иль вор?
Я еще надобней
Кого другого.*

Павел ошибался насчет «надобней кого другого».

Он пришелся не ко двору эпохе, беспощадной эпохе, которой требовались исполняющие винтики, а не раненые сердца, обнаженной своей плотью ощущавшие грубую и лживую суть времени.



ГУЛАГовские тайны Усть-Полуя

Странно, но ко всем событиям 1946 года я отношусь с особым вниманием. Наверное, потому, что я в этом году родился, и, видимо, человека должно волновать, что же происходило на окружающей земле, когда он появился на этот замечательно неповторимый белый свет.

Речь о крупной археологической сенсации 1946 года. События происходили в городе Салехарде, который в те годы еще помнил свое давнее имя — Обдорск.

Именно там в первый послевоенный год оказался замечательный русский ученый, этнограф и археолог Валерий Николаевич Чернецов.

Полевой сезон 1946 года для Валерия Николаевича оказался «усть-полуйским». Сибирское средневековье — область для него, в общем-то, случайная, а вот древними усть-полуйцами он интересовался давно, это предмет его пристального внимания. В то первое послевоенное лето он и припоздал несколько в желаемую Мангазею, потому что его задержали раскопки в Салехарде, на усть-полуйском городище. Об Усть-Полуе археологи слышали еще в 1935 году, когда из Салехарда вернулся руководитель полевой разведочной экспедиции, снаряженной в стенах Зоологического института АН СССР, В.С. Адрианов. Отряд успешно выполнил программу исследований. У Адрианова было к тому же поручение от института антропологии и этнографии, который решил воспользоваться «оказией» и дал необходимые средства и инструкции для производства раскопок. Так зоолог стал автором настоящей археологической сенсации. На высоком берегу впадающего в Обь Полуя, примерно в пяти километрах от здешнего речного порта, было выбрано место для земляных работ. Выбор был неслучайным. Синоптик местной метеорологической станции Е.И. Жилин, копая погреб для дома, обнаружил следы культурного слоя, в котором нашел поделки из оленьей кости, металла, бронзы, обломки керамических изделий. Глубокая древность находки не вызвала со-

мнений, поэтому синоптик и поспешил поставить в известность специалистов, а когда они приехали, деятельно помогал им.

Адрианов интуитивно понял, какая удача ему подвернулась: усть-полуйские находки, как он писал, «открывают совершенно новые перспективы в изучении Севера».

Но если понятия «Усть-Полуй», «усть-полуйская культура» вошли во все хрестоматии по археологии, то в этом прежде всего заслуга Чернецова, который просмотрел и проанализировал все 12000 находок, привезенных Адриановым в Ленинградский музей археологии.

Но Чернецов не был бы Чернецовым, если бы самолично не побывал в этом археологическом «заповеднике». Он не без основания сомневался, что в таком удобно возвышенном месте при слиянии двух крупных рек могла существовать лишь одна древняя стоянка. И не ошибся — обнаружил несколько археологических памятников и могильников на Ангальском мысу и по берегам речушки Шайтанки. Естественно, «гвоздем» поискового сезона были раскопанные остатки крупной бронзолитейной мастерской. На дневную поверхность были извлечены формы, модельки, много литейного брака — все это свидетельствовало о высоком уровне металлургического производства усть-полуйцев. А резные вещи с изображением животных и птиц, обнаруженные в жертвеннике на Ангальском мысу, Валерий Николаевич сразу отнес к художественным произведениям мирового масштаба.

Стоял июль, солнце не закатывалось над Северным полярным кругом. Археологи перепутали день с ночью. В их бараке постоянно кипел самовар, и, попив крепкого, по-северному заваренного чайку, они выходили на раскопки в любое время. Комаров и мошки было невероятное количество, а растаявший культурный слой благоухал не совсем культурно. У раскопок постоянно толклись местные жители, прослышавшие о «богатом кладе», давали советы. Мальчишки не уходили с раскопок даже ночью.

В культуре усть-полуйцев было немало того, что роднило их с современниками, жившими за Уралом, на Каме, в верховьях Оби и Иртыша, по Енисею. Имелись материалы, связывавшие их с эскимосами дальневосточного побережья, юкагирами колымской тайги. Усть-полуйцы — ближайшие предки ненцев, манси, ханты и звено, связующее эти северные племена. «Место это, — писал Валерий Николаевич, — благодаря исключительно удобному положению: на границе леса и тундры — было обитаемо и раньше, задолго до нашей эры. Не было оставлено оно и в дальнейшем. В продолжение почти целого тысячелетия устье Полуя являлось то местом поселения, то пунктом для жертвоприношений (XIV—XV века нашей эры), и иногда и тем, и другим».

Ошеломляющее богатство находок на Усть-Полуе опровергло сказки о вымирании северных племен, о их якобы неспособности к развитию. Называя древнюю усть-полуйскую культуру «яркой и самобытной», Валерий Николаевич с редким для него пафосом писал: «И в глубокой древности народы Западной Сибири ничуть не отставали в своем развитии от предков народов европейской цивилизации, создавали культуру, хорошо приспособленную к суровым условиям сибирского климата».

Сегодня в Салехарде на Усть-Полуе возобновлены археологические исследования, их ведут ученые из Екатеринбурга, и, как обещают, предстоит немало удивительных открытий в седой многотысячной старине Ямала.

Кажется, я слишком окольно подбираюсь к главному герою. Вы, может быть, даже не отметили для себя фамилию Адрианов. И я, когда писал книжку «Рыцари Севера», ничего не мог отыскать, кроме инициалов, фамилии да должности: сотрудник музея зоологии, значит — зоолог.

Правда, в подшивках старых «Известий» мне удалось раскопать любопытную заметку о находках, сделанных якобы зоологом В.С. Адриановым.

В номере от 23 октября 1935 года газета «Известия ЦИК СССР» сообщала читателям: «По поручению Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР произведены раскопки древнего поселения в устье реки Полуя, километрах в пяти от города Салехарда.

На небольшой площади (около 300 метров) при мощности культурного слоя в 60 см в среднем найдено в общей сумме до 16000 предметов. Одних только различных поделок из кости, бронзы и камня найдено до 1500. Обнаружено также много обломков глиняной посуды, покрытой различными вдавленными или штампованными узорами, и кости различных животных.

Собранный инвентарь позволяет датировать данный памятник четвертым веком новой эры».

Узнать что-нибудь об Адрианове не удавалось. Никакой зацепки. И хотя я знал, что В. Чернецов деликатнейший человек, создавалось впечатление, не исчезало подозрение, что он адриановское открытие присвоил себе, ведь обязан был поподробнее рассказать о предшественнике. А если замалчивает, значит, имеет корыстный умысел.

Понятно, что все оказалось не так, зря я подозревал честнейшего Чернецова в неделикатном поведении. Страна у нас такая — перевернутых понятий...

...Живет в Санкт-Петербурге удивительный человек, заведует отделом Восточной Азии в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого.

Североведы, сибиреведы — исследователи особенного нравственного калибра. Это люди, которые избирают трудности своей профессией, ибо где же может быть труднее, чем на Севере. И это обязательно большие гуманисты, ибо где живут самые обездоленные, жили и живут? Конечно, на Севере, аборигены Севера. Чтобы их изучать, надо их любить.

Понятно, что таких исследователей и ценить надо особо. Но как ни парадоксально, этих рыцарей Севера — был период в нашей отечественной истории! — не только не ценили, но и преследовали, репрессировали, расстреливали.

Так вот, старый профессор Александр Михайлович Решетов, который сам от репрессий не пострадал, но был знаком со многими репрессированными коллегами, собирает уникальную картотеку: создает досье тех, кто безвинно пострадал. Картотека, к несчастью, обширна: у Решетова уже более пятисот досье.

Василий Степанович Адрианов — из этой когорты расстрелянных идеалистов. Решетова пригласили в Тюмень на «Словцовские чтения-97», и вот о чем поведал мне знаток «ученого ГУЛАГа».

— Василий Степанович Адрианов вошел в археологию совершенно случайно. Когда случилось наводнение в 1924 году в Ленинграде, он на следующий день пришел в этнографический отдел Рус-

ского музея и предложил свои услуги для спасения этнографических коллекций, и с тех пор в течение семи лет работал в этноотделе музея. Зав. отделом был известный С.И. Руденко, вместе с ним в 1929 году Адрианов совершил экспедицию на Алтай, в горные районы, где они в условиях вечной мерзлоты раскопали Пазырыкский курган. Когда арестовали С.И. Руденко, ушел из института и Адрианов. Я думаю, что он как бы заметал следы, так мне представляется. Он из гуманитарного учреждения вдруг перешел в Геологический комитет, больше года провел в геологических партиях. Потом вернулся в Институт истории и материальной культуры. По линии зоологического музея съездил в экспедицию, перешел на работу в Институт этнографии в 1935 году, а в 1936 действительно работал на Ямале, будучи начальником экспедиции, где и открыл знаменитую усть-полуйскую культуру. По оценке крупного археолога, члена-корреспондента АН В.И. Равданикаса, это открытие Адрианова равно по значению открытию С.И. Руденко Пазырыка.

Пазырык — целая эпоха в археологии.

Правда, когда Адрианова посадили, это не помешало Равданикасу причислить его к «врагам народа» и в печатных изданиях предать анафеме.

— Не за Усть-Полуй пострадал Василий Степанович?

— Нет, нет. Вместе с тем ведь замолчали и усть-полуйскую культуру, и адриановское открытие. Уникальнейшие материалы насчитывают тысячи единиц. А они же до сих пор не опубликованы, наложено своеобразное табу, потому что нельзя было вспоминать имя человека, который открыл эту культуру. Адрианов, молодой человек, наверное, не предполагал, что это может закончиться трагически: он был связан с руководителями института, которые посылали его в экспедицию. Арестовали Маторина, Быковского, а они в свою очередь были связаны с Каменевым и Зиновьевым, и осудили к расстрелу. 16 декабря 1936 года В.С. Адрианову был вынесен приговор — к высшей мере наказания, который привели в исполнение в тот же день. Адрианов был молод, романтически настроен, увлекающийся человек, широких интересов, очень перспективный. Его влекли и этнография, и археология, и зоология. Он мог сделать так много! Не сделал. Пуля поставила точку. Мало того, надолго он был вычеркнут из памяти науки.

Страшные времена, трагическая судьба! Подарить человечеству великое открытие, а это истинно так, ибо человечество получило в подарок большой кусок северной истории, и быть расстрелянным! Режим боялся талантливых людей.

На Ямале должны помнить рыцаря Севера Василия Степановича Адрианова. Он заслуживает благодарной памяти, ведь в историю Салехарда он добавил, как минимум, две с половиной тысячи лет. Разве можно такое забывать!



Советский аристократ в сибирской тайге

Из его анкеты: русский, служащий, беспартийный, научный работник, не привлекался, освобожден от воинской обязанности.

В анкетах 1945 года был и такой пункт: «бывшее сословие (звание) родителей». Его почерком — «отец из дворян».

...Не буду лукавить, вряд ли книга «Жизнь кондо-сосьвинского соболя» пользуется спросом, если кто ее сегодня и читает, то исключительно редкие знатоки и энтузиасты. Так стоило ли тратить на нее — он только ее и увидел напечатанной — свою божественную жизнь?

Хотя, впрочем, можно начать эдак игриво: кто присоединил Сибирь к России? Князь Федор Курбский? Воротилы Строгоновы? Атаман Ермак? А если я отвечу так: Сибирь к России присоединил... соболя. Да, энергичный, скрытный, в драгоценной «шубке» «аристократ» сибирской тайги?

Ведь присоединение Сибири шло — от Урала до Тихого океана — по соболиному следу. Это он, невеликий соболек, вел через сибирские пространства русского первопроходца. Так что зверек этот, если бы захотел и умел, мог померяться с ермаковской славой.

Но, понятно, разговор сегодня не о нем и даже не о книге, а о ее забытом, забываемом авторе. И прежде чем начать, я хотел бы сказать о... как бы точнее выразиться? — предощущении героя. Как проявляется для нас, по словам поэта, «из тьмы былого» давний человек? Узнаешь поперву какой-то штрих, деталь биографии, нечто вскользь, попутно, случайно, но что-то уже заинтересовало, заинтриговало, и в твоей жаждающей знаний душе этот человек начинает прорастать, как зерно на подготовленной почве, и ты хочешь о нем знать все больше и больше. Так у меня произошло с Вадимом Раевским. Отложилось в памяти: какой-то чудак самостоятельно забрался в сибирско-таежную глушь, кажется, внук или правнук самого первого русского декабриста В.Ф. Раевского. Про себя я и окрестил его «декабрист из Хангокурта» — по названию того таежного зимовья, где Раевский провел свои лучшие, но последние годы. Потом выяснится, что это все не так, вернее, не совсем так. Не потомок декабристов, но зато правнук ближайшего

друга Михаила Лермонтова Святослава Раевского. И вовсе не самостоятельно он оказался в Хангокурте, а по стечению трагических обстоятельств, по существу, спасаясь от репрессий самых черных советских годов. И не чудак, а специалист-зоолог, хотя и недипломированный.

Чем привлекает меня он, возможно, ученый не первого калибра, не сделавший научных переворотов и открытий, потрясших мироздание?

Наверное, цельностью своей натуры, преданностью делу, благородством, которое не зря же именовали дворянским...

Казалось бы, на что потрачена жизнь, когда год за годом весна, лето, осень, зима и снова — зима, весна, лето, осень: изучаются повадки сторожкого, энергичного, ловкого зверька.

Но когда вся страна обуреваема громадьем дел, а еще больше планов, этот советский аристократ в сибирской тайге постигал, может быть, главный смысл жизни: как жить в мире с природой, не подниматься над ней, а жить в ней.

Во всех смыслах для меня он был несвоевременный человек, а это значит, что лучше других осознал свое трагическое время: он выпадал из социалистической эпохи, чтобы вписаться во времена природы. Я могу ошибаться, но думаю, что это истинно так.

И что прочно осело в памяти и стопроцентно соответствовало действительности — человек безупречной нравственности и порядочности. Он, будучи в тайге, умирал, как это не запомнить, с голоду, но не позволил себе стрелять заповедную дичь. И это в те людоедские годы, когда жизнь человека ценилась не больше, чем воробьиная. Я до сих пор не могу найти точного определения такому образу, стилю жизни. Нравственный аристократизм? Нравственный мазохизм? Нравственная изысканность? Нравственная опрятность?

Что бы ни было — нравственно. А значит — нравственный ориентир.

Младшая сестра Ольга, его похоронившая, позднее вспоминала, а женщины умеют всегда выделить самое существенное: «Наружности он был привлекательной. Нежный, девичий румянец играл на его щеках, хороший лоб, часто светящиеся лукавым блеском большие глаза и бронзовые волосы.

Очень высокого роста и, как говорят, «косой сажени в плечах», он не помещался в нашем транспорте. В автобусах того времени стоял, нагнувши голову, а выходя из вагона метро, тоже бывал вынужден сильно нагнуться.

При богатырском сложении он был необыкновенно скромным и стеснительным человеком. Это свойство его характера не раз ставило его в жизни в затруднительное положение».

В райцентре Советский сохранился краеведческий музейчик, где много о Кондо-Сосвинском заповеднике.

Музейный работник Мария Гавриловна встрепенулась, загорелась, когда услышала вопрос о Раевском.

— Что меня тронуло в Раевском, когда стала знакомиться с его архивом: его перевод с французского. Я сама закончила французское отделение, и меня тронуло то, что он в холодной, необитаемой избушке, в тайге, на Севере, талантливый исследователь, умница переводит изысканную прозу Ги де Мопассана.

Мы, женщины заповедника, все были влюблены в Раевского, хотя не знали его, не видели никогда.

Я помню, первое письмо сюда мужу писала, адрес был: улица Чапаева, потом пишет, тот же самый адрес, те же цифры, но почему-то улица зоолога Раевского. Думаю, почему вдруг Раевского?

Когда приехала сюда, узнала, кто такой Раевский, поняла. Здесь, пожалуй, и тайга имени Раевского.

Драма Вадима Раевского — это драма русского дворянства, росчерком наркомовского пера в 1917 году оказавшегося за чертой жизни. Споры нет — сословные привилегии отменялись справедливо, но ведь потом шла пролетарская месть ни в чем неповинным людям: Вадиму Раевскому в год переворота было всего восемь. И если школу ему еще разрешили окончить (знаменитую 26-ю советскую трудовую), то о вузе или университете не могло быть и речи. Как ни парадоксально, ученого хорошего современного докторского уровня из него сделал простой юннатский кружок да занятия с такими авторитетами, как профессора Петр Мантейфель и Александр Формозов. Второй этап драмы: репрессирована жена, кстати, однофамилица — Анна Раевская. Ее не спасло, скорее погубило то, что она была верным членом партии. Бумага из НКВД была безжалостной и несла смерть: «Десять лет без права переписки».

Что оставалось ожидать и делать дворянскому сыну? Но каким достоинством дышат строки его письма директору Кондо-Сосвинского заповедника В.В. Васильеву: «Уважаемый Василий Владимирович! Прошло почти полтора года со дня моего отъезда из Шухтунгорта. Я не прошу извинения за свое молчание. После оказанного вами мне совершенно исключительного гостеприимства, того почти, я бы сказал, отеческого внимания, которое я видел в Шухтунгорте, поступку моему нет извинения, тем более что я перед этим дал вам слово писать. Полтора года, проведенные жизнью горожанина, показали мне, что ни душой, ни телом я к этой жизни не приспособлен. Вы, по-видимому, знаете, что сперва меня хотели судить, а затем, когда смиростивились, не дала возможность выехать болезнь жены, с тех пор возвращение в МС — это единственная моя мечта, поглощающая половину всех дум. Василий Владимирович! Если вы считаете меня способным нести работу охоттехника или любую другую (помню ваше желание и, думаю, что это было говорено в шутку, остаться егерем на кордоне), то черкните ответ.

Я готов работать в охотсовхозе или заповеднике на самых скромных условиях, лишь бы иметь возможность вновь дышать воздухом леса.

Что у меня имеется любовь к такой работе, к такой жизни, вы знаете. Знаете также и то, что чудовищные котомки, весла, нарты и даже олений хорей не заставили меня отступить.

Ваш ответ для меня очень много будет значить.

Ваш В. Раевский.

Р.С. Любое посильное мне поручение вне зависимости от того, выпадет ли мне на долю счастье вручить вам его лично или нет, выполню, помня 1933 год — один из лучших в жизни, с великим старанием. В.Р. г. Барнаул, ул. Республики, 5. 1934 г.».

Наследие неостепененного ученого-зоолога Вадима Вадимовича Раевского невелико — он увидел напечатанной лишь одну свою книгу «Жизнь кондо-сосвинского соболя», правда, современные исследователи полагают, что «она вошла в золотой фонд отечественной экологической литературы» и признается ныне образцом полевых исследований весьма трудных для наблюдений видов млекопитающих».

Наверное, не случайно, что, спустя 35 лет после смерти ученого, издательство «Наука» выпустило другой его серьезный труд «Позвоночные животные Северного Зауралья».

Жизнь этого человека не очень богата событиями, хотя спокойной ее не назовешь. Из своих, поистине пушкинских, 37 двадцать лет он работал, больше половины рабочих лет отданы Сибири,

Кондо-Сосвинскому заповеднику. Если он и не был в числе самых первых организаторов, то остался в первой когорте нравственным образом. Дворянское прошлое довлело: в вуз таких высокородных тогда не брали, печальный 37-й год не удалось «проскочить»: арестована и расстреляна в тюрьме его жена.

Я ошибся, когда, мало что зная о жизни Вадима Раевского, называл его «декабристом из Хангокурта». Но неправильное фактически, это верно по существу. Сенатских мальчишек гражданами России сделала сибирская ссылка, Сибирь. Сибирская работа проявила и нашего героя. Вель трудная, кропотливая, терпеливая работа всегда плодотворнее вспышки мгновенного героизма. Если можно говорить об обыденном подвиге Вадима Раевского — это подвиг терпения, обычное состояние настоящего ученого.

«Страшно далеки они от народа». Это о революционерах, и здесь с Лениным трудно не согласиться. Нас за последние десятилетия отучили считать народом и русское дворянство, вроде оно «страшно далеко». И вот такие мученики дворянства, как Вадим Раевский, жизнью своей доказали, что не бывает плохого или хорошего класса, сословия, бывают исключительно люди плохие или хорошие.

Александра Васина можно считать преемником Раевского. Научный сотрудник заповедника, он продолжает то, что не успел доделать его предшественник.

— Вам никогда не приходилось тропить соболя? Нет? Тропа — длина суточного соболиного хода. Чтобы определить суточный ход соболя, нужно пройти его суточный ход, причем не отклоняясь, как это делают местные жители манси, нужно идти прямо по следу (по завалам и урманам), а ходит этот зверь обычно по тяжелым урманым местам, очень трудно ходить. Тот материал, который Раевский набрал, удивлял в то время, удивляет нас сейчас, короче говоря, сам я пробовал тропить соболя, знаю, что это такое, очень физически тяжело. А он сотни троплений приводит, данные, примеры, сделал даже анализ мест обитания соболя в большом регионе. За плечами этого человека — сотни, тысячи километров. Тайга. Удивительно!

Неистового трудолюбия недостаточно, мало одной физической силы, нужно волю, целеустремленность иметь; здоровому детине, но не энтузиасту, на этой работе очень быстро сгореть.

За что его уважали в заповеднике? За то, что он голодал в огромной, тогда безлюдной тайге, но не позволял себе на территории заповедника даже сделать выстрела. Хотя он довольно сильно голодал, очевидцы рассказывали, как он эти полевые работы проходил, очень скромно себя вел, скромность, целеустремленность, неистовость в работе и определили его авторитет в этом коллективе...

В военные годы его не брали в армию, у него застарелый туберкулез, еще до работы в заповеднике открылся, и он считал, что можно сокращением потребления помочь фронту. Это что такое!

Сейчас таких людей уже, пожалуй, не найдешь.

Материалистов много.

Идеалистов всегда не хватает.

Мои собеседники в голос признают: Раевский — романтик!

Только непривычный романтик — прагматичный.

Такую кропотливую работу можно сделать, когда они соединяются в душе — романтическая увлеченность и прагматическая обстоятельность.

Иначе пропадающий дым от костра на берегу таежной речки с черной водой.

Умирал Вадим Вадимович, только-только миновав пушкинский рубеж — 37 лет, очень трудно. Сохранился удивительный документ: текст радиопереговоров далекого заброшенного Хангакурта по радиации с доктором в Москве. Эти переговоры вела приехавшая к смертельно больному брату его младшая сестра Ольга:

— У микрофона Раевская, здравствуйте, Карл Иванович! (переключение на прием).

— Ваше лекарство получила, благодарю.

— Карл Иванович, мой главный вопрос вот в чем. У больного сейчас установилось мучительное явление, совсем лишаящее его сна. Как только больной ночью или днем захочет уснуть и закроет глаза, как темп дыхания спадает с 20 раз в минуту до очень малого числа и даже до паузы. Резкое и неприятное пробуждение, глотание воздуха, как рыба, не дает больному уснуть. Карл Иванович, я вас очень прошу, помогите мне ликвидировать эти спазмы, чем и как это сделать?

У Раевского трудная, трагическая судьба, и в то же время, когда знакомишься с его жизнью, возникает ощущение светлой личности. От этой личности исходит какой-то свет добра.

По Хангакурту, прелестной, но заброшенной научной деревушке — бывшая «столица» заповедника, по берегу черной Конды водил нас ее единственный житель — егерь Кирилл Дунаев. Он, хотя и был тогда совсем пацаном, Раевского помнит. С Николаем Ездиным, постоянным каюром Раевского, они родственники. Что помнит старый манси о русском дворянине?

— Бородатый. Черная борода. Сначала как разбойник. Но нет. Добрый. Хороший мужик. Соболя защищал. Все про него знал. Мы, таежные люди, должны вроде все знать, а он больше всех знал. У него правила были. У нас, у манси, тоже правила есть. Если святое место — не трогай. У него заповедник — святое место. Он бы не умер, медведя мог же подстрелить, лося. Лекарство из медвежьей желчи сделать. Манси умрет, но святого не тронет. Знает: боги все видят, перед ними ответ держать. И он святое знал и не трогал.

Русское кладбище в глухой тайге. Оно не забыто, не заброшено, наоборот — ухожено получше, чем в людных городах. Это заслуга здешнего егеря Кирилла Андреевича Дунаева, простого таежного наследника благородных русских традиций, которые укрепились в свое время в Кондо-Сосвинском заповеднике. Странное чувство испытываешь у этих могил. Думается, вроде на отшибе истории жили и трудились похороненные здесь люди, современники и соратники замечательного русского человека и дворянина Вадима Вадимовича Раевского, не главным делом эпохи вроде занимались... Но с другой стороны... сбережение нашей удивительной природы для нас с вами, для наших потомков — разве это не главное дело эпохи? И не может быть... цивилизации, если каждый человек — маленький центр Вселенной. Они верно служили своему делу, они не изменили себе, тем заповедям, которые оставили им отцы. Заповедник от слова «заповедь». Да, Вадим Раевский ни разу не преступил святые принципы русского человека. Я закончу стихами с могильного камня лежащего рядом с Вадимом Раевским ученого-ботаника Кронида Гарновского:

*А здесь осталось все, как прежде,
И не заметила тайга,
Что мой костер горит все реже
И, наконец, совсем погас.*

Тайга не заметила, но — осталась.



Мемуары в единственном экземпляре

Великое дело — архив. Когда-то давно не забыл в нужное место положить, казалось бы, проходную, дежурную бумагу; проходят годы, в том же месте ты находишь ее и понимаешь, что со временем она лишь прибавила в своей ценности.

«Открытие века» — открытие газового фонтана в Березово — стало импульсом усиления исследовательских работ на северных территориях. И до большого тюменского газа — газа Ямала, заполярного Уренгоя, Ямбурга — оставалось еще долгих десять лет.

Это было время ученых.

Тюменских, новосибирских, московских, ленинградских.

У меня сбереглись уникальные мемуары. Уникальность их в том, что существуют они в единственном экземпляре каждый. Когда работаешь на такой полярной ойкумене, как Салехард, стараешься тянуться к материку, ищешь то, что прочно связывает окраину и «Большую землю». Ученые старой закалки — люди предельно обязательные. На просьбы провинциального журналиста живо и обстоятельно откликнулись маститые авторитетные академики, те, что стояли у истоков «открытия века».

Вроде письмо... По существу — мемуары... Мои корреспонденты писали обстоятельно, подробно. Возможно, не все ими написанное сегодня актуально, но есть в их воспоминаниях не просто аромат давней эпохи, но и забываемая нами романтика поиска дальних странствий, служение Родине.

Член-корреспондент союзной Академии наук, заведующий лабораторией стратиграфии и палеонтологии мезозоя и кайнозоя Института геологии и геофизики Сибирского отделения Академии наук, профессор Владимир Николаевич Сакс — общепризнанный авторитет в стратиграфии юрских, меловых и четвертичных отложений, крупный специалист-палеонтолог.

В пору Тазовской экспедиции будущему академику было всего тридцать два, но он уже тогда пользовался несокрушимым авторитетом среди геологов-полярников. В двадцать шесть лет за иссле-

дование недоступного Алазейского плоскогорья в Якутии ему без защиты диссертации присваивают ученую степень кандидата геолого-минералогических наук. До того, как он пришел на Таз, Сакс в течение четырех сезонов трудился в низовьях Енисея и на Таймыре по заданию Арктического института и Горно-геологического управления Главсевморпути.

Так что открытия газа и нефти в Тазовском районе связаны с именем этого видного геолога-теоретика, который шел к своим обобщающим выводам от практических данных своих молодых полевых экспедиций на сибирском Севере. И еще одна симпатичная деталь: В.Н. Сакс один из немногих сибиряков, кто сразу и бесповоротно выступал против проекта поворота сибирских рек в Среднюю Азию, что по тем временам требовало немалого гражданского мужества.

Итак, мемуары академика Владимира Сакса в отрывках:

«По решению руководства Главсевморпути весной 1945 года на базе Усть-Енисейской нефтеразведочной экспедиции была организована Тазовская геологическая экспедиция. Начальник экспедиции Михаил Федорович Данилов и я, начальник первого геологического отряда, вылетели в апреле 1945 года из Дудинки в поселок Хальмер-седе.

Поселок Тазовский, центр Тазовского района Ямало-Ненецкого национального округа, тогда назывался Хальмер-седе, что в переводе на русский язык означает «сопка смерти». От этого мрачного названия впоследствии отказались.

Начальник второго отряда Иван Петрович Лугинец, в послевоенные годы участник и руководитель отряда нефтяных разведок в более южных районах Западной Сибири, смог прилететь в Хальмер-седе только в июле — так нерегулярно ходили тогда на Крайнем Севере самолеты.

Был в Хальмер-седе аэропорт, созданный уже в годы войны в качестве одного из промежуточных портов по пути следования самолетов вдоль северного побережья нашей страны. Эта трасса проектировалась для доставки грузов для фронта из Америки, но не была использована.

Уже в мае, еще по снегу, я с проводником-ненцем выехал на оленях к выходам соленых вод в низовьях реки Таз, вблизи притоков реки Таз — рек Харвуты и Сенебе-яхи, в районе, где сейчас расположено газовое месторождение Тазовское.

Поездка эта едва не закончилась катастрофой. Хотя я имел уже достаточный опыт работы в Заполярье, тут я понадеялся на солнечный май, решил, что зимние стужи и пурги остались позади, и выехал из Хальмер-седе в полушубке и кожаных сапогах. По пути нас захватила пурга, пришлось остановиться и пережить пургу укрывшись за нартой. Тут я убедился, что полушубок совсем неподходящая одежда для защиты от пурги. Ветер и снег проникали повсюду: в рукава, в воротник, между застежками полушубка. У нас с моим проводником состоялась следующая беседа. Я спросил: «Сколько времени может продлиться пурга?». «Кто знает, — ответил проводник, — может, день, может, неделю». «Ну, если неделю, — откликнулся я, — тогда хальмер (смерть) будет». «Однако будет», — сказал с завидным спокойствием мой проводник.

К счастью, пурга закончилась быстрее. Мы добрались до интересующих нас пунктов, убедились, что вода подо льдом действи-

...Два искуса было у меня: первый — как встретиться с Байбаковым. Мы встретились. Это оказалось несложно. Восьмидесятидвухлетний Николай Константинович Байбаков, может быть, самый устойчивый политический долгожитель Страны Советов, дважды: в своем доме и в Академии нефти и газа, где он служит научным специалистом, любезно ответил на все вопросы.

Тогда появился второй искус: что-то поправить, что-то вырезать, вычеркнуть, рассказать, как было бы правильнее, как было на самом деле. Ведь нам так много рассказывали об этой эпохе.

Но, думается, я преодолел этот искус: он, а не я, очевидец, и то его эпоха, и, не упрекая себя в том, что мы вербуем новых сталинистов, послушаем последнего оставшегося в живых сталинского наркома без пристрастия, осознавая одно: эпохи односложными, однолинейными не бывают.

Корр.: Н.К., был ли большой риск, когда в конце шестидесятых страна собралась в большой поход за большой нефтью Западной Сибири? Ведь дело могло обернуться не так благополучно, как в конце концов обернулось? Был ли риск? Были ли оппоненты? Кто в правительстве был за то, чтобы идти на риск и за сибирской нефтью?

Байбаков: Однозначно не скажешь. Но как бывший нарком нефтепрома должен прямо сказать: противников явных не имелось. Среди геологов были оппоненты, мы, мол, слишком далеко заходим, далеко идем, а пока стопроцентно ничего не доказано. Губкин был изумительным геологом, который очень хорошо прогнозировал, где можно искать нефть. Западную Сибирь он прогнозировал, как одну из серьезных областей, где нужно приложить силы для поиска нефти. Прямо скажу: большую роль сыграла так называемая сеть опорных скважин. Я помню, Сталин мне позвонил после того, как получил письмо моего главного геолога Василия Васильевича Сенокосова, который писал, что разведывать и открывать нефтеместорождения, как мы делаем, идя робкими шагами, займет много времени. Он предложил опорные скважины, которые размещались на большом расстоянии друг от друга. Одну из таких опорных заложили в Березове, и было открыто первое газовое месторождение — Березовское, оно обеспечило Урал хорошим газом. Опорный метод заложил основу широкого развития геологоразведочных работ на территории Западной Сибири. Мы и в равнинной части начали вести геологоразведочные работы: сначала на Шаиме, потом на Усть-Балыке сумели открыть хорошую крупную нефть. Дальше смело пошли большими шагами.

Корр.: Н.К., вы упомянули Сталина, интересно, как вообще Сталин относился к освоению Сибири, была ли у него своя позиция к освоению зауральских территорий?

Байбаков: Я вам сейчас скажу.

Определенный вклад Сталина есть, именно он одобрил предложение моего главного геолога после разговора со мной:

— Как вы смотрите, он предлагал далеко ставить друг от друга скважины, чтобы ускорить разведку?

После того было открыто Березовское месторождение, я считаю, это «рука Сталина».

Корр.: Н.К., я не удержусь от вопроса, позвольте мне не удержаться. Вы практически 15 лет, начиная с должности зам. наркома, работали со Сталиным. Мы знаем, это были тяжелые времена. 15 лет работы в сталинском правительстве для вас годы страха или годы работы?

Байбаков: Нет, у меня не было никакого страха. Я был молодым. Я отношусь к числу тех, что думают о перспективах развития, о возложенных делах. К разговорам о том, что жили только под страхом, я не могу относиться по-современному правильно. Репрессии были, это простить нельзя ни Сталину, а особенно Берии и Кагановичу, которые сыграли большую отрицательную роль в гибели невинных людей. Я не скажу, что часто встречался со Сталиным. Впервые, будучи зам. наркома, прибыл на совещание к Сталину, там уже были Молотов и Вознесенский. Сталин хотел послушать о состоянии дел в нефтепроме, это перед войной было, сороковой год. Каганович поручил мне сделать информацию. После того, как я доложил о состоянии дел, минут 30—40, что нужно делать, в том числе развивать «второе Баку», вести дальнейшие разведки в Сибири и других районах, на Дальнем Востоке, тем более что уже нефтяной Сахалин был открыт. Эти решения все Сталиным были приняты.

Что я хочу сказать? Так как Сталин тщательно изучал вопросы, связанные с нефтяной промышленностью, я не видел после него никого. Знаете, он задавал такие вопросы, тонкие, щепетильные, как профессионал, спрашивал членов Политбюро, участников совещания, после принимал решение. Эти решения были законом для нас.

Я боялся много предлагать, потому что потом надо отвечать головой за каждый пункт постановления.

Корр.: У вас с ним были встречи тет-а-тет, когда стали министром?

Байбаков: Я расскажу о двух встречах. Первая встреча один на один — 1942 год, июль месяц, немец обжегся под Москвой и Ленинградом и сконцентрировал силы на юге, решив двинуть все силы на захват кавказской нефти. Ибо это основная артерия, которая питала наш фронт горючим. Сталин меня вызвал и сказал:

— Товарищ Байбаков, вы будете отвечать головой за состояние кавказской нефти. Гитлер сказал, что если он не захватит кавказскую нефть, он проиграет войну. Поэтому летите, кого считаете нужным, возьмите с собой, вместе с Буденным решайте вопрос, когда приступить к уничтожению промыслов, если будет такая ситуация.

Мне удалось в течение трех недель подготовить промыслы, ликвидации. В Краснодаре мне пришлось уничтожать промыслы, самому пришлось взять на себя ответственность, потому что Буденный Семен Михайлович не давал согласия на ликвидацию промыслов. Я, летая на своем самолетике по фронту, видел: мы находились в тяжелейшем положении. Вижу, остановить немцев очень трудно, и взял на себя ответственность уничтожать. Потом они мне санкционировали, когда немцы захватили Краснодар.

Корр.: Скажите, Сталин сдержал бы свое слово «отвечаешь головой, Байбаков», если что-то там не получилось?

Байбаков: Думаю, сдержал бы. Действительно, 90 с лишним процентов всей нефти Советского Союза до войны добывалось в Баку, Грозном, Краснодаре.

Корр.: Кто выиграл Отечественную войну: русский солдат или нефть российская?

Байбаков: И солдат. И нефть. Вторая встреча со Сталиным состоялась в ноябре 1944 года. Мне пришлось подождать в приемной 15 минут, Поскребышев, зав. секретариатом, говорит: «Сталин ищет книгу какую-то, вы подождите». Я ждал. Поскребышев дважды входил, а потом в третий, вернулся, говорит:

— Знаете что, товарищ Байбаков, входите в кабинет, если Сталин будет стоять спиной к вам, у этажерки, вы тогда кашляните, чтобы он обратил внимание.

Мне хотелось увидеть Сталина в сером френче, в сапожках, в замечательных таких, шевикотовых. Вдруг две дырки увидел на сталинском сапоге. Когда вышел из кабинета, говорю:

— Товарищ Поскребышев, почему наш Сталин, генеральный секретарь, в дырявых сапогах ходит?

— Где вы эти дырки видели?

Я только тогда сообразил, что Сталин сам вырезал, чтобы мозоли в сапогах не мучили.

...Мне пришлось кашлянуть, он спустился с этажерки, пожал мне руку, мы сели, полтора часа беседовали, я сидел, как прикованный, он мне не давал возможности, чтобы встать и доложить. Он задал вопрос, который я запомнил на всю жизнь:

— Товарищ Байбаков, вы знаете, что такое нефть? Это душа военной техники.

Я сказал:

— Нефть — душа не только военной техники, но и всей экономики.

Корр.: Скажите, во времена Сталина, когда вы возглавляли нефтепром, репрессий в нефтенаркомате не было?

Байбаков: Я люблю говорить: белое есть белое, черное — черное. Ведал нами 10 лет, непосредственно руководил в Совмине, находясь на посту первого зама, Л.П. Берия. Но он к нам относился очень осторожно, прислушивался, что мы говорим и что нужно делать. Оказывал содействие. Конечно, он был зверь настоящий, карьерист абсолютный, ясно. Но в то же время, я скажу, он был деловым человеком.

Корр.: Н.К., заместителем наркома вы стали в 28 лет. Это была определенная политика Сталина — ставить на молодых?

Байбаков: Одно могу сказать: Сталин подходил не только с позиции молодости-зрелости, но основывался на рекомендациях соответствующих руководителей.

Корр.: Н.К., таких комсомольцев в сталинском Кабинете Министров, как вы, много было?

Байбаков: Во всяком случае он молодежь уважал. Не я один был таким молодым. Одно могу сказать: мы работали активно, мне нравилось, хотя у меня не было никакой личной жизни, мы приходили на работу в 10 часов утра, а уходили в 5 часов утра следующего дня. Обедал на работе. Субботы, воскресенья у нас не было. Я даже женился за 5 дней.

Корр.: Н.К., принято считать, что вот этот в окружении Сталина — «человек Берии», «человек Молотова», «человек Кагановича», интересно, вы «чей» там человек были?

Байбаков: Я думаю, что я был сам по себе. Другое дело, когда я стал работать председателем Госплана, меня Косыгин называл «брежневцем», а Брежнев называл «косыгинцем». Понимаете? Я проводил свою линию, возражал Брежневу по каким-то проблемам, он возмущался: «Ты проводишь линию Косыгина». Косыгин тоже меня ругал: «Что ты поддерживаешь Брежнева? Знаешь же, что это неправильное предложение».

В целом, я считаю, мы работали очень хорошо. Но, конечно, Брежнев последние шесть лет практически неработоспособен был, надо было его освободить, но не нашлось смелых.

Корр.: Н.К., начало тюменской нефтяной эпопеи пришлось на позднюю эпоху Никиты Сергеевича Хрущева. Скажите, сказался ли его авантюрный рискованный характер в том, что бесшабашно, бесстрашно пошли в нефтяную Сибирь? Что вы можете сказать на тему: Хрущев и Сибирь?

Байбаков: Хрущев знал совсем немного о Сибири, но он умел смотреть в дальние перспективы. Мы докладывали, и не раз, что ведутся работы геологоразведочные в Сибири. Были люди, которые говорили: какого черта полезли в Сибирь, куда-то в тайгу, в болота? Но если посмотреть на карту, которая висит у меня, ведь практически до Тюмени у нас топливная база Сибири, кроме Кузбасса, ничего не давала. Производительные силы развивались на базе завоза туда топлива, поэтому открытие сибирской нефти сыграло огромнейшую роль для программного развития производительных сил страны, особенно для Западной и Восточной Сибири. Невероятные темпы роста!

Я хотел бы сакцентировать: ходят слухи, что мы варвары, мы недра Сибири сожрали, все продавали, разбазаривали. Как коренной нефтяник, знающий перспективы развития нефтяной и газовой промышленности, я могу сказать, что наша страна была и остается очень богатой страной, мы извлекли немало нефти, но нужно развивать геологоразведочные работы, а мы их сейчас гробим.

Корр.: У Никиты Сергеевича не было в области нефтепрома таких несолидных идей, как кукуруза в сельском хозяйстве?

Байбаков: Нет, нет. Не было, конечно. Он придавал основательное значение нефтепрому. Он приехал как-то в Краснодар, говорил и о кукурузе. Если бы мы правильно поступили с кукурузой, то никогда бы не стали закупать зерно. Трагедия заключается в том, что мы полезли с ней туда, куда с ней не надо лезть.

Корр.: Н.К., еще один вопрос: роль А.Н. Косыгина в освоении нефтяной и газовой Сибири.

Байбаков: В 1968 году Алексей Николаевич приехал в Сибирь впервые, и позднее я с ним летал по разведочным участкам Западной Сибири. Припоминаю, на Уренгое мы оба обморозились: я — уши, а он себе щеки обморозил. Да, он придавал огромное значение нефтепрому. Благодаря его активным действиям, он, конечно, оказал большую помощь в освоении Западной Сибири. Он регион знал хорошо, знал особенно, что нефть — большой валютный ресурс. Говоря об экспорте, хочу сказать, что благодаря нефтедолларам мы не только покупали продовольствие, но мы покупали оборудование для крупных промобъектов, «Жигули», Московский завод реконструировали, металлургические заводы реконструировали, очень много сделали в области электротехники, электроники, так что нефть и газ способствовали развитию производительных сил страны.

Корр.: А вы сами когда впервые появились в Западной Сибири?

Байбаков: Высадился в Нижневартовске, тогда города не было, ничего, кроме болот. Это был 1963 год. Так прошло уже сколько лет?

Корр.: Всего 30.

Байбаков: За 30 лет, подумайте, построили огромные комплексы по добыче нефти и много сделано в социальной сфере. Ну что ж, тогда был Сургут — город, где жили 7 тысяч человек, причем много из числа бывших заключенных. Сургут стал крупнейшим городом. Нижневартовск — было же пустое место, когда первые

скважины бурили, сейчас около 300 тысяч населения. Я несколько раз бывал там. Конечно, проделана грандиозная работа по созданию мощного нефтегазового комплекса. Большой труд нефтяников вложен в создание этого гиганта!

Корр.: Н.К., у вас, как у одного из выдающихся создателей НГК в Западной Сибири, стоял вопрос: первоначально, изначально закладывались в ваши проекты проблемы сохранения окружающей среды, или тогда этот вопрос так остро не стоял?

Байбаков: Такое дело: крупные мероприятия, которые мы осуществили в Тюмени, почти по каждому району создавался ТЭО, проходившее госэкспертизу в Госплане, существовала экспертная комиссия, которая детальнейшим образом обсуждала все эти вопросы, начиная от разведки и заканчивая разработкой нефтеместорождений при строгом соблюдении экологических нормативов. Но дело в том, что безобразно вели себя многие руководители в погоне за добычей, мало уделяли внимания экологии региона. У нас вышли из строя десятки, сотни тысяч га земли, которые можно было использовать для сельского хозяйства. Почему это произошло? Трубопроводы выходят из строя — коррозия большая — уже через 3—5 лет, не успевают отремонтировать. Есть методы восстановления трубопроводов, хотя бы метод протяжки полиэтиленовых труб. Я целиком и полностью поддерживаю линию в борьбе с загрязнением и атмосферы, и земли.

Корр.: Н.К., какие впечатления у вас остались от работы с сибиряками в годы наиболее бурного развития комплекса?

Байбаков: Видите ли, я сам коренной нефтяник, родился в семье нефтяника, 27 лет жил в Баку, закончил нефтяной институт, доработался там до управляющего трестом, потом послали меня осваивать «второе Баку», потом в Москву, назначили начальником главка, потом зам. наркома, первым замом, в период войны Сталин назначил меня наркомом. Мы созданию мощных нефтяных баз придавали большое значение.

У меня с нефтяниками сложились самые хорошие отношения, я их любил, я их уважал за их героический труд. Представить немислимо: в тайге, в болотах создали такие мощные центры. Это, на мой взгляд, героический труд, поэтому нефтяники заслуживают всяческого одобрения, я желаю им крепкого здоровья и сто лет каждому.

...Последний раз я виделся с Николаем Константиновичем Байбаковым на Ямбурге. Пригласили ветерана, и он прилетел на полярный край света.

Для таких людей вроде и возраста не существует.

— Будущий век — век газа, — сформулировал последний сталинский нарком свой интерес к проблемам ямбургского газа.

Профессионал!



Звезда над Олимпом, или Самоубийство в Сургуте

Боги, как оказывается, жили невысоко; высота Олимпа, двугорбой, разошедшейся горы — всего 2917 метров, и достигнуть ее даже не бывалому альпинисту, а нормальному пешеходу вполне хватило бы двух дневных переходов.

Олимпийские боги были доступны. Наверное, это обоюдополезный процесс — и люди были ближе к богам.

В начале октября олимпийское небо, по крайней мере горный его, «гнилой» кусок, закрыто облаками, вечерние облака, понятно, более темные, мрачные, делают Олимпийский хребет, Олимпийский горный массив значительнее, таинственнее, многограннее и загадочнее. А так — спокойный хребет, горы как горы. Только название очень знаменитое — Олимп. И я постоянно, особенно в тумано-солнечные дни, когда горы не тонут, а плывут в солнечной дымке, гор нет, есть только абрисы их сини, вспоминал нашего гениального художника, ненца Константина Панкова из Шекурьи; у него есть замечательное полотно — «Горы играют», там изображен его родной Приполярный Урал, так вот, оказывается, все горы играют одинаково волшебным — и греческий Олимп, и тюменский Урал.

Вообще мир не только тесен, но так плотно связан, что диву даешься. Я смотрел на вечернюю дрожащую звезду над Олимпом, и думал о странном советском пенсионере в Сургуте, покончившем жизнь самоубийством в 1973 году и в предсмертном письме написавшем, что он свое самоубийство, свой труп «посвящает» лидеру греческих коммунистов Харилаосу Флоракису.

Но обо всем по порядку.

И в Греции можно почти случайно встретить человека, прилично говорящего по-русски, знатока своей страны и знатока сложных советско-греческих коммунистических отношений. Димитриос Такис просит называть его Дмитрием Григорьевичем, как его называли в Союзе. Он был в свои 16 тогдашних лет едва ли не самым юным греческим партизаном в гражданской войне, которая сотрясала Грецию в конце сороковых годов. Коммунисты эту войну проиграли, и в 1950 году Ста-

лин предоставил более чем двадцати тысячам греческих партизан политическое убежище. Судьба Такиса складывалась вполне благополучно: он попал, как и сотни его товарищей, в солнечный Узбекистан, Ташкент, получил диплом филолога Среднеазиатского университета, работал учителем. Для греческих коммунистов рубежом оказался 1956 год, когда Никита Хрущев развенчал культ Сталина. Немногие коммунистические греки поддержали эти разоблачения, и их узбекская колония разделилась на сталинистов и реформаторов. Идеологические разборки шли серьезные. До крови, правда, не дошло, но мордобои случались. Азартные южные люди! В 1966 году Такис переехал поближе к родине, в Болгарию, и при Живкове загремел в тюрьму почти на 4 года — тоже из-за партийных разногласий. Когда греческое правительство объявило амнистию коммунистическим партизанам, вернулся на родину. Полтора года лихорадочно искал работу: преподаватели русского языка никому не требовались, но потом год поучился на курсах и уже полтора десятка лет в Солониках работает туристическим гидом. На русскоговорящих гидов сегодня спрос большой: русские серьезно осваивают эту православную страну, родину европейской демократии. Православное христианство называют еще и греческой верой. Россию и Грецию многое связывает, нам грех не дружить.

Димитрос говорит по-русски превосходно, только ритм его ударной речи странноват: сплывающий окончания. Это напоминает морской прибой, идет накатом, по возрастающей, своеобразная греческая ритмика русского речевого потока, он как бы по-гречески преодолевает пороги русского языкового водоворота. Это запомнилось. Как и то, что на месте гибели святого Димитрия Солунского Такис начинает вспоминать, как строил кабельный завод в Ташкенте, сдали, как и положено, на полтора месяца раньше, а потом долго доделывали. Видимо, строительство кабельного социализма в Узбекистане — это незабываемо.

— Бывшие греческие коммунисты помнят Никоса Захариадиса, покончившего жизнь самоубийством в Сургуте? — спрашиваю гида-партизана.

— Как же! — восклицает Димитриос. — Ведь я был бойцом в его Демократической армии Греции. Конечно, у него тяжелая судьба, и его стараются вычеркнуть из памяти, из истории компартии Греции, но остались люди, которые его помнят.

Для полноты информации сделаю крупную выписку из Большой Советской Энциклопедии, ее том издан в 1953 году. В более поздних советских энциклопедических изданиях имя Захариадиса уже не упоминается: идеологами КПСС он вычеркивался напрочь.

Вот что сообщала сталинская энциклопедия.

«Захариадис, Никос (р. 1903) — генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Греции. Сын рабочего-табачника. С 1919 по 1923 — портовый рабочий, затем моряк. В 1921 вступил в комсомол, с 1923 — член компартии. С 1927 — на руководящей партийной работе. В течение ряда лет он возглавлял партийные организации крупных городов: Пирея, Волоса, Салоник. В 1931 З. был избран членом политбюро ЦК Коммунистической партии и секретарем ЦК. За революционную деятельность З. неоднократно подвергался преследованиям. На VI съезде Коммунистической партии Греции (декабрь 1935) З. был избран генеральным секретарем ЦК компартии, в 1936 г. З. являлся депутатом греческого парламента. З. руководил борьбой греческого народа против фашистской диктатуры Метаксаса и хозяйничанья в стране иностранных империа-

листов. В сентябре 1936 З. был арестован фашистским правительством и приговорен к 4,5 годам тюрьмы и двум годам ссылки на остров Агиос-Эвстратиос. В мае 1941 греческая полиция выдала З. гестапо, после чего он был заключен в концлагерь Дахау.

После разгрома Советским Союзом гитлеровской Германии З. возвратился в Грецию. З. возглавляет борьбу греческого народа против монархо-фашистского режима и американо-английских интервентов. Он выступает с разоблачениями предательской роли югославской фашистской клики Тито в отношении Греции, борется за единство рабочего класса, мир и дружественные отношения Греции с СССР и странами народной демократии. Монархо-фашистское правительство Греции подвергло З. свирепым преследованиям. В 1945 оно отдавало З. под суд, рассчитывая обезглавить руководство партии. Однако процессы, организованные против З., обращались против самого монархо-фашистского правительства, превращавшего Грецию в колонию американо-английских империалистов».

Мой греческий собеседник Димитриос Такис уточняет некоторые детали этой официальной биографии. Отец Захариадиса был не рабочим, а богатым торговцем табаком, но все коммунистические вожди старались обеспечить себе пролетарское происхождение, не избежал этого искушения и Никос. По словам Такиса, Захариадис добровольцем принимал участие в гражданской войне в России, учился в каком-то закрытом учреждении Коминтерна, о чем официальная биография почему-то (или целомудренно, дабы скрыть советские истоки греческого коммунизма) умалчивает.

Говорят, Сталин искренне любил Никоса, называл его «звездой Балкан», Захариадис был сталинским протеже, под него и создавалась греческая компартия. Наверное, Сталин мог серьезнее помочь своему любимцу, развязавшему гражданскую войну в Греции. Но, видимо, в сталинские планы не входило строительство греческого социализма, гражданская война захватила только районы вблизи албанской и югославской границ, партизаны не сумели захватить даже ни одного города, пытались овладеть только Костарьей (где нынче продают норковые шубы для русских туристов). Сталин в Греции готов был только щекотать нервы англичанам, в зону влияния которых тогда входила эта красивая страна.

В 1950 году вместе со всей своей проигравшей партизанской армией — 23 тысячи бойцов — Никос Захариадис попал в Советский Союз, оставаясь лидером созданной им КПГ.

Приход Хрущева — начало трагедии Никоса. Да, он был последовательный сталинист, стойкий интернационалист, коммунистический авантюрист, но, как и Лаврентия Берия, его привычно обвинили в шпионаже в пользу американцев.

Судя по всему, мужественный был человек Никос Захариадис. Боролся долго и успешно против фашизма — греческого и германского. Честно вел себя в тюрьмах диктаторов. Выжил в Дахау. Смерти не боялся.

Но КПГ была ручной компартией КПСС, и расправлялись с ее лидером советскими способами. Изощренно. Беспощадно.

Хрущеву после 1956 года надо было расчислить путь своему ставленнику — Х. Флоракису. Какие уж велись переговоры-разговоры, но в 1956 году, в год исторического хрущевского доклада, в городке Боровичи Новгородской области появляется новый директор местного лесхоза Николай Николаевич Николаев. Вел новый директор себя пристойно,

и никто не знал, что вместо обычного советского паспорта у него привычный для тогдашних советских порядков «вид на жительство».

Тишина продолжалась до 1962 года, когда Захариадис-Николаев понял, что советские товарищи его жутко и нагло обманули. Лидер коммунистов-партизан заявил, что должен уехать за границу. Международному отделу ЦК этого скандала вовсе не требовалось. Захариадис, наверное, не без новых посулов-обманов был переведен в Сургут, устроен, поселен в доме по улице Ленина, 29.

Трагическую историю Никоса Захариадиса тюменцам блистательно рассказал Александр Петрушин, он раскопал эту историю в архивах КГБ.

«Все попытки Никоса Захариадиса вернуть себе подлинное имя не удавались.

Зимний побег «Николаеву» не удался. Верных ему бойцов ДАГ, добравшихся из Ташкента до Сургута, к нему не допускали. И опальный генсек решил на новый побег — по Оби. Снова добрался только до Тобольска и понял, что границы надзора ему не преодолеть.

Оставалось одно — вернуть себе настоящее имя.

16 июля 1970 года «Николаева» признали политэмигрантом. Он одержал важную победу за обретение своего имени. О его судьбе знали соратники по ДАГ и ЭЛАС. Иногда им удавалось прорваться к нему через плотную систему надзоров. Полученная ими информация об участии генсека лихорадила греческую компартию.

Зачем прилетал в Сургут к «Николаеву» Б.Н. Пономарев, бывший в то время секретарем ЦК КПСС? Можно предположить, для того, чтобы убедить политэмигранта добровольно отказаться от должности генерального секретаря КПГ. Наверное, был назван и преемник. Почему в это время «Николаев» начал вторую голодовку? Тоже шестимесячную. (Он тогда занимал половину дома № 31 по улице Нагорной. Рядом круглосуточно открытый милицейский пост). Голодовка отнимала последние силы, но он не сдавался и добился своего: в Сургут прилетел Флоракис.

Они были знакомы еще с 30-х годов. В 1941 году Флоракис стал коммунистом, участвовал в партизанском движении, в ДАГ командовал дивизией, с 1950 года — член ЦК КПГ. С «Николаевым» в Сургуте он встретился уже будучи в ранге члена политбюро и претендента на пост лидера в партии.

Вскоре «Николаев» узнал, что Флоракис стал первым секретарем Компартии Греции. Это при живом-то генеральном секретаре! Его протест выразился в форме ультиматума. «Николаев» предупредил: если не получит на него ответ, покончит жизнь самоубийством.

...1 августа 1973 года срок ультиматума истек. Сплетенная им самим удавка — такой во время гражданской войны в Греции приводили в исполнение приговоры — мгновенно перехватила горло.

Смерть зарегистрировали в Тюменском городском загсе: «от сердечной недостаточности». Сердце, мол, не выдержало — человеку 70 лет. Как мне рассказывали, Никос лежал в гробу, похожий на Зевса — мифического хозяина Олимпа. Густая борода, медальный греческий профиль. Его похоронили в Тюмени на Червишевском кладбище под чужим именем. На похороны приезжали его сыновья и кто-то из посольства Греции».

На Червишевском кладбище в Тюмени нет могилы ни самоубийцы Николаева, ни генсека КПГ Никоса Захариадиса. Его прах родственники, по словам Д. Такиса, перезахоронили в Афинах. Захариадис все

еще остается фигурой умолчания, и у нас, в Тюмени, и в Греции. Комдив Харилаос Флоракис остается почетным председателем КПГ.

Говорят, ГУЛАГ закончился историческим докладом Хрущева в 1956 году. Судьба Захариадиса опровергает это: для своих товарищей по партии тюрьма в Сибири, пусть даже без решеток, всегда готова.

Я все думаю, неужели в тогдашнем коммунистическом городе Сургуте среди коммунистов или просто горожан не нашлось для опального генсека друга, собеседника, который пришел бы и обогрел товарища по убеждениям, спорил, доказывал, соглашался, но скрасил жизнь свободного узника своим участием.

Трагическая судьба Никоса Захариадиса заставляет задуматься о многом.

Ибо его история — история тотального предательства.

Его предала жена, чтобы остаться членшей Политбюро.

Его предали дети своим гражданским послушанием и человеческим бездействием.

Боевого командира предали друзья-партизаны.

Его предали товарищи по Коммунистической партии: на Никосе пресловутая международная солидарность коммунистов моментально задремала, наверное, во имя высших партийных интересов.

И буржуазные правозащитники предали: кому нужен странный сургутский пенсионер, опальный любимец Сталина, какие человеческие права могут быть у отъявленного сталиниста?

В Греции пять коммунистических группировок, они все спорят, кто истиннее — Ленин, Сталин, Маркс, Мао или Берлингуэр. Без сомнения, и Никос Захариадис из этой когорты коммунистических сектантов: он посвятил свою незаурядную жизнь догме, оставаясь ей верным до конца. А разве суть жизни в том, чья догма сильнее? Практический советский коммунизм, который исповедовал и Никос, это не поиск истин, а навязывание догм.

Но человеческое качество — верность! — внушает уважение.

Понял ли сильный грек, когда отнимал у себя старым партизанским способом Богом данную жизнь, что потратил эту жизнь не на то?

Ведь все, за что он боролся, было направлено против личности.

И на собственной судьбе убедился ли, что коммунистическая идея личность подавляет, когда слепой молох партийных интересов смял его; осознал ли, что его судьба — не трагическое исключение, а типичное воплощение партийной коммунистической доктрины на отдельно взятой личности.

Однако борьба человека, не коммуниста, а человека Никоса Захариадиса, наверняка, еще раз доказывает, что высшая божественная ценность — человек, и не одна партийная догма не стоит его жизни.

О житье-бытье сургутского затворника я узнал от совершенно неожиданного информатора.

Нынешний губернатор Тюменской области Л. Ю. Рокешкий в те годы жил и работал в Сургуте, и на «Сайме» — так называют деревенный, старый район Сургута — жила Мария Петровна Коробова, мать жены губернатора, одним словом, губернаторская теща. Двухквартирный, очень скромный, почти барачного типа деревянный домик, где держали греческого изгнанника, находился почти рядом, разделяли их несколько десятков метров. Случилось так, что на лавочке перед этим домиком (понятно, никакой мемориальной доски о Н. Захариадисе на нем нет) и повспоминали былые годы и Мария Петровна, и Леонид Юлианович.

— Нам говорили, что здесь экспедиция работает. Секретная экспедиция, — делится воспоминаниями Мария Петровна. — Ведь здесь будка стояла с милиционерами, пост, они сутками дежурили, что к чему, но раз экспедиция секретная, никто и не интересовался: зачем на лишние неприятности навешиваться. Я его видела, выразительный мужчина, впечатляющий, но уже не молодой, жизнью, видать, битый. Так понимала: из этой экспедиции секретной. Может, начальник. Видела, сын к нему приезжал. В магазин он ходил за хлебом, за молоком. Никто его не сторонился, но и не лезли особо: раз секретный человек, значит, секретный. Может быть, Таня Сидорова вам бы побольше рассказала, она здесь жила, а потом замуж вышла за милиционера, который его охранял.

— Сидорова — это девичья фамилия?

— Понятно, девичья.

— А фамилия милиционера?

— Этого не знаю. Да и давно Таню не видела. В Сургуте ли они сейчас?

— Я его, когда к Марье Петровне ходил, тоже встречал, — вспоминает Рокецкий. — Но прохожий и прохожий. Не очень приветливый, замкнутый, не остановишься на улице, по-соседски запросто не поговоришь. И печать подневольности на нем ощущалась. Конечно, около дома прожектор. Наверное, не очень сильный. Но кругом, особенно зимой, темнота, а здесь почти фейерверк. Мне все о нем рассказал Николай Иванович Ездаков, журналист сургутский. Он здесь, на углу, жил. Вот он к нему в гости заходил. Но это уже после смерти Захариадиса он все рассказал, что знал. Как я понял, внешне Никос с судьбой смирился, покорился, понял, в какой капкан попал, осознавал, что эту систему не перебороть. Но все его горячее нутро протестовало, поэтому и повесился. Понятно, домик, где он жил в ссылке, — заканчивает губернатор, — надо бы как-то отметить.

Конечно, надо бы...

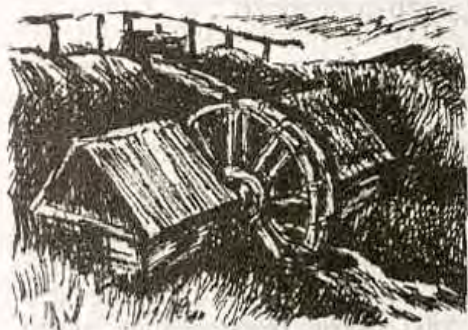
История... И поучительная. История мужества. История предательства. История борьбы.

...Типичный советский экскурсовод торопливо и незатейливо расскажет, что вся европейская демократия родом из давней, греческой, и слово «демос» — народ — тоже греческое, и демократия — это власть народа, и впервые это свершилось две тысячи лет назад — народовластие в греческих полисах. Но, правда, расцвет давней греческой демократии обеспечивали многочисленные рабы, и, логически формируя, надо признать, что власть-то народа осуществлялась не над самим народом, а над завоеванными в многочисленных войнах пленниками и пленницами.

Но экскурсоводу под греческим небом не полагается задумываться, лучшая она и есть лучшая, тем более древнегреческая, где все было прекрасно.

Но, может быть, из той демократии мы тоже заимствуем идею такого народовластия, для которого обязательно требуется хотя бы немного рабов и много рабства?

Но над спокойным, четко прорисованным вечерним хребтом Олимпа поднимается его персональная звезда, олимпийская звезда, звезда над Олимпом, и мы понимаем, что жизнь у нас одна, и она не может не быть прекрасной. Пусть трагической, но прекрасной.



Смоктунувский: Сибирь — в сердце

В артистическую уборную входит элегантный господин, самоуверенный и растерянный одновременно. Леонид Андреевич Гаев снимает величественный фрак, высокий цилиндр, устало стягивает перчатки... отклеивает фирменные усы и превращается в артиста МХАТ, народного артиста Советского Союза, даже Героя Социалистического Труда Иннокентия Михайловича Смоктунувского.

Наш современник тоже выглядит несколько устало, он приветлив, доброжелателен, житейски понятлив, в нем нет дворянского снобизма только что отыгранного Гаева. Но сегодня, вспоминая Смоктунувского после спектакля «Вишневый сад», я во власти его артистического аристократизма.

Интеллектуальный актер № 1, как его величают, Гамлет, князь Мышкин, Деточкин, царь Федор Иоаннович — наш земляк, сибиряк, уроженец Томской области, деревни Татьянаовка Шегарского района.

Он согласился на встречу с журналистом, может быть, только потому, что и я из той же Томской губернии, а землякам у московских сибиряков отказывать не принято.

Прослушивая сегодня запись нашей давней беседы, когда уже и Смоктунувского нет в живых, я, естественно, заметил, что сибирские воспоминания нередко уводили моего знаменитого собеседника в сторону, но не стал спрямлять русло разговора. Река тем и отличается от канала, что естественно прихотлива, непредсказуемо уверена, а не скатывается. Да и, думается, мысли замечательного актера ценны сами по себе, а его судьба, не будем забывать, — это судьба сибиряка, хотя к тому времени уже 35 лет Иннокентий Михайлович может считать себя москвичом.

Омельчук: И. М., бывает в вашей жизни настроение, состояние, когда вспоминается малая родина, вспоминается Сибирь, или из своей духовной жизни совсем ее выбросили?

Смоктунувский: Ну что вы такое говорите? Нет, нет, нет, нет. Во-первых, я считаю себя сибиряком, а следовательно, все корни мои там, где я родился, в той земле, которая воспитала меня, ко-

торую я люблю самозабвенно, и, должен вам сказать, вы, наверное, или хороший психолог, или «провокаатор»?

Омельчук: Провокаатор...

Смоктунувский: Нет, хорошо мыслящий человек. Дело в том, что когда мне бывает, и довольно часто, грустно, в силу того, что работы страшно много, а сил становится все меньше, и если кто-нибудь в семье меня обижает, то я просто-напросто...

Омельчук: Бывает и такое?

Смоктунувский: Ну конечно, но, может быть, не желая того, иногда нервы не выдерживают нагрузки. Достаточно сказать, что я снимался в четырех фильмах одновременно, параллельно, плюс работа в театре. Нагрузка чудовищная. Подобного рода занятость диктует полное отключение от быта, нервы не выдерживают. В подобного рода ситуации я даже не то, что страшаю, нет, мол, все брошу, брошу Москву, уеду в свою Татьяновку, там хорошо, там тихо, Шегарский район, уеду в свою Татьяновку, там такие прекрасные люди. Кстати, меня принимали там лет пять тому назад. Так хорошо, так замечательно. А как тихо... Уложили меня в кровать, говорят, мы знаем, что ты устал. И они все вышли из дома, и у дома сидели на лавочке, пока я спал... Понимаете, эпизод, просто говорящий о том, что Сибирь полна добрых, прекрасных людей. Я не страшаю, а просто свое настроение выражаю, что есть край, где поймут, где мне тепло, посидеть на лавочке, не буду видеть надутых губ. Понимаете? Или вздернутых бровей. Никто не будет стричь глазами. Это мелочь, но даже такие маленьких уходы в грусть, в тоску, или когда не совладаешь со своими нервами, вспоминаешь замечательный край Сибирь, здоровый, прекрасный край. Что говорить! Должен вам сказать, что порою хочется туда уехать. Но что же я там буду делать? Там, извините, нет киностудий, правда, могу читать по радио что-то.

Омельчук: И.М., вы упомянули киностудии. Вообще это нормально: на огромное пространство — Сибирь — от Урала до Тихого океана нет ни одной киностудии?

Смоктунувский: В Свердловске.

Омельчук: Это Урал. Это еще не Сибирь.

Смоктунувский: Урал... Еще не Сибирь. Понимаю, понимаю вашу озабоченность, понимаю ваш вопрос. Но, с другой стороны, сейчас здесь я снимаюсь в четырех фильмах и с ужасом думаю, а будут ли их смотреть, когда другие фильмы есть прекрасные. Сейчас я снялся в «Дамском портном». Прекрасный, удивительный фильм, и моя работа в нем неплохая, очень, могу сказать даже-даже... Понимаете, сейчас в силу бурности процесса поворота в противоположную сторону, в сторону к человеку, все немножечко растерялись, задохнулись от свободы, понимаете? Животрепещущее то, что каждого человека волнует сейчас. В газете. В передаче ТВ. Я только очень боюсь, чтобы все это не прикрыли — все так остро и все так откровенно. Это, наверное, правильно, все ведь хотят выговориться, хотят эту заразу вывести наружу, но надо еще и созидать, продолжать любить Родину как таковую, потому что без нее мы ничего. Это я знаю наверное. Я объездил земной шар много раз подряд, я знаю мир очень хорошо, видел его шикарные витрины. Но я знаю, что все это обязательно будет, даже там и тогда я думал. Боже мой, это мой народ. Так что знаете, никакие витрины меня там не сражали, я всегда думал о том, как бы хорошо было бы все эти витрины к нам, чтобы освободить наших милых женщин.

Омельчук: Я снова к своим баранам — к Сибири. Вспоминается театральная норильская юность?

Смоктунувский: Конечно, конечно, это была — как вам сказать? — жестокая школа, уже и потому, что это же Норильск, 70-я полярная параллель. Я там потерял все зубы. Все. Авитаминоз полный, абсолютный. Красноярск, где я жил... Отец с матерью увезли меня от голода из деревни в Красноярск, там умер мой старший брат Дмитрий. Да-да, от голода. Но, наверное, об ощущении, что я маленькая, крошечная частица этого все-таки прекрасного края, здорового, который исковеркала коллективизация, об этом можно и нужно говорить. Ах, какие это были люди, которых там раскулачивали! Какой трудяга был мой дядя! Тоже раскулачили. У него была мельница, которой пользовалась вся деревня бесплатно, а его раскулачивали.

Омельчук: Кому-то от бесплатной мельницы плохо было?

Смоктунувский: Ну что вы? Это было прекрасно. Он — добрейший человек, добрейший невероятно. Это Татьянавка. Я позже там был, никакой мельницы нет, пруд уже весь в ряске. Мельница еще была, я в седьмом классе приезжал. Помню, у тетки Олеси, которая была единоличницей, был огромный дом. Знаете, эти замечательные дома, хлев под одной крышей, поленница там, коридор к двери. Этот коридор был увешан таким огромным количеством колбас, окороков, каких-то вырезок сала. Невероятно! Такой незабываемый запах. У этой прекрасной женщины, которая жила одна без мужа, было 10 овец, корова, телка, лошадь и где-то пара свиней. А это было в каждом доме, и на кровле дома сидели журавли. Укажите мне, где сейчас журавли на крыше сидят. Понимаете, какую жизнь разрушили!

Омельчук: Каких трудолюбивых людей уничтожили!

Смоктунувский: Ужасно.

Время позднее, в тесноватую уборную народного артиста заходит уборщица и бесцеремонно начинает катать шваброй. Смоктунувский беспомощно оправдывается: «Вот видите, работа, надо уже закрывать, но вот в силу того, что из Сибири приехал такой замечательный гость и меня терзает по поводу моего отношения к Сибири и думает, что я могу сказать что-нибудь дурное. Не могу сказать, потому что люблю безмерно. Люблю безмерно не только Сибирь как родину свою, а люблю этот народ, терпеливый, прекрасный, я помню сибирский народ, отголоски еще остались в сердце. Добрый народ. Ведь в моей деревне даже мало кто курил. А как они понимали землю! Я был в Татьянавке пять лет назад, меня сопровождал прекрасный человек, работающий, из РК, мы пришли к моему двоюродному брату Александру. Этот человек из райкома говорит: «Вы знаете, у вас такой замечательный брат, мы всегда обращаемся к нему, чтобы узнать, сколько делянок, соток за тем-то лесом». И при мне вопрос задает: «Александр, скажи, вот там березки возле дороги, сколько там, по-твоему, соток?». А тот: «Почему по-моему, я просто знаю, сколько». Немножечко задумался и говорит: вот столько-столько. Поразительно!» Вот какие люди прекрасные!

Омельчук: Можно говорить, что вы сибирского характера, сибирской породы и помогло ли вам, если вы признаете, что вы сибирской породы, помогло ли это в вашей театральной жизни, в театральных битвах, в карьере?

Смоктунувский: Думаю, что только это и помогло. Как вы видите, я с виду человек не сильный, но это только с виду.

Омельчук: Затаенный сибиряк?

Смоктунувский: Не затаенный. Я горжусь, что я сибиряк, горжусь по праву. Сейчас я имею все награды, которые можно иметь в Советском Союзе, чем награждает Родина. Всего в жизни я добился только тем, что я силен настолько, насколько может снабдить в жизненный путь прекрасная, удивительная, когда-то очень богатая страна — Сибирь.

Омельчук: И.М., можно сказать так, что советский театральный актер может состояться только в Москве и хорошо ли это, что сибирские пареньки, которые могли бы проявить себя на сибирской земле, вынуждены... столица их откачивает, хорошо ли это для Сибири, для Родины, цивилизованно ли это?

Смоктунувский: Вы говорите, что много уходят из Сибири сюда, в центр? Небесполезных людей, хороших, талантливых, очень могучих и целенаправленных. Это верно, но понимаете, в чем дело. Где себя можно больше выявить, проявить? Я поэтому и говорю, если бы была в Томске, в моем Томске, или в моем Красноярске, или у вас в Тюмени студия, можно было бы там снимать фильмы, можно было бы там выявляться, проявляться в своих ролях, в своих образах. Но в силу того, что российский центр есть центр культуры, потому что это его обязанность следить за духовной жизнью, не хочется называть, провинции, а огромной своей территории, своей Родины, понимаете... то... Это, наверное, естественный процесс. Это, наверное, естественно. Я думаю, на центр обижаться не следует. Но, конечно, побольше бы создавать возможностей, создавать обстоятельств, в заботах, в поисках, в жизни людей Сибири надо для того, чтобы этот могучий потенциал духовности, который там не задавлен еще — убежден в этом! — и сейчас, когда наша родина повернулась к человеку, к духовным ценностям, к истинно человеческим понятиям, вот сейчас и надо выявлять себя. Я думаю, не надо грешить на людей, которые уходят в центр, если они здесь выявляют самого себя. Может, это прозвучит нескромно, но когда человек способен, когда есть у человека талант (назовем этим громким словом, хотя это очень высокое слово), то это уже не принадлежит данному человеку, это богатство времени, народа, страны, и его нужно использовать хозяйственно, по-умному. Слушать время, проявлять вкус, этику, эстетику времени и любить свой народ, распространять результат своего таланта, способности по всей своей Отчизне. Хотел бы так сказать. Мы все живем будущим. Если будущего нет, значит, нет надежды, значит — тоска, остановка. Только так, только надежда и воплощение этой надежды, этого — действительно можно сказать — доброго, хорошего, человеческого будущего на благо Отчизны, на благо самих себя, а не ради высот, призрачных иллюзий, построения каких-то обществ, это не надо, надо жить, надо жить и строить свою страну. И это, я убежден, всколыхнет любовь к своей стране. Только это.

Тесноватая каморка-уборочная народного артиста Иннокентия Смоктунувского во МХАТе, в проезде Художественного театра. Поздний, после спектакля, вечер. Лучшее время перестройки, время ее надежд.

Я провожал Иннокентия Михайловича до дому по улицам ночной Москвы. Он рассказывал про плен, про Норильск, про голод, про скитания по периферийным театрам. Про зависть и подлость, про доброту и актерское счастье. Он видел меня первый раз. Кажется бы, зачем раскрывать душу? Но... Земляки — великая сила.



Покушение на Сибирь

«Назови мне такое место в мире, где на каждую тысячу обычных жителей приходилось бы в 25 раз больше людей мужественных, смелых, исполненных подлинного героизма, бескорыстия, преданности высоким и благородным идеалам, любви к свободе, образованных и умных!». Действительно, есть ли такая насыщено благородная страна, далеко ли до нее, в какой части света ее искать?

Оказывается, недалеко.

Даже ехать никуда не нужно.

«Такое место в мире» — Сибирь.

Интересно, кто же задал и кто так сформулировал вопрос? Полагаю, что вряд ли найдется кто-то кто, отгадает этот вопросик для «Поля чудес». Ибо сибирским патриотом зарекомендует себя — совершенно неожиданно! — автор известных повествований о Томе Сойере и Гекльберри Финне. Да-да, Марк Твен.

Действительно, неожиданно.

Его повесть «Том Сойер за границей» написана и опубликована в 1884 году.

Такой даже с богатого американского берега была в конце прошлого века репутация у Сибири.

Отдадим должное Марку Твену: он отошел от расхожего мнения о Сибири, как стране холодов и бродящих по городам медведей, Сибирь его интересовала как страна благородных людей.

Трудно сказать, что послужило поводом для этого утверждения, изучал ли Марк Твен специальную литературу о Сибири, встречался ли с сибиряками, или пользовался только сведениями из газет, в которых и сам работал. Все равно лестный отзыв приятен.

Правда, мечта сибиряков начала нашего века о новой Америке, Америке в Сибири, т.е. американском качестве жизни, так и не смогла осуществиться. Но благородных людей от этого в Сибири не убавилось.

Марк Твен позволяет перебросить временной мостик.

У певца сибирского благородства есть гротесковый роман «Американский претендент», герой которого претендует на американское пре-

зидентство, сумасшедший полковник Маллерби Селлерс серьезно намеревается купить у русского царя Сибирь для Америки. Но это вроде бы юмор, гротеск, простительная слабость невменяемого претендента.

Если бы подобные идеи были только привилегией сумасшедших!

В современном Американском институте мировой политики есть сотрудник Уолтер Рассел Мид — талантливый, я бы сказал, провокатор. Ученый политолог в последнее время выступает с глобальными советами для президента США.

Главный совет его звучит так: купим Сибирь у России, создадим американскую Сибирь.

Как к этому относиться? Считать Уолтера Мида очередным ученым сумасбродом?

Но Уолтер Мид не сумасшедший, как его литературный предшественник из романа Марка Твена.

Прочитав первые эцзерсисы Мида, я отмахнулся: бред! Прочитав следующие опусы Мида, подумал: может быть, я плоховато разбираюсь в окружающем мире? Сейчас, ознакомившись с третьей мидовской попыткой, я задумался: бред-то бредом, но в чувстве анализа этому ученому мерзавцу вряд ли откажешь. И если бы дело касалось не моей любимой Сибири, вопрос действительно можно было бы рассмотреть.

Очередной опус Уолтера Мида «План Мида по американизации Сибири» опубликовал журнал «Джи-Кью» с подзаголовком: «Давайте купим Сибирь». Редакционная врезка по-американски лаконично резюмирует: «Всего за каких-то три триллиона долларов мы можем спасти Россию, прибавить семь звезд к нашему флагу и обеспечить целому поколению невиданное процветание».

Семь звезд — это семь новых, по Миду, американских штатов: Беринг, Приморский, Хабаровский, Восточная и Западная Якутия, Амурская Бурятия, Сибирь.

Граница новых, по Миду, Соединенных Штатов Америки пройдет по Енисею. Как видно из приложенной карты, Тюменская область, которую Мид благоразумно не включает в состав Штатов, становится крайне восточной окраиной новой куцей России.

Журнал «Джи-Кью» — серьезное издание, Институт мировой политики — не клиника для невменяемых, а США — держава серьезная, и если раз за разом она слушает советы Мида и не объявляет его сумасшедшим, значит, дело не столь забавно, как может показаться на первый прикид.

Я хочу предложить несколько фрагментов из исследования Уолтера Мида, тем более он уже не сидит на ученой кафедре, а предпринял новое путешествие на Дальний Восток, все еще российский Дальний Восток.

Мид предлагает купить для Соединенных Штатов Дальний Восток и большую часть Восточной Сибири. По размерам этот регион, примерно, равен нынешней территории Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты могли бы управлять американской Сибирью тем же способом, каким они управляли пограничными землями в XIX столетии. Американская Сибирь могла бы быть разделена на территории, которые войдут в состав государства на правах штатов: вероятно, их было бы семь.

Кто здесь живет?

В соответствии с предложенными границами в американской Сибири вначале могло бы быть 15 миллионов жителей. Из них 90 процентов — это говорящие по-русски славяне, остальные — пред-

ставители малых национальных и этнических групп, тесно связанных с аборигенами Аляски.

Что случится с этими народами?

Все легальные поселенцы американской Сибири стали бы гражданами Соединенных Штатов. Они имели бы привилегии американцев наряду с правом пользоваться родным языком в официальном бизнесе Сибири.

Мид предлагает покупную цену в размере, примерно, 1000 долларов за акр, а в общей стоимости это составит три триллиона с условием, что они будут выплачены в течение 20 лет.

Это было бы в определенном смысле крупнейшим проектом в истории. Ценность богатств в Сибири — ее природных ресурсов и талантов ее населения — увеличится, если они перестанут быть частью России. Ведь политический риск инвестиций в Россию сдерживает иностранных предпринимателей, которые могли бы вложить сотни миллиардов долларов, необходимых для строительства в России инфраструктуры и извлечения нефти и других ископаемых из отдаленных районов в Восточной Сибири. Американское правительство смогло бы получить за эти ресурсы гораздо более высокую плату, чем Россия.

«Послушайте-ка, президент Клинтон! Это может быть вашим великим шансом! — восклицает Уолтер Мид. — Впервые идея купить Сибирь пришла ко мне в 1992 году. Борис Ельцин предложил долгосрочную аренду нефтяных месторождений России, чтобы рассчитаться с советским иностранным долгом, и я написал в газете «Лос-Анджелес таймс», что это шанс для Джорджа Буша. Надо извлекать уроки из истории, — подчеркнул я. — Наполеон предложил продать Новый Орлеан Томасу Джефферсону, и тот воспользовался этим шансом...

Мне казалось, что существует лишь один способ, чтобы разобраться в этом, вот почему я заказал авиабилет во Владивосток. Я также приобрел себе свиту. Поскольку весть о безумном американском плане купить Сибирь распространилась по Европе, телевизионная компания Германии решила, что мое путешествие позволит ей снять интересный документальный фильм.

Мне представляется бесспорным вердикт: Россия не может рассчитывать на спокойное капиталистическое процветание в ближайшем будущем. Экономической катастрофы, возможно, ей и удастся избежать, но большая часть населения России неотвратимо сползает по уровню жизни к стандартам третьего мира. Впереди маячат годы все большего ухудшения жизни, в то время как все институты старой системы: школы, здравоохранение, работа с молодежью, пенсионное дело и так далее — продолжают распадаться. И потому есть только один путь стабильности и процветания в России — это вливание буквально триллионов долларов в ее экономику в ближайшие двадцать лет...».

Заключительный пассаж статьи Уолтера Мида выглядит таким бескомпромиссным образом:

«Я более убежден, чем когда-либо раньше, в двух вещах. Мир не может потерпеть экономического провала в России, но, с другой стороны, экономический провал поистине предопределен при нынешней политике. И это не просто мое хобби — идея, ее разделяет огромное большинство экономистов, ученых-политологов, журналистов и обычных людей, с которыми я говорил в России. И одновременно это также является доверительным, частного харак-

тера мнением очень большого числа западных экспертов, являющихся специалистами по России...».

Если бы политологические и геополитические изыски американского ученого выглядели как нормальный бред заурядного авантюриста, вряд ли бы они обратили на себя внимание. Ужас заключается в том, что Россия сегодня в глазах окружающего человечества выглядит слабее, чем царская империя в конце XVI века.

Дожили! Сибирь становится предметом торга, залогом и заложницей российского спасения. Могущество российское прирастает будет... отсутствием Сибири. То, что было безусловно на протяжении трех веков, оспаривается в конце XX века.

Российское правительство на мидовские упражнения никак не реагирует. Возможно, и справедливо — негоже слону реагировать на всякую моську.

Но ведь реакция должна быть — не прямая, косвенная, но должна быть, причем реакция активная.

Помните, японцы смущали жителей российских Курил хорошей жизнью, и многие курильчане поддавались на эти посулы, и это было их реакцией на свою российскую отрешенность — власти бросили на произвол судьбы свои океанские владения.

Сибирь, понятно, не Курилы, но ведь и сибиряка смутить можно, он же понимает, что под флагом американского штата жизнь его может стать лучше.

Вопрос не в том, станет ли Сибирь американской? Не станет никогда! Вопрос в том, когда Россия позволит Сибири жить достойным образом. Ведь что-то, а Сибирь своей четырехвековой добросовестной службой России достойную жизнь заслужила.

Полагаю, статьи Уолтера Мида и его навязчивые идеи имеют одно несомненное, как всякая провокация, достоинство: они заставляют задуматься столичных мудрецов — на щедрейшую Сибирь охотников немало, у этих охотников и слюнки обильно текут, и губа раскатана, и аргументы наготове, и денежки в сейфах копятся, и наглости достаточно, и агрессивности, если потребуется, не занимать. Я думаю, в Москве должно родиться главное ощущение: конечно, Сибирь — золотое дно и управлять ею бездарно чревато. Прежде всего не для Сибири — для России.

И последнее, что бы мне хотелось сказать по поводу американского покушения на Сибирь. В последнее время в Москве заметно оживились сторонники прокладки железнодорожного туннеля между Аляской и Сибирью под Беринговым проливом. Железнодорожная магистраль по полярной Сибири, казалось бы, вполне святое дело. Но если железнодорожные мечтания наложить на деловые пророчества политолога Уолтера Мида, вдумайтесь, выглядит зловеще. Задумываемый Полярсиб уже выглядит как внутриамериканская железная дорога.

Я не хотел бы никого пугать. Страхи приходят тогда, когда наша страна слаба и бессильна. Не воспользуются ли слабостью России, как слабостью женщины? И вывод один: мы должны сделать все, чтобы наша великая Родина стала сильной. Как можно скорее. Тогда пока еще идеологические покушения на Сибирь будут выглядеть так, как им и полагается, — обыкновенным бредом, а творчество их авторов будут рассматривать не серьезные аналитики, а квалифицированные психиатры.



Вечный день добра

Ежегодно десятого февраля, в печальную годовщину, в школьном зале, который называют «пушкинским», в два часа сорок пять минут перед портретом поэта зажигают свечи. Звучит моцартовский «Реквием». В сосредоточенном, напряженном молчании застыли школьники. В торжественной полутьме, рассеиваемой колеблющимся светом свечей, звучит чуть надтреснутый голос старой учительницы:

— Сегодня сто сорок восемь лет назад, ровно в 2.45 пополудни перестало биться сердце национальной славы России, «солнца России» — великого Пушкина.

Происходит этот торжественный ритуал далеко от пушкинских мест, в далеком сибирском селе на великой Оби — Могочине, известном за пределами Томской области единственным своим предприятием — крупным лесозаводом. Школа в обычном рабочем поселке почти пятьдесят лет носит имя А.С. Пушкина, но от безымянных школ ничем не отличается, во всяком случае «пушкинской» считать ее было трудно. До тех пор, пока не объявилась здесь Лидия Евгеньевна Пономарева. Чужой она в школе не была — аттестат зрелости получала здесь в суровом сорок втором. Но, получив диплом филолога-словесника в Томском пединституте, три десятка лет преподавала в «медвежьих» здешних углах: Чежемто, Усть-Чижапке, Каргаске, Старо-Короткино. Это у нее наследственное: отец директорствовал в сельских школах, бабушка и прабабушка учительствовали. И они с Колей — Николаем Тимофеевичем, когда дипломы получили, не в Томске стремились остаться, а в карту ткнули, и оказалась под пальцем крохотная точка с не то смешным, не то завлекательным названием Чи-жап-ка. Школа в Чи-жапке оказалась с национальным интернатом, там Лидия Евгеньевна и начала приучать маленьких северян: селькупов, ханты, эвенков — к великой литературе.

Когда в Могочино появилась, до пенсии ей оставались считанные годки — не тот возраст, чтобы новым делом загореться. А она вдруг обиделась за родную школу — ну ничегошеньки здесь не было,

что о Пушкине б напомнило: ни уголка, ни закутка, даже портрет за ветхостью его сняли. Только имя на вывеске, которое появилось не когда-нибудь, а в столетнюю годовщину со дня смерти...

Против специального пушкинского уголка школьная администрация не возражала, тем более что и по программе классику часов отводится немало, будет дополнительная наглядность. Но у Пономаревой замысел был помасштабнее — непременно музей. Взгляды она в то время ловила на себе сочувствующие: урочных часов у тебя, Лидия Евгеньевна, набирается немало, веди их спокойно, зачем жизнь усложнять? Так ли уж нужен детям лесопильщиков Пушкин?

Спрашиваю ее:

— Пушкин — с детства любимый поэт?

Она вздыхает, видимо, потому, что не может ответить утвердительно.

— Видите ли, нам, словесникам, трудно вот так однозначно. А как без любви преподавать Блока, Маяковского, Есенина? Диплом я по Лермонтову писала, батальные его сцены анализировала, но искала, как он против жестокости войн выступал. А Пушкин...

Помедлила снова.

— Сейчас — любимый. Но это не та любовь, с первого взгляда, а уже зрелая. Ведь Пушкин чем хорош? Он для всякого возраста.

...Этой гипсовой медали с профилем поэта не повезло: она треснула, раскололась в нескольких местах, но кто-то аккуратно ее склеил. И я смотрю не столько на знакомый профиль, сколько на эти желтоватые прожилки клея. Да, медаль — реликвия той памятной столетней годовщины, но еще и документ человеческой бережной памяти. Не так ли мы стремимся склеить, сочленить что-то порушенное в нашей истории, в нашей исторической памяти, не этим ли своим сбережением прикоснуться к далеким, давним годам?

— Это Виктора Федоровича Козурова коллекция к нам по завещанию перешла, — поясняет Лидия Евгеньевна. — Недавно Виктор Федорович умер, удивительный был человек. Все о нем говорили — педант, а я бы сказала, что редкой душевной обязательности человек был.

— Могочинский?

— Нет. И в Могочино, если мне память не изменяет, не заезживал вовсе. В школе в Томске он литературу преподавал. А встретились мы с ним, когда этот эрудит-энциклопедист читал курс пушкинских лекций в институте усовершенствования учителей. Узнал про наш музей, показал свои сокровища. Сейчас, говорит, отдавать пока погожу, жалко, а умру, обязательно вам часть по завещанию отпишу. Видите, какие редкости собрал...

Завещанный прощальный этот дар можно считать актом солидарности коллекционеров, но лучше назвать солидарностью интеллигентов, той солидарностью, которая делает вечной эстафету духовности. Не просто хрупкими медалями делятся поколения, а духовными ценностями, памятью.

Мы сидим с Лидией Евгеньевной в школьном пушкинском музее. Интерьер располагает к долгой, в старинном неторопливом ритме, беседе. Непривычный уголок давнего уютного быта: старенькое фортепьяно, камин и низкий столик со свечами, диван мастеровитой давнишней обивки. Занятия в школе уже завершились, вчера школа не пышно, но торжественно отмечала свое шестидесятилетие, и Лидия Евгеньевна заметно от юбилея устала. Приезжали выпускники со все-

го Союза, удивлялись новому трехэтажному зданию школы, но прежде всего торопились сюда, в музей. И довоенные приехали выпускники, и военных лет, и послевоенные. Уже не существует той длинной, с темным коридором деревянной школы, в которой они учились, а вот музей, который многие и видели-то впервые в своей жизни, стал родным, будто существовал всегда. Он стал как бы живым символом школы. Пономарева водила своих сверстников, детей сверстников, внуков сверстников, несколько школьных поколений, объясняла, рассказывала. О Пушкине, о школе, о музее.

Понаслушавшись разных легенд о могочинском музее, я-то грешным делом поначалу искал здесь чуть ли не прижизненные пушкинские томики с автографами поэта. Понятно, что нет здесь таких, да, наверное, и не задача это школьного музея. Но напомним, что все это богатство, коллективно собранное за какой-то десяток лет, принадлежит простой школе в сибирской глухомани, где специализированное это количество превращается в новое качество. Те, кто учился в сельской школе, вспомните-ка, как не хватало нам порой вот такого ощущения «повседневности» классической литературы. Хорошо москвичам, ленинградцам, школьникам больших городов — они сходили в музей, в галерею, в бывший дворец, и дальняя эпоха опажула их своим неповторимым вкусом. А для сельского, деревенского школьника эта классическая повседневность осталась далеко-далеко, несбыточно, почти нереально. Вот какую стенку отдаленности разбивают эти провинциальные раритеты.

Никогда не держали в руках «Альбом уездной барышни»? Лакированная обложка-крышечка, словно светящиеся листы матовой, как бы под слоновою кость бумаги. Уездная барышня Татьяна Ларина могла иметь именно такой альбом, и легко вдохновляющийся Ленский мог набросать гусиным пером экспромт-комплимент в романтическом стиле. Простая, простенькая вещь, но как она сближает времена! А, дожив до старости, генеральша Таня могла держать в руках вот эту фарфоровую шкатулку, на которой золотой краской изысканно-затейливым шрифтом написано: «Помада Бергамот. А. Ралле и К^о — поставщик Высочайшего двора и его величества шаха персидского в Москве».

Аромат эпохи понимается через деталь. Особенно это важно для детского конкретного восприятия.

Музеем эти вещички из древнего семейного сундука подарила старенькая могочинская учительница Валентина Ивановна (кстати упомянуть, что многие музейные экспонаты — приобретения на скромную учительскую зарплату Пономаревой). Непритязательные предметы обихода заставляют подумать и о том, как начиналась учительская интеллигенция в простом сибирском селе, как собиралась, какие корни имела. Образ и дух вещи уводят наши фантазии по мосту времени в далекое прошлое.

А этот уголок все называют «нянин». Трудно предположить, что Арина Родионовна носила подобную кофту из тафты, стирала рушник с царским гербом или надевала эти льняные платки. Но могла носить, стирать, надевать. И пушкинская няня становится нам ближе, потому что стала вещнее, конкретнее. Духовность побеждающей время поэтической строки сопрягалась с материальными приметами эпохи.

Ироничная, как все умудренные педагоги, Лидия Евгеньевна указывает на стенд:

— Обратили внимание?

Все ценные экземпляры музея под стеклом, в аккуратных стеклянных ящичках.

— Это же аквариумы, — поясняет она, усмехнувшись. — Приспособили. Где нам взять изящные стенды? Провинция.

— Смотрятся изысканно, — успокаиваю я ее. — Никогда бы не подумал.

Она подводит к висящим на стенде аквариумам и достает книги. Среди корреспондентов школьного музея люди, которых пушкинистам представлять не нужно: Б.С. Мейлах, Д.Д. Благой, И.Л. Фейнберг, С.М. Гейченко, Н.Я. Эйдельман, Т.Г. Цявловская. Долгая дружба связывала могочинских «пушкинистов» с Арнольдом Ильичем Гессеном.

— Дети-пушкинисты, — читаю я аккуратный почерк на изящном листке старинной почтовой бумаги, — я встречаю свою девяносто девятую весну.

— Сотую он уже не встретил, — объясняет мой гид. — Это последнее письмо, которое мы получили от Арнольда Ильича. Его письма ребята не могли читать спокойно. «Какой же он старенький, — говорили они, — а какие интересные книги пишет! Как он все помнит?». Я им рассказывала, что свою первую книгу Гессен написал приблизительно уже в моем возрасте, они не поверили, но зауважали еще больше. Я принесла его письма на урок о Блоке. Ведь Гессен учился с Александром Александровичем в Петербургском университете.

Наверное, любую библиотеку украсит книга с автографом, скажем, Д.Д. Благого. Но, наверное, для школьников это не просто автограф — это приобщение. Принято считать, что музей — это всегда что-то омертвевшее, умертвленное, застывшее, связанное с чем-то отжившим. Но почему же я в этом школьном музее вдруг особенно явственно ощутил, что все, что сделала Пономарева, это необычайно живое дело? Ведь получить письмо от старого ученого, пишущего книги о Пушкине, и учившегося вместе с Блоком, да-да, с хрестоматийно-далеким Блоком, ведь это как бы самому снова пройти по мостику, который связывает времена, и классик приходит к тебе не с книжной страницы, а как живая личность, связанная с другими людьми, пусть старыми, но твоими современниками. Как в дереве токи земли, так токи времени в этой эстафете духовности.

Здесь самый момент вспомнить об Анне Ивановне Веселовской. Несколько десятилетий она преподавала в школе имени А.С. Пушкина немецкий язык. Несколько поколений могочинцев, в том числе и сама Пономарева, прошли ее строгую школу. Если существует представление об идеальном учителе, то именно с Анной Ивановной связывали этот идеал ее ученики. Она знала несколько языков, свободно «болтала» на французском и английском, была разносторонне эрудирована, могла заменить любого учителя, в обращении была постоянно равна. В ее строгости ощущалась внутренняя мягкость. Доброта, всегда стесняясь себя, маскируется под строгость. И это при всем при том, что судьба Веселовскую не баловала. В Сибири, в далеком поселке она появилась из невестки столицы, она воспитывала сына Юру, который позднее погиб в трудовой армии. Смольненские ее манеры были несколько старомодны и не совсем вписывались в грубоватый быт поселка лесопильщиков, но гордая ее поступь, всегда высоко поднятая голова, как выражение духовной несломленности, внушали ува-

жение всем. Сибирь-то, наверное, знает, что не только в 1827 году встречала она декабристок. Звание «Заслуженной учительницы школы РСФСР» разыскало ее уже тогда, когда она вышла на пенсию и уехала в город Усмань под Липецком.

Что-то потребовалось для музея, и Лидия Евгеньевна обратилась к своей бывшей учительнице, получила от нее необычно длинное письмо и фотографии. Выяснилось, что Веселовская в 1912 году закончила Александровский, знаменитый Смольный институт благородных девиц, а аттестат об окончании юная смольнянка, которой предстоит трудная судьба и путь в Сибирь, получила не от кого-нибудь, а из рук генерала Александра Александровича Пушкина. Сын великого поэта был попечителем Смольного.

Хорошо это или плохо, когда живая жизнь снимает налет хрестоматийного глянца? Хорошо! Ведь, казалось бы, как неизмеримо далек от нас Пушкин! Но вот его благородно-седой сын вручает аттестат красивой юной барышне, которая учила и твою мать, и старшую сестру не самому любимому — немецкому — языку. Так столь ли уж далек от нас создатель незабвенных Евгения и Татьяны?

Каждое лето для многих десятков могочинских ребят и девочек — пушкинское. Под предводительством Лидии Евгеньевны юные пушкинисты объездили почти все памятные места, связанные с жизнью поэта: Тригорское, Михайловское, Петровское, Печоры, Святые горы, не говоря уже о Москве и Ленинграде, осеннее Болдино. «Незакрытым», пожалуй, остался только юг — Молдавия и Крым. Каково, когда в Михайловском экскурсию с тобой проводит сам Семен Михайлович Гейченко, а в Петровском — директор музея Ганнибалов Борис Михайлович Козьмин! Когда в Пушкинский дом тыходишь, как в родной, столько о нем знаешь и слышишь!

Я подсчитал: за четырнадцать лет что-то около тысячи маленьких могочинцев прошли эти «пушкинские» классы, бродили по михайловским аллеям, по пушкинским набережным города на Неве, слышали рассказы почтенных ученых. Государственный музей-заповедник в дар могочинскому музею передал посмертную маску Пушкина.

Конечно, можно оживлять уроки литературы. А можно больше: вводя в жизнь начинающего человека, сделать литературу частью нашей повседневности.

Что вспоминает Лидия Евгеньевна из этих многочисленных и, конечно же, хлопотных для ее здоровья поездок?

До сих пор она восхищается тем искренним пафосом, с которым ее воспитанники возмущались праздными туристами в Михайловском:

— Как! Они собирают здесь ягоды...

Для них это выглядело кощунственно. Может, это провинциально-наивно, а может, пиетет перед памятью поэта никогда не бывает излишним.

— Когда мы приехали на Черную речку, на место дуэли, а до этого мы посетили его последнюю квартиру, — вспоминает она, — то у всех ощущение такое сложилось, что он в конце жизни оказался очень одиноким. «Иных уж нет, а те далече...». И вот он стреляется, никто его уже не выручит... А смотрю я, у девиц моих благородных глаза на мокром месте. Я тоже, старенькая, не выдержала, разревелась. А они прямо рыдают. Горевали мы, будто только что близкого, родного похоронили. Оросили сибирскими слезами птербургскую землю.

Я подметил, что она часто вспоминает о слезах своих учеников. Вот младшеклассники на торжественной пушкинской линейке «промокли». Вот хорошее чтение стихов у кого-то слезу вышибло.

— Не слишком ли часто юные современники ревут? — Наверное, мой вопрос прозвучал цинично.

Но она этого не заметила, сразу ответила:

— Значит, душа откликнулась. Пустая душа слезой не обольется. По мне, так пусть ребята хохочут, плачут, восторгаются, хандрят, только пусть не сидят на уроках с постными минами.

Она особо это подчеркивает: создание музея преследовало не сугубо познавательную цель, скорее:

— Чтобы ребячья душа заработала.

Она выразилась чуть-чуть высокопарно, но вполне в стиле той эпохи, которую хорошо познала:

— Я бы в глазах наших ребят хотела видеть живой, пушкинский блеск.

— Неужели это возможно с нынешними-то охламонами? — сомневаюсь я.

— Пушкин нам в этом помогает! — убежденно восклицает она. — Кто поработал в нашем литературном клубе «Лукоморье», кто прошел через нашу музейную работу, кто считает себя настоящим «пушкинистом», никогда плохим человеком не станет. Я в этом уверена.

— Лидия Евгеньевна, — вроде начинаю увещевать я провинциальную идеалистку. — Время-то другое. Может, не следует для нашей рационалистичной эпохи растить барышень с постоянным платочком у глаз? Возвышенных व्यюнош?..

— Молодой человек, — возражает она решительно, — не нужно личные недостатки приписывать эпохе. Недостаток сердечности и доброты он в нас самих, а не в воздухе времени. А что касается человеческих ценностей — они вечны и всегда с нами. Вот я завожу разговор о декабристе Ентальцеве. Милые юноши, говорю я, когда этот благородный молодой человек увидел свою будущую невесту, чувства так переполнили его, что он потерял сознание. Конечно, все старшеклассники большие скептики, но я, рискуя прослыть старомодной, задаю им вопрос: «Поднимите руки, с кем такое случалось?». Они, понятно, улыбаются широко, смеются: «Только не с нами». Наиболее бравые не преминут добавить: «С нами такого случиться не может». «А вдруг? — не сдаюсь я. — Вдруг она будет так хороша собой, что от боязни потерять ее вы потеряете сознание?».

— Вы поколебали их во мнении, что они не упадут в обморок при виде прекрасной современницы? — Бес скепсиса овладел мной.

— А сразу и не поколеблешь, — качает головой мудрая учительница. — Важно, чтобы они задумались: ведь они растут. Важно говорить им об этом, самим верить в благородство человеческой души.

Горькая складка ложится в уголках ее губ.

— Я замечаю у своих молодых коллег: они стесняются говорить об этих старомодных понятиях, может, не верят сами, может, боятся, что их не поймут. Нельзя, не посеяв, говорить, что всходы не взойдут. Надо действовать.

— В Пушкине я особенно ценю доброту, человечность, — поправив огонек свечи, которую зажгла на время беседы, продолжает она. — Не всякий помнит, каким добрым, удивительно добрым он был. Этой добротой он многое в своем характере искупает. Каким он был сыном? Ведь светская львица Надежда Осиповна относилась

к этому эфиопскому красавцу поначалу очень недоброжелательно. Но он преодолел в себе чувство обиды, осознал, что мать дается человеку единожды. Он любил мать редкой зрелой любовью. Выбрал место для ее могилы у стен Святогорского монастыря, и когда откупал у монахов землю, прикупил и для себя. Хотел лежать рядом. А когда она умирала, какую нежную любовь и терпение он выказал. В каждом его поступке — бездна смысла. Любой из них заставляет задуматься.

— Счастливые люди не сдают.

Кажется, это ее поговорка. Благое дело не всегда распространяет вокруг себя исключительно положительное поле. Счастливый человек должен пройти через непонимание, чтобы осознать масштаб делаемого.

К ней едут со всей страны, чаще других приходится проводить открытые уроки, и она волнуется, как самая-самая начинающая учительница.

Каждый урок у нее начинался поэтическими минутками. Однажды высоких гостей в классе оказалось больше, чем обычно. Тема урока была серьезная, но, как всегда, сначала Пономарева объявила поэтические минутки, хотя и боялась, что времени на саму тему вряд ли хватит. Предчувствия не обманули: восьмиклассница Люда Ковалик встала и с искренней непосредственностью энтузиастки объявила:

— У меня сегодня Александр Блок. Поэма «Скифы».

Читала она выразительно, но Лидия Евгеньевна потом обливалась: уходило время. Блоковские скифы, впрочем, подняли в классе творческий настрой, и урок прошел неплохо. Но учительница ожидала разноса от проверяющих: «Много вы выдумываете, сударыня, а методика страдает». Но специалистка из института усовершенствования на нетерпеливое пономаревское: «Ради бога, скажите скорее, я, наверное, урок провалила?» — ответила скупно:

— У меня только одно замечание.

— Какое же?

— Рано прозвенел звонок.

Да, она счастливый человек и, может быть, единственная учительница, которая в подарок от своих учеников получала... уроки.

Она пришла, как обычно, собираясь вести урок, но со своей парты поднялась «директриса» ее музея Любася Татишвили и попросила:

— Лидия Евгеньевна, разрешите, мы сами проведем урок.

На высоком методическом уровне ей подарили уроки по Блоку, по Есенину, по Пушкину.

Завидное свойство есть у Лидии Евгеньевны: как-то незаметно она умеет сблизить времена, сделать собеседников современниками далеких событий.

Искренне сердится на Моцарта:

— Он легкомысленно относился к женщинам.

Истово поддерживает Бетховена:

— Бетховен не мог простить Моцарту «Дон Жуана». Разве можно так кощунственно легко относиться к любви? Только восторженно, благоговейно, свято.

Вмешалась в спор далеких классиков, расставила все по своим нравственным местам, и этот тон арбитра столь естествен и искренен, что сам на минутку как бы стал современником этого спора гигантов, и

это ощущение не столько приблизило, сколько сблизило с ними.

Я тоже поймал себя на ощущении: Пушкин не только для нее современник, но и меня она заставляет почувствовать его не далеким, погибшим, сгинувшим, а сегодняшним, живущим, живым.

На музейных столах любовно оформленные альбомы: «Дневник Аннет Олениной»... «Кюхля в Сибири»... «История одного романа»...

Наверняка, сюда перед очередным школьным сочинением заглянет неисправимый во все времена шпаргальщик, но в своем сугубо утилитарном интересе не споткнется ли, как я, об эти не очень ловкие, но такие проникновенные строки:

*Может, мимо ударила пуля Дантеса?
Может, ты не погиб от удара повесы?
Может, слезы напрасны, мадам Гончарова?
Может, песни поэта рождаются снова?*

*Никогда не померкнет поэзии слава...
Снова осень — грустна, хороша, величава.
Снова трогает сердце поэзия ваша.
И о чем-то задумался тополь опавший.*

Пусть и задумается шпаргальщик не обязательно о поэзии Пушкина, но если он задумался именно здесь, то наверняка уже не просто о чем-то ординарно-прикладном. По крайней мере, таков замысел основательницы музея.

А строки принадлежат ее любимейшей ученице (да-да, у объективных и беспристрастных педагогов всегда бывают любимейшие, которыми они вечно гордятся и счастливы, что жизнь им подарила эту радость) Любе Татишвили. Любушке... Любасе... душе музея. Вдохновительнице «Лукоморья». Она умела заряжать, вдохновлять всех. После школы Любушка поступила в Томский университет, стала филологом, преподавала в городской школе, мечтала организовать такой же музей, но уже свой... Ей это было не суждено. Неизлечимая болезнь отвела срок до обидного малый. От Любы остались стихи в тоненьком коллективном сборничке университетских поэтов, рукописи, которые сохранились в музее. И эти альбомы... И сценарии вечеров — «фонтан любви». И собранные книги, гравюры... И воспоминания о конкурсах поэтов, шальных состязаниях чтецов. А может, и дух ее заряжающей неистовости и грустной, какой-то обреченной веселости... Как у Пушкина — жизнь прожита высоко. И — залпом...

Пожалуй, следует привести несколько строк из музейной книги отзывов.

Вот что пишут сами могочинцы: «Большое русское спасибо любителям Пушкина за пропаганду его наследия. Музей — это гордость нашего поселка».

А безымянный артист оперного театра из Новосибирска вдохновился на экспромт:

*Музеем вашим я сражен,
Смущен, подавлен, поражен!
Не знаю — верить иль не верить!
Спасибо, тронут —
Ваш Сальери.*

Подпись под экспромтом заставляет вспомнить, что образ Моцарта, вернее, дух моцартианства, здесь поминается не зря: как бы ни был скромн школьный музей, мы попадаем здесь в атмосферу

творения, духовного сотворчества, атмосферу личной причастности к высотам творящего духа. Наверное, здесь свою роль играет перепад обстановок, которую тонко подметил томский педагог Степичев: обычные, нормальные школьные классы, и вдруг это чудо встречи с пушкинской эпохой, явственным ее ароматом.

...Есть у Лидии Евгеньевны давняя мечта: она хотела, чтоб в школе проводились регулярные дни добра, чтобы в эти дни все бразды правления в школе брали сами ребята, и учились творить добро искренне, а не ради галочки, чтобы это было не мероприятие, а настоящий день творящей ребячьей души. Пусть ошибаются, но пусть делают от всего сердца. Как всякая идеалистка, до конца программу этого дня она еще не продумала. Да и, конечно, не день здесь требуется, не неделя — годы, годы воспитания доброты.

Но идея сама по себе привлекательна. Пусть соберутся ученые методисты, пусть не засушат, не засушают идею, а разработают нечто живое, чтобы помочь и учителям, и ученикам настроиться на эту животворную волну доброты.

Конечно, главное в этом деле — пример.

Как собираются, или сказать, как создаются такие музеи? Исключительно на любви и энтузиазме. И это ощущает каждый: отсутствие формальности, какой-то равнодушно-казенной заданности. Каждый ли музей может похвастать этим духом инициативной любви, где каждый экспонат согрет душевным теплом коллективных собирателей.

Когда знакомишься с такими людьми, как Лидия Евгеньевна Пономарева — простая сельская учительница, провинциальная идеалистка, когда видишь, как неустанно трудятся учительское сердце и душа, чтобы блестели живым блеском ребячьих глаза, чтобы чутко и трепетно отозвались на все доброе их нераскрывшиеся души, понимаешь, осознаешь, что жизнь таких людей — это вечно длящийся, не прекращающийся ни на минуту день добра.

Вечный День добра.

Оглавление

Великая земля	9
Сибирь — колыбель человечества	17
Хранители вечности	24
Сибирь — стержень космического миропорядка	33
Великий хантыйский путь	36
Сибиряк берет Москву	41
История титулов длиннее истории освоения	48
Земля Ермака	50
Начиная с папы римского	55
Упражнение для картежника	58
Город Нижний — это на Туре	63
Первая пашня Сибири	66
Заговор остяцкой княгини	71
Апостол Сибири	74
Загадки «потайного» писателя	78
Тайные умыслы петровского висельника	82
Татарские записки бургомистра Амстердама	88
Персональных дел гофмалер в тобольской ссылке	91
«Куриозное» путешествие с несостоявшимся затмением	94
Сибирская звезда парижского вертопраха	101
Легенда об ученом выпивохе	105
Прусский Хлестаков проездом из Тобольска	111
Сослан по императорскому недоразумению	115
Ермаков бенефис в Санкт-Петербурге	118
Декабрист-империалист	122
Америка, которую мы потеряли	125
Пыль с копыт ковбойских мустангов	131
Сибирское кредо Пушкина	137
«Высочайшая» ссора в Исетской слободе	142
Сибирские встречи великого Гумбольдта	145
Одиночество гения	149
«Иуда русской свободы»	157
Евангелие от Достоевского	161

«Дивная страна» великого анархиста	166
Обдорский сюжет Некрасова	169
Загадка старинного мастера	174
Самаровский меценат	177
Тайный вояж Льва Толстого	181
Сибирские фантазии Жюль Верна	187
Император-памятник в кондукторском мундире	191
Место поэта предопределено	194
Зимнее исследование сургутских тундр	205
«...И я слышу чутким сердцем»	209
Достоцитимый крамольник	214
«Сибирский Ломоносов»: попытка завещания	221
Заказная провокация искреннего экстремиста	226
Наблюдательный ботаник	231
Гнетущее впечатление российского разночинца	234
Покорение Сибири атаманом Ермаком и художником Суриковым	237
Очевидный Чехов	242
Сибиряк покоряет Америку	246
Гыданский мамонт	251
Ласточка, весны не сделавшая	254
«Столыпинская целина»	258
Забываемые экспедиции	263
Обдорский ссыльный — приятель Ленина	267
«И повез тятя царя в Созоново»	274
Анна и адмирал	278
«Воробьиное» правительство	285
Расстрелянный министр	294
Сибирская Жанна д'Арк	300
Трагический министр	307
Сибирь для вождя мирового пролетариата	311
Сентиментальный генерал — апологет Ермака	317
Мансийская кровь первого абстракциониста	321
Женское мужество	325
В жизни всегда есть место для открытий	331
Секретный вояж вождя	333
Сибирь несломленная	337
Полярный поклон Павла Васильева	343
ГУЛАГовские тайны Усть-Полуя	347
Советский аристократ в сибирской тайге	351
Мемуары в единственном экземпляре	356
Последний сталинский нарком	361
Звезда над Олимпом, или Самоубийство в Сургуте	367
Смоктунувский: Сибирь — в сердце	373
Покушение на Сибирь	377
Вечный день добра	381
Оглавление	390

ОМЕЛЬЧУК Анатолий Константинович

ЧАСТНОЕ ОТКРЫТИЕ СИБИРИ

Каждый сам открывает свою родину

Книга издана по заказу
комитетов по СМИ и полиграфии администраций
Ханты-Мансийского (председатель комитета — **А.К. МИШУНИН**)
и Ямало-Ненецкого (председатель комитета — **В.Г. КОЛЕСНИК**)
автономных округов

Художник А. Кухтерин
Корректор М. Кремлева

Сдано в набор 20.11.98 г.
Подписано в печать 13.07.99 г.
Формат 60x100/16. Гарнитура «TimesET».
Печать офсетная. Бумага офсетная для ВХИ.
Уч.-изд. л. 14,34. Усл. печ. л. 27,2+1,11 илл.
Тираж 2 000 экз. Заказ № 144.

Предприниматель Мандрика Ю.Л.
Лицензия ЛР № 065834 от 23.04.98 г.

Адрес для переписки: 625003, г.Тюмень, а/я 501.
Тел. (345-2) 25-12-84.

Отпечатано с готовых диапозитивов на ФГУИПП
«Уральский рабочий».
620219, г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 13.



Анатолий ОМЕЛЬЧУК:

«Читаю замечательного русского историка Василия Осиповича Ключевского — его пятитомный курс русской истории. Можете проверить, приобщение Сибири к России он умудряется уместить в один полуабзац: «Русская колония, еще в XVI веке перевалившая за Урал, в продолжение XVII уходит далеко в глубь Сибири и достигает китайской границы, расширяя московскую территорию уже к половине XVII века, по крайней мере, тысяч на 70 квадратных миль, если только можно прилагать какую-то геометрическую меру к тамошним приобретениям. Эти успехи колонизации на Востоке привели Московское государство в столкновение с Китаем».

Ученое высокомерие к «геометрическим приобретениям» редко встретишь, а последняя фраза по-московски выразительна: одни, мол, хлопоты с этой Сибирью, не будь этих квадратных миль — и никаких китайских конфликтов...»